

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И
М И Р

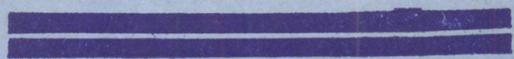
|| 9 ||

|| ||

Ж О В Ы И
М И Р

|| 1985 ||

9



1985



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Фужу! Поэма	3
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Жизнь прожить, рассказ	59
ВИКТОР ВАСИЛЕНКО — Два стихотворения	86
СЕРГЕЙ ГОЛИЦЫН — Дедов дом, повесть	87
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ — Радости и муки. Перевела с болгарского Л. Дмитриева	153
ПУБЛИЦИСТИКА	
ВАЛЕРИЙ ВЫЖУТОВИЧ — Инженерный расчет	173
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ — Пятнадцатый камень Сада Рёандзи	185
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ВАСИЛИЙ БОЙКО — Через Большой Хивган	205
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ОБРАТИТЬ В ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПОТОМКОВ... Окончание. Публикация, послесловие и примечания Михаила Маковеева	218
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ЗВЕРЕВ — Дворец на острие иглы. Динамика романа в мировой литературе	237
ИГОРЬ МОТЯШОВ — На школьную тему	254
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	262
В. Кардин. Неисчерпаемо, невосполнимо.	
Г. Громан. В русле большой традиции.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Аванесов. — Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. ♦	
Сергей Чупринин. — Людмила Копылова. Счастливая полоса. Стихи. ♦	
М. Вольпе. — Н. М. Карамзин. Сочинения в двух томах	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

что скоро прикончат меня —
 потому,
 что знаю я многое слишком.
 В Гонконге я сам нарывался на нож,
 я лез во Вьетнаме под пули.
 Погибнуть мне было давно невтерпеж,
 да что-то со смертью тянули.
 И я пребывал унижительно жив
 под разными пулями-дурами.
 Мурыжили,
 съесть по кусочкам решив,
 а вот убивать и не думали.
 Постыдно целехонек,
 шрамами бить
 не очень-то я изукрашен.
 Наверно, не зря еще я не убит —
 не слишком я мудростью страшен.
 И горькая мысль у меня отняла
 остатки зазнайства былого —
 отстали поступки мои от ума,
 отстало от опыта слово.
 Как таинство жизни за хвост ни хватай —
 выскальзывает из ладоней.
 Чем больше мы знаем поверхностных тайн,
 тем главная тайна бездонней.
 Мы столькое сами на дне погребли,
 познания бездна проклятая
 такие засасывала корабли,
 такие державы проглатывала!
 И я растерялся на шаре земном
 от явной нехватки таланта,
 себя ощущая, как будто бы гном,
 раздавленный ношей Атланта.
 Наверное, так растерялся Колумб
 с командой отпетой, трактирной,
 по крови под парусом двигаясь в глубь
 насмешливой тайны всемирной...

А у меня не было никакой команды.

Я был единственный русский на всей территории Санто-Доминго, когда стоял у конвейера в аэропорту и ждал свой чемодан. Наконец он появился. Он выглядел, как индеец после пытки конкистадоров. Бока были искромсаны, внутренности вываливались наружу.

— Повреждение при погрузке... — отводя от меня глаза, мрачно вато процедил представитель авиакомпании «Доминикана».

Затем мой многострадальный кожаный товарищ попал в руки таможенников. Чьими же были предыдущие руки? За спинами таможенников, копавшихся в моих рубашках и носках, величественно покачивался начинавшийся чуть ли не от подбородка живот начальника аэропортовой полиции, созерцавшего этот в прямом смысле трогательный процесс. Начальник полиции представил бы подлинную находку для золотолюбивого Колумба — золотой «Ролекс» на левой руке, золотой именной браслет на правой, золотые перстни с разнообразными драгоценными и полудрагоценными камнями чуть ли не на каждом пальце, золотой медальон с мадонной на мохнатой груди, золотой брелок для ключей от машины, сделанный в виде миниатюрной статуи Свободы. Лицо начальника полиции лоснилось так, будто заодно с черными жесткими волосами было смазано бриолином. Начальник полиции не опустил до интереса к шмоткам, но взял мою книгу стихов по-испански и перелистывал ее избирательно и напряженно.

— Книга была издана в Мадриде еще при генералиссимо Франко, — успокоил я его. — Взгляните на дату.

Он слегка вздрогнул оттого, что я неожиданно заговорил по-испански, и между нами образовалась некая соединительная нить. Он осторожно выбирал, что сказать, и наконец выбрал самое простое и общедоступное:

— Работа есть работа...

Я вспомнил припев из песни Окуджавы и невольно улыбнулся. Улыбнулся, правда сдержанно, и начальник полиции, очевидно не ожидавший, что я могу улыбаться. Еще одна соединительная нить.

Затем в его толстых, но ловких пальцах очутилась видеокассета.

— Это мой собственный фильм, — пояснил я.

— В каком смысле собственный? — уточняюще спросил он.

— Я его поставил как режиссер... — ответил я, отнюдь не посягая на священные права Совэкспортфильма.

— Название? — трудно вдумываясь в ситуацию, засопел начальник полиции.

— «Детский сад».

— У вас тоже есть детские сады? — недоверчиво спросил начальник полиции.

— Недостаточно, но есть, — ответил я, стараясь быть объективным.

— А в какой системе записан фильм? — деловито поинтересовался он.

— «ВХС», — ответил я. Еще одна соединительная нить.

— А у меня только «Бетамакс», — почти пожаловался начальник полиции. — Все усложняют жизнь, все усложняют. — И со вздохом добавил, как бы прося извинения: — Кассету придется отдать в наше управление для просмотра. Послезавтра мы ее вам вернем, если... — он замялся, — если там нет ничего такого...

— Это единственная авторская копия. Она стоит миллион долларов, — решил я бить золотом по золоту. — Я не сомневаюсь в вашей личной честности, но эту кассету может переписать или ваш заместитель, или заместитель вашего заместителя, и фильм пойдет гулять по свету. Вы же лучше меня знаете, какая сейчас видеоконтрабанда. Дело может кончиться международным судом.

Миллион и международный суд произвели впечатление на начальника полиции, и он запыхтел, потряхивая кассету в простонародной узловатой руке с аристократическим ногтем на мизинце.

Думал ли я когда-нибудь, что мое голодное детство сорок первого года будет покачиваться на взвешивающей его полицейской ладони? По этой ладони брел я сам восьмилетний, потерявший свой поезд, на этой ладони сапоги спекулянтов с железными подковками растаптывали мою жалобно вскрикивающую скрипку лишь за то, что я не украл, а просто взял с прилавка обернутую в капустные листья дымящуюся картошку, по этой ладони навстречу новобранцам с прощально обнимающими их невестами в белых накидках шли сибирские вдовы в черном, держа в руках трепыхающиеся похоронки...

Но для начальника полиции фильм на его ладони не был моей неизвестной ему жизнью, а лишь личной, хорошо известной ему опасностью, когда за недостаточную бдительность из-под него могут выдернуть тот стул, на котором он сидит. Вот что такое судьба искусства на полицейской ладони...

— А тут нет ничего против правительства Санто-Доминго? — неловко пробурчал начальник полиции.

— Слово чести — ничего, — чистосердечно сказал я. — Могу дать расписку.

— Ну, это лишнее, — торопливо сказал начальник полиции, возвращая мне мое детство.

И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год.

И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год, и такая воскресла во мне пацанинка, словно вынырнет финка, упершись в живот.

Я был снова тот шкет, что удрал от погони, тот, которого взять нелегко на испуг, тот, что выскользнул из полицейской ладони, почему — неизвестно — разжавшейся вдруг.

И я вышел на улицы Санто-Доминго, прижимая к груди сорок первый год, а поземка сибирская по-сатанински волочилась за мной, забегала вперед.

И за мной волочились такие печали, словно вдоль этих пальм транссибирский состав, и о валенок валенком бабы стучали, у Колумбовой статуи в очередь встав.

И за мной сквозь магнолийные авениды, словно столько страданий народных послы, вдовы, сироты, раненые, инвалиды снег нетающий русский на лицах несли.

На прилавках омары клешнями ворочали, ананасы лежали горой в холодке, и не мог я осмыслить, что не было очереди, что никто номеров не писал на руке.

Но сквозь все, что казалось экзотикой, роскошью и просилось на пленку цветную, мольберт, проступали, как призраки, лица заросшие с жалкой полуиндейкой смазанных черт.

Гной сочился из глаз под сомбреро соломенными. Налетели, хоть медной монеты моля, крючковатые пальцы с ногтями обломанными, словно птицы хичкоковские, на меня.

Я был белой вороной. Я был иностранец, и меня раздирали они на куски. Мне почистить ботинки все дети старались, и все шлюхи тащили меня под кусты.

И, как будто бы сгусток вселенских потемок, возле входа в сверкавший гостиничный холл гаитянский сбежавший сюда негритенок мне пытался всучить свой наивнейший холст.

Как, наверное, было ему одиноко, самоучке неполных шестнадцати лет, если он убежал из страны Бэби Дока в ту страну, где художника сытого нет.

До чего довести человечество надо, до каких пропастей, сумасшедших палат, если люди сбегают с надеждой из ада, попадая в другой безнадежнейший ад!

Здесь агрессия бедности в каждом квартале
оказала меня от угла до угла.
За рукав меня дергали, рвали, хватали,
и погоня вконец извела, загнала.

И под всхлипы сибирских далеких гармоней
и под «Славное море, священный Байкал»
убегал я от слова проклятого «моней!»¹
и от братьев по голоду я убегал.

Столько лет меня очередь лишь и кормила
черным хлебом с польнью — почти с белой,
а теперь по пятам — все голодные мира
в обезумевшей очереди за мной.

Эти люди не знали, дыша раскаленно,
что я сам — из голодного ребячья,
что войной меня стукнуло и расколото
так, что надвое — детство и надвое — я.

Я в трущобы входил. Две креольских наяды
были телохранительницами со мной.
Парики из Тайваня, зады и наряды
вызывали восторг босяков у пивной.

Здесь агрессия бедности сразу исчезла,
лишь дралась детвора, шоколадно гола,
и калека в лохмотьях поднес мне жервесу²,
мне поверив, что я не чумной, из горла.

Здесь охотно снимались, в лачуги не прячась,
и в карманы не лезли, и нож не грозил.
Я был гость, а со мной дос бузнас мучачас³,
и никто у меня ничего не просил.

Мамы были строги, несмотря на субботу,
поднимали детишек, игравших в пыли,
и внушали со вздохом: «Пора на работу...» —
и детишки опять попрошайничать шли.

А на жалком заборе, сиявшем победно,
как реклама портняжной, где смокинги шьют,
хорохорился драный плакат: «Все для бедных!» —
и на нем толстомордый предвыборный шут.

Я спросил у одной из наяд: «Что за рыло?» —
а она усмехнулась мне как чудаку,
губы пальцем, прилипшим к помаде, прикрыла
и шепнула мне странное слово: «Фуку!»

Я спросил осторожно: «Фуку — это имя?» —
а она, убедившись, что я обормот,
хохоча, заиграла боками тугими
и лукаво ответила: «Наоборот!»

И все нищие разом, зубами из стали
и беззубыми ртами грозя чужаку,
повернулись к плакату и захохотали,
повторяя, как дуя на свечку: «Фуку!»

¹ Деньги (англ.).

² Пиво (исп.).

³ Две хороших девочки (исп.).

И поежился шут на плакате — из шайки
прочих рыл, обещающих всем чудеса,
рыл, которые, словно с ножом попрошайки,
у голодных вытягивают голоса.

Эти рыла, размноженные всезаборно,
ордена из народного голода льют,
из народного голода делают бомбы,
из народного голода смокинги шьют.

Не могу созерцать нищету умиленно.
Что мне сделать, чтоб тело мое или дух
разломать, как спасительный хлеб, на миллионы
крох, кусманов, горбушек, ломтей и краух?

И в соборе готическом Санто-Доминго
две сестры — две наяды креольских ночей,
оробев неожиданно, с тайной заминкой
у мадонны поставили десять свечей.

Пояснила одна из печальных двойняшек
с каплей воска, светящейся на рукаве:
«За умерших сестреночек и братиков наших.
Десять умерло. Выжили только мы две...»

И не грянул с небес ожидаемый голос,
лишь блеснула слеза на креольской скуле,
и прижался мой детский, российский мой голод
к необъятному голоду на земле...

— Только вы нас можете выручить, только вы... — еще раз повторил мужчина с честными голубыми глазами, в ковбойке с протертинками на воротнике, с брезентовым, не слишком полным, выцветшим рюкзаком за плечами.

Мужчина держал за руку мальчика — тоненького, шмурыгающего носом, в коротеньких штанишках, в беленьких носочках, на одном из которых сиротливо зацепился репейник. У мальчика были такие же, только еще более ясные голубые глаза, лучившиеся из-под льняной челки.

Этот незнакомый мне мужчина ранним утром пришел в мою московскую квартиру со следующей историей. Он инженер-судоремонтник, работает на Камчатке. Приехал с сыном в Москву в отпуск, их обокрали. Вытащили все — деньги, документы. Знакомых в Москве нет, но я — его любимый поэт и, следовательно, самый близкий в Москве человек. Вот он и подумал, что я ему не откажу, если он попросит у меня деньги на два авиабилета до Петропавловска-на-Камчатке. А откуда он мне их, конечно, немедленно вышлет телеграфом.

— Сынок, почитай дяде Жене его стихи, — ласково сказал мужчина. — Пусть он увидит, как у нас в семье его любят...

Мальчик пригладил челку ладошкой, выпрямился и начал звонко читать:

— «О, свадьбы в дни военные!»

Деньги я дал. С той поры прошло лет пятнадцать, и у этого мальчика, наверно, появились свои дети, но никакого телеграфного перевода с Камчатки я так и не получил. Видимо, этот растрогавший меня маленький концерт был хорошо отрепетирован. Меня почему-то вся эта история с профессиональным шантажом сентиментальностью сильно задела.

Все мое военное детство было в долг. Мне давали в долг без отдачи хлеб, кров, деньги, ласку, добрые советы и даже продуктовые карточки. Никто не ждал, что я это верну, да и я не обещал и обещать не мог. А вот возвращаю, до сих пор возвращаю.

Поэтому я стараюсь давать в долг деньги, даже нарываясь на обманы. Но я стал замечать, что иногда люди, взявшие у тебя в долг, начинают тебя же потихоньку ненавидеть, ибо ты — живое напоминание об их долге. А все-таки деньги надо давать. Но откуда их взять столько, чтобы хватило на всех?

В детях трущобных с рожденья умника:
надо быть гибким,

подобно лиане.

Дети свой город Санто-Доминго
распределили

на сферы влияний:

этому — «Карлтон»,

этому — «Хилтон».

Что же поделаешь —

надо быть хитрым.

Дети,

в чьем веденье был мой отельчик,
не допускали бесплатных утечек
всех иностранных клиентов наружу,
каждого нежно тряся,

словно грушу.

Ждали,

когда возвратятся клиенты,

дети,

как маленькие монументы,
глядя с просительностью умеренной,
полные, впрочем, прозрачных намерений.

Дети,

работая в сговоре с «лобби»,
знали по имени каждого Бобби,
каждого Джона,

каждого Фрэнка
с просьбами дружеского оттенка.

Мальчик по имени Примитиво
был расположен ко мне без предела,
и мое имя диминутиво⁴
он подхватил

и пустил его в дело.

Помню, я как-то еще не проспался,
вышел небритый,

растрепан, как веник,

а Примитиво ко мне по-испански:

«Женя, дай денег!

Женя, дай денег!»

Дал.

Улыбнулся он, смуглый,

лобастый:

«Грасиас!»⁵ —

а у него из-под мышки
двоеголосо сказали мне:

«Здравствуй!» —

два голопузенькие братишки.

⁴ Уменьшительное (исп.).

⁵ Спасибо! (Исп.)

Так мы и жили
 и не тужили,
 но вот однажды,
 как праздный повеса,
 я в дорогой возвратился машине,
 а не случилось в кармане ни песо.
 И Примитиво решил, очевидно,
 что я заделался к старости скрягой,
 да и брательникам стало обидно,
 и отомстили они всей шарагой.
 Только улегся, включив эйркондишен,
 а под балкончиком
 как наважденье
 дети запели, соединившись:
 «Женя, дай денег!
 Женя, дай денег!»
 Я улыбнулся сначала,
 но после
 вдруг испугала поющая темень,
 ибо я столько услышал в той просьбе:
 «Женя, дай денег!
 Женя, дай денег!»
 В годы скитальчества и унижений
 Женькою был я—
 не только Женей.
 И говорили бродяги мне:
 «Женька,
 ты потерпел бы ишшо —
 хоть маленько.
 Бог все увидит — ташшы свой крест.
 Голод не выдаст,
 свинья не съест».
 Крест я под кожей тащил —
 не на теле.
 Голод не выдал,
 и свиньи не съели.
 Был для кого-то эстрадным и модным —
 самосознание осталось голодным.
 Перед всемирной нуждою проклятой,
 как перед страшной разверзшейся бездной,
 вы,
 кто считает, что я — богатый,
 если б вы знали —
 какой я бедный.
 Если бы это спасло от печалей
 мир,
 где голодные столькое Женьки,
 я бы стихи свои бросил печатать,
 я бы печатал одни только деньги.
 Я бы пошел
 на фальшивомонетчество,
 лишь бы тебя накормить,
 человечество!
 Но избегайте
 приторно-святочной
 благотворительности,
 как блуда.

Разве истории
 недостаточно
 благотворительности Колумба?
 Вот чем его сошествье на сушу
 и завершилось, как сновиденье,—
 криком детей,
 раздирающим душу:
 «Женя, дай денег!
 Женя, дай денег!»

— У Колумба опять грязные ногти! Что мне делать с этим ирландцем? Мы же сейчас будем переходить на укрупнение его рук! Где пример?!— по-итальянски заверещал голый до пояса кактусоногий человек в драных шортах, с носом, густо намазанным кремом от загара.

— А может быть, грязные ногти— это мужественней?— задумался вслух кинорежиссер с красным, как обожженная глина, лицом и таким же белым носом, что тоже делало его похожим на кокаиниста.

Но съемка уже началась, несмотря на творческие разногласия.

Лениво покачивались банановые пальмы. Они были настоящие, но казались искусственными на фоне декорационных индейских хижин без задних стен.

На циновке восседал Христофор Колумб— ирландский актер, страдающий от нестерпимо жмущих ботфортов, ибо свои, родные, были в спешке забыты в Испании на съемках отплытия «Санта-Марии». Сидящий рядом с Колумбом индейский касик Каонабо— японский актер— с мужеством истинного самурая молчаливо терпел на своей подшоколадной гримером шее ожерелье из акульих зубов. Колумб величественно протянул касику нитку со стеклянными бусами, весело подмигнув своим соратникам— нанятым в Риме задешево американским актерам, зарабатывающим на спагетти—вестернах. Касик благоговейно прижал дар к мускулистой груди каратиста и с достоинством передал Колумбу подарок— золотую маску из латуни. Массовка, набранная на набережной Санто-Доминго из десятидолларовых протитутток, изображающих девственных аборигенок, а также из сутенеров и люмпенов, зверски размалеванных под кровожадных воинов, затрясла соломенными юбочками, копьями и пестрыми фанерными щитами. Руки заколотили по боевым барабанам под уже записанную заранее музыку, звучащую из грундиговских усилителей.

— Раскрываюсь... Фрукты!— прорычал камермен.

Кактусоногий человек толкнул в спину одну из аборигенок, и она поплыла к Колумбу, профессионально вилая задом и покачивая на голове блюдо с тропическими фруктами из папье-маше, хотя натуральных фруктов кругом было хоть завались.

— Стоп!— сказал режиссер погребально.— Откуда взялась эта старуха?

И все вдруг увидели неизвестно как попавшую внутрь массовки сгорбленную крошечную индианку в лохмотьях. Старуха блаженно раскачивалась в такт музыке, отхлебывая ром из полупустой бутылки, сжатой морщинистыми, иссохшими ручонками ребенка, состарившегося из-за чьего-то злого колдовства.

И вдруг я вспомнил... На съемке дореволюционной ярмарки в Малоярославце я стоял в черной крылатке Циолковского у паровоза, увешанного чернобурками и соболями. Купеческие столы ломались от осетров, жареных поросят, холодца, бутылок шампанского. (Один из осетров на второй день съемки безвозвратно исчез. «Упал и разбился. Сактировали»,— скупо пояснил директор картины, а трудящиеся Малоярославца дня три наслаждались дореволюционной осетриной в местной столовке.) И внезапно в кадр вошла хрупкая седенькая старушка с авоськой в руке, в которой покачивались два плавающих

сырка и бутылка кефира. Старушка тихохонько, бочком пробиралась между гогочущими купцами в цилиндрах и шубах на хорьковом меху, между городowymi с молодецки закрученными усами, пока ее не схватила вездесущая рука второго режиссера...

Кактусоногий человечек бросился к старой индианке, с полицейской заботливостью выводя ее из кадра. Индианка никак не могла понять, почему эти люди не дают ей потанцевать с ними. Но поддельное прошлое не любит, когда в него входит настоящее настоящее.

— Опять новый дубль!— страдальчески простонал режиссер.

— Когда все это кончится?— мрачно процедил Колумб, проверяя подушечками пальцев, не отклеилась ли от жары благородная седина.— Кто-нибудь принесите мне джина с тоником...

Вот как ты повернулась,
история!

Съемка.
Санто-Доминго.
Яхт-клуб.

И посасывает
джин с тоником
Христофор Кинофильмыч Колумб.
Между так надоевшими дублями
он сидит
и скучает по Дублину.

Говорит он Охеде Алонсо:

— Чарльз,
а мы чересчур не нальемся?—
В карты режется касик из Токио —
пять минуточек подворовал,—
и подделанная история
вертит задом
под барабан.

Как ты хочешь,
трусливая выгода,
в воду прячущая концы,
чтоб история —
она выглядела
идеальненько,
без кровцы.

А историю не идеальную,
словно старую индианку,
чья-то вышвырнула рука,
чтоб не портила боевика.
А Колумб настоящий —
на хижины,

им сжигаемые дотла,
так смотрел деловито и хищно,
будто золотом станет зола.

Может быть, у Колумба украдена
вся идея напалма хитро?
Не войну ли накликал он ядерную,
забывая в мортиру ядро?
Псов охотничьих вез он в трюмах
на индейцев,

а не на зверей.

Увязая ботфортами в трупах,
кольца рвать он велел из ноздрей.
И от пороха жирная сажа,
сев на белые перья плюмажа,

Мы — те островитяне,
 кому колесованье
 принес Колумб совместно с колесом.
 Нас оглушали ромом,
 нас убивали громом,
 швыряя в муравейники лицом.
 Крестом нас покоряли
 и звали дикарями,
 свободу нализаться нам суя.
 В ком большее коварство?
 Дичайшее дикарство —
 цивилизация.
 Колумб, ты не затем ли
 явился в наши земли,
 в которых и себе могилу рыл?
 Ты по какому праву
 ел нашу гуайяву
 и по какому праву нас открыл?
 Европа не дремала —
 рабов ей было мало,
 и Африка рыдала, как вдова,
 когда, плетью сеченное,
 набило мясо черное
 поруганные наши острова.
 Разбив свои колодки,
 рабы бросались в лодки,
 но их ждала веревка на суку.
 Среди людского лова
 и родилось то слово,
 то слово африканское — «фуку».
 Фуку — не так наивно,
 Фуку — табу на имя,
 которое несчастья принесло.
 Проронишь имя это —
 беда придет как эхо:
 у имени такое ремесло.
 Как ржавчина расплаты,
 фуку съедает латы,
 и первое наложено фуку
 здесь было наконец-то
 на кости генуэзца,
 истлевшего со шпагой на боку.
 Любой доминиканец,
 священник, оборванец,
 сапожник, прибывающий каблук,
 пьянчужка из таверны,
 не скажет суеверно
 ни «Кристобаль Колон» и ни «Колумб».
 Детей приходом волка
 не утратит креолка
 и шепчет, чтобы бог не покарал:
 «Вы плакать перестаньте —
 придет к вам альмиранте!»
 (Что по-испански значит — адмирал.)

В музеях гиды липкие
 с их масляной улыбкою
 и те «Колумб» не скажут ни за что
 и лишь: «Поближе встаньте.
 Здесь кости альмиранте».
 Но имени не выдавит никто.

Убийцы или хлюсты
 убийцам ставят бюсты,
 и это ясно даже дураку.
 Но смысл народной хитрости —
 из памяти их вытрясти
 и наложить на всех убийц — фуку.
 Прославленные кости,
 стучаться в двери бросьте
 к заснувшему со вздохом бедняку,
 а если, горделивы,
 вы проскрипите «чи вы?»,
 то вам в ответ: «Фуку! Фуку! Фуку!»

Мы — те островитяне,
 кто больше христиане,
 чем все убийцы с именем Христа.
 Из ген обид не выскрести.
 Фуку — костям антихриста,
 пришедшего с подделкою креста!

Над севильским кафедральным собором, где — по испанской версии — покоились кости адмирала, реял привязанный к шпилью огромный воздушный шар, на котором было написано: «Вива генералиссимо Франко — Колумб демократии!»

Над головами многотысячной толпы, встречавшей генералиссимо, прибывшего в Севилью на открытие фиесты 1966 года, реяли обескуражившие меня лозунги: «Да здравствует 1 Мая — день международной солидарности трудящихся!», «Прочь руки британских империалистов от исконной испанской территории — Гибралтара!» — и на ожидавшуюся мной антиправительственность демонстрации не было и намека.

Генералиссимо был хитер и обладал особым искусством прикрывать антинародную сущность режима народными лозунгами. Генералиссимо встречала толпа, состоявшая не из народа, а из псевдонарода — из государственных служащих, полысевших от одобрительного поглаживания государства по их головам за верноподданность, из лавочников и предпринимателей, субсидируемых национальным банком после проверки их лояльности, из так называемых простых, а иначе говоря — обманутых людей, столько лет убеждаемых пропагандой в том, что генералиссимо их общий отец, и, наконец, из агентов в штатском с хриплыми глотками в профессиональных горловых мозолях от приветственных выкриков.

По улице, мелодично поцокивая подковами по старинным булыжинам, медленно двигалась кавалькада всадников — члены королевской семьи в национальных костюмах, аристократические амазонки в черных шляпах с белыми развевающимися перьями, знаменитые терро, сверкающие позументами. Следом за ними на скорости километров пять в час полз «мерседес» — не с пуленепробиваемыми стеклами, а совершенно открытый. Со всех сторон летели вовсе не пули, не бутылки с зажигательной смесью, а ветви сирени, орхидеи, гвоздики, розы. В «мерседесе», не возвышаясь над уровнем лобового стекла, стоял в осыпанном лепестками мундире плотенький человечек с благодушным лицом провинциального удачливого лавочника и отечески помахивал короткой рукой с толстыми тяжелыми пальцами. Когда уставала правая рука, помахивала левая, и наоборот. Лицевые мускулы не утруждали себя заигрывающей с массами улыбкой, а довольствовались выражением благожелательной государственной озбоченности. Родители поднимали на руках детей, чтобы они могли увидеть «отца нации». У многих из глаз текли неподдельные слезы гражданского восторга. Прорвавшаяся сквозь полицейский кордон

«Я — Колумб!» —
 пытался крикнуть череп,
 но, вгоняя океан в тоску,
 ветер завывал:

«Фуку!
 Фуку!»

И обратно плелся в трюм паршивый
 открыватель Индии фальшивой.
 С острова на остров плыли кости,
 будто бы непрошеные гости.
 Говорят, они в Санто-Доминго.
 Впрочем, в этом сильная сомнинка.
 Может, в склепе, отдающем гнилью,
 пустота

и лишь труха Трухильо?
 Говорят, в Севилье эти кости.
 Тычут в них туристы свои трости.
 И однажды

с ловкостью внезапной
 тросточку скелет рукою цапнул —
 видно, золотым был ободочек,
 словно кольца касиковских дочек.
 Говорят,

в Гаване эти кости
 как живые

ерзают от злости,
 ибо им до скрежета охота
 открывать и покорять кого-то.
 Если три у адмирала склепа,
 неужели было три скелета?

Или жажда славы,
 жажда власти
 разодрали кости
 на три части?

Жажда славы —
 путь прямой к бесславию,
 если кровь на славе —
 рыжей ржавью.

Вот какая слава замарала,
 как бесславье,
 кости адмирала.

Когда испанские конкистадоры спаивали индейцев «огненной водой», то потом индейцы обтачивали осколки разбитых бутылок и делали из них наконечники боевых стрел.

О, как я хотел бы навек закопать
 в грязи, под остатками статуй
 и новую кличку убийц — оккупант,
 и старую — конкистадор.

Зачем в своих трюмах вы цепи везли?
 Какая, скажите мне, смелость
 все белые пятна на карте Земли
 кровавыми пятнами сделать?

Когда ты потом умирал, адмирал,
 то, с боку ворочаясь на бок,
 хрипя, с подагрических рук отдирав
 кровь касика Каонабо.

Все связано кровью на шаре земном,
и кровь убиенного касика
легла на Колумбова внука клеймом,
за деда безвинно наказывая.

Но «Санта-Марией» моей родовой
была омулевая бочка.
За что же я маюсь виной роковой?
Мне стыдно играть в голубочка.

Я не распиная никого на крестах,
не прятал в концлагерь за проволоку,
но жжет мне ладоши, коростой пристав,
вся кровь, человечеством пролитая.

Костры инквизиций в легенды ушла.
Теперь вся планета — как плаха,
и ползают, будто тифозные вши,
мурашки всемирного страха.

И средневековье, рыча, как медведь,
под чьим-нибудь знаменем с кисточкой
то вылезет новой «охотой на ведьм»,
то очередную конкисточкой.

Поэт в нашем веке — он сам этот век.
Все страны на нем, словно раны.
Поэт — океанское кладбище всех,
кто в бронзе и кто безымянны.

Поэта тогда презирает народ,
когда он от жалкого гонора
небрежно голодных людей предает,
заевшийся выкормыш голода.

Поэт понимает во все времена,
где каждое — немилосердно,
что будет навеки бессмертна война,
пока угнетенье бессмертно.

Поэт — угнетенных всемирный посол,
не сдавший средневекью.
Не вечная слава, а вечный позор
всем тем, кто прославлен кровью.

— Почему я стал революционером? — повторил команданте Че мой вопрос и исподлобья взглянул на меня, как бы проверяя, спрашиваю я из любопытства или для меня это действительно необходимо.

Я невольно отвел взгляд — мне стало вдруг страшно. Не за себя — за него. Он был из тех, «с обреченными глазами», как писал Блок.

Команданте круто повернулся на тяжелых подкованных солдатских ботинках, на которых, казалось, еще сохранилась пыль Сьерры-Маэстры, и подошел к окну. Большая траурная бабочка, как будто вздрагивающий клочок гаванской ночи, села на звездочку, поблескивающую на берете, заложенном под погон рубашки цвета верде оливо⁶.

⁶ Зеленый, олежковый (исп.).

— Я хотел стать медиком, но потом убедился, что одной медициной человечество не спасешь...— медленно сказал команданте, не оборачиваясь.

Потом резко обернулся, и я снова отвел взгляд от его глаз, от которых исходил пронизывающий холод — уже не отсюда. Темные обводины недосыпания вокруг глаз команданте казались выжженными.

— Вы катаетесь на велосипеде? — спросил команданте.

Я поднял взгляд, ожидая увидеть улыбку, но его бледное лицо не улыбалось.

— Иногда стать революционером может помочь велосипед,— сказал команданте, опускаясь на стул и осторожно беря чашечку кофе узкими пальцами пианиста.— Подростком я задумал объехать мир на велосипеде. Однажды я забрался вместе с велосипедом в огромный грузовой самолет, летевший в Майами. Он вез лошадей на скачки. Я спрятал велосипед в стене и спрятался сам. Когда мы прилетели, то хозяева лошадей пришли в ярость. Они смертельно боялись, что мое присутствие отразится на нервной системе лошадей. Меня заперли в самолете, решив мне отомстить. Самолет раскалился от жары. Я задыхался. От жары и голода у меня начался бред... Хотите еще чашечку кофе?.. Я жевал сено, и меня рвало. Хозяева лошадей вернулись через сутки пьяные и, кажется, проигравшие. Один из них запустил в меня полупустой бутылкой кока-колы. Бутылка разбилась. В одном из осколков осталось немного жидкости. Я выпил ее и порезал себе губы. Во время обратного полета хозяева лошадей хлестали виски и дразнили меня сэндвичами. К счастью, они дали лошадям воду, и я пил из брезентового ведра вместе с лошадьми...

Разговор происходил в 1963 году, когда окаймленное бородкой трагическое лицо команданте еще не штамповали на майках, с империалистической гибкостью учитывая антиимпериалистические вкусы левой молодежи. Команданте был рядом, пил кофе, говорил, постукивая пальцами по книге о партизанской войне в Китае, наверно, не случайно находившейся на его столе. Но еще до Боливии он был живой легендой, а на живой легенде всегда есть отблеск смерти. Он сам ее искал. Согласно одной из легенд команданте неожиданно для всех вылетел вместе с горсткой соратников во Вьетнам и предложил Хо Ши Мину сражаться на его стороне, но Хо Ши Мин вежливо отказался. Команданте продолжал искать смерть, продираясь, облепленный москитами, сквозь боливийскую сельву, и его предали те самые голодные, во имя которых он сражался, потому что по его пятам вместо обещанной им свободы шли каратели, убивая каждого, кто давал ему кров. И смерть вошла в деревенскую школу Ля Игеры, где он сидел за учительским столом усталый и больной, и ошалевшим от предвкушаемых наград армейским голосом гаркнула: «Встать!» — а он только выругался, но и не подумал подняться. Говорят, что, когда в него всаживали пулю за пулей, он даже улыбался, ибо этого, может быть, и хотел. И его руки с пальцами пианиста отрубили от его мертвого тела и повезли на самолете в Ла-Пас для дактилоскопического опознания, а тело, разрубив на куски, раскидали по сельве, чтобы у него не было могилы, на которую приходили бы люди. Но если он улыбался, умирая, то, может быть, потому, что думал: лишь своей смертью люди могут добиться того, чего не могут добиться своей жизнью. Христианства, может быть, не существовало, если бы Христос умер, получая персональную пенсию.

А сейчас, держа в своей еще не отрубленной руке чашечку кофе и беспощадно глядя на меня еще не выколотыми глазами, команданте сказал:

— Голод — вот что делает людей революционерами. Или свой, или чужой. Но когда его чувствуют как свой...

Странной, уродливой розой из камня
ты распустился на нефти,
Каракас,
а под отелями
и бардаками
спят конкистадоры в ржавых кирасах.
Стянет девчонка чулочек ажурный,
ну а какой-нибудь призрак дежурный
шпагой нескромной
с дрожью в скелете
дырку
просверливает
в паркете.
Внуки наставили нефтьвышки,
мчат в лимузинах,
но ждет их расплата —
это пропарывает
покрышки
шпага Колумба,
торча из асфальта.
Люди танцуют
одной ногою,
не зная,
куда им ступить другою.
Не наступите,
ввалившись в бары,
на руки отрубленные Че Гевары!
В коктейлях
соломинками
не пораньте
выколотые глаза команданте!

Темною ночью
в трущобах Каракаса
тень Че Гевары
по склонам карабкается.
Но озарит ли всю мглу на планете
слабая звездочка на берете?
В ящичных домиках сикось-накось
здесь не центральный —
анальный Каракас.
Вниз посылает он с гор экскременты
на конкистадорские монументы,
и низвергаются
мщеньем природы
агуас неграс —
черные воды,
и на зазнавшийся центр
наползают
черная ненависть,
черная зависть.
Все, что зовет себя центром надменно,
будет наказано —
и непременно!

Между лачугами,
между халупами

Крысы-подлодки,
 зубами клацающие,—
 школ и больниц непостроенных кладбища.
 Чья-то крысиная дипломатия
 грудь с молоком
 прогрызает у матери.

В стольких —
 не совести угрызения,
 а угрызенье других —
 окрысение!

Все бы оружие земного шара,
 даже и твой автомат,
 Че Гевара,
 я поменял бы,
 честное слово,
 просто на дудочку Крысолова!

Что по земле меня гонит и гонит?
 Голод.

 Чужой и мой собственный голод.
 А по пятам,
 чтоб не смылся,
 не скрылся,—

крысы,
 из трюма Колумбова крысы.
 Жру в ресторане под чьи-то смешки,
 а с голодухи подводит кишки.

Всюду
 среди бездуховного гогота —
 холодно,
 голодно.

Видя всемирный крысизм пожирающий,
 видя утопленные утопии,
 я себя чувствую,

 как умирающий
 с голоду где-нибудь в Эфиопии.

Карандашом химическим сломанным
 номер пишу на ладони недетской.

Я —
 с четырехмиллиардным номером
 в очереди за надеждой.

Где этой очереди начало?

Там, где она кулаками стучала
 в двери зиминского магазина,
 а спекулянты шустрили крысино.

Очередь,
 став затянувшейся драмой,
 марш человечества —
 медленный самый.

Очередь эта
 у Амазонки
 тянется
 вроде сибирской поземки.

Очередь эта змеится сквозь Даллас,
 хвост этой очереди —
 в Ливане.

Люди отчаянно изголодались
 по некрысиности,
 неубиванью!

Изголодались
 до невероятия
 по некастратии,
 небюрократии!
 Как ненавидят свою голодуху
 изголодавшиеся
 по духу!
 В очередь эту встают все народы
 хоть за полынной горбушкой свободы.
 И, послунив карандашик с заминкой,
 вздрогнув,
 я ставлю номер зиминский
 на протянувшуюся из Данте
 руку отрубленную команданте...

Дубовая мощная дверь приемной, выходящая в коридор, была открыта и зафиксирована снизу тщательно оструганной деревяшечкой. Величественная, как сфинкс, опытная секретарша в пышном ярко-оранжевом парике контролировала взглядом благодаря этой мудрой деревяшечке мраморную лестницу с обитыми красным бархатом перилами, по которой ее начальница могла подняться к себе, используя вторую, непарадную дверь.

— Напрасно ждете...— сказала секретарша.— Я же вас предупредила, что она сегодня занята с иностранной делегацией.

— Ничего, я подожду,— кротко сказал я, заняв такое стратегическое место в приемной, с которого прекрасно просматривалась лестница.

— Что-то дует...— передернула плечами секретарша, поплыла к двери и носком изящной итальянской туфельки, в которую, очевидно, не без героических усилий была вбита ее могучая нога футболиста, легонько выпихнула деревяшечку из-под двери.

Дверь, прорывчав всеми пружинами, захлопнулась, перекрыв лестницу.

— А теперь стало душно,— все так же кротко, но непреклонно сказал я, поднявшись со стула. Я открыл дверь и, подогнав ногой деревяшечку, снова вбил ее на прежнее место.

Секретарша выплыла из приемной, оскорбленно возведя глаза к потолку. Вошел помощник, вернее не вошел, а целенаправленно застрял в дверях.

— Ох не жалеете вы своего времени, Евгений Александрович, ох не жалеете... А ведь оно у вас драгоценное. Я же вам объяснил, что ее сегодня не будет. Не верите нам, за бюрократов считаете, а я ведь о вашем времени пекусь,— ласково приговаривал он, стоя лицом ко мне, в то время как его левая нога, слегка уйдя назад, неловко выковыривала деревяшечку из-под двери.

— Оставьте в покое деревяшечку,— ледяным голосом сказал я.

— Какую деревяшечку?— умильно заулыбался он, продолжая в балетном пируэте действовать левой ногой.

— Вот эту,— в тон ему умильно ответил я.— Сосновенькую... крепенькую... симпатиченькую...— И, подойдя к двери, задвинул деревяшечку поглубже.

Помощник, ослабев всем телом, подавленно охнул, ибо именно в этот момент на лестнице показалась Она, явно направляясь к непарадной двери. Увидев меня, Она мгновенно оценила ситуацию и повернула к приемной, пожав мою руку крепкой теннисной рукой, на которой под кружевной оторочкой рукава скрывался шрам.

— Извините, что заставила вас ждать,— сказала Она с гостеприимной четкой улыбкой и сделала приглашающий жест в сторону кабинета, на ходу снимая норковое манто.

Я успел ей помочь, и Она оценила это молниеносным промельком женственности в озабоченных государственных глазах. Я восхитился ее выдержкой и физкультурной стройностью ее фигуры.

Вплыла секретарша, по-прежнему оскорбленно не глядя в мою сторону, и поставила поднос на краю длинного стола заседаний, обитого зеленым бильярдным сукном.

— Как всегда — откровенно? — спросила Она, вытянув из дымящегося стакана с чаем пакетик «Липтона» и раскачивая его на весу.

Она вдруг взяла мою руку в свою так, что шрам все-таки выскользнул из-под кружевной оторочки, и спросила с искренней тоской непонимания:

— Женя, ну объясните мне, ради бога, — что с вами? Вас печатают, пускают за границу. У вас есть все — талант, слава, деньги, машина, дача... У вас, кажется, счастливая семья. Ну почему вы все время пишете о страданиях, о недостатках, об очередях? Ну чего вам не хватает? А?

Пойдем со мною, команданте,
в такие дали,
где я не всхлипывал: «Подайте!» —
но подавали.

Единственная роскошь бедных
есть роскошь слова
в пивных, в колясках инвалидов,
с присвистом сплева.

В году далеком, сорок первом,
пропащем драмой,
я был мальчишкой бедным-бедным
в шапчонке драной.

Единственная роскошь бедных
есть роскошь ласки
в хлевах, в подъездах заповедных,
в толпе на пасхе.

В какой бы ни был шапке царской
и шубе с ворсом,
кажусь я мафии швейцарской
лишь нищим с форсом.

Единственная роскошь бедных —
в трамвае свалка,
зато им грошей своих медных
терять не жалко.

Как бы в карманах ни шуршало,
для подавальщиц
я, вроде драного клошара,
неподобаю.

А если есть в карманах шелест,
все к черту брошу
и я роскошно раскошелюсь
на эту роскошь.

Перрон утюжа, словно скатерть,
тая насмешку,
носильщик в жисть мне не
подкатит
свою тележку.

Умру последним из последних,
но с чувством рая.
Единственная роскошь бедных —
земля сырая.

Когда в такси бочком влезаю
без безобразий,
таксист, глаза в глаза вонзая,
брочит: «Вылазий!»

Но не дают мне лица, лица
уйти под землю.
Я так хотел бы поделиться
собой — со всеми.

Сказала девочка в Зарядье:
«У вас, мужчина,
есть что-то бедное во взгляде...
Вот в чем причина!»

Все, что я видел и увижу,
все, что умею,
я и Рязани и Парижу
не пожалею.

И я тогда расхохотался.
Конец хороший!
Я бедным был. Я им остался.
Какая роскошь!

Сломали кости мне на рынке,
вдрызг избивая,
но все отдам я Костя-Рике
и Уругваю.

Единственная роскошь бедных
есть роскошь ада,
где нету лживых морд победных
и врать не надо.

От разделенных крошек хлебных
и жизнь продлится.
Единственная роскошь бедных —
всегда делиться.

Актриса не могла разломить краюху хлеба так, как ее разломила когда-то сибирская крестьянка на перроне. Актриса очень старалась, но в пальцах была ложь. И тогда за плечом оператора я увидел в толпе любопытных старуху. У нее были глаза женщины, отстоявшей в тысячах очередях. Ее не нужно было переодевать, потому что в восемьдесят третьем году она была одета точно так же, как одевались в сорок первом.

— Может быть, попробуете вы? — тихо спросил я.

Она взяла узелок с краюхой и присела на мешок, прислоненный к бревенчатой стене железнодорожного склада. Не обращая никакого внимания на стрекот включившейся камеры, она не просто посмотрела на стоявшего перед ней мальчика, а увидела его и поняла, что он — голодный.

— Иди сюда, сынок, — не произнесла, а вздохнула она и стала развязывать узелок. Она разламывала хлеб, чувствуя каждую его шершавинку пальцами. Точно разделив пополам краюху, она протянула ее мальчику так, чтобы не обидеть жалостью. А потом, легонько поправив левой рукой седые волосы, выбившиеся из-под платка, поднесла правую ладонь ко рту лодочкой так, чтобы не выпало ни одной крошки! — слизнула их, неотрывно глядя на жадно жующего мальчика, и наконец-то не преодолела жалости, все-таки прорвавшейся из польхнувших мучительной синевой глаз. Оператор заплакал, а у меня исчезло ощущение границ между временами, между людьми, как будто передо мной была та самая сибирская крестьянка из моего детства, протягивавшая мне половину краюхи той же самой рукой с темными морщинами на ладони, с бережными бугристыми пальцами, на одном из которых тоненько светилось дешевенькое алюминиевое колечко.

Что может быть прекрасней исчезновения границ между временами, между людьми, между народами...

Я уважаю вас,
 пограничники розоволицые,
 хранящие нашу страну,
 не смыкая ресниц,
 а все-таки здорово,
 что в ленинской книге «Государство
 и революция»
 предсказан мир,
 где не будет границ.
 В каждом пограничном столбе
 есть что-то неуверенное.
 Тоска по деревьям и листьям —
 в любом.
 Наверное, самое большее наказание для дерева —
 это стать пограничным столбом.
 На пограничных столбах отдыхающие птицы,
 что это за деревья,
 не поймут, хоть убей.
 Наверно,
 люди сначала придумали границы,
 а потом границы
 стали придумывать людей.
 Границами придуманы
 полиция, армия и пограничники,
 границами придуманы
 таможни
 и паспорта.
 Но есть, слава богу,
 невидимые нити и ниточки,

А все гитлерята
хотели бы сделать планету ограбленной,
ее опутав со всех сторон
нитеями проволоки концлагерной,
как пиночетовский стадион...

Я стоял на скромном австрийском кладбище в местечке Леондинг над могилой, усаженной заботливо розовыми геранями. В могильном камне с фотографиями не было бы ничего необычного, если б не надписи: «Алоиз Гитлер. 1837—1903» и «Клара Гитлер. 1852—1907». Один из гераниевых лепестков, сдутый ветром, на мгновение повис на застекленных мрачно-добродушных сах дородного таможенника, казалось еще не просохших от многих тысяч кружек пива. Капля начинавшего накрапывать дождя уважительно ползла по седине добродетельной сухощекой фрау. В лицах родителей Гитлера я не нашел ничего крысиного. Но когда я вспоминал о том, что натворил на земле их сын, мне казалось, что под умиротворенной розовостью могильных гераней копошатся крысиные выводы.

Гитлер был мышью-полевкой, доросшей до крысы. Крысами не рождаются — ими становятся. Как же он стал крысой всемирного масштаба, загрызшей столько матерей и младенцев?

На фоне детского церковного хора в монастыре Ламбах мальчик Адольф поражает эмбриональной фюрерской позой — он стоит в заднем ряду выше всех, с подчеркнутой отдельностью, сложив руки на груди и устремив глаза в некую не видимую всем остальным точку. Впрочем, и на других фотографиях он стоит выше всех, хотя был маленького роста. На цыпочки он привставал, что ли? Откуда такая ранняя мания величия?

Он был одним из шести детей. Его пережила лишь Паула, скончавшаяся в 1960 году. Густав прожил всего два года, Ида — два года, Отто — всего несколько месяцев, Эдмонд — шесть лет. Кто знает, может быть, когда крошка Адольф появился на свет, отец ворчливо говорил матери: «Судя по всему, и этот долго не протянет...»

Может быть, Адольф, подсознательно запомнивший эти разговоры, уверовал в свою исключительность, когда выжил?

Гитлер вырос сиротой в доме тетки, приютившей его. Может быть, его озлобил черствый хлеб сиротства? Правда, никаких сведений о том, что тетка была его или держала в черном теле, нет... По некоторым версиям бабушка Гитлера по материнской линии была еврейкой, и в школе его дразнили жидом. Не отсюда ли его патологический антисемитизм? Но нет ли в этой версии антисемитского привкуса?

Две несчастных любви — одна еще в школе к девочке Штефани, а потом к кухне Анжелике Раубаль, которую родственники и знакомые затравили своим ханжеством, доведя до самоубийства в 1931 году, после чего Гитлеру подложили Еву Браун... Есть примеры, когда несчастная любовь не озлобляет, а облагораживает... Правда, не в случае с Гитлером.

Но думаю, что разгадка его озлобленности в другом.

Гитлер был несостоявшимся художником и переживал свою непризнанность как оскорбительное унижение. Я видел его рисунки и думаю, что средние профессиональные способности у него были. Но опасно, если средние способности сочетаются с агрессивной манией величия. Гитлера дважды не приняли в Академию искусств в Вене — в 1907 и 1908 годах. Тогда в Вене была большая еврейская община — в основном выходцы из Галиции, — и, возможно, именно еврей-торговцы отвергали картины Гитлера или покупали за бесценок, не догадываясь, что тем самым готовят себе будущего палача.

Как бы то ни было, прежде чем Гитлер стал крысой, внутри его появилась крыса неудовлетворенного тщеславия, раздиравшая ему кишки.

Вероятно, именно из-за тщеславия Гитлер, всячески увиливавший от службы в австрийской армии, вступил добровольцем в 16-й Баварский полк, ибо хотел доказать оружием то, чего не мог доказать кистью,— что он достоин славы.

В 1918 году у села Ла Монтань он попал под французскую атаку отравляющим газом «желтый крест» и ослеп. Когда с его глаз сняли повязку и он снова увидел свет божий, он поклялся, что станет прославленным художником. Но в день тогдашней капитуляции Германии, возможно, от обуревавших его трагических чувств он снова ослеп и когда прозрел, то на сей раз поклялся посвятить жизнь борьбе против жидов и красных, не понимавших его живописи.

Впрочем, он выполнил и первую клятву, став действительно самым прославленным художником смерти. Он расплескал кровавую краску по распоротому холсту земного шара, расставил скульптуры виселиц, воздвиг обелиски руин и впервые, еще до американского скульптора Колдера, создал изысканные проволочные композиции. Он заставил себя признать как факт, он добился того, что о нем «заговорили».

Гитлер был мелким спекулянтом, выдвинутым крупными спекулянтами. Его личная болезненная гигантомания была им нужна, чтобы развернуть свои спекуляции до гигантских кровавых масштабов. Поэтому они за Гитлера и ухватились. Фашизм — это спекуляция гигантоманией бездарностей.

Осторожней с бездарностями — особенно если в их глазах вы видите опасно энергичные искорки гигантомании.

По мрачному парадоксу в доме, где провел свое детство Гитлер, теперь живут кладбищенские могильщики.

Бардак в любой стране грозит обвалом
хотя бы тем, что в чреве бардака
порой и мягкотелым либералам
с приятцей снится сильная рука.

Потом, как будто мыслящую кильжу,
за мягкотелость отблагодаря,
она берет их, тепленьких, за шкурку
и набивает ими лагеря.

И Гитлер знал всем либералам цену.
В социализм поигрывая сам,
он, как циркач, вскарабкался на сцену
по вялым гинденбургским усам.

Вот он у микрофона перед чернью,
и эхо отдается в рупорах,
и свеженькие свастики, как черви,
танцуют на знаменах, рукавах.

Вот он орет и топает капризно
с Европой покоренной в голове,
а за его плечами — Рем как призрак,
мясник в скрипучих крагах, в галифе.

Рем думает: «Ты нужен был на время...
Тебя мы скинем, фюреришка, прочь...»
И бликами огня на шрамах Рема
играет эта факельная ночь.

И, мысли Рема чувствуя спиною,
беснуясь внешне, только для толпы,

решает Гитлер: «Не шути со мною...
На время нужен был не я, а ты...»

А Рем изображает обожанье,
не зная, что его, как гусака,
такой же ночью длинными ножами
прирежет многорукая рука.

«Хайль Гитлер!» — обезумевшие гретхен
визжат в кудряшках, взбитых, словно крем,
и Гитлер говорит с пожатьем крепким:
«Какая ночь, партайгеноссе Рем...»

Состарившийся, отяжелевший дуче, услышав шаги своей любимой, снял очки, и в его ввалившихся от бессонницы глазах заблестели так называемые скупые слезы, капнутые перед съемкой из пипетки гримера. В объятия этого покинутого почти всеми, одинокого, несчастного человека отрепетированно бросилась не предавшая своего возлюбленного даже в момент крушения его великих идей Кларетта Петаччи с такими же пипеточными слезами...

— Какой позор! — вырвалось у итальянского знаменитого режиссера, и все члены жюри Венецианского кинофестиваля 1984 года наполнили возмущенными возгласами маленький просмотровый зал. — Неофашистская парфюмерия... Манипуляция историей! Плевок в лицо фестивалю...

Яростно рыча и размахивая трубкой, из которой, как из маленького вулкана, летел пепел, западногерманский писатель Гюнтер Грасс по-буйволиному пригнул голову с прыгающими на носу очками и усами, шевелящимися от гнева.

— Резолюцион! Снять фильм с показа на фестивале. Если бы это был немецкий профашистский фильм о Гитлере, я поступил бы точно так же.

Похожий на седоголового пиренейского орла, который столько лет, вцепившись кривыми когтями в мексиканские кактусы, горько глядел через океан на отобранную у него Испанию, Рафаэль Альберти сказал:

— Это не просто пахнет фашизмом. Это воняет им.

— Мое обоняние солидаризируется, — с мягкой твердостью сказал больше напоминающий провинциального учителя, чем актера, швед Эрикссон.

— Шокинг, — с негодованием добропорядочной домохозяйки встряхнула кудельками американская сексуальная писательница Эрика Йонг.

— Это не просто дерьмо. Это опасное дерьмо, потому что его будут есть и плакать, — сказал я.

Глаза представителя администрации засуетились, задрезжали, как две тревожные черные кнопки от звонков. Одна половина лица поехала куда-то вправо, другая — влево. Нос перемещался справа налево и наоборот.

— Моментито! Разделяю ваши чувства полностью, синьоры... Это плохой фильм... Это очень плохой фильм... Это хуже, чем плохой фильм... Это позор Италии... Но администрация в сложном положении. В первый раз у нас такое, может быть, самое прогрессивное в мире жюри. Но простите мне горькую шутку, синьоры, — прогресса можно добиваться только с помощью реакции. Нас немедленно обвинят в левом экстремизме, в «руке Москвы», да-да, не улыбайтесь, синьор Евтушенко! На следующий год нашу левую администрацию разгонят — и в чьих руках окажется фестиваль? В руках таких людей, которые делали «Кларетту».

— Значит, нельзя голосовать против фашизма, потому что тем самым мы поможем фашизму? Знакомая теория, — наливаясь кровью,

засопел Грасс, с упорством буйвола глядя поверх сползших на кончик носа очков.

— К сожалению, именно так,— всплеснул руками представитель администрации.— Да-да, синьоры, это стыдно, но так.— И он даже зарозовел от гражданского стыда, как вареный осьминог.

Знаменитый итальянский режиссер в неподкупном ореоле седых волос дискомфортно заерзал шеей, как при приступе остеохондроза.

— Если мы запретим этот фильм, то нас могут упрекнуть, что мы сами пользуемся фашистскими методами,— сказал он, опуская глаза.

— Хотя это не меняет моего мнения о фильме, я вообще против любой цензуры,— с достоинством поддержала его Эрика Йонг.

— Но это же не запрет проката фильма, а лишь снятие его с фестиваля, за который мы все отвечаем! — взорвался Грасс, роняя очки с носа в пельяницу.

— В самом слове «снять» есть нечто тоталитарное,— ласково сказал один из членов жюри, покрывая сложными геометрическими узорами лист бумаги.— В Италии не любят таких слов, как «запретить» или «снять».

— Фильм настолько бездарен, что он вызовет лишь антифашистскую реакцию зрителей,— добавил другой член жюри.

За снятие фильма с фестиваля голосовали только трое иностранцев, исключая Эрику Йонг.

Представитель администрации облегченно вздохнул, поняв, что его зарплата за прогрессивную деятельность спасена — по крайней мере до следующего фестиваля.

Но Грасс не потерял своей буйволиности.

— Резолюцион! — прохрипел он.— В таком случае мы обязаны хотя бы выразить наше общее отношение к фильму протестом. Я напишу проект.

— Я тоже напишу,— сказал я, предчувствуя, что Грасс напишет нечто неподписуемое. Так оно и произошло.

— Вы слишком подчеркиваете, что фильм профашистский, а это уже политическое обвинение. Искусство должно стоять выше политики... В Италии нет ни фашизма, ни профашистских настроений. Отдельные группочки нетипичны... (Ого, давненько я не слышал даже от самых наших суровых критиков этого слова — «нетипично!») В Италии никогда не было фашизма в том смысле, как у вас в Германии, синьор Грасс, у нас, например, не было ни антисемитизма, ни газовых камер... Муссолини был всего-навсего опереточной фигурой — стоит ли принимать его всерьез?... — посыпалось со всех сторон на Грасса от большинства членов нашего самого прогрессивного в мире жюри.

За мой менее жесткий проект резолюции схватились, как мне сначала показалось, даже восторженно. Но началась коллективная правка — и это была одна из самых страшных правок за всю мою тридцатипятилетнюю литературную жизнь. Резолюция читалась справа налево и слева направо, повторяя движение лицевых мускулов представителя администрации, а также сверху вниз и снизу вверх. Взвешивалось и мусолилось каждое слово, пунктуация. Сначала я был в отчаянии, но постепенно вошел во вкус. С любопытством я ожидал, чем все это кончится, беспрестанно меняя, переставляя, вычеркивая в соответствии со всеми, часто взаимоисключающими, замечаниями. Окончательный текст резолюции, в котором почти не осталось ни одного моего слова, был изящно краток, как персидская стихотворная миниатюра:

«Мы, члены жюри Венецианского кинофестиваля, стоя на принципах свободы искусства, включающей неподцензурность, единодушно выражаем свой нравственный протест сентиментальной героизации фашизма в фильме «Кларетта», хотя мы и не запрещаем его показ на фестивале».

Я зачитал этот проект, созданный, так сказать, всем творческим коллективом, но воцарилась мертвая тишина, исключая буйволиное мычание Грасса, недовольного резолюцией как слишком мягкой.

И вдруг я понял, что резолюция и в этом виде не будет подписана.

— А нужен ли вообще коллективный протест? — наконец прервал тишину знаменитый итальянский режиссер, с легким стоном массируя себе шейные позвонки. — Каждый может высказать прессе свое мнение отдельно... В коллективных протестах всегда есть нечто стадное... Я против нивелировки индивидуальностей. Кроме того, я уверен, что нашим протестом мы создадим только рекламу этому фильму, которого, может быть, никто и не заметил бы...

— Зачем помогать реакции? — опять всплеснул руками, как щупальцами, представитель администрации.

Я любил этого знаменитого итальянского режиссера — особенно мне нравилось, как под мятежным презрительным взглядом девушки взлетали на воздух отели и небоскребы, взорванные этим взглядом, и реяла цветная рухлядь, вывалившаяся из шкафов, и летали мороженые куры в целлофановых саванах, наконец-то взмывшие в небо из холодильников.

Но он сам научил меня взрывать взглядом, и я взорвал эту комнату, и закружились обломки стола бессмысленных заседаний и бесчисленные листки черновиков так и не подписанной резолюции, и только щупальца представителя администрации, порхая отдельно от тела, все продолжали увещевающе всплескивать и всплескивать.

— Так вот вы какие — левые интеллектуалы, защитники свободы слова, — не выдержал я именно потому, что любил этого режиссера. — Вы охотно подписываете любые письма в защиту права протеста в России, потому что это вам ничего не стоит, а сами боитесь подписать протест против собственной мафии... А я-то, дурак, старался, переписывал.

Лицо знаменитого итальянского режиссера исказилось, задержалось, и вдруг я заметил, как он стареет на глазах с каждым словом, мучительно выбрасываемым из себя.

— Вы, иностранцы, завтра уедете отсюда, а нам здесь жить! — закричал он, заикаясь и держась уже обеими руками за шейные позвонки. — Вы не понимаете, что такое мафия... Они переломали кости несчастному папараццо⁸, который тайком пробрался на съемки. Он еле выжил... А я еще хочу сделать хотя бы пару фильмов, прежде чем меня найдут в каком-нибудь темном переулке с черепом, проломленным кастетом... Теперь вам все ясно?

Теперь мне стало ясно все.

Резолюция не была подписана.

Придя на просмотр «Детского сада» для журналистов и как будто подталкиваемый в спину детскими ручонками тех сибирских мальчишек, которые, встав на деревянные подставки у станков, делали во время войны снаряды, я опять не выдержал и, едва включился свет, выкричал все, что думаю о фильме «Кларетта», о том, что такое фашизм. Я был как в тумане и не слышал собственного голоса, а только хриплые сорванные голоса паровозов сорок первого года, трубившие изнутри меня.

А потом я шел по вымершим ночным венецианским улицам, и лицо Клаудиа Кардинале усмехалось надо мной с бесчисленных реклам фильма «Кларетта», который должны были показывать завтра.

Парень в шлеме мотоциклиста, поставив на тротуаре свой «харлей», прижимал к бетонной стенке девушку в таком же шлеме. Девушка не слишком сопротивлялась, и при поцелуях слышалось постукивание шлема о шлем. Когда они снова сели на мотоцикл, я увидел на белой майке девушки свастику, нечаянно отпечатавшуюся на

⁸ Фотограф, снимающий знаменитостей (итал.).

спине, прижатой парнем к бетонной стенке. «Харлей» зарычал и умчался по направлению к дикому пляжу, унося свастику, по-паучьи впившуюся в девичий позвоночник. Я подошел к бетонной стенке и потрогал пальцем кончик свастики. Свастика была свежая.

В день рождения Гитлера
под всевидящим небом России
эта жалкая кучка парней и девчонок
не просто жалка,
и сережка со свастикой крохотной —
знаком нациста, расиста —
из проколотой мочки торчит
у волчонка, а может быть, просто щенка.
Он, Васек-полупанк,
с разноцветноволосой и с веками синими Нюркой,
у которой в прическе
с такой же кустарнёвской свастикой брошь,
чуть враскачку стоит
и скрипит своей черной,
из кожзаменителя курткой.
Соблюдает порядок.
На пушку его не возьмешь.
Он стоит
посреди отягченной могилами братскими Родины.
Инвалиду он цедит:
«Папаша, хияй, отдыхай...
Ну чего ты шумишь?
Это в Индии — знак плодородия.
Мы, папаша, с индусами дружим...
Сплошное бхай-бхай!»
Как случиться могло,
чтобы эти, как мы говорим, единицы
уродились
в стране двадцати миллионов, и больше,— теней?
Что позволило им,
а вернее, помогло появиться,
что позволило им
ухватиться за свастику в ней?
Тротуарные голуби
что-то воркуют на площади каркаяще,
и во взгляде седого комбата —
отеческий гнев,
и глядит на потомков,
играющих в свастику,
Карбышев,
от позора и ужаса
заново обледенев...

Но есть имена, на которые сама история налагает после их смерти свое фуку, чтобы они перестали быть именами.

Имя этого человека старались не произносить еще при его жизни — настолько оно внушало страх.

Однажды, находясь, как ястреб, в темно-сером ратиновом пальто с поднятым воротником, он ехал в своем черном «ЗИМе» ручной сборки по своему обыкновению медленно, почти прижимаясь к бровке тротуара. Между поднятым выше подбородка кашне и низко надвинутой шляпой сквозь полузадвинутые белые занавески наблюдающе поблескивало золотое пенсне на крючковатом носу, из ноздрей торчали настороженные седые волосы.

Весело перешагивая весенние ручьи с корабликами из газет, где, возможно, были его портреты, и размахивая клеенчатым портфелем, по тротуару шла стройная, хотя и слегка толстоногая десятиклассница со вздернутым носиком и золотыми косичками, торчавшими из-под синего — под цвет глаз — берета с зазорным поросычьим хвостиком. Человеку-ястребу всегда нравились слегка толстые ноги — не чересчур, но именно слегка. Он сделал знак шоферу, и тот, прекрасно знавший привычки своего начальника, прижался к тротуару. Выскочивший из машины начальник охраны галантно спросил школьницу, не подвезти ли ее. Ей редко удавалось кататься на машинах, и она не испугалась, согласилась.

Впоследствии человек-ястреб неожиданно для самого себя привязался к ней. Она стала его единственной постоянной любовницей. Он устроил ей редкую в те времена отдельную квартиру напротив ресторана «Арагви», и она родила ему ребенка.

В 1952 году ее школьная подруга пригласила к ней на день рождения меня и еще двух других тогда гремевших лишь в коридорах Литинститута, а ныне отяжеленных славой поэтов.

Сам был в отъезде и не ожидался, однако у подъезда топтались в галошах два человека с незапоминающимися, но запоминающими лицами, а их двойники покуривали папиросы-гвоздики на каждом этаже лестничной клетки.

Стол был накрыт а-ля фуршет, как тогда не водилось, и, несмотря на то, что виктрола наигрывала танго и фокстроты, никто не танцевал, и немногие гости напряженно жались по стенам с тарелками, на которых почти нетронутно лежали фаршированные куриные гребешки, гурийская капуста и сациви без косточек, доставленные прямо из «Арагви» под личным наблюдением похожего на пенсионного циркового гиревика великого Лонгиноза Стожадзе.

— Ну почему никто не танцует? — с натянутой веселостью спрашивала хозяйка, пытаясь вытащить за руку хоть кого-нибудь в центр комнаты.

Но пространство в центре оставалось пустым, как будто там стоял неожиданно возникший сам, нахохлясь, как ястреб, в пальто с поднятым воротником, и с полей его низко надвинутой шляпы медленно капали на паркет бывшие снежинки, отсчитывая секунды наших жизней...

Через много лет после того, как человека-ястреба расстреляли, она, по ныне полузабытому выражению, сошлась с валютчиком Рокотовым, который затем тоже был расстрелян.

Так, размахивая клеенчатым портфелем, московская школьница вошла в историю из-за своих слегка толстых ног — не чересчур, но именно слегка...

Семьдесят,
если я помню,
сеньмой.
Мы на моторках
идем Колымой.
Ночь под одной из нечаянных крыш,
а в телевизоре —
здрасьте! —
Париж.
Глаза протру —
я в своем ли уме:
Неделя Франции на Колыме!
С телеэкрана глядит Азнавур
на общежитие —
бывший БУР⁹.

⁹ Барак усиленного режима.

тысячи сильных надежных рук.
 Руки, ломавшие хлеб
 не кроша,
 чтобы во мне
 удержалась душа,
 руки, которые так высоко
 в небо с рейхстага взметнули древко,
 руки, меня воспитавшие так,
 чтобы всю жизнь штурмовал я рейхстаг.
 и гнут
 под куплеты парижских актрис
 почти победившую руку —
 вниз.

Но на Колыму попадали разные люди, и не только невинные... Около остановленной на перерыв золотопромывочной драги, над которой развевалось переходящее красное знамя, на траве рядом с другими рабочими сидел старичок в латаном ватнике, еще крепенький, свеженький, с веселенькой бородавкой на кончике носа. Старичок аккуратно разрезал юкагирским ножом с обшитой мехом ручкой долговязый парниковый огурец, но не темный, а полированными боками, а нежно-зеленый, с явно не совхозными пупырышками. Старичок взял щепотку соли из спичечного коробка с портретом Гагарина, посолил обе половинки огурца и не спеша стал потирать одну о другую, чтобы соль не хрустела на зубах, а всосалась в бледные влажные семечки. Затем старичок достал из холщовой сумки с надписью «Гагра» бутылку с отвинчивающейся пробкой, где, несмотря на этикетку югославского вермута, в явно не промышленной жидкости плавали дольки чеснока, веточки укропа, листики петрушки, красный колпачок перца, и налил рассудительной струей в фарфоровую белую кружку, не предложив никому.

— Удались у тебя огурцы, Остапыч, — со вздохом сказал один из рабочих, однако глядя с завистью не на огурец, а на бутылку, нырнувшую снова в субтропики.

— А шо ж им не удалться! — осклабился старичок, индивидуально крякая и хрумкая огурцом так, что одно из семечек взлетело и присело на бородавку. — Стекла у меня в парничке двойные... Паровое отопление найкращее — на солярке... Удобреньицами не брезгую... Огирок, вин як чоловик — заботу кохае...

— Знаем, как ты, Остапыч, людей кохал на немецкой душегубке в Днепропетровске, — угрюмо пробурчал обделенный самогоном рабочий.

— Кто старое помянет — тому глаз вон, — ласковенько ответил старичок и обратился ко мне, как бы прося поддержки. — Я свои двадцать рокив отбыл и давно уже, можно сказать, полностью радянський рабочий класс. Так шо воны мене той душегубкой попрєкают? Хиба ж я туды людей запикивал — я ж тильки дверь у той душегубки захлопывал...

— К сожалению, наш лучший бригадир, — мрачно шепнул мне начальник карьера. — В прошлом году его бригада по всем показателям вперед вышла. Красное знамя надо было вручать. А как его вручать — в полицейские руки? Наконец нашли выход — премировали его путевкой в Гагру, а знамя заместителю вручили... Такой колленкор...

Предатель молодогвардейцев —
нет,

не Стахович,

не Стахевич —

теперь живет среди индейцев
и безнаказанно стареет.

Владелец вшивенького бара
под вывеской

«У самовара»,

он существует худо-бедно,
и все зовут его

дон Педро.

Он крестик носит католический.
Его семейство
увеличивается,
и в баре ползают внучата —
бештанненские индейчата.
Жует,

как принято здесь,
бетель¹⁰
он,
местных пьяниц благодетель,
но, услышав язык родимый,
он вздрогнул,
вечно подсудимый.

Он руки вытер о штаны,
смахнул с дрожащих глаз
блестинку
и мне сует мою пластинку
«Хотят ли русские войны?».
«Не надо ставить...»
«Я не буду...»

Как вы нашли меня,
иуду?

Что вам подать?
Несу, несу...

Хотите правду —
только всю?»

Из Краснодона дал он драпа
В Венесуэлу
через Мюнхен,
и мне

про ужасы гестапо
рассказывает он под мухой.
«Вот вы почти на пьедестале,
а вас
хоть una vez¹¹ пытали?»

Вам
заводную ручку
в culo¹²
втыкали.

чтобы кровь хлестнула?

Вам
в пах плескали купороса?
По пальцам били *dologoso*^{13?}
Я выдавал

сначала мертвых,
но мне сказали:
«Без уверток!»

Мою сестру
со мною рядом
они насиловали стадом.
Электропровод ткнули в ухо.
Лишь правым слышу.
В левом — глухо.

Всех предал я,
дойдя до точки,
не разом,
а поодиночке.

Что мог я
в этой мясорубке?

Я —
traidor¹⁴ Олега,
Любки.

Ошибся в имени Фадеев...
Но я не из шпиков-злодеев.
Я поперек искромсан,
вдоль.

Не я их выдал —
моя боль...»

Он мне показывает палец,
где вырван был при попытке
ноготь,

и просит он,
беззубо скалясь,
его фамилии не трогать.
«Вдруг живы мать моя,
отец?!»

Пусть думают, что я —
мертвец.

За что им эта *vergüenza*^{15?}
И наливает ром с тоской
предатель молодогвардейцев
своей трясущейся рукой...

В 1948 году неподалеку от метро «Кировские ворота» в еще не снесенной тогда библиотеке имени Тургенева шла читательская конференция школьников Дзержинского района по новому варианту романа «Молодая гвардия».

Присутствовал автор — молодо седой, истощенно красивый. Переделка романа, очевидно, далась ему нелегко, и он с заметным напряжением вслушивался в каждое слово, ввинчивая кончики пальцев в белоснежные виски, как будто его скульптурную голову дальневосточного комиссара мучила непрерывная головная боль.

Мальчики и девочки в пионерских галстуках, держа в руках шпиргалки, на сей раз составленные с горячим участием учителей, пламенно говорили о том, что если бы они оказались под гестапов-

¹⁰ Вид жевательного табака.

¹¹ Один раз (исп.).

¹² Зад (исп.).

¹³ Больно (исп.).

¹⁴ Предатель (исп.).

¹⁵ Позор (исп.).

скими пытками, то выдержали бы, как бессмертные герои Краснодона.

Я незапланированно поднял руку. В президиуме произошел легкий переполох, но слово мне дали. Я сказал:

— Ребята, как я завидую вам, потому что вы так уверены в себе. А вот у меня есть серьезный недостаток. Я не выношу физической боли. Я боюсь шприцев, прививочных игл и бормаши. Недавно, когда мне выдирали полипы из носа, я страшно орал и даже укусил врача за руку. Поэтому я не знаю, как бы я вел себя во время гестаповских пыток. Я торжественно обещаю всему собранию и вам, товарищ Фадеев, по-пионерски бороться с этим своим недостатком.

Величественная грудь представительницы гороно тяжело вздымалась от ужаса. Но она мужественно сдержалась, в последнее мгновение заменив крик общественного возмущения, уже высунувшийся из ее скромно накрашенных губ, на глубокий педагогический вздох.

— Этот мальчик — позор Дзержинского района... — сказала она скорбным голосом кондитера из «Трех толстяков», когда в любовно приготовленный им торт с цукатами и кремowymi розочками плюхнулся влетевший в окно продавец воздушных шаров. — Надеюсь, что другие учащиеся дадут достойный отпор этой вражеской вылазке...

Неожиданно для меня из зала выдернулся Ким Карацупа по кличке Цупа, который сидел на парте за моей спиной и всегда списывал у меня сочинения по литературе. Цупа преобразился. Он пошел к трибуне не расхлябанной марьинощинской походочкой, обычной для него, а почти строевым шагом, как на уроках по военному делу. Цупа пригладил рыжие вихры и произнес голосом уже не пионера, а пионервожатого:

— Как сказал Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но разве трусы, боящиеся наших советских врачей, могут летать? Таких трусов беспощадно заклеил Горький: «Рожденный ползать летать не может». Трусость ужей не к лицу нам, продолжателям дела молодогвардейцев. Мы, пионеры седьмого класса «б» двести пятьдесят четвертой школы, единодушно осуждаем поведение нашего одноклассника Жени Евтушенко и думаем, что надо поставить вопрос о его дальнейшем пребывании в пионерской организации...

— Ну почему единодушно? Говори только за себя! — услышал я голос моего соратника по футбольным пустырям Лехи Чиненкова по кличке Чина, но его выкрик потонул в общих аплодисментах.

— Постойте, постойте, ребята... — вставая, сказал неожиданно высоким, юношеским голосом Фадеев. Лицо его заливал неестественно яркий, лихорадочный румянец. — Так ведь можно вместе с водой и ребенка выплеснуть... Очень легко бить себя в грудь и заявлять, что выдержишь все пытки. А вот Женя искренне признался, что боится шприцев. Я, например, тоже боюсь. А ну-ка проявите смелость, поднимите руки все те, кто боится шприцев!

В зале засмеялись, и поднялся лес рук. Только рука Цупы не поднялась, но я-то знал, что во время прививки оспы за билет на матч «Динамо» — ЦДКА он подsunул вместо себя другого мальчишку под иглу медсестры.

— Не тот трус, кто высказывает сомнение в себе, а тот трус, кто их прячет. Смелость — это искренность, когда открыто говоришь и о чужих недостатках и о своих... Но начинать надо все-таки с самого себя, — сказал Фадеев почему-то с грустной улыбкой.

Зал, только что аплодировавший Цупе, теперь так же бурно зааплодировал писателю.

Величественная грудь представительницы гороно облегченно вздохнула.

— Наш дорогой Александр Александрович дал нам всем пример

здорового отношения к своим недостаткам, когда он учел товарищескую критику и создал новый, гораздо лучший вариант «Молодой гвардии», — сказала она.

Фадеев снова ввинтил кончики пальцев в свои белоснежные виски...

Мой старший сын
 кóвер мурыжит кедом.
Он мне, отцу,
 и сам себе —
 неведом.
Кем будет он?
 Каким?
 В шестнадцать лет
он сам —
 еще не найденный ответ.
Мой старший сын стоит на педсовете,
мой старший сын —
 мой самый трудный сын,
как все на свете
 замкнутые дети —
один.
Он тугодум,
 хотя смертельно юн.
Есть у него проклятая привычка
молчать — и все.
 К нему прилипла кличка
Молчун.
Но он в молчанье все-таки ершист.
Он взял и не по-нашему постригся,
и на уроке
 с грозным блеском фикса
учительница крикнула:
 «Фашист!»
Кто право дал такое педагогу
бить ложную гражданскую тревогу
и неубийцу —
 хоть он утопись! —
убить презренным именем убийц?!
О, если бы из гроба встал Ушинский,
он, может быть, ее назвал фашисткой.
Но надо поспокойней, наконец.
Я здесь необъективен.
 Я отец.
Мой старший сын —
 он далеко не ангел.
Как я писал,
 «застенчивый и наглый»,
стоит он
 как побритый дикобраз,
на педсовет не поднимая глаз.
Молчун,
 ходящий в школьных Стеньках Разиных,
стоит он,
 антологией немой
ошибок грамматических и нравственных,
а все-таки не чей-нибудь,
 а мой.
Мне говорят с печалью на лице:
«Есть хобби у него —
 неотвечайство.

Ну отвечай же, Петя,
приучайся!
Заговори хотя бы при отце!
У вас глухонемой какой-то сын.
В нем —
к педагогам явная недобрость,
Позавчера мы проходили образ
Раскольниковова... Вновь молчал, как сыч...
Как подойти к такому молчуну?
Ну почему молчал ты,
почему?»
Тогда он кедом ковырнул паркет
и вдруг отмстил за сбритые волосья:
«Да потому что в заданном вопросе
вы дали мне заранее ответ...»
И тут пошло —
от криков и до писка:
«Я спрашивала,
как заведено,
по всей методологии марксистской,
по четким уложениям гороно...
Ну что ты ухмыляешься бесстыже?
Вы видите теперь —
нам какво?
Вы видите, какой ваш сын?»
«Я вижу».
И правда,
вдруг увидел я его.
...Мы с ним расстались после педсовета.
Унес он молчаливо сквозь толпу
сاذнящую ненайденность ответа
и возрастные прыщики на лбу.
И я молчун,
хоть на слово и хлесток,
молчун,
который мелет без конца,
зажатый,
одинокий, как подросток,
но без отца...

У меня есть еще два сына — Саша и Тоша. Их пока не вызывают на педсоветы, поскольку Саше только шесть, а Тоше пять.

Когда я учил Сашу читать, дело шло туго, но он, очевидно по Фрейдю, мгновенно прочел вслух слово «юбка». Как и большинство детей на земле, мои сыновья постоянно около юбок, а не около моих шляющихся неизвестно где штанов. Саша вовремя начал ходить, вовремя заговорил. У Саши странная смесь взрывчатой, во все стороны расшвыриваемой энергии и неожиданных приступов подавленной сентиментальности. Он может перевернуть все кверху дном, а потом вдруг замирает, прижавшись лбом к окну, по которому ползут струйки дождя, и долго о чем-то думает.

Тоша плохо отсасывал молоко, не рос, лежал неподвижно. Родничок на его голове не закрывался.

— Плохой мальчик. Очень плохой... — проскрипела знаменитая профессор-невропатолог и безнадежно покачала безукоризненно белой шапочкой.

В наш дом вошло злое слово «цитомегаловирус».

Но моя жена-англичанка с так нравящимся всем кавказцам именем Джан не сдавалась. Она не давала Тоше умирать, не давала ему

не шевелиться, разговаривала с ним, хотя он, может быть, ничего не понимал. Впрочем, говорят, дети слышат и понимают все, даже когда они в материнской утробе.

Однажды рано утром Джан затрясла меня за плечо с глазами, полными счастливых слез:

— Посмотри!

И я увидел над боковой стенкой детской кроватки, сделанной из отходов мрачного учрежденческого ДСП, впервые поднявшуюся, как перископ, белокурую головку нашего младшего сына с уже полусмысленными глазами.

Цитомегаловирус сделал свое дело — он успел разрушить часть мозговых клеток. Но неистовая Джан с викторианским упорством раскопала новейшую программу физических упражнений, когда три человека не дают ребенку отдышаться, двигают его руки и ноги и заставляют самого двигаться. Непрерывный труд. Восемьдесят упражнений с десяти утра до шести вечера. Тогда другие клетки активизируются и принимают на себя функции разрушенных.

Появились помощники. Некоторые оказались способными лишь на помощь всплесками и быстро испарялись, исполнив разовый гуманистический долг. Я заметил, что многие могут быть добровольцами лишь по общественному поручению, а добровольное добровольчество им неведомо. Но были и те, кто работал, как волю.

Конечно, сама Джан. Ангел-хранитель нашей семьи бывшая калужская медсестра Зина, которой Тоша сказал свое самое первое в жизни слово «Зи». Геодезистка-татарка Валентина Каримовна с вкрадчивой кочевничьей походкой и черносливовыми глазами — Ки. Украинка Вера, защитившая диссертацию о воспитании детей у японцев, хотя ни разу не побывала в Стране восходящего солнца по причинам, от нее не зависящим, — Ве. Аспирантка-психолог, сибирячка, по происхождению из ссыльных поляков, Марина — Ма. Еврей, знаменитый ватерполист, просто хороший человек — Игорь. Студент-абхазец Валера, тайно пишущий стихи, из которого никогда не получится поэт, но зато получится прекрасный отец, — Ле. Похожий на Илью Муромца и одновременно на миллионера Савву Морозова, поддерживавшего подпольную организацию, шофер и бильярдист Вадим, приносящий в подарок то выигранные им бронзовые подсвечники, то банку маринованных белых грибов из тоскующего по нему родного Ярославля, — Ди. Мой старший сын Петя — Пе. Самые дисциплинированные помощники — английские студенты из Института русского языка для иностранцев, напевающие Тоше во время упражнений его любимую песенку «Black sheep»¹⁶, соперничающую только с «Крокодилем Геной». Тоша называл студентов Дж, Э, Ру, Мэ. А трудное имя Джуна он как по волшебству произнес сразу.

Образовался целый интернационал, поднимающий на ноги ребенка. Этот интернационал разминал его, мял, как скульптор мнет глину. Этот интернационал лепил из него человека. И благодарный за это маленький человек прилежно ползал по полу, дуя на маячащие перед ним зажженные спички, сопя, взбирался и спускался по лестнице, перевортывался с боку на бок, взлетал к потолку на веревочных качелях, пыхтел в прозрачной воздушной маске, и его фиалковые мамини глаза стали потихонечку думать, а ноги, раньше такие неловкие, как у деревянного бычка, стали все крепче и крепче ходить по земле.

Но в нашем доме появлялись и наблюдательствующие поучители. Ужас вызывало то, что с ребенком играют спичками. Настежь открытые форточки бросали в дрожь как потрясение основ. А одна

¹⁶ «Черная овца» (англ.).

Дама, бывшая заведующая отделом знамен в магазине «Культтоварь» на улице 25-го Октября, пришедшая узнать, не нужна ли нам домоправительница (она именно так и сказала, избегая унижительного, по ее мнению, слова «домработница»), трагически возвела руки, увидев Тошины гимнастические сооружения и кольца, ввинченные в потолок:

— Простите меня, но это же средневековая камера пыток. Ребенку прежде всего нужны покой и калорийная пища!

А с Тошей продолжали работать, и врач-логопед с библейскими печальными глазами Лариса доставала один за другим по новому звуку из его губ волшебным металлическим прутиком с шариком на конце.

А позавчера Тоша, когда мы незаметно для него перестали поддерживать его за локти, впервые начал подпрыгивать сам на старой раскладушке как на батуте и сказал трудное полуслово «пры».

Поднять бы и Петю,
и Сашу,
и Тошу,
на мам не свалив,
но если чужих, неизвестных мне брошу,
я брошу своих.
Поднять бы сирот Кампучии,
Найроби,
спасти от ракет.
Детишек чужих,
как чужого народа,
нет.
Поднять бы мальцов из Аддис-Абебы,
всем дать им поесть,
шепнуть зулусенку:
«Хотелось тебе бы
Шекспира прочесть?»
И может, от голода в Бангладеше
тот хлопчик умрет,
который привел бы к единой надежде
всемирный наш род.

Заманчив проект социального рая,
но полная стыдь,
всех в мире детишек усыновляя,
своих запустить.
Глобальность порой шовинизма спесивей.
Я так ли живу?
Обнять человечество —
это красивей,
чем просто жену.
Я занят планетой,
раздрызган,
раскрошен.
Не муж —
срамота.
Свой сын,
если он позаброшен,—
он брошен.
Он —
как сирота.
Должны мы бороться за детские души,
должны,
должны...

Но что, если под поучительской чужью
в нас

нету души?

Учитель — он доктор,
а не поучитель,

и школа —
роддом.

Сначала вы право учить получите —
учите потом.

Должны мы бороться за детские души —
но как?

Отвратно игрушечное оружие
в ребячьих руках.

Должны мы бороться за детские души
прививкой стыда,
чтоб не уродились

ни фюрер,

ни дуче

из них никогда.

И прежде чем лезть с поучительством грозным
и рваться в бой
за детские души.

пора бы нам, взрослым,

очистить свои...

В 1972 году в городе Сент-Пол, штат Миннесота, я читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге, с которого непредусмотрительно были сняты металлические стойки и канаты. Внезапно я увидел, что к рингу бегут молодые люди — человек десять. Я подумал, что они хотят поздравить меня, пожать мне руку, и шагнул к краю ринга. Лишь в последний момент я заметил, что лица у них вовсе не поздравительные, а жесткие, деловые и в руках нет никаких цветов. По залу пронеслось многочисленное «а-ах!», ибо зал видел то, чего не видел я, — еще нескольких молодых людей, вскочивших на ринг сзади и набегавших на меня со спины. Резкий толчок в спину швырнул меня вниз, прямо под ноги подоспевшим «поздравителям». Все было сработано синхронно. Меня, лежащего, начали молниеносно и четко бить ногами. Единственное, что мне запомнилось, это ритмично опускавшаяся на мои ребра, как молот, казавшаяся в тот миг гигантской рубчатая подошва альпинистского ботинка с прилипшей к ней розовой оберткой от клубничной жвачки. И еще: сквозь мелькание бьющих меня под дых ног я увидел лихорадочные фотовспышки и молоденькую девушку-фоторепортера, которая, припав на колено, снимала мое избивение так же деловито, как меня били. Мой друг и переводчик Альберт Тодд бросился ко мне, прикрывая меня всем телом. Актер Барри Бойс схватил стойку от микрофона и начал орудовать ею как палицей, случайно выбив зуб ни в чем не повинному полицейскому. Опомнившиеся зрители бросились на нападающих, и схваченные, поднятые их руками, те еще судорожно продолжали колотить ногами по воздуху, как будто старались меня добить. Задержанные оказались родившимися в США и Канаде детьми бандеровцев, сотрудничавших с Гитлером, как будто фашизм, не дотянувшийся во время войны до станции Зима, пытался достать меня в Америке. Шатаюсь, я поднялся на ринг и читал еще примерно час. Боли, как ни странно, я не чувствовал. На вечеринке после концерта ко мне подошла та самая молоденькая девушка-фоторепортер. Ее точеная лебединая шея была обвита, как змеями, ремнями «Никона» и «Хас-сенблата».

— Завтра мои снимки увидит вся Америка...— утешающе и одновременно гордо сказала она.

Возможно, как профессионалка она была и права, но мне почему-то не захотелось с ней разговаривать. Профессиональный инстинкт оказался в ней сильнее человеческого инстинкта—помочь. И вдруг я ощутил страшную боль в нижнем ребре, такую, что меня всего скрючило.

— Перелома нет...— сказал доктор, рассматривая срочно сделанный в ближайшем госпитале снимок.—Есть надлом... Мне кажется, они угодили по старому надлому... Вы никогда не попадали в автомобильную аварию или в какую-нибудь другую переделку?

И вдруг я вспомнил. Вместо рубчатой подошвы альпинистского ботинка с прилипшей к нему розовой оберткой от клубничной жвачки я увидел над собой так же вздымавшийся и опускавшийся на мои ребра каблук спекулянтского сапога с поблескивавшим полумесяцем стальной подковки, когда меня били на базаре сорок первого года. Я рассказал эту историю доктору и вдруг заметил в его несентиментальных глазах что-то похожее на слезы.

— К сожалению, в Америке мы плохо знаем о том, что ваш народ и ваши дети вынесли во время войны...— сказал доктор.— Но то, что вы рассказали, я увидел как в фильме... Почему бы вам не поставить фильм о вашем детстве?

Так во мне начался фильм «Детский сад»— от удара по старому надлому.

С моего первого надлома по ребру я больше всего ненавижу фашистов и спекулянтов.

Бьют по старому надлому,
 бьют по мне
 по пацану,
 бьют по мне
 по молодому,
 бьют по мне,
 почти седому,
 объявляя мне войну.
 Бьют фашисты,
 спекулянты
 всех живых и молодых,
 каблучищами
 таланты
 норовя пырнуть под дых.
 Бьют по старому надлому
 мясники
 и булочники.
 Бьют не только по былому —
 бьют
 по будущему.
 Сотня черная всемирна.

Ей, с нейтронным топором,
 как погром антисемитский
 снится атомный погром.
 Под ее ногами — дети.
 В них она вселяет страх
 и террором на планете
 и террором в небесах.
 По идеям бьют,
 по странам,
 топчут нации в пыли,
 бьют по стольким старым ранам
 исстрадавшейся земли.
 Но среди любых погромов,
 чуждый шкворню и ножу,
 изо всех моих надломов
 я несломленность сложу.
 Ничего, что столько маюсь
 с черной сотнею в борьбе.
 Не сломался...
 Не сломаюсь
 от надлома на ребре!

— Какие дураки...— усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты «Меркурио», где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью.— Они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо не похоже на их лица... И слава богу, что не похоже...

Стояла редкая для Чили снежная зима 1972-го, и над домом Пабло Неруды, похожим на корабль, с криками кружились чайки, перемешанные с тревожным предупреждающим снегом...

Есть третий выбор — ничего не выбрать,
когда две лжи суют исподтишка,
не превратиться в чьих-то грязных играх
ни в подхалима, ни в клеветника.

Честней в канаве где-нибудь подохнуть,
чем предпочесть сомнительную честь
от ненависти к собственным подонкам
в объятия к чужим подонкам лезть.

Интеллекту истинному срамно,
гордясь незавербованной душой,
с отечеством своим порвав рекламно,
стать заодно с реакцией чужой.

Была совсем другой интеллигентность,
когда в борьбе за высший идеал
непредставимо было, чтобы Герцен
свой «Колокол» у Шпрингера издал.

Когда твой враг — шакал, не друг — акула,
есть третий выбор: среди всей гзызни
есть меж двух стульев, если оба стула
по-разному, но все-таки грязны.

Но третий выбор мой — не просто «между».
На грязных стульях не сошелся свет.
Мой выбор — он в борьбе за всенадежду.
Без всенадежды гражданина нет.

Я выбрал то, чего не мог не выбрать.
Считаю одинаковой виной —
перед народом льстиво спину выгнуть
и повернуться к Родине спиной.

Рука генерала Пиночета не показалась мне сильной, когда я пожал ее, а скорее бескостной, бескровной, бесхарактерной. Единственно что неприятно запомнилось — это холодная влажника ладоши. В моей пожелтевшей записной книжке 1968 года после званой вечеринки в Сантьяго, устроенной одним из руководителей аэрокомпании «Лан-Чили», именно так и зафиксировано в кратких характеристиках гостей: «Ген. Пиночет. Провинц. Рука холодн., влажн.». Мы о чем-то с ним, кажется, говорили, держа бокалы с одним из самых прекрасных вин в мире — макулем. Если бы я мог предугадать, кем он станет, я бы, видимо, был памятливей. Второй раз я его видел в 1972-м на трибуне перед Ла Монедой, когда он стоял за спиной президента Альенде, слишком подчеркнуто говорившего о верности чилийских генералов, как будто он сам старался себя в этом убедить. Глаза Пиночета были прикрыты черными зеркальными очками от бивших в лицо прожекторов.

Третий раз я увидел Пиночета весной 1984-го, когда транзитом летел в Буэнос-Айрес через Сантьяго.

Генерал самодовольно, хотя несколько напряженно улыбался мне с огромного портрета в аэропорту, как бы говоря: «А вы-то меня считали провинциалом». Под портретом Пиночета был газетный киоск, где не продавалось ни одной чилийской газеты. Когда я спросил продавщицу почему, она оглянулась и доверительно шепнула:

— Да в них почти нет текста... Сплошные белые полосы — цензура вымарала... Даже в «Меркурио»... Поэтому и не продаем...

А рядом в сувенирном магазинчике я, вздрогнув, увидел дешёвенькую ширпотребную чеканку с профилем Пабло.

Им стали торговать те, кто его убил.

На Puente de los Suspiros —

На мосту Вздохов —

я,

как призрак мой собственный, вырос

над побулькиванием водостоков.

Здесь ночами давно не вздыхают.

Вздохи прежние

издыхают.

Нож за каждую пальмою брезжит.

Легче призраком быть —

не прирежут.

В прежней жизни

и в прежней эпохе

с моей прежней,

почти любимой,

здесь когда-то чужие вздохи

мы подслушивали над Лимой.

И мы тоже вздыхали,

тоже

несмущенно и невиновато,

и вселенная вся

по коже

растекалась голубовато.

И вздыхали со скрипом,

туго

даже спящие автомобили...

Понимали мы вздохи друг друга,

ну а это и значит —

любили.

Никакая не чегеваристка,

вздохом втягивая пространство,

ты в любви не боялась риска —

это было твое партизанство.

Словно вздох,

ты исчезла, Рагель.

Твое древнее имя из Библии,

как болота Боливии гиблые,

засосала вселенская цвель.

Сам я сбился с пути,

полусбился.

Как Раскольников,

сумрачно тих,

я вернулся на место убийства

наших вздохов —

твоих

и моих.

Я не с той,

и со мною не та.

Сразу две подтасовки,

подмены,

и облезлые кошки надменны

на замшелых перилах моста,

и вздыхающих нет.

Пустота.

И ни вздохами
 и ни выканьем
 не поможешь.
 Полнейший вакуум.
 Я со стенами дрался,
 с болотностью,
 но с какой-то — хоть жидкой,
 но плотностью.
 Окружен я трясиной
 и кваканьем.
 Видно, самое жидкое —
 вакуум.
 Но о вакуум бьюсь я мордою:
 видно,
 вакуум —
 самое твердое.
 Все живое считая лакомым,
 даже крики глотает вакуум.
 Словно вымер
 висящий криво
 мост,
 одетый в зеленый мох.
 Если сил не хватает для крика,
 у людей остается вздох.
 Человек распадается,
 тает,
 если сил
 и на вздох не хватает.
 Неужели сентиментальность
 превратилась в растоптанный прах
 и убежища вздохов
 остались
 только в тюрьмах,
 больницах,
 церквах?
 Неужели вздыхать отучили?
 Неужели боимся вздохнуть,
 Ибо вдруг на штыки,
 словно в Чили,
 чуть расправясь,
 напорется грудь?
 В грязь уроненное отечество
 превращается
 в пиночетество...
 На Puente de los Suspiros
 рядом с тенью твоей,
 Ракель,
 ощущаю ножей заспинность
 и заспинность штыков
 и ракет.
 Только море вздыхает грохотом,
 и вздыхают пьянчужки
 хохотом,
 притворясь,
 что им вовсе не плохо
 и поэтому не до вдоха.

Империализм — это производство вулканов.

Я был в бункере, где когда-то прятался Сомоса, когда раскаленная лава революции подступила к Манагуа.

Бункер, к моему удивлению, оказался вовсе не подземным. Внутри серого казарменного здания скрывалось несколько комнат — кабинет, столовая, спальня, ванная и кухня. Был даже крошечный садик японского типа. Это все почему-то и называлось бункером.

— Потрогайте,— предложил мне, улыбаясь, сопровождавший меня капитан.

Я потрогал одно растение, другое — все они были из пластика. Антинародная диктатура и есть пластиковый сад: сколько бы ни восторгались придворные подхалимы плодами диктатуры, их нельзя ни поест, ни понюхать.

На кожаном кресле Сомосы осталась пулевая дырка — это выстрелил сандинистский боец, выстрелил от ярости, не найдя тирана в его логове. Мне рассказали, что в ночь захвата бункера солдаты спали здесь, не снимая ботинок, — кто в алькове Сомосы, кто на диване, кто на полу. В ванную с искусственными волнами выстроилась очередь. А какая-то бездомная женщина с ребенком прикорнула прямо в кресле Сомосы, и ребенок прилежно расковыривал пулевую дырку, выколупывая набивку пальчиком.

Меня поразило то, что в бункере не было ни одной книги.

— Он не читал даже газет, потому что заранее знал все, что в них будет написано,— презрительно сказал капитан.

Никогда бы я,
никогда бы я
ни в действительности,
ни во сне
не увидел тебя,
Никарагуа,
если б не было сердца во мне.
И сердечность к народу выразили
те убийцы,
когда под хмельком
у восставшего
сердце вырезали
полицейским тупым тесаком.
Но, обвито дыханьем,
как дымом,
сердце билось комочком тутим.
Встала шерсть на собаках дьбом,
когда сердце швырнули им.
На последнем смертельном исходе
у забрызганных кровью сапог
в сердце билась
тоска по свободе —
это тоже одна из свобод.
Кровь убитых не спрячешь в сейфы.
Кровь —
на фраках,
мундирах,
манто,
Нет великих диктаторов —
все они
лишь раздувшееся ничто.
На бесчестности,
на получестности,
на банкетных помпейских столах,
на солдатщине,
на полицейщине
всех диктаторов троны стоят.

Нет,
 не вам говорить о правах человека,
 вырезатели сердца века!
 Разве право —
 это расправа,
 затыкание ртов,
 изуверство?
 Среди прав человека —
 право
 на невырезанное сердце.
 У свободы так много слагаемых,
 но народ плюс восстание —
 грозно.
 Нет
 диктаторов несвергаемых.
 Есть —
 свергаемые слишком поздно.

После падения военной диктатуры в Аргентине на Международную книжную ярмарку 1984 года в Буэнос-Айресе выплеснулось буквально все, что было под запретом. Впервые за столькие годы на стендах стояла бывшая нелегальная литература — Маркс, Энгельс, Ленин, Хосе Марти, Че Гевара, Фидель Кастро. Лавина свободы несла с собой и мусор. Кропоткин и Бакунин соседствовали с иллюстрированной историей борделей, а далее — Мао Цзэдун, «Камасутра», Троцкий, Бухарин, шведский бестселлер «Исповедь лесбиянки». Итальянского писателя Итало Кальвино аргентинцы чуть не разорвали от восторга, когда он вскользь бросил на читательской конференции банальное в Европе мазохистское выражение левых интеллектуалов: «Мы все изолгались. Пора кончать». Не в состоянии осмыслить бросаемых ему под ноги цветов и ярко-красных следов помады, припечатываемых ему на щеки губами рыдающих аргентинок, Кальвино растерянно хлопал глазами. Он просто, наверно, забыл или не знал, что еще год назад, когда на улицах Буэнос-Айреса собиралось больше чем два-три человека, их арестовывали и часто они исчезали без суда и следствия, расстрелянные и задушенные где-нибудь в застенках и на пустырях или утопленные в море. Во многих случаях их трупы бросали в строительные котлованы и вмуровывали в бетонные фундаменты новых отелей и банков. Так появилось в Аргентине страшное слово *desaparecidos* — исчезнувшие.

На первый бесцензурный политический фильм, сделанный в Аргентине по сценарию уругвайца-эмигранта Марио Бенедетти, стояли тысячные очереди. При фразе героя, морально разложившегося, однако испытывающего муки совести аргентинского Климса Самгина, что-то вроде: «Все наши газеты годятся лишь на подтирку», зрители аплодировали и топали ногами.

Залы книжной ярмарки были затоплены народом, приходившим покупать бывшие запрещенные книги с огромными сумками и даже с дерюжными мешками. Чтобы перекусить в буфете, надо было стоять в очереди часа полтора. Среди этого пиршества мысли я порядком изголодался. Когда перед самым моим носом, чуть не задев его, в чьей-то руке проплыл бумажный подносик с сэндвичем, внутри которого покоилась дымящаяся сосиска, сбрызнутая золотой струей горчицы, я невольно облизнулся. Неожиданно рука, в которой был подносик, сняла с него сэндвич и с поразившей меня непосредственностью ткнула мне прямо в рот, чтобы я откусил. Именно — не разломила пополам, а ткнула.

— Только половину, компаньеро, — на всякий случай сказал ба-
 систый, почти мужской, но все-таки женский голос.

Жадно прожевывая сандвич, я увидел перед собой высоченную, почти одного роста со мной, черноволосую, с редкими сединками женщину, у которой за могучими плечами висел рюкзак. Внутри рюкзака, набитого под завязку, прорисовывались острые ребра книг. Женщина потрясла меня своей почти сибирской, военного образца грубоватой сердобольностью к изголодавшемуся человеку.

Мы познакомились. Ее звали Магдалена. Она была сельской учительницей, приехавшей из далекой горной провинции покупать книги для школьной библиотеки.

Я пригласил ее в литературное кафе и по дороге украдкой ее разглядывал. Магдалене было лет тридцать пять. Она была по-своему красива, хотя все в ней было прямолинейно, грубовато, укрупненно — слова, жесты, руки, ноги. Да, о ногах. Без чулок, исцарапанные, видимо, горными колючками, обутые в пыльные альпинистские ботинки, они были загорелы, стройны и необозримы, правда, излишне основательны, как дорические колонны. Но особенно прекрасны были ее коленки, независимо торчавшие из-под холщовой юбки с крестьянской вышивкой, — крепкие, мощные, как лбы двух маленьких слонят. Она уловила мой взгляд и усмехнулась — не зло, но неодобрительно.

Стены литературного кафе были завешаны, как легализованными прокламациями, стихами бесследно исчезнувших во время диктатуры поэтов. Магдалена, почти не притронувшись к вину, встала, оставила рюкзак с книгами на полу и медленно пошла вдоль стен, читая и беззвучно шевеля губами. Потом она села и залпом хлопнула целый бокал. Она вообще не стеснялась, и в этом была ее прелесть.

— Я знала многих из этих поэтов лично... — мрачновато сказала Магдалена.

— Вы ходили на их выступления? — спросил я.

— Нет, я их арестовывала... — ответила она.

Это говорю вам я,

Магдалена,

бывшая женщина-полицейский.

Как видите,

я не в крови по колена,
да и коленки такие ценятся.

Нам не разрешались

никакие мини,

но я не опустила

до казенных макси,

и торчали колени

как две кругленьких мины

над сапогами в государственной ваксе.

И когда я высматривала в Буэнос-Айресе,

нет ли врагов государства поблизости,

нравилось мне,

что меня побаиваются

и одновременно

на коленки облизываются.

Как дыду,

меня в школе дразнили водокачкой,
и сделалась я от обиды

стукачкой

и, горя желанием спасти Аргентину,

в доносах рисовала

страшную картину,

где в заговоре школьном

даже первоклашки

пишут закодированно

на промокашке.

Меня заметили.

Мне дали кличку.

Общение с полицией

вошло в привычку.

Но меня

морально унижало ступачество.

Я хотела

перехода в новое качество.

И я стала,

контролируя Рио-дель-Плату,

спасать Аргентину

за полицейскую зарплату.

Я мечтала попасть

в детективную эпопею.

Я была молода еще,

хороша еще

и над газовой плиткой

подсушивала португую,

чтоб она поскрипывала

более устрашающе.

Я вступила в полицию

по убеждениям,

а отчасти

от ненависти к учреждениям,

но полиция

оказалась учреждением тоже,

и в полиции тоже —

рожа на роже.

Я была

патриотка

и каратистка,

и меня из начальства никто не тискал,

правда, насиловали глазами,

но это — везде,

как вы знаете сами.

Наши агенты

называли агентами

всех,

кого считали интеллигентами.

И кого я из мыслящих не арестовывала!

Разве что только не Аристотеля.

В квартиры,

намеченные заранее,

я вламывалась

наподобие танка,

и от счастья правительственного задания

кобура на боку

танцевала танго.

Но заметила я

в сослуживцах доблестных,

что они

прикарманивают при обысках

магнитофоны,

а особенно видео,

и это

меня

идеологически обидело.

И я постепенно поняла не без натуги

то, что не каждому понять удастся,—

какие отвратные
у государства слуги,
какие симпатичные
враги у государства.
И однажды один
очень милый такой «подрывной элемент»
улыбнулся,
глазами жалея меня,
как при грустном гадании:
«Эх, мучача...
А может быть, внук твой когда-нибудь
на свиданье придет
не под чей-нибудь —
мой монумент...»
Он сказал это, может, не очень-то скромно,
но когда увели его не в тюрьму,
а швырнули в бетономешалку,
бетон выдающую с кровью,
почему-то поверила я ему.
Он писателем был.
Я припрятала при конфискации
тоненький том,
а когда я прочла —
заревела,
как будто пробило платину,
ибо я поняла
не беременным в жизни ни разу еще животом,
что такие, как он,
и спасали мою Аргентину.
А другого писателя
в спину пихнули прикладом при мне
и поставили к стенке,
но не расстреляли, подонки,
а размазали тело его
«студебекером»
по стене
так, что брызнули на радиатор
кровавые клочья печенки.
Все исчезли они без суда.
Все исчезли они без следа.
Проклиная свое невежество
патриотической дуры,
я ушла из полиции
и поклялась навсегда
стать учительницей литературы!
И теперь я отмаливаю грехи
в деревенской школе,
куда попросилась,
и крестьянским детишкам
читаю стихи
этих исчезнувших —
desaparecidos.
А ночами
я корчусь на безмужней простыне,
с дурацкими коленками,
бессмысленно ногостая,
и местный аптекарь
украдкой приходит ко мне
и поспешно ерзает,
не снимая галстука.

Не ловите ворон.
 Я —
 против исторического рабства и холопства
 Любого культа личности
 я личный враг.
 Но чем я,
 спрашивается,
 хуже Хеопса?
 Поэтому я строю себе саркофаг.
 В России,
 товарищи,
 фараонами
 рабочий класс
 называл городских.
 Все лучшее сработано
 рабочими миллионами,
 а где,
 я спрашиваю,
 саркофаги у них?
 Я ставил себе памятник
 мостами и плотинами.
 За что меня в могилу пихать,
 как в подвал?
 Я никого
 никогда
 не эксплуатировал
 и себя
 эксплуатировать
 не давал.
 Я, конечно,
 не Пушкин и не Высоцкий.
 Мне меряться славой с ними нелегко,
 но мне не нравится совет:
 «Не высовываться!»
 Я хочу высовываться
 высоко!
 Представьте,
 товарищи,
 страшную жизнь Пугачевой —
 к ней все человечество лезет,
 ей пишет,
 звонит.
 А я похитрей.
 Мне не надо прижизненной славы дешевой.
 Я хочу после смерти быть знаменит!
 По мнению скромников,
 это нескромно,
 неловко,
 а я себе строю...
 Пусть думает там, в Пентагоне,
 какой-то дурак,
 что сооружается новая ракетная установка,—
 а это Сарапульский
 строит себе саркофаг!
 «Что это за штука?» —
 спросит,
 гуляя с детьми-крохотульками,
 в трехтысячном году
 марсианский интурист.

А ему ответят:
 «Саркофаг Сарапулькина!
 Был на Колыме
 такой бульдозерист»...
 Ну что, помогаете
 или за водкой потопали?
 Вижу по глазам —
 вам нужен фараон.
 Кстати,
 работаю исключительно на сэкономленном топливе,
 так что государству
 не наносится урон.
 В ларек опоздаете?
 Эх вы, работяги!
 Вы не класс рабочий,
 а так,
 лабуда.
 Делали бы лучше вы себе саркофаги,
 может быть, пили бы меньше тогда...»
 И всех фараонов отвергая начисто,
 а также алкоголиков,
 рвущихся к ларьку,
 он их посылает
 на то, чем были зачаты...
 Это —
 сарапулькинское фуку!

Антонио Грамши когда-то сказал: «Я — пессимист по своим на-
 блюдениям, но оптимист по своим действиям».

Я видел разруху войны,
 но и мир лицемерный — разруха.
 У лжемиротворцев
 крысиные рыльца в пушку.
 Всем тем,
 кто посеяли голод и тела
 и духа,—
 фуку!
 Забыли мы имя строителя храма Дианы Эфесской,
 но помним, кто сжег этот храм.
 Непомерный почет фашистенку,
 ценку.
 Всем вам,
 геростраты,
 кастраты,
 сажавшие,
 вешавшие,—
 фуку!
 Достойны ли славы
 доносчики и лизоблюды?
 Зачем имена стукачей
 позволять языку?
 А вот ведь к Христу присоседилось липкое имя Иуды —
 фуку!
 За что удостоился статуй
 мясник Александр Македонский?
 А Наполеон — Пантеона?
 За что эта честь окровавленному
 толстяку?
 В музеях куда ни ткнешься —
 прославленные подонки...

Фуку!

Усатым жуком навозным

прополз в историю Бисмарк.

Распутин размазан по книгам

подобно густому плевку.

Из энциклопедий всемирных

пора уже сделать бы высморк —

фуку!

А ты за какие заслуги

еще в неизвестность не канул,

еще мельтешишь на экране,

хотя превратился в труху,

ефрейтор, колумб геноцида,

блицкрига и газовых камер?

Фуку!

И вам, кровавая мелочь,

хеопсы-провинциалы,

которые лезли по трупам —

лишь бы им быть наверху,

сомосы и пиночеты,

банановые генералы,—

фуку!

Всем тем, кто в крови по локоть,

но хочет выглядеть чистенько,

держа про запас наготове

колючую проволоку,

всем тем, в ком хотя бы крысиночка,

всем тем, в ком хотя бы
фашистинка,—

фуку!

Джек Руби прославленной Босха.

Но слава ничтожеств — ничтожна,

и если нажать на кнопку

втемяшится в чью-то башку,

свое последнее слово

планета провоет истошно:

«Фуку!»

Сикейрос писал мой портрет.

Между нами на забрызганном красками табурете стояла бутылка вина, к горлышку которой припадали то он, то я, потому что мы оба измучились. Холст был повернут ко мне обратной стороной, и что на нем происходило, я не видел.

У Сикейроса было лицо Мефистофеля.

Примерно через два часа Сикейрос сунул кисть в уже пустую бутылку и резко повернул ко мне холст лицевой стороной.

— Ну как? — спросил он торжествующе.

Я подавленно молчал, глядя на нечто сплюснутое, твердокаменно-бездушное. Но что я мог сказать человеку, который воевал сначала против Панчо Вильи, потом вместе с ним участвовал в покушении на Троцкого? Наши масштабы были несоизмеримы. Однако я все-таки застенчиво пролепетал:

— Мне кажется, чего-то не хватает..

— Чего? — властно спросил Сикейрос, как будто его грудь снова перекрестили пулеметные ленты.

— Сердца... — выдавил я.

Сикейрос не повел и бровью. Дала себя знать революционная закалка.

— Сделаем,— сказал он голосом человека, готового на экспроприацию банка. Он вынул кисть из бутылки, обмакнул в ярко-красную

краску и молниеносно вывел у меня на груди сердце, похожее на червовый туз. Затем он подмигнул мне и приписал этой же краской в углу портрета: «Одно из тысячи лиц Евтушенко. Потом нарисую остальные 999 лиц, которых не хватает». И поставил дату и подпись.

Стараясь не глядеть на портрет, я перевел разговор на другую тему:

— У Асеева были когда-то такие строки о Маяковском: «Только ходят слабенькие версийки, слухов пыль дорожную крутя, будто где-то в дальней-дальней Мексике от него затеряно дитя». Вы ведь встречались с Маяковским, когда он приезжал в Мексику... Это правда, что у Маяковского есть сын?

Сикейрос засмеялся:

— Не трать время на долгие поиски... Завтра утром, когда будешь бриться, не забудь взглянуть в зеркало.

Последнее слово мне рано еще говорить —

говоря я почти
напоследок,

как полуисчезнувший предок,

таща в междувременье тело.

Я —

не оставлявшей обедков эпохи

случайный отгрызок, обедков.

История мной поперхнулась,

меня недогрызла,

не съела.

Почти напоследок:

я —

эвакуации точный и прочный безжалостный слепок,
и чтобы узнать меня,

вовсе не надобно бирки.

Я слеплен в пурге

буферами вагонных скрежещущих сцепок,

как будто ладонями ржавыми Транссибирки.

Почти напоследок:

я в чертовой коже ходил,

будто ада наследник.

Штанина любая

гремела при стуже

промерзлой трубой водосточной,

и чертова кожа к моей приросла,

и не слезла,

и в драках спасала

хребет позвоночный,

бессрочный.

Почти напоследок:

однажды я плакал

в тени прищосейных замызганных веток,

прижавшись башкою

к запретному красному с прожелтью знаку,

и всем, что пихали в меня

на демьяновых чьих-то банкетах,

меня

выворачивало

наизнанку.

Почти напоследок:

эпоха на мне поплясала —

от грязных сапог до балеток.

Я был не на сцене —

был сценой в крови эпохальной и рвоте,

и то, что казалось не кровью,
а жаждой подмостков,
я не сомневаюсь —
ПОДСВЕТОК,
когда-нибудь подвигом вы назовете.
Почти напоследок:
я — сорванный глас всех безгласных,
я — слабенький след всех
бесследных,
я — полуразвеянный пепел
сожженного кем-то романа.
В испуганных чинных передних
я — всех подворотен посредник,
исчадие нар,
вошебойки,
барака,
толкучки,
шалмана.

Почти напоследок:
я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять
ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эпюлетах,
в следах от ладоней чужих на плечах
с милицейски учтивым «пройдемте!».

Почти напоследок:
я — всем временам однолеток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.
Я,
словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«фуку!» прохриплю перед смертью
поддельно бессмертным
тиранам.

Почти напоследок:
поэт,
как монета петровская,
сделался редок.
Он даже пугает
соседей по шару земному,
соседок.
Но договорюсь я с потомками —
так или эдак —
почти откровенно.
Почти умирая.
Почти напоследок.

Гавана — Гуернавака — Лима — Манагуа — Санто-Доминго —
Каракас — станция Зима — Венеция — Магадан — Гульрип-
ши — Переделкино. 1963—1985 гг.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

★

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ

Рассказ

Михаилу Александровичу Ульянову

Ванька с Танькой, точнее сказать, Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна Заплатины, вечерами любили посидеть на скамейке возле своего дома. И хорошо у них это получалось, сидеть-то на скамейке-то, уютно получалось. И не то чтоб там прижавшись друг к дружке иль взявшись за руки и целуясь — всем напоказ. Нет, сидят они, бывало, обыкновенно, в обыкновенные одетые, в чем вечер застал на дворе, в том и сидят: Иван Тихонович в телогрейке, в старом речном картузе, уже без золотоцветного знака. Картуз спекся на солнце, съезжился от дождей, ветров и старости, и не надет он — как бы впопыхах наброшен на все еще кудрявую голову, от кудрей непомерно большую, вроде капусты, не завязавшейся в вилок. Картуз с сереющим на месте отколупнувшейся кокарды пятнышком кажется смешным, вроде как у циркача, и своей мутностью оттеняет или обнажает смоль крупных кудрей, просвеченных ниточками седины, той августовской сквози, что на исходе месяца желто выдохнется из глубин леса, из падей ли на вислую ветку березы, завьет ее косичкой и грустно утихнет. «Люди! Люди! — напоминает вроде бы желтым просверком береза, — осень скоро. Что же вы мчитесь куда-то? Пора бы и оглянуться, задуматься...»

Татьяна Финогеновна не желала отставать от Ивана Тихоновича в кудрях, до последнего срока завивалась в районной парикмахерской, когда прихварывала — своеручно на дому калеными коваными щипцами еще дореволюционного производства взбодряла кой-чего на голове, хотя, по правде сказать, взбодрять там уж нечего было, волос почти полностью был выношен под корень, и наново ему не было сил и времени взойти на полянине. Но и с редкими кудерьками, в ситцевом платье, давным-давно вышедшем из моды, в тесном мундирчике с карманами, именуемом в деревнях жакетом, наброшенном на плечи синеньком платочке, в беленьких, вроде бы детских носочках, Татьяна Финогеновна все равно гляделась хорошо, главное — приветливо. Жакет Татьяна Финогеновна завсе не надевала, уж ближе к осени, в холодную пору, так-то все в платьице, в носочках, и если нет платочка на плечах, уж непременно на шее что-нибудь да топорщится, чаще — газовый лоскуток, серо-дымчатый, схваченный узелком сбоку шеи.

Ивану Тихоновичу ближе к сердцу, конечно, синий платочек — краса и память незабвенных лет войны, совсем почти отцветший платочек, с бордовой каемочкой по блеклому полю. Как увидит его Иван Тихонович — стронется его сердце с места, или в сердце сдвинется что-то в то место, где теплые слезы, — вскипят они ни с того ни

с сего, порой из-за совершенного пустяка, из-за картинки в газете, или покажут по телевизору что военное, либо про разлуку запоят по радио — и вот уж подмоет ретивое, затрясет его что осенний выветренный лист...

Н-да, время! Не один он такой слезливый сделался. Не одного его мяла жизнь, валяла, утюжила, мочила и сушила. На что уж сосед его Семка-оторва — семь раз в тюрьме побывал за разбой и драки — так чуть чего, как баба, в истерику впадает, с рыданьем за голову хватается. «За что жисть погубил?» — кричит.

Ивана Тихоновича лихая сторона жизни миновала. И все у него в смысле биографии в полном порядке. Однако тоже есть чего вспомнить, есть о чем попеть и поплакать. И старость он заслужил себе спокойную. Есть домишко, есть огород, палисадник с калиной и черемухой, аккуратные поленницы под крышей — дрова из столярного цеха, струганые. «Я их еще покрасить хочу», — смеется Иван Тихонович. Во дворе хоркают два поросенка, кухонька с варевом для них дымится, ну, стайки там, назем, парник, земля, трава, полы в дому, ведра с помоями, стирка, побелка, покраска, хлопоты, заботы и все прочее, как у всех жителей деревень. А вот накатывают на Ивана Тихоновича порой такая тоска, такое невыносимое томление и предчувствия нехорошие, хоть напейся. И напился бы, да нельзя. Все из-за Тани. Татьяны Финогеновны. Она толкется по хозяйству, помогает, хлопочет, и никогда он ее не видел с немытыми руками, в том недоношенном мужском пиджаке, к которому привыкли русские бабы по селам, да так и уродуют им свой вид по сию пору, когда тряпок допална, норовят не только бабы, но и молодые девахи ходить по улице, в магазин, на базар в тапочках тряпочных и в пиджаках. Однажды, смех сказать, в доме отдыха видел Иван Тихонович: на танцы явились две подвыпившие девы с накрашенными губами и давай бацать под крик Рымбаевой — пыль столбом из-под стоштаных тапочек.

Ближе к осени и осенью Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна надевают вязанные из собачьей шерсти носки, галоши, давние-давние, но все еще глянцевито поблескивающие. Хозяин сидит на скамейке ножка на ножку, сложив их вроде ножниц и вытянув насколько позволяет не такая уж выразительная длина. Руки он отчего-то держал переплетенными на груди, вроде бы как грея пальцы под мышками, — поза скорей женская, чем мужская. У Татьяны же Финогеновны руки обычно в коленях, ладошка в ладошке, ноги широко расставлены, упористо, но не часто доводилось ей посидеть так вот, вольно, в свое удовольствие. Как бы нечаянно вцепившись в скамейку, опершись на руки, спеленатая болью и внутренним напряжением, будто беспомощный младенец пеленальником, — вот как она последнее время сидела: чаще стало ее схватывать и она боялась упасть наземь.

Иван Тихонович незаметно уговаривал супругу пойти в избу, прилечь, капель ленуть. Она ему так же незаметно — отпор: успею, мол, успею. «Ведь там лежать, в земле глубокой, и одиноко, и темно...» Не знала этих стихов Татьяна Финогеновна, но думала примерно так же — належится еще и капелек еще напьется и таблеток, они уж ей надоели, толку от них все равно никакого, и, пока еще возможно, лучше ей посидеть на свету, поглядеть на солнышко, на горы, на мимо проходящих людей, потому как она всегда была и есть к людям приветлива.

Редкий вечер бывали Заплатины на скамейке одни. Все к ним кто-нибудь да лепился, грелся возле них. И насмешливо щурила узкие глаза, совсем их в щелки топила от удовольствия общения с людьми Татьяна Финогеновна, рот ее широкой скобочкой, каковой имел бес, что «под кобылу подлез», — рот этот, со складочками в углах, в смехе такой ли всегда подвижный, то и дело обнажал ряды

казенных зубов, и, радуясь радости разлюбленной жены своей, Иван Тихонович и сам закатится, бывало, от своей ли, чужой ли шутки, закококает курочкой, наращивающей яичко, и начнет валять голову по заплоту — картуз наземь скатится, и, подняв его, бил он картуз о колено:

— Н-но, ты че это катаешься-то, парень? Куда это ты все катаешься?..

Татьяна Финогеновна стонет от смеха, вытирая слезы рукой:

— Да ну тебя! Уморил, нечистый дух! Совсем уморил!..

Со смехом, с шуткой-прибауткой легче обмануть время. Ведь не просто так Иван Тихонович с Татьяной Финогеновной сидят на скамейке, с умыслом сидят — ждут из недалекого города вечернюю электричку, вдруг с нею, с электричкой-то, придет Клавочка, внучка их единственная. Они ее все время ждут, каждый день, каждый вечер. И хотя внучка очень занята, родители ее и того занятей, да случится нечаянная оказия: карантин в садике либо мамуля триппом заболит, ребенку при ней быть нельзя — заразно; при них же, при дедушке с бабушкой, в самый раз, тут никогда и никакой заразы не бывает. Да здоровый человек у Клавочки мамуля. Очень. Редко привозят Клавочку в деревню. Мамуля у Клавочки зав производством треста ресторанов, считай что самоглавнейшего в городе предпринятия. Она вся в золоте, в седом герцогском парике времен короля Людовика Прекрасного, в платье сафари, не то треснувшем на заду от ресторанного харча, не то для фасону вспоротом.

Татьяна Финогеновна, завидев невестку на деревенской улице, всегда пугливо замирала в себе, боясь, что у невестки что-нибудь природно лопнет и обнажится. Ребенчишко-то, Клавочка, тоже разодета по всей моде по заграничной, по последнему крику ее, эхо которого, достигнув сибирских пределов, делается скорее похоже на хрип и обретает такие уж тона и формы, что те, кто породил моду в Европах, увидев, как тут, на наших необъятных просторах, все усовершенствовалось, махнули бы на свое ремесло рукой, убрали бы раскройные ножницы в сундук: ходите снова нагишом, люди, — нагишом приличнее...

Современно одетая семья, современно ододетная, утомленная городом, неторопливо шествует по деревенской улице с электрички таким порядком: впереди она — глава семьи, устряпанная работой, надсаженная властью, земными благами и наслаждениями; за нею вприпрыжку, во французском берете с бомбошкой, в заграничных гольфиках, в кофточке с шелковым жабо, в желтеньких штанах с белыми лампасами ребенчишко, Клавочка.

Мамуля враждебно цедит сквозь зубы, покрытые итальянским лаком, чтоб не портились от жирной пищи:

— Ты у меня, гада, упади! Ты у меня, сикуха, ноги повреди! Я те повредю!..

Клавочка осенью пойдет в школу и вместе с самыми одаренными воспитанниками своего садика уже занимается в подготовительном классе местного хореографического училища. Ноги ее мамуле дороги, пожалуй что, дороже и нужней, чем сама дочь. Мамуля, когда выпьет, надсаженным от курева голосом аркает:

— Моя Клавка, когда вырастет, усех танцами прэзойдет! А ту, как ее — да биксу-то, что с балету, что народная артистка, видали мы таких народных! — ту у гроб загонит!..

На почтительном отдалении от семьи тащится папуля и вторит:

— Клава, не упади! Доченька, осторожно! Зачем ты расстраиваешь мамулю? Ты нарочно, да? Нарочно?!

Сын Заплатиных Петруша — кудрявый, в отца, в мать, искроглазый, большеротый красавчик, без характера и без доходной должности. Он работает на конвейере или на контейнере — мамуля никак не может запомнить. Зарабатывает он четыреста рэ в месяц,

но все равно считается, его содержит баба, и он согласен с этим, как и с тем, что давно бы пропал и спился без нее. По мужицкой части и говорить не о чем, презрительно заверяет невестка, и, должно быть, что-то и в самом деле неладно у Петруши — с чего бы парню лебезить перед женою, терпеть хахалей, с которыми она, считай что, в открытую путается.

Петруша прет две сумки в руках, прихватив еще бидон с городским питьем, настоящим на заморских травках. Деревня в горах стоит, вода здесь известковая, лишняя известь вредна для костей, говорил мамуле на курорте какой-то знаменитый профессор. Травки эти дорогие и полезные нынче пьют все высокоумные и развитые люди. Правда, травки те заморские Петруша выдывал на приенисейском покосе, да кто ему поверит? Нужен настой, значит, тащи — для похудения жене, для эластичности кожи и для укрепления костей дочке. Еще Петруша локтем прижимает к груди собачку с блатной мордой. У собаки из-под челки мерцает глаз вылитого качинского урки. Живущая в современных апартаментах, спящая на отдельной тахте и вкушающая только сахар и птичий фарш со сливками, собака негодует и тьякает, от страха или наглости облаивает всех встречаемых и поперечных в электричке, на улице, в городе и в деревне. Мамаля успокаивает собачку:

— Жозефиночка, не порти нервов... — И сразу с собачки на мужа, да так, чтоб родителям было слышно: — Нарочно с машиной резину тянет!.. Чтоб жену не увели с машиной! Го-го-го! Та я же сама утягну хоть артиста, хоть енерала!

Петруша втягивает голову в плечи и всего себя готов утянуть, куда-нибудь спрятаться от этого все сокрушающего хамства, уверенного в своем праве сминать на своем пути все, что к нему недружелюбно.

Петруша еще издали отыскивает глазами мать с отцом на скамейке, ловит их взглядом и начинает им улыбаться приветливо и виновато: что, мол, сделать, вляпался, терплю, нюхаю, но сам я все тот же ваш Петруша, не испохабился, не предал дом и не очернил кровь вашу...

— Дедуля! Бабуля! — обгоняя мать, звенит Клавоочка. — Здра-а-а-ст-вуйте-э!

Иван Тихонович при виде невестки начинает всплывать черной пеной, под картузом у него вроде бы дымится. «Явля-а-ается, выдра кабацкая! Осчастливила родителей, пас-с-куда!..» — но увидев Клавоочку, теряет и зло и всякий рассудок, бросается навстречу внучке, на ходу прихватывая куда-то укатывающийся картуз, и, сронив галошу, а то и обе, шлепает в носках по пыли иль по грязи навстречу мчащемуся, двоящемуся и троящемуся в глазах от враз накотивших слез существу, ради которого Иван Тихонович терпит стерву невестку, размазю Петрушу, ради которого он умрет, если потребует, снесет любую низость, поношение, казнь, совершит подвиг или ограбление местного магазина, смертоубийство, поджог и всякое другое бесчестье... Но бог миловал его от крайних дел и поступков, ничего пока не надо подламывать, никого пока не требуется истреблять. И невестка и Петруша пусть существуют ради того, чтоб внучка была на свете, который исключительно для нее, пожалуй что, и создан.

Дед несет в беремени от радости и щекотки визжащую девчушку, роется как бы шуточно, на самом же деле прячет вислый нос с катящимися по нему слезами, в пышной тряпке под названием жабо, слышит руки, волосенки внучки, чует ее, пока еще маленькую, птичью теплоту, от которой совсем дуреет, задыхается, словно от печного жара, придумывает и не может придумать самое лучшее слово:

— А тютюшеньки-тютю! А люлюшеньки-люлю! А малюшеньки-малю...

— Деда, ты что болтаешь? Я уж большая! — слышит Иван Тихонович и, отрезвляясь, опускает внучку наземь, ведет ее за руку и, не соглашаясь, твердит:

— Да какая же ты большая? Эко выдумала!.. Эко...— Но надо во всем потрафлять баловнице, для этого ж он ее ждал, встречал, не спорить же с нею, не для того же он столько терпел, все глаза проглядел, и, приостановившись, он озадаченно шарит в кудрях под картузом и, как бы только что ладом разглядев внучку, поражается вслух: — И правда! И правда! Экая вымахала! Совсем девонькой стала! — А хочется-то ему запротестовать, окликнуть: «Не торопись быть большой, не спеши, не надо! Побудь в детстве, в золотой поре!» Да разве жизнь окликом остановишь? И он согласен и растерянно твердит, подводя внучку к бабушке: — Ах ты девонька ты моя!

«Девонька моя! Девонька моя!» — не знает внучка, что так дед однажды назвал ее бабушку. И не было для нее никогда более ласкового, более потаенного, самого-самого, для нее только говоримого слова, со dna души взятого, из твердой раковины, как жемчужинка, выковырнутого. И посеячас, когда плохо бабушке, когда дед с нею отваживается, успокаивает ее, просит, молит ли — не сразу и поймешь — тем единственным словом: «Не покидай меня, девонька! Как я без тебя буду?..»

Клавочка растет хорошо, развивается нормально. Чалдонского корню девчонка, дедовой и бабкиной закваски. Она делает вид, что боится матери, но слушается отца и жалеет его недетской уже, глубокой, бабьей жалостью. Клавочка любит деда и бабу, собаку Жозефиночку лупит чем попало, мажет ей нос горчицей. Один раз Клавочка уже приласкала мать туфлей, покамест мягкой, но строго предупредила: когда вырастет, будет бить ее поленом, и если она, пьянь, ничего не осознает — уйдет жить с папой к бабушке и деду.

— Ой, бабуля! — печально говорит Клавочка, увидев, как Татьяна Финогеновна вцепилась в скамейку, и глаза ее, налитые слезами любви и страдания, становятся скорбно-дикими, что у колдуна. Беззвучный крик, немая в них жалоба.— Ты опять болеешь, бабушка?

Осторожно забравшись на колени, девчушка жмет щекой к бабкиной, шарит ручонкой по выношенному жакету и гладит, успокаивает, исцеляет. Бабушка, смертно сцепив руками тугое телишко внучки, тянет ее к себе, плотнее прижимает к груди и ничего-ничего не может ни выкрикнуть, ни сказать, даже пошевелиться, застонать, пожаловаться не может. И только глаза ее все тяжелеют и тяжелеют от горького бессилия. Зрачки застит влагою, и они, как солнышко в дождь, дробятся в текучем, переменчивом свете, укатываются за горы, за оком земли, за живую синеву, в бесцветие, в беззрачие, в безвестность...

И пока не подошли те двое, пока не омрачили сиянье вечера, не погубили счастье встречи, дедушка, глядя поверх суриком крашенного заплота на темные перевалы и что-то там, за ними, отмечая, может быть ему лишь, старому солдату, видимую небесную или какую другую твердь, жалуется внучке:

— Вот, девонька, вот, родная наша, поругай бабушку, пожури хорошеньче. Выдумывает вот... собралась нас покинуть...

Татьяна Финогеновна умерла от застарелой болезни сердца глухой зимою, и я думал, что Иван Тихонович никогда больше не выйдет вечером за ворота на скамейку, да и самое скамейку скопает, уберет, изрубит на дрова.

Но как пригрело, он появился за воротами все в том же картузе. в носках, вязанных еще самой, но уже не держал руки на груди с праздным вызовом, они болтались вроде как ненужные. Свяли, сваялись в серое сырое перо знатные кудри Ивана Тихоновича, голо-

ва и ноги, бывшие как бы приставленными к коротышистой фигуре, издали напоминающей грушу дюшес, удлинились, брюшко и зад опали, обнажилась короткая шея в вялой коже, в бескровных жилах — в укрытии потому что, без свету все это росло.

— Что сделаешь? — вздохнул Иван Тихонович, когда я приехал из города, подсел к нему и, нащупав руку, прижал ее к плахе скамейки. — Кто-то должен покинуть этот свет первым... Лучше бы мне... Да жизни не прикажешь...

Однажды под настроение Иван Тихонович рассказал мне самое сокровенное: как женился на своей незабвенной Татьяне Финогеновне. Рассказчик Иван Тихонович, как и многие мои земляки, путевый, и не буду я улучшать его повествование своим вмешательством. Пусть забудется человек, вспомнит о радостном, неповторимом, что было только в его жизни и не будет уже ни в какой другой, хотя порой нам кажется, что жизнь человека, в особенности простого, везде и всюду одинаковая. А если это и так, все равно давайте приостановимся — мы уже так редко слушаем друг друга. Не вникая в жизнь ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль, и, глядишь, когда нам больно делается, никто не поможет нам, не пожалеет, не услышит нас. И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом — сострадание?

«Родом я нездешний. Из села Изагаш. Нонче водохранилищем затоплено наше село. Стояло оно на приволье анисейском: заливы, мысы, бечовки, острова по реке — Казачий, Кислый, на островах выпасы, покосы, ягод море, весной да началом лета зацветут, бывало, берега, особо острова, дак чисто пироги рождественские, сдобные, зарумяненные, все в зажженных свечках — по воде плывут, крошками да искрами в бырь сорят. От Анисея в небо горы уходят одна другой выше, одна другой краше. Речки вострием перевалы кроют, горы на ломти режут: Киржач, Малый Малтат, Большой Малтат, Снежный Ключ, Неженский залив, Дербино, Тюбель, Погромная, дале Сисим, Убей — обе речки бурные, всякой небылью-колдовством овевянные, рыбой хорошей знатные, пушным и рогатым зверем богатые. Села большие стояли по берегам: Ошарово, Дербино, Даурское, Усть-Погромное, Новоселово.

Я рано осиротел и, как многие деревенские сироты, начинал свой трудовой путь с пастушества. Ну и насмотрелся на красоты наши местные! Не знал, куда от них деваться, глаза бы мои на них не глядели! Осиротел я очень даже просто и почти разом. Вскоре после голодного тридцать третьего года. Отец только-только за тридцать перевалил, мать и тридцати не достигла. Зимой отца на лесозаготовках давнуло. Насмерть. Весною мать тот лес, что отец заготавливала, сплавила с сельской бригадой, высадила багор в матерое бревно — ее в запань и сдернуло. Пока из воды вытащили, помяло работницу бревнами да простудилась к тому же. Недолго маялась.

И остался я на десятом году один-одинешенек, и удумали меня сельсоветские благодетели в новоселовский детдом свезти, а тетка моя, крестная, Лелькой я ее звал, как залетится ручьем: «Не дам в приют парнишку! Вы чего затеяли, супостаты?!»

Кричать-то кричала, проявляя патриотизм, но у самой четверо и муж ее, Костинтиц, — недужный, подкосили его литовкой, и нога у него сделалась наыверт, вроде кочерги. Кость в ноге болела и гнила. Он, как и положено русскому мужику, боль и горе вином глушил и до того допился, что из колхозной шорницкой, где постегонками занимался, шилом-дратвой вел вперед наш колхоз под названием «Первенец», не вылазил, дневал там и ночевал, детей своих родимых, кого как зовут и какое у кого обличье, не помнил, потому как видел их только исключительно по праздникам, и говорили про

нас и про Лельку бойкие языки обидное: «Солдатским ребятишкам вся деревня — отец!» Папуля Костинтин похохатывал да глазом подмаргивал людям, вроде как он и ни при чем тут, воистину солдат тот находчивый во всем виноват — с походу возвращался, в Изагаш его занесло, у Сысолятиных лампа горела, вот и завернул служивый на огонек...

Стали мы жить-поживать: пятеро ребят, бабка с дедкой, Костинтины родители. Лелькина сестра-перестарка по имени Дарья, умом и красотой ушибленная, бельмом на глазу отмеченная. Худо, бедно, натужно и недружно жили, вразноплас, как говорят по селам. Ничего нам не хватало: ни хлеба, ни картошек, ни углов, ни печи, ни полатей, ни одежды, ни обуви, только клопов, тараканов да вшей вволю. Лелька старалась изо всех сил, тянула воз так, что кости в ей брякали, жилы скрипели. — да где же бабе одной? Орава! Но нрав ее веселый, характер уживчивый, старанье и терпенье через все трудности, через недоеды и недосыпы помогали нам переваливать, пущай и с одышкой.

Да эти-то старые-то хрычи сысолятинские, Костинтина родители, шибко отяжеляли воз, поедом ели ребятишек, меня да сестру Лелькину — Дарью убогую, прямо сказать, со свету сживали, куском и углом походя корили. И вот стал я замечать за собой, что трусливый и подлый делаюсь: чуть чего — улыбаюсь всем, на всякий случай, на сберкнижку, как теперь повелось, выслуживаться норовлю, где просят и не просят, чего тайком и съем. — пастушонку это просто, в поле он, и по дворам отламывается жратва. Стыд вспомнить, доносы на братьев и сестер учинял, те меня, конечно, лупить, дак я на убогую Дарью бочку катить примуся, поклепы и напрасдину на нее возводил — исподличался, однако, бы совсем, да Лелька спохватилась и из деревенского подпaska в колхозные пастухи меня на зломовку в бригаду шуганула. Держит наотдаль от дома и от стариков Сысолятиных, чтобы не получился из меня тюремный поднарник иль полномощная шестерка. Котел на заимке артельный, не шибко чего урвешь, народ делом занятой, сердитый, чуть чего — ухо в горсть и на солнце сушиться подымет.

Во школе я учился недолго и неважно. Костинтин из шорницкой наведаль на празники, охватила их с Лелькой энтузиазма, они стали на трудовую вахту да и пятого человека сработали, Борьку-дебила. Ну, что он дебил, Борька-то, мы узнали после, а кожды маленький, хоть дебил, хоть кто — орет, исти просит, пеленки марат — и вся грамота его тут исчерпана. Водились мы с Борькой попеременке, кто когда свободен от работы. И правду говорят, что у семи нянек дитя без глазу, у нас, считай что, боле семи по штатному-то расписанию: пятеро ребят, шеста — Дарья, седьмой — старик Сысолятин, восьма — Сысолятиха, девята — Лелька, ну, эта для всех и нянька и генерал. Старуха Сысолятина с детьми не водилась, не любила их, и дети ее не любили. Боялись. Шоптоницей звали, хотя она характером была сварлива, голосу громкого, везде и всюду лезла с похабными посказульками да жуткими заговорами. Била она нас походя и чем попало. Но к битью деревенской братве не привыкать — битьем ее не запугаешь, но вот шоптаньем, колдовством... И знали и понимали, что спектакль показывает наша бабушка, понарошке ужась на нас насылает, но вот боялись в баню с ней ходить, спать на пече вместе и оставаться наедине с нею в избе, особо когда свету нет.

И не зря боялись. Шоптоница-то и устроила нам смех и грех. Звала она Борьку с подковыром — семибатешный сынок, и порешила умом своим крючковатым помочь семье — свести семибатешного со свету, да так, чтоб бога не прогневить и нас умилоствить. Лелька уж больно к детям приветная, последнего, Борьку-то, ровно чуя беду, всех шибчей жалела.

Напоила Шоптоница Борьку наговорным зельем, сушеного икотника-травы натрусил, каменю зеленого, на плесневелый хлеб похожего, наскоблила — с Тибету камень алатырь странник принес, пудовку крупы на него у Сысолятихи выменял, для отравы крыс, для отворота присух от дому тот камень предназначался.

Борьке ни Тибет, ни Расея нипочем. Пофуркал неделю в пеленки, снова лыбится, руки к нам тянет, бу-бу-бу-бу... Шоптоница в панику. «Нечистый, говорит, в ем поселился, бес многогородной, лягушачий, не иначе...» Потом в сомнение впала, Лельку на допрос: «Признавайся, хто поработал? Может, активист заезжай? Тоды и наговор и отрава обезврежены — партеец-краснокнижник никаким чарам не подвластный и божья кара на его не распространяцца...»

Пошумела, погремела наша Шоптоница и притихла. Когда шумела, гремела и лаялась бабушка — мы ничего, но как замолкла, затаилась — жди черной немочи.

И дождались! Наметила Шоптоница Борьке кару еще гибельней: носила его в баню, парила веником и макала распаренного дитя в ледяную воду. За этим делом застала ее Дарья убогая, вырвала ребенка из рук и с ревом домой.

Всей семьей мы за Борькину жизнь бились: лучший кусок ему, самое теплое место на пече — ему, самую большую ложку за столом, первую ягодку в лесу, перво яичко от курочки, перво молочко от коровки, первую одежду, первую обувь — все ему, ему. Да не понадобилась обувь Борьке. Обезножил он от ваннов. На всю жизнь. Навсегда. Но спасенье его, борьба за Борькино здоровье, заботы об ем как-то незаметно сплотили наши ряды, всю из нас скверну выжали, всю нашу мелочность и злость обесценили, силы наши удвоили. И порешили мы отсоединиться от Сысолятиных. Разгородили избу пополам и зажили по присловью: в тесноте, да не в обиде. Я прилаждался осенью и зимой птицу и зайцев петлями ловить. Во время пастьбы скота грибов наищу, ягод. Как артельно-то навалимся на какое дело — возом возем, что продадим на пароходы, что сами едим да малого Борьку балуем — и любо-дорого, с песней, без злости валим по жизни. Бывало, зимним вечером засядут девки прясть — а у нас всех и поровну все: трое девок, трое парней — убогая Дарья хоть и с бельмом на оке, но песельница-а-а! Однако самая голосистая все ж была Лелька. И вот: теребят малые перо, постарше — прядут куделю или шерсть, половики ткут или чего вяжут. Парни обутки чинят, стружат топорича там, навильники, лопату — снег огребать, ложку-поварешку. Лелька ка-ак даст: «Темная ночь, выюга злится, на сердце тоска и печаль, лег бы я спать, да не спится, и мысли уносятся вдаль...» И посейчас, веришь, нет, посейчас вспомяну, дак мураши по коже!..

Те, за стеной-то, не выдержат нашей песни, согласья нашего, им любое сообщество — нож в горло, вот какие люди были! — примутся дрова рубить. В избе! Где это слыхано? Где видано?! А то в стену забарабанят. Кулаком. Аж клопы сыплются, тараканы врассыпную. Игнашка — старший Лелькин сын, у него уж усы-борода очернились под носом и на подбородке, хотенчик-прыщ выступил рясной брусницей, он у нас уж за мужика, раз тятя в шорничкой вверх ногами лежит, — солидно так, по-мужински: «А подь вы к тете-матер!..» Лелька ему: «Нельзя так, Игнаша. Нельзя. Какие-никакие — они тебе дедушка-бабушка...» «Им малтатский волк внук!» — отрежет, бывало, Игнаша. Убили его. В первый же день убили. Он на действительной служил и в бой вступил на самой границе...

Вот и приблизился я к тому рубежу, который ни в какой российской судьбе, ни в какой беседе русскому человеку не миновать, — к войне. Хребет это нашей жизни, и что за тем хребтом высоким, далеким, гробовым — глазом не объять, разве что мыслей одной горь-

кой, да и то в одиночку, ночной порой, когда раны болят и не спится, когда темь и тишь ночная кругом, душа ноет, ноет, память где-то выше дома, выше лесов, выше гор витает, тычется, тычется и куда ни ткнется — везде больно...

Нет моря без воды, войны без крови. Враз ополовинила война народ и нашу семью. Братя мои сродные — мешки заплечь и в поход, сестры — в поле, я — на воду, лес стране плавить. Даже убогая наша Дарья на колхозную ферму в доярки пошла. Лелька, та в бригадиры в полеводские назначена была вместо Колмогорова Капитона, партейца изагашинского и бойца запаса. Один Борька дома. Елозит по полу, по двору да по огороду, волочит за собой так и не отросшие детские ноги, в штанину от ватных спецодежных брюк обеде засунутые, и тоже чего-то мерекает, норовит помогать по дому, печку затопит, скотину напоит, когда и сварит чего, иной раз два раза посолит похлебку, иной раз ни разу, иной раз помоеет и очистит картоху, иной раз грязную свалит, в одное посудину, скотскую. Мы уж не ругаем его, хвалим. Сияет, дурачок, радуется и понимает ли, скорее чувствует, какую-то неладность, беду в жизни.

В сорок втором осенью был призван на позиции двадцать четвертый год. Перед тем как мне уплыть на сборный пункт в Даурск, Лелька маленькое застолье собрала, чтоб все как у путных людей... О-ох и человек была наша Лелька! Ей бы в тот приют, которым меня вечно Сысолятины стращали, воспитателем бы. Ну да она и тут столько успела добра людям сделать, что ее до се помнят наши, изагашинские, хоть и разбрелись они по белу свету.

Собрали компанью, даже старики из-за стенки пришли, и папа наш Костинтин пожаловал, все в чистых рубахах. Шоптоница в праздничном платье с каемкой, как всегда, с прибаутками: «Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, а я, стальть, всех дороже!» У Лельки была дочь Лилька. Я и не заметил, когда она выросла. И вот Лилька эта пристаёт и пристаёт ко мне: кого из девок позвать да кого из девок позвать? Зови, говорю, кого хочешь — какие мне девки и какое мне до них дело? «Нет, персонально кого?» — не отстает сеструха-воструха. Я и бухни ей: «Таньку Уфимцеву. Она во школе меня все шиньгала за партой: «Не подвигайся ко мне. Не списывай. Не копи. Не спи. Не дерьгайся. Не молчи. Не говори. Поперек батьки в пекло не сувайся!..»

И что ты думаешь? Явилась Танька! В нарядном платьице, в белых носочках, в синей косыночке. Тогда, в сорок втором-то, народ в Сибири еще не успел совсем оголодать и обноситься. Это уж потом. Страшно и вспомнать, что было потом. Да-а, явилась Танька, Татьяна Уфимцева, и все что-то шопчется с моей сеструхой-вострухой, шопчется да прыскает, шопчется да прыскает, а глазами в меня нет-нет да и стрельнет. Глаза у ей зоркие-зоркие, от озорства или еще от чего посверкивают, и узкие, глаза-то, имя все видно, а че в их — поди угадай!

Попели, как водится, поплясали, поплакали. Я с сеструхой-вострухой и с Татьяной на берег Анисея провожаться пошел, вроде бы как кавалер. У самого сзади на штанах заплатки. Правда, еще при кудрях и одна кудря стоит рубля, а друга — тысячу! Главный это мой козырь — кудрява голова, да и та до завтрева, в Даурске забреют. Но покуль — кавалер! А раз кавалер — соответствуй! Никаких я девок никуда еще не провожал, ни с одной не знался и хоть догадываюсь, чего делать надо, глаза-то имею, видел чего к чему — Игнаха на моих глазах женихался, — догадываюсь, да не смею. Даже под ручку взять ухажерку боюсь. Тут сеструха-воструха хлопнула себя по ляжке и говорит: «Чисто комары заели!» — и покуль я сообщал — какие комары в октябре? — она от нас хватя в гору и была такова!

Мамочки мои! Последний стражник сбег! Один на один я с девкой остался, и она одна на одну со мною. Ей, может, и привычно — женщины уфимцевского рода все какие-то занозисты, просмешливы, эгоисты, на язык и на все другое боевиты: хоть на работу, хоть на учебу, хоть на любовь — ни одна, сказывала Сысолятиха Шоптоница, цельной замуж не выходила, в седьмом или осьмом колене брехатеют до замужества...

Этот факт мне вспомнился, растревожил меня и ободрил, и когда Танька, поигрывая глазами в щелочках, поинтересовалась: «Ну, что мы будем делать?» — я зажмурился да как ахну: «А целоваться!» Она мне: «Ишь ты какой ловкий! Сразу и целоваться! Ты сперва обращенью научись...» «Некогда, говорю, обращенью учиться. Утресь отправка».

Опустила Танька глаза в берег, потом присела, коленки подолом задернула, зачем-то ладошкой воду погладила, вздохнула:

— Холодный какой Анисей сделался. Еще недавно купались...

Сидим. Молчим. Нехорошо так на сердце, грустно и печально. И говорит мне Татьяна, как большая, взрослая женщина:

— Ладно, Вань, не сердчай. Когда вернешься с войны, тогда и поцелуемся...

И пошла в гору по травянистому косолюбку, перед утром инеем, как лудой, вылудевшему. Напрямки пошла, без дороги. След темный, прямой, белы носочки намокли, скомкались, на сандалии скатились, косыночка голуба на плечи спала, волосья и косичка от росы блестят. «Холодно же! Мокро!.. — хотел я закричать. — Дорогой иди, по взвозу!...» — да не закричал, духу не хватило, горло сжало, глаза застить начало, будто кино в клубе от худого напряжения зарябило и в кино том замелькала, заметусилась девушка в нарядном платье, ушла от меня в дальнюю даль...

Вот какое оно, мое первое, молодое свиданье, было — рандеву грамотея-внучка это дело называет.

На войне был я на главнеюшем фронте, на Первом Украинском, в Двадцать седьмой армии, в отдельной минометной роте, приданной гвардейскому пехотному полку, влитому в Двадцать седьмую армию после сражения под Курском и форсирования Днепра.

Поначалу, как водится, я был нерасторопен, мало что соображал и умел, войны по молодой глупости боялся меньше, чем потом, когда набрался опыту и понял что к чему. А пока набрался ума-опыту, в госпитале повалялся с ранением, покуль без повреждения кости. До ранения до первого, а минометчик можно сказать боец я был никакой, мышка в земляной норке: щелкнут по носу — я нырк в себя и притаился. Люди всякие тоже попадались, это в кино да в постановках все храбры да умники, а были и такие, что отца-мать заложат, и просто дураки. Так вот, бывало, кто какую дурь порет — а я во всю рожу рот пялю, будто брехня его мне в удовольствие.

Кровь меня образумила. Кровь и работа. У минометчиков, знаешь, сколько работы? Столько же, сколь у деревенской клячи, только ей сено дают, а минометчик одно лишь и слышит: то не так и не там окопался, то не туда вдарил, то не свою кашу съел, то не туда по нужде сел.

Но раз я взялся рассказывать тебе про женитьбу, про женитьбу и поведу, про войну нам говорить не переговорить. Тут не на одну ночь хватит, да и дня прихватим. Скажу лишь, что только там, на войне, в минометном расчете, почувствовал я себя человеком. Равноправным. Да и то не в мах костью и характером окреп, боевою кровью повязанную родню обрел и сообщу где угодно: последним в бою не был, робел, конечно, но, как все, в меру. И получил ордена боевой Звезды, Отечественной войны второй степени, медали «За отва-

гу» и «За победу над Германией». Смертей видел — что хвои в лесу, слез — озеро, горя — реки, крови — море, но и поверженного, в кювете, без порток валяющегося, червями до оскала объединенного фашиста зрел. И не стерплю, похвастаюсь: один раз командующего фронтом, маршала Конева видел. Издаля, правда. А вот командующего армией — как тебя сейчас. Ей-богу, не вру! Ты говоришь, командующего вблизи не видел, а я двоих видал, стало быть, я везучей тебя!..

Было это уж, считай что, в Прикарпатье, близ Западной Украины. Весной было. Ранней. Карусель содеялась такая, что ничего не поймешь: то немцы у нас в окружении, то мы у их, то и немцы и мы в окружении, в чем — одному богу известно. Взяли один древний городок. Сдали. Опять что-то взяли, его же вроде, только уж ночью. Не узнать городишко. Побит, искрошен, весь в дыму. Опять нас в поле боя вытеснили, в село иль местечко какое. Мины на исходе. Патронов по счету. Голова кругом. А тут метель! Ми-и-и-а-ай! Скажу кому — не поверят. В апреле на Украине трава зелена, цветки по солнцепеку пошли — и метель! Да что метель! Светопреставление! Видно, и впрямь люди бога прогневили. Хаты до застрех занесло. С ног валит. А мы бьемся. Немец технику всю в сугробах кинул и на нас толпою. Дело дошло до того, что рубили его на огневых позициях лопатами, топорами. Я как сейчас помню: небо прояснело, на минуты прояснело, клоч появился, солнце как очумелое откульта в дыру вырвалось, или уж, опять же, всевышний его выслобонил — полюбуйтесь, дескать, чады мои или исчадья, что творите! А весь косогор по спуску к Оринину — вот и местечка название вспомнилось! — весь он будто в черной осетровой икре. По черному-то, снегу белу плывущему, в упор, прямой наводкой лупят и малые и большие калибры. Гаубицы-полторасотки как жажнут осколочным — сразу в черном дыра. Брызги вверх, ключья, лохмотья. И тут же дыра, будто воронка на бурной весенней реке, в пороге, закружится, завьется и сором заполнится. Людским сором! О господи! Я по сю пору как во сне это увижу, так и проснусь. А попервости вскакивал и орал. Один раз на пече спал, как подброшусь да как башкой об потолок треснусь — огонь из глаз! Вот ты не смеешься, потому что на своей шкуре все такое испытал. А внучка моя да и какой иной молодняк — станешь рассказывать — ржут. Им это все вроде как комедия. Не приведи господи никому такой комедии! Я, покуль внучки не было, как-то не так все об мире и войне переживал. А теперь вот газету сквозь прошерстю, радио послушаю, от телевизору не отрываюсь, когда про международную обстановку говорят, — и одна у меня дума: неужто опять? неужто детей побьют да обездолят, и мою Клавочку тоже?..

Да-а, а немец-то тогда, что ты думаешь? Прошел! Частично, конечно, потрепанный, битый, но прошел. У нас, считай что, нечем его стало бить и нечем. Устали мы, обессилели. Упорный вояка немец, ох какой упорный! Шел фашист по руслу речки, что рассекала Оринин пополам. Летом, должно быть, тут сухой лог, но вот по весне речка вскипела. Шел слепой толпой, не выбирая пути, где бродом встречь воде, где обочиной, где по отвесным камням. Молчком шел, без выстрела, и кто падал, того уж не подымали, даже не обертывались. Мы по-над речкой лежим, считай что, с пустыми автоматами и винтовками. До врага рукой подать. А он идет и идет. Иного вояку в речку уронит, водой катит. Он за камень хватается, за кусты, но на помощь не зовет.

И вот всякой страсти я натерпелся, страху-ужасти, с ума сойти, сколько испытал — не дай бог никому, но той речки, того местечка Оринина вовек не забуду. Сказывали, что середь немцев сумасшедших потом много оказалось, да и я, скажу промеж нами, уж опытный боец, а чуть умом не сдвинулся.

Назавтре после боя, когда враз все затаило и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что и не счесть. Как дрова, лежат люди, только в поленницы не сложенные, друг на дружке. Вот назавтра-то после боя командующий Четвертой танковой армией товарищ Лелюшенко ездил по частям. Двадцать седьмая армия в те поры вроде бы на Втором Украинском фронте двигалась, а нашу минометную часть, стало быть, товарищу Лелюшенке передали. Хорошо он вел себя, сказывали бойцы — солдат, он все про все знает, — будто бы самолет «кукурузник» стоял наготове, но командующий им не воспользовался, а вот роту охраны и танки из своего личного обережения в крутой момент кинул в бой, потому как в школе в орининской был госпиталь и лежало там множество тысяч раненых, да и вообще штабов, тыловых частей что-то многовато в Оринине оказалось. Как и кто их оборонит? Что тут правда, что тут брехня, на которую солдаты горазды не меньше бабки Сысолятихи, я тебе сказать не могу, но видел потом убитого в поле капитана — вся грудь в орденах, будто бы командир роты охраны командующего, и танки наши новы, тяжелы — тоже видел, четыре штуки — стояли без горючего и без снарядов.

Из хаты мы, помню, выскочили, выстроились. Командующий в «виллисе», за ним бронетранспортер, машины. Смотрит на нас генерал товарищ Лелюшенко и молчит. Да и что говорить-то? Смена обмундирования зимнего на летнее первого мая. Бой произошел в середине апреля, к этой поре от земляной работы, от окопов, минометов и ящиков с минами до того обносишься, изорвешься... А тут вон какая весна! Грязь, бездорожица и еще эта погибель — метель-то... Смотрит на нас товарищ генерал, головой качает, и никаких речей ни он, ни люди в кожаных, его сопровождающие, не тратят. Спросил командующий, как с харчишками, с куревом. Мы плечами пожимаем — известно как: на бабушкином аттестате.

— Скоро все будет. Скоро еду, курево, новое обмундирование подвезут. К празднику, — заверил генерал. — Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей победы. Соседи наши на Втором Украинском государственную границу перешли, и мы с ей рядом. И за это вам спасибо! Кухня будет, обещаю. Отстала кухня.

Тут кто-то из генеральского окружения пошутил: кухня, да санчасть, да военная лавка — оне, мол, от веку наступают сзади, отступают спереду. Наш один минометчик-грамотей в поддержку на свой лад «Теркина» вспомнил: «Пушки задом едут к бою, самовары вверх трубой!»

Генерал устало так, накоротке улыбнулся:

— Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и похоронить трупы. Много убитых. Весна. Тепло. Грязь. Крысы. Эпидемии не было бы.

На исходе лета звякнуло меня еще, на этот раз в кость, и прокантовался я в госпитале осень и почти всю зиму, наших с самоварами догнал уж под Кенигсбергом. От Кенигсберга мы пошли на Берлин, но не достигли его. В путе нас застала победа. И только мы построеляли в воздух, погуляли, мне документы в зубы — и домой. Одного из части демобилизовали. Что, думаю, такое? И какой у меня дом? Где он у меня?

Письма мне приходили редко. Из Изагаша писала Лилька, ну та самая сеструха-воструха. А что в деревенском письме? Поклоны от родных да знакомых, в конце: «Живем, не помирам, чего и вам желам!» Ну, еще насчет победы — ждем, мол, со скорой победой, живым и здоровым. Среди поклонов я особо выделял глазом привет от Татьяны Уфимцевой. Понимаю, что сеструха его сама присобачивала, может, и не спросясь, а все приятно. Один раз я взял да и поздравил

Татьяну с седьмым ноября. Добыл открытку-письмо с красноармейцем на наружной корке, красивым таким, чернобровым, в казацкой папахе и со знаменем в руке, на нас, окопных вояк, и отдаленно не похожим, но для письма девушке самым подходящим. Так и так, накорябал я, поздравляю землячку и труженицу тыла с праздником Великой революции и желаю доброго здоровья! Всем Уфимцевым также кланяюсь и шлю боевой привет с фронта! В ответ мне: «Спасибо за поздравление, дорогой воин Иван Тихонович! Мы также желаем вам крепкого здоровья и победы».

Меня это письмо в прах расшибло. Зачем же так-то? Я к ней всей душой, с намеком, а она, как в газетке,—«мы», «вам», «дорогой воин»! Озлился я и не пишу боле. Все! Вырвато из сердца. Вырвато оно, конечно, вырвато, да как отоспался в госпитале да и после госпиталя, ближе к победной весне, глаза закрою — и вот оно: по взвозу, белому от инея, девушка по траве идет. за нею след зеленый вьется, волосья в росе, косыночка на косе — вспомню и не могу. Разорвал бы я то кино! На клочки! Но лучше б по следу кинулся по зеленому, да остановил бы кино-то, да вынул бы с экрана девушку... Словом, парень, влюбился, что рожей в сажу вцепился! Одно слово — молодость! Берет она свое даже на войне, в преисподней той земной, на краю гибели, и требует соответствовать назначению твоему мужскому.

Получил я, стало быть, документы и к командиру батареи: что, говорю, делать, товарищ капитан? У меня ведь фактически и дома-то нет. Мне ведь фактически и ехать некуда и не к кому. Может, мне на производстве каком осесть, профессий обучиться и вместе с остальным народом начать подъем разрушенного хозяйства? Я тогда горючку клятую мало еще пил, считай, что и не пил совсем. Капитан это знал и не поощрял в пагубном деле молодежь. Но тут налил мне товарищ капитан почти полную кружку малированную, брякнулись мы кружками безо всякого чиноразделения, по-братски брякнулись, он и говорит:

— Есть у тебя дом! Есть! И есть тебе к кому ехать. Есть что поднимать, есть кого любить и оплакивать...

Тут он лицо стиснул так вот, обоими кулаками, зубами навроде как скрипнул. Ну, думаю, разволновался товарищ капитан, развезло его, а ему вредно волноваться, он ранен не единожды и крепко контужен на реке Серет.

Обнялись мы с моим родным командиром, я всплакнул, да и он как на мокрое место сдвинулся, и только потом, в долгом пути, на обратной дороге раздумался я и растревожился, поминая прощание с комбатом,— чем, думаю, такое его поведение вызвано и почему меня не со всем народом демобилизовали? Тревога меня охватила. И нетерпенье. Всякие мои мысли были: задержаться на Украине или в Москве — поступить на работу и обучиться профессии, по секрету скажу — очень мне хотелось работать на метро машинистом. Дак вот всякие такие мысли иссякли, и я скорей, скорей в Изагаш. А какое тогда скорей — сам знаешь. Экспрессов не было, самолеты пассажирские только маршалов да ихних адъютантов возили. Пароходы через всю Расаю и через Урал не ходят...

Но долго ли, коротко ли, все ж таки добрался я до Красноярска и на пристань бегом. Цап-царап — пароходики вверх не ходят. Грузовые суда с вешним завозом разбрелись по притокам Анисея. Рейсовый «Энгельс» ушлепал в Абакан и будет через неделю, не раньше. «Улуг-Хем» шел спецрейсом на Туву, и слух был, что на мель сел или в порогах пробил себе брюхо. Может, снарядят в рейс «Марию Ульянову», но это в том случае, если ледоходом ее в низовьях не затрет и она благополучно возвратится из Дудинки. Что делать? Иде мне транспорт раздобыть? Я на мелькомбинат, на катер

какой-нибудь, думаю, попаду, хоть до Знаменского скита или до Бирюсы доберуся, а там, считай что, половину-то пути и пехом одолею. И ведь, как нарочно, как на грех, у мелькомбината тоже ни катера, ни лодки, ни корыта даже. Ах ты елки-палки! Вот она, родина моя, близенько, за горами, вот он, Изагаш, всего лишь в ста двадцати верстах, после тех расстояний, что я покрыл,— рукой подать!..

А-а, была не была! Войну прошел. Расею почти всю минул, до Берлина, считай что, дотопал, да еще с плитой с минометной на горбу. А тут какие-то версты!

И хватанул я, паря, через горы и перевалы. Ох хватанул! На-легке. Спал не спал, ел не ел — худо помню. Сперва бежал, считай что, потом шел, потом уж почти полз. И один только факт за весь мой путь тот в памяти задержался — это я Бирюсы достиг. Устья. В село мне переплыть не с кем. На скалу забрался. Ору — не слышат. Глядя вниз — там избенка курится. Земляная. Подле нее поле не поле, огород не огород, и лес по-чудному растет, вроде как посажен фигурами какими. Пригляделся — слово обозначает. Да еще какое! Блазнится, думаю. Довоевался. Устал. В пути спал как попало. Последние сутки перед Красноярском и вовсе из-за нервности, считай что, не спал. Моргаю, смотрю, читаю — все выходит имя великого нашего вождя, вот что выходит, брат ты мой.

...Дезертир, паря, там, в избушке-то, оказался. Самый настоящий дезертир. Я об них слышал, но воочию зреть не доводилось. Это он, рожа, всю войну прокантовался в здешних горах и лесах. Вдовушек бирюсинских навещал, они его, и ушлым манером шкуру спасал, посадкой своей патриотизму выказывал. Тогда это имя испугом действовало на иных граждан, в почтенье и трепет вбивало.

Но я какой усталый ни был, веришь, нет, ушел из избушки. «Па-а-адлюка ты! — сказал я ему.— Мы за родину кровь проливали... Убил бы я тебя, да нечем». И вот ведь: за буханку хлеба, за горсть колосьев бабу или фэээушника, бывало... А этот дожил до амнистии, помер своей смертью.

Однако ближе к делу. К Изагашу, стало быть. Попал я в его середь бела дня. Теплой летней порой. Ворота настезь. Двери сысолятинского дома открыты. У меня и сердце занялось. Ни шевельнуться, ни двинуться мне. Но осилился, иду. Тихонько в дом вошел. Спиной ко мне Лелька стоит, зеленый лук в окрошку крошит на столе. Исхудала Лелька, будто девчонка сделалась. Хотел я на косяк обпереться — ноги не держат. Сполз на порожек, еще нами, ребятами, истюканный. Здравствуй, говорю, Лелька! Она ножик уронила, обернулась... но уж не Лелькою, а Лилькою обернулась, постояла, постояла да как бросится ко мне. «Братка! — кричит.— Братка ты мой родимой!..» Сцепились мы с ней, плачем, целуемся, снова плачем, снова целуемся. Тут по двору скрип раздался, и кто-то на тележке в дом катит. Да это ж Борька! Борька наш, уже мужик! И тоже плачет. Руки ко мне тянет: «Бага! Бага!» — братка, значит, братка. Упал я перед им на колени, ловлю, промазываю. Тогда он меня сам поймал, прижал к себе — ручищи крепкие!

Тут уж я ничего не помню, тут уж я, усталый с дороги, ревом зашелся. Верь не верь — пуще бабы ревел.

Вся родня сбежалась. Убогая Дарья тоже прибежала, плачет-заливается, к сердцу жмет, губами морду муслит. Она приняла к себе раненого инвалида без ног еще в сорок втором. Родила от него уж двух архаровцев. Живет своим домом и семьей. Ломит. Свой дом тянет, да еще и нашим помогает. Все это успела мне сообщить Лилька.

— Боренька наш,— прибавила она,— печки выучился класть, на всю округу спец. Возят его по колхозам, глину, кирпич подают, он и кладет пусть немудрящие печки, но сноровисто так. Сысолятин-

старик зимусь помер. Сама Сысолятиха на пече лежит, парализованная. Папуля наш Костинтин живой, когда к нам наведается, когда к маме, когда куда — где выпивка.

Тут бряканье об бревна кружкою началось — так бабушка наша за стеной веху давала молодежи, когда ей помощь нужна либо совет. «Ванька! — кричит бабушка Сысолятиха. — Ты пошто обнять меня не идешь? Я те родня аль не родня?!»

Бросился я к бабушке, сдернул ее с печи, закутал в одеялишко и, чисто ребенка, на руках в нашу половину перенес.

Все хорошо. Все в сборе. Про всех извещено, про всех рассказано.

— Лельки-то пошто нету? На ферме она? Иль уехала куда?

И тут все в избе смолкли, все глаза опустили, не смотрят на меня.

— Че вы? — спрашиваю. — Где Лелька-то? Не пужайте меня...

— Нету Лельки твоей... Нету мамки нашей, — тихо так молвила сеструха.

И все бедствия, все горе горькое нашей семьи тогда я и узнал, и отчего капитан наш, командир батареи, горюнился и зубами скрыпел, известно мне сделалось только теперь.

Лелька погибла еще в сорок третьем году. Весной. Взял ее опять же, как почти и всю нашу родову, дорогой Анисеюшко. Красив он, могуч и славен, да вода в ем для нас немилостива. Уже в ростепель ездила Лелька по вызову в районный военкомат, и попутно ей был наказ: выбить в райсельхозуправлении дополнительную ссуду семян. Изагашинский колхоз «Первенец» осенью припахал клин залежной земли и брал на себя обязательство дать фронту дополнительный хлеб.

В военкомате Лельке ничего радостного сказать не могли, да в ту пору и не вызывали в военкомат за радостями. Вроде как второй сын Лельки, Серега, тяжело ранен и контужен, лежит в приволжском госпитале, установить его личность не представляется возможным — нет при нем никаких документов. Из слов он помнит только: мама, Анисей, Изагаш. Из госпиталя запрос и карточка — на опознание. И кому как не матери опознавать сына? Видать, не сразу и не вдруг опознала Лелька сына Серегу на карточке или долго ссуду выхлопывала в руководящих кабинетах — и подзадержалась на несколько дней в районе. Тем временем произошла ранняя подвижка льда на Анисее. Произошла и произошла — с ним, с батюшкой, всякое бывает. Началась распара, юг края обтаял, воду погнал и пошевелил лед на реке. Пошевелил, успокоился, в ночь заморозок ударил, поземка попоронила, мокрый снежок пробрасывает, все щели, трещины, забереги зеркальцем схватило, белой новиной прировняло, торопки при подвижке на стрежи выдавило, лед наострило, где и на сстрова да на бычки вытеснило, они гребешками беленькими да синенькими там-сям прострочились. Но лед все еще матер и дорогу не всю еще сломало. На выносах желтеет дорога от раскисших конских шевяков. Вешки еловые обочь ее кой-где еще стоят, и берег другой — вот он, рукой подать, чуть более версты. Там, на другом берегу, дом, полный немощного, в догляде нуждающегося люду, корова, куры, свинья, печь, хозяйство — и всем правит Лилька, смышленая девка, да уж шатает ее от насады. Зинку, вторую дочь, мобилизовали на военный завод. Как в паспортный возраст вошла, так и мобилизовали. И в колхозе вестей хороших ждут не дождутся насчет ссуды. Первый май надвигается, праздник как-никак, хлопот и забот полон рот.

А она, посыльная, на другом берегу, у Петруши-баканщика и тихого бобыля в тепле и сытости прохлаждается. Правда, не без дела: перестирала ему все, печь выбелила, полы вымыла, избу обихо-

дила и самого Петрушу подстригла, праздничный ему вид придала, рыбных пирогов и калачей настряпала. Он, Петруша, кум ее разлюбезный, возьми да полный мешок рыбы ей отвали — она и вовсе заметалась: вот бы на тот берег, вот бы ребят рыбным пирогом и ушкой покормить, в доме своем праздник встретить...

Анисей пустил их до середины. Петруша шел впереди с пешней, дорогу бил острием. Лелька, держась за оглоблю саней, сторожко двигалась следом. За стрежью, ближе под правый, крутой берег, лед вроде бы и вовсе не шевеленый был, дорога нигде не поломата. Лелька сказала: «Ну, слава богу, кажись, перевалили!» — и велела Петруше возвращаться назад, сама села в сани и поскорее погнала коня к родному берегу.

Ох как плакал и каялся потом Петруша, уж лучше бы, говорит, вместе им загинуть...

Разом волной верховской воды, где-то в хакасских горах, в саянских отрогах спертой затором, задрало и сломало лед на реке. Разом на глазах у всей деревни поддело, подняло вверх коня в оглоблях и обрушило меж белых пластов льда. Еще мелькнуло раз-другой на белом льде черненькое — и тут же его стерло, как мошку, в ледяную бездну — и нет у Лельки ни могилы, ни креста...»

Ивану Тихоновичу ничего этого не сообщали, чтоб не добивать с тылу, хватит и того, что попадало спереду. И лишь дождавшись победы, Лилька вместе с сельсоветскими сочинили письмо на имя командира части с просьбой отпустить с позиций отвоевавшегося, выполнившего свой долг бойца, который так нужен дома. Вот отчего долил свою головушку комбат, скрывал глаза от Ивана Заплата, терзал лицо кулаками и не к душе пил из кружки горькую фронтую разливуху...

Почти сутки просидел Иван на берегу присмирелого, островами зеленеющего, цветами яры и бечовки затопившего Енисея, все пытался понять: что же это такое? Ведь вон дезертир, сука, на берегу остался и поживает. Последышей всяких и фашистов столько поучелело на войне со злом и злыми намерениями в душе, а Лелька, так много сделавшая добра и жившая только добром и, опять же, для добра, приняла такую адскую смерть. Как постичь умом этот мир и деящееся в нем осуществление? Почему козырной картой ходит и ходит смерть? Ходит и бьет, ходит и бьет... И кого бьет? В первую голову детей, женщин, молодых парней и непременно выбирает тех, кто посветлее, посовестливее. Нет, он, Иван, не ищет справедливости. Какая уж там справедливость после того, что повидал на войне! Но понять, добраться до смысла ему так нужно, так необходимо, потому как всю бессмысленность смерти он не то чтобы осознал, но увидел ее воочию и не принял умом, не пустил в сердце. В нем все-все, что вложено в душу, заключено в теле, от волосинки и до последней кровинки, восстает, протестует и не устанет уж протестовать до конца дней против неестественной, против преждевременной смерти. Надо, чтобы человек проживал полностью свою жизнь. И человек, и птица, и зверь, и дерево, и цветок — все-все чтоб отцветало, роняло семя, и только в продолжении жизни, в свершении назначенного природой дела и срока всему существу и есть какой-то смысл. Иначе за что и зачем мучаться и жить?

Так или примерно так думал о смысле жизни Иван Заплатин, недавний боец-минометчик, дважды раненный, проливший свою кровь на войне за нее, за жизнь. Подводил итог. И наперед всего ломал голову над тем, что ему самому лично теперь делать. Как жить? Бабушка Сысолятиха на пече лежит и, как прежде, кроет всех с высоты крепким складным словом. С выраженьями. Значит, еще долго протянет. Папа Костянтин так и не осознал своего долга ни перед домом, ни перед отечеством, жил и живет свободной ве-

селой жизнью. Зинка, сестра, как попала на завод, приобрела там денежную профессию, отхватила мужа-выселенца, сотворила с ним детей, так и вестей не подает. Никаких! Даже к праздникам открыток не шлет. Брат Сергей пишет из инвалидки письма скачущими, что блохи, буквами, намекает насчет дома: мол, скоро сапожничать сможет и нахлебником никому не сделается. От Бори и от Дарьи убогой помощи ждать не приходится. Игнахи-кормильца нету, и надежи ни на кого нету и не будет. Над всем и над всеми верховодит Лилька, и в глазах ее испуг, насада иль надежда — не поймешь. На сколько ее, той Лильки, хватит, пусть она и моторная, пусть и двужильная — в мать? А как сломается?

Пришла на берег Лилька, села рядом с братом со старшим, коленишки свои девчоночьи, уголком подол поднявшие, обняла, подбородок на них положила, молчит, на Енисей смотрит, ресницами моргает.

И так нахлынуло на Ивана, так к сердцу подкатило, что взял да и поцеловал он Лильку в голову, в разумную девчоночью головушку, в волосья мягкие поцеловал. От волосьев чистой водой, листом березовым пахнет. И сказал брат сестре:

— Пока я, Лилька, жив буду, долги тебе платить не устану. За всех за нас, за родных твоих. И вообще...

Лилька в ответ:

— Не выдумывай, Иван. Пойдем-ка домой. Праздник ведь наступил. Троица. Мамка больше всех любила этот праздник. И нас любила. И тебя любила и ждала. И еще кто-то ждет...

— Так уж и ждет?

— Так и ждет.

«Приходим домой, там компанья разлюли-малина. Бабушка Сысолятиха, к стене прислоненная, в подушках лепится. Рядом сынок ее ненаглядный, наш папуля Костинтин, в чистой рубаше, дале Борька на скамейку водворен вместе с тележкой. И Танька Уфимцева тут. Персонально. Улыбается, глазами строчит, но с лица опалая и у рта морщины. Однако косыночка при ней, на шее, и все остальное при ней. На месте.

Сели. Выпили. Гляжу, и Борька наш кэ-э-эк жажнет граненый стакан, налитый до ободка, и руку с тыльной стороны нюхает. Н-ну печник! Настоящий!

Вечером гуляли мы с моей зазнобой — как ее теперь уж иначе-то назовешь? По берегу, по заветной тропочке, к Анисею да от Анисея, с суши к воде, от воды к суше. Гуляли, гуляли, гоняли ветками комаров, гоняли, я с намеком, с тонким: «А за тобой, Татьяна, должок!» Она без претензий: «Помню и не отказываюсь». Тут я ее и поцеловал. Она меня. Пробовал я ей платье мять — гвардеец же! — да не шибко мнется. Зазноба от такой приятной процедуры уклоняется, шустрый, говорит, ты стал, практику, видать, большую прошел. Я в обиду: «Кака практика?! Кака практика? С минометной трубой, что ли?»

Миловались мы недолго да и расстались скоро. Погуляли, позоревали, пора и за дело. Хозяйством надо править, работу подыскивать. Тут явись Петруша из-за реки. Остарел, говорит, я, Иван, остарел. Помощник мне нужен. На шесте да на веслах до верхнего бакана скребусь — дух вон и кишки на телефон. В колхозишке, говорит, вам с Лилькой инвалидную свою команду не прокормить. На баканах паек хороший; рыба, орех, ягоды, охота, огород раскорчуешь, женишься — все на старости лет и мне догляд какой-никакой будет.

Подумали мы с Лилькой, подумали, и решено было подаваться мне в баканщики. Я к Таньке — свататься. Она — в смех:

— Ишь какой скорый! Погоди маленько, погуляй, похороводься, к невесте хорошеньче присмотришь.

— Че это она? — спрашиваю у Лильки.

Та же хитрая, спасу нет, глаза отводит: сам, мол, думай, решай, не мне, а тебе с человеком жить и судьбу вершить. Бабушка Сысолятиха за загородкой на пече выступает: «У парня — догадка, у девки — смысл. Бабьему посту нет хвосту. Оне, уфимцевские, отродясь мужиков по калиберу подбирали, пристреляются сперва, после уж под венец. В седьмом или осьмом колене брюхатые в мужнин дом являются. А на прохожей дороге трава не растет. Не-эт, не расте-о-от! Че те, девок нету? Бабов нету? Лишных жэншын, по радие сказывали, в державе нонче не то шешнадцать, не то двадцать милье-нов! Любу выбирай! Коли наши не глянутся, за реку отваливай — сами в баканску будку по ягоды приплавут! Мы, бывалоча, на яго-дах-то, на островах-то й-ех как ползуниху собирали! В смородинни-ке-то чад! Сплошной чад! Целовать в уста — нету поста! Й-ех-ех-ха-ха!.. Мой-то Сысолятин лопухай был, женихаться спохватился, а тамот-ка уж слабок. Робята не дремали! Рот полорот не доржи, Ванька, рви ягоду, покуль спела!..»

Наша баушка коли заведется да на любовну стезю попадет — не переслушать. Поезия!

Однем словом, оказался я за рекой, у Петруши, на баканах. А там, должен я тебе сообщить, совсем не курорт, как думают мимо проплывающие товарищи-граждане. Там шесть баканов, две перевалки плюс Петрушино хозяйство, совсем запущенное, и сам Петруша в придачу — на разнарядку ходит и за поясницу держится. Впрягся я в лямку в речную и попер советский речной транспорт вверх по фарватеру. Лилька, когда вырвется из Изагаша, по бабской линии что сладит, обиходит нас, да ведь и у самой дом на плечах. Помогать я им, правда, крепко помогал: продуктами, рыбешкой, мя-сишком, всем, что во дворе, в лесу и на пашне добыть способно. Тем временем друг за дружкой убрались в другой мир, в леса дру-гие баушка Сысолятиха и Петруша-баканщик. Зато прибыл из инва-лидки Серега, в командировку во временну, говорит, сам щенком смотрит, только что в ноги не тычется. Забрал я его к себе в бакан-ску будку — все живая душа в живом доме, да и Лильке полегче.

С ним, с Серегой, незаметно втянулись мы в хозяйство наше — он по дому, я во дворе да на реке, и это самое, от холостяцкой-то ст вольности попить начали. Ну, а где выпивка, там и женский пол. И как он к нам попадал, объяснить я тебе не сумею. И по льду попадал, и по снежным убрдам, и по чистой воде, и по бурной, коренной, и со дна реки выныривал, ненароком в лесу заблудится какая, при стихийном ли бедствии, от грозы-молоньи укроется, ка-кая — рыбки купить, какая — ягод побрать, какая просто так, на ого-нек на вечерний. Иная день поживет, другой — и уже пылит на раз-вороте, кроет нас, что законная хозяйка. Серега, он все ж таки сла-бый был и ожениться опасался: не справлюсь, мол, со своими обя-занностями и баба загуляет. Эвон оне какие, за войну-то боевые сде-лались, любого ротного старшину за подол заткнут. Ну а я в самом распале, в самый гон вошел, так бы вот кот и забодал! Ни день, ни ночь мне нипочем... Лилька приплавает к нам, пошумит, поругает нас, поплачет ковады — боится, спортимся мы, избалуемся вконец, потом рукой махнет: «А-а, повеселитесь хоть вы, раз мне доли нету... Завоевали...»

В деревне, в Изагаше-то, про все наши художества, конечно, все было известно, да еще и с прибавленьями. Мое положение ху-же губернагорского: не вижу Таньку — сердце рвет, увижу — с ду-ши прет! Но я держу объект на прицеле и позицию не сдаю. Как по делу или в магазин поплыву в Изагаш, так мне обязательно на пути Танька встретится и обязательно я ее спрошу:

— Замуж за меня еще не надумала?

— Зачем тебе замуж,— отвечает она,— ковды нашего брата не то шестнадцать, не то двадцать миленов лишних? Хватит вам с братцем работы еще на много годов.

— Стало быть, мое сердце в тебе, а твое — в камени.

— В камени, в камени.

— Ну смотри. Я ведь возьму да и оженюсь.

— Не женишься! Я приворот знаю,— смеется Танька и глаза свои в щелки жмурит.— Кому на ком жениться, тот для того и родится...

Ишь ты как ловко да складно! — злюсь я. Чисто Сысолятиха-бабушка валит. И про слова насчет калибера думаю. Чего-то, думаю, есть! В войну секрет, стало быть, и у ей завязался. Но куда сердце лежит, туда оно и бежит.

Лильке — кому же больше-то? — изложил я свои душевные терзания. Она пригорюнилась:

— Дурак ты набитый! Дурак и не лечишься,— качает головой.— Ну ума нету — пропили с Серегой ум-то,— дак глаза-то есть? Она же, Танька-то, больная. В войну с лесозаготовок не вылазила, надорвалась. В сорок третьем гриппом переболела — у нас год тот худой какой-то пал, косил и уродовал людей, будто потрава шла по лугу. Осложнение у нее на сердце после болезни получилось. Она обездолила тебя, оболтуса, не хочет, а ты кобелишься на виду у ей, чубом трясешь, зубы скалишь... Легко ли ей этот твой джаз слышать и видеть? Вот и сестра я тебе, а взяла бы хороший дрын да дрыном бы тебя по башке-то дурной и кучерявой, что у барана...

Вот так вот, паря, мне дали по рогам, и открылся секрет. Неладно. Нехорошо. Неправильно получилось у меня. И раньше не шибко грамотный да развитый был, а на войне совсем, видно, отупел, ожесточился. Я Лильку за бок — не базлай и не психуй, говорю, а потолкуй с Татьяной ладом, что ежели она ко мне всерьез, то и я к ней с сурьезными намерениями, с недостойным моим прошлым кончено, раз и навсегда! Р-рублю чалку! Навигация закончится, бака на сыму, с огородом управлюсь, свинью заколю, марала, а то и двух завалю, рыбы наловлю — мы и поженимся, справим свадьбу на весь Изагаш.

Мне через Лильку ответ: «Пуцай он потаскушек пекорчит с братцем своим, а мы, уфимцевские бабы, ревновиты, не привыкли ни с кем ложа делить, нам мужика, как мерина в хозяйство, не заезженного подавай! И нос у него огурцом висит. Семенным. Промеж круглых щек. И шеи нету. Только и красоты что кудрява голова. Да под кудрями-то опилки. Ума и с наперсток не наберется...»

А-ах та-ак! Стальть, нос огурцом, ума наперсток не наскрести! Ну я те покажу, сколько у меня ума! Я те покажу! Будешь ты у меня, как положено старой деве, на том свете козлов пасти. Будешь!.. Я вот поеду в Даурск осенесь и учительшу с музыкальной школы высватаю либо телефонистку, да и продавщица от меня не отвернется из самого магазина «Хозтовары» — была летось проплывом, и мы по смородину на остров...

Так бы я и сделал — дураково дело не богато. Поворотил бы свою судьбу на другой ход, на другу ногу поставил, через перевалы бы ее утащил, в райцентр — в министры бы не вышел по грамотешке своей, но в завхозишки либо в замначальники снабжения какого-нибудь торгового объединения или другого блатного предприятия подрулил бы, и, глядишь, препроводили бы меня бесплатно лет эдак на десять героическую дорогу Абакан — Тайшет строить.

Да не лежало мне туда пути. Бог, как говорится, не судил. Занемог совсем Серега. Слег братан мой и уж больше не справился, не осилил фронтовых увечий. Напоследок наказал похоронить его рядом с Петрушей, поскольку оба — бобыли, постараться выдать замуж Лильку, чтоб она не загубила свою молодую жизнь из-за обор-

мотов. Ежели самому приспееет — брать изагашинскую, лучше всего Уфимцеву Таньку — баба надежная, хоть и с диким характером, да на нас, Сысолятиных-Заплатиных, иную и не надо. Сломам.

Закопали братана Серегу, инвалида войны, на родном на анисейском берегу, дерном травяным, под одно с Петрушиной, могилку покрыли. Отвели и девять и сорок поминальных дней — как и положено у добрых людей. Сеструха сделала мне заявленье:

— Все, Ваня! Больше не могу. Погину я тут. Погину, засохну, сдохну. Забирай к себе Борьку вместо Сереги. Я целину поеду поднимать.

И что ты, паря, думаешь? Подняла! Не сразу, конечно, не вдруг, девка с разбором, и голова у ней на плечах крепко сидит. На нефти подняла! И помог ей в этом хлопотном деле Алекса Богданович, белорус, больше центнеру весом. Я как увидел их первый раз, чуть мимо табуретки не сел! Как же, говорю, бедная Лилька, ты эдакого дредноута на плаву доржишь? А она: «Копна мышь не давит». Алекса в лад ей вторит: «Зато мышь усю копну источиць!..» Во пара дак пара — гусь да гагара! Мигом троих детей изладили, голубчики, и с нефти убегли в осушенные болота Белоруссии. Я у них в гостях бывал, в отпуску. Потеха! Лилька Алексу нефтью дразнит: «Бяологи... Поставили серець болота вышку и ждучь, когда нехць попрець! А яка нехць у болоци? Там же ж вода кругом! Я ж на болоци вырос, мяня ж не обмануць. Жруць государственную рублевку да вино — и уся тут нехць! Но уцей, уце-эй! Вышел на одзеро, стряльнул да ружжом як повел — полюбласка уцей. Я их на вяровку уздев, пока до дзяреуни пер — плечо изувечу, месяц мядвезим салом плечо уцюпряд да вином. Вылячывся, слава це богу...»

«Гэта ж жонка враць! Гэта ж жонка враць! Да усяго нядзелю и лечывсь от уцей!» — поправлял Алекса из Белоруссии Лильку из деревни Изагаш, любовно гляючи на свою сибирячку.

Но это уж когда было-то! Когда уж все кругом налаживалось, восстанавливалось после войны, жизнь входила в спокойную межень, вода в берега.

А у меня все как-то не так, все ни к селу ни к городу, и банканская служба стала мне надоедать. Папуля Костинтин вместе с Борькой, мне на мою короткую шею хомутом надетье, — тоже. Я те забыл сказать, что ко мне вместе с Борькой и папуля Костинтин пожаловал. Больны оба и вроде как в возрасте подравнялись — дети и дети малые, не понимают и понимать не хотят, что моя молодость на излете, что нянькой при них и кормильцем быть мне, считай что, ни к чему. Но ущербные люди — оне в душе все ж таки злые, хоть и прикидываются бесхарактерными. И эгоисты. Добра не помнят и зла навреде как знать не хотят. И что получается? Погибаю в прислугах, в работниках, середь дремучей тайги.

«Сплавлю обоих вас, забулдыг, сплавлю в город, в инвалидку». «А бог! А совесть! А Лилька что скажет? Лилька к себе нас возьмет, в Белоруссию, вот тогда узнаешь...»

«Й-ех, мать-перемать, зеленая роца! Эх, кто виноват — жена или теша?» — хватану и я стакашек-другой вместе с тятей да с братцем, выйду на берег, зареву на весь Анисей, чтоб в Изагаше слышно было: «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село-о-о-о. Гор-ре го-о-орькое по свету шлялося и на нас невзнача-ай набрело-о-о-о...»

Шляться-то оно, конечно, шлялося, горе-то наше, да еще не набрело иль. считай что, неполностью выбрело из водяных темных пучин, не уж подобралось, уж руку протянуло, за горло взять изготовилось — Анисеюшко, родимай батюшко, караулил и не дремал, чтоб выхватить остатки из жидких уже рядов сысолятинской родовы.

Во время сенокоса поплыли папуля Костинтин с Борькой ко мне на остров, обед, что ли, сварили да вздумали порадовать косаря, выслужиться. На шивере не справились с течением, унесло их к утесу, торнуло о камень и обернуло. Лодку наши, изагашинские, поймали, привели. Давай неводить, искать тятю с братцем всем населением. Не нашли. Через неделю их самих из ямины, из камней вытащило и на косу выбросило. Воронье над косою забаламутилось и указало упокойников — нате, возьмите, боле оне родимому Анисею не нужные...

Вот так вот, парень, потихоньку да помаленьку остался я на свете один-одинешенек и узнал, что есть настоящее горе. Уж пуцай бы жиали Костинтин с Борькой. Пуцай бы пили, фулюганничали, только чтоб не одному в голой избушке, кругом упокойниками обступленной...

И начал я подумывать бросить баканскую службу, а то уж домохозяйкой сделался, уж моя корова бабам доить себя не дается, уж я знаю, сколько гребков до каждого бакана и толчков шестом до перевалок, уж мне рыбалка не в азарт и охота не в добычу, уж ко мне девки молоды по ягоды не плавут, всё разведенки да вдовы горемышные, с которыми не столь удовольствия поимеешь, сколько горя наслушаешься, да и напьешься с него, с горя-то.

Словом, мысля моя правилась к близкому ходу — побродяжничать меня поманило. И стал бы я бичом ответым — никто и ничто меня на пути этом удержать не могло.

Однако ж легко сказывается, да душа-то в берег родной вросла: поля мои, леса мои, река петлей вокруг горла обернулась, что кашне голубое. Куда я от Анисея-погубителя? Куда от последнего Лелькиного прибежища, от отца-материной недожитой жизни, от могил, от Борьки и Костинтиновой, от Сереги и Петрушиной, от тех же стариков Сысолятиных могил? Куда без этих гор высоких, без островов и бугорков, под которыми друзья-товарищи фронтовые, земляки зарыты? Кто их могилы доглядит? Кто в родительский день помянет и поплачет об их? Это уж нынешним молодым кочевникам наши привычки смешными кажутся и без надобности, но наша жизнь без родных могил — что лодка без ветрил. Да и без земли, без бархатных лесов, без синих перевалов, за которыми все что-то хорошее мерещится... Сниться ж, заразы, станут, как по юной глуposti снились на войне. Все это в карман не положишь, с собой не унесешь....

Нет, никуда мне от всего этого не деться и от Таньки нет мне хода. Она навроде и знать меня не знает, но сама из-за реки-то словно в бинокль видит не только чуб мой, но и мысли мои, за поведением моим ненормальным следит, намеренья мои изучает и наперед их разгадывает. «У кого молитва да пост, а у нашего Ваньки — бабий хвост!» — талдычила покойница бабушка Сысолятиха, и правда что, в самую точку. А там Лилька в письмах ноет: «Братка мой! Братка! Мне бы хоть одним глазком взглянуть на Анисеюшко да на горы и леса наши. Вижу их, во сне вижу. Мы в отпуск засобирались, да, пожалуй что, насовсем приедем. Алекса механиком может и болота осушать мастер». Совсем сеструха с памяти сдержулась!.. Какие у нас болота? Чего осушать? Но не приехали оне, прособирались. Сперва решили детей подрастить и выучить, потом внуков поднять, да так незаметно и вросли, видать, в белорусскую землю. А на нас тем временем надвинулись грандиозные, как в газетках пишут, события.

Наступила еще одна осень.

Флот уходил на отстой. С реки снимали обстановку. Ко мне заплыло околешнее на реке руководство из баскомреча. Заплыло и заплыло. Начальство надо согреть. Закуска по дороге бегаёт, в во-

де плавают, в лесу растет, дрова казенны, тепло мое. Загуляли, заехали гости с хозяином: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступа-а-ает». А раз последний и лед скоро — надо на зиму рыбы наловить. Надо дак надо. Кто бы возражал, я не стану. Конец октября на дворе. У нас тут в осеннюю пору, перед ледоставом, в ближних протоках елец тучился. Стоит один к одному — камешника не видать: думу ли думает, где и как зимовать удобнее, галечку ли мелкую берет, балластом себя загружает — ко дну жаться, меньше сил чтобы израсходовать на плаву. Елец в нашей местности был, что тебе туруханская селедка, — мягок, жирен, прогонист.

В ночь бросили плавушки-сети. Проплыли одну протоку — боченок ельца взяли, ведер на пять. «Мало, — говорят гости, — зима долгая, с харчем туговато». Мало дак мало. Бросили еще. Увлечлись. И раз тебе — на одной тоне черпануло ленка, вкусной рыбки, мористым концом сети! Глаза на лоб! Лихорадка в пятки!

А погода! А погода! Хуже не придумать. Снежище мокрый — стеной. Кашу по воде несет. Руки отерпли, пальцами уж не владем. Лодка леденеть начала. Запасу — ладонь. «Ребята, — говорю, — надо бы домой». «Еще одну тоню. Только одну!..» На этой тоне, на последней-то, мы и опрокинулись. Ухватились за лодку, в рыбе плюхаемся. Орем. Чую, огрузать начал. сапоги резиновые до пахов, одежда по осени, не то чтобы и очень уж тяжелая, но все ж телогрейка, дождевик, исподнее. Ну, думаю, дождался и я своего часу-череду, укараулил и меня Анисеюшко. Давно он что-то об себе не напоминал, да вот, стало быть, не забыл, терпеливый он, не торопится, ему еще таких вот дураков, как я, учить не переучить, топить не перетопить.

Ну, это я сейчас так планоно мыслю, в ряд пляшу, тогда, подика, и мысля скакала, и тело зыбалось, и я орал что есть мочи. И пока слышал себя, думал: «Кто блажит на реке так противно? Так одичало?» Скоро сил на крик не стало, сипеть начал молитву о спасении — тонуть-то мне совсем неохота и сдаваться, пусть и родимому Анисею, нет желания, сдаваться я никем не приучен, на фронте думы о плене или о чем таком, чтоб шкуру спасти, ня разу в башку не влезало.

Не помню, как дождевичишко с телогрейкой я стянул, сапог один спинал, другим в воде за борт опрокинутой лодки цепляюсь, чтоб сорвать и его. В тот момент мы на бакан на белый наплыли. Один из наших шасть на крестовину. Я ему: «Нельзя! Не можно! Крестовина за лето намокла, едва фонарь доржит...»

Пронесло нас. Лодка, было огрузшая под брюхами людей, тут килем вверх приподнялась. Я на лодку. Чую, булькается кто-то, хрипит: «Спасите!» Я этого связчика выдернул на киль. Боле никого не слышать. Стало быть, из четверых рыбаков осталось двое. Говорить либо кричать я уж не мог, но, лежа на брюхе, гребуся руками. Связчик, глядя на меня, тоже помогает. Коли нижний бакан был — вот-вот избушка. Около нее пароходишко обстановочный остался, ближе подгребешь — скорее услышат.

С парохода и подняли нас, потом и тех двоих, наших товарищей, по реке собрали. Одного несло по стрежи, плащ у него был прорезиненный, распахнулся и не давал огрузнуть. Его прожектором осветили, думали — коряга плышет. Но речники опытные на обстановочных судах рсбили, подплыть решили, посмотреть — это, значит, выпало еще пожить человеку. А вот тому, что за бакан поймался, висел на нем воды и тины наелся, судьба не сулила боле жизни. Он был впопыхах снят с бакана, брошен на корму пароходишка. Корма железна. И пока до будки пароходчики хлопались да чалились — примерз к железу, бедолага, переохладился.

В те поры, пока пароходишко по реке кружил, горе-рыбаков вылавливал, нас двоих уж оттирали в избушке, грели и, как водится,

от всей-то душеньки крыли на все корки. Свет я увидел уж к петухам. Раздирает, разваливает меня изнутри холодом. Тащите, показываю, за печку. Утащили. Там ведро помойное и рукомойник. Стал я на колени перед ведром... С отдыхом — сил-то нету — я то ведро до ободка нацедил. Сразу мне сделалось легче и теплее. На печку заволокли хозяина, всем, что есть в избе, укрыли, но меня все одно качает, взбулындывает — я все еще в воде. Вот опять куда-то понесло, завертело, закачало, опрокинуло...

Очнулся оттого, что кто-то меня бьет. По морде. Да так больно! Что, думаю, такое? Что добавлять-то? Я и так эвон какую кару принял... Открываю глаза — Танька Уфимцева хвощет меня со щеки на щеку:

— Паразит! Паразит проклятый! Чтоб ты сдох! Ослобонил меня... — И всякое там разное бабье ругательство вперемешку с причитаньем валит.

Танька прослышала про нашу погибель и решила, что я утонул. А как переплыла и увидела, что я живой, — давай меня сперва отхаживать, потом понужать. Я ни гу-гу, не сопротивляюсь и виду не подаю, что мне больно. Танька била, била, била меня, выдохлась да глаза закатила.

— Что вот мне с ним, с вражиной, делать? Куда деваться? — И на грудь мне головой упала. — Надо замуж выходить. Пропадет без меня...

Я тут снова глаза закрыл, слушаю и думаю, что ума у меня и на самом деле с наперсток — никакой я тактики не знаю, хотя и на фронте побывал, Гитлера уделал. Гвардеец... Надо было мне давно попробовать утопиться или еще какой маневр утворить.

Со мной с хворым Татьяна и осталась в баканской будке. Я нарочно недели две придурился, с печи не слезал, не пил, не ел, все на милую глядел, короче, тактику все ж таки применил — тактику одиночного бойца, находящегося в окружении: чтоб она за это время в хозяйство вошла, баканское имущество по описи на зиму приняла, к домашней лямке прикипела, чтоб ей некуда деваться сделалось. Надо соответствовать своему назначению — спасти человека, и вся тут задача. Ведь она, наша русская баба, что есть? Ей внуши, но лучше пускай она сама себе в голову вобьет, что, допустим, в казенную баню она идет не просто так, а смывать с общества грязь, обчищать его от скверны, — дак она тебе баню своротит, а уж замуж оне у нас, голубушки, сплошь не просто так идут, все с высоким смыслом — человека спасти, и в горячке патриотизмы запросто могут его задуть. В объятьях!

«Коня на скаку остановит, медведя живьем обдерет!» — говорили братья-минометчики про наших замечательных женщин. А они, минометчики, как стреляют, так и говорят — всегда в точку.

И вот достигнуто желанье! Наступил предел моей холостой жизни — разлучить нас с Татьяной теперь только заступу да сырой земле. Не так бы скоро, конечно, как вышло, да у всякого свой срок во всем назначен, не нами назначен. Вон люди, которые ни сахар, ни соль не едят, бегом бегают по девять верст, а придет срок, кувырк — и нету...

Да-а... Скоро и понесла моя Татьяна. Все наветы покойной Сысолятихи Шоптоницы насчет нестойкости уфимцевской родовой, не пример мне, она отмела, хоть и на лесозаготовках мыкалась среди мужичья, пусть и нестроевого, в селе Изагаш полжизни колотилась, где строгость нравов не особо соблюдалась. Шибко, ох шибко страдала и ревновала она меня к прошлому, да и к настоящему тоже, раз я такой порченный, считала, удержу на меня нету — всякий закон, стыд и бог такому моральному уроду до порогу.

На следующий год после того как свела нас судьба, среди теплого лета, в самое цветенье, как раз о ту ж пору, когда я с войны вернулся, родила Татьяна сыночка. Назвали его в честь хозяина нашего прибежища Петрушей. Просил покойник, чтоб, ежели я оженюсь, его именем первенца назвать, поскольку сам он прожил жизнь бобылем, пусть хоть в чужих детях именем своим продолжится...

Петруша родился слабеньким. При родах Татьяна едва не померла. Боле ей рожать не велели, опасно, сказали, для жизни. Но Татьяне хотелось еще девочку. И мне хотелось. Попробовала она родить девочку. Умер ребенок при родах. Татьяна серой тенью из Давурска явилась домой, за стенки держалась. «Что ты не женился на другой,— плакала она,— зачем я тебе? В деревне баба здоровая нужна...» Будто в городе баба нездоровая нужна! Городит тоже. А мне какую судьба определила или бог послал, с той и вековать, ту любить и жалеть. Полюби-ка нас вчерне, говорится в народе, а вкрасне всяк полюбит.

Природа у нас суровая, да здоровая. Оклемалась Татьяна. Орезвел Петруша, весельем в отца удался, ласковым в маму. Уж мы его любили. Уж мы его нежили. Да и баловали, что там скрывать. Как во школу приспела пора Петруше, мы ради него в Изагаш переехали, бакана оставили. Я в мехмастерские поступил. Татьяна на почту устроилась. Жи-ы-ыве-ем!

Тем временем покатился слух по верхнему Анисею — затоплять будут. Я газетки почитывал маленько да и радио слушал, оттуль и узнал, что повыше Красноярска строится гидростанция и что, конечно же, затопляться что-то будет, но до нас, поди-ка, дело не дойдет — восемьдесят, считай, верст от плотины будем, на сухе останемся.

— Да что ты, папа! — мне Петруша с гордостью. — Это же не простая гидростанция! Самая мощная в мире! И она не восемьдесят, а все шестьсот километров захватит, может, и тысячу!

Ликует Петруша, а я думаю: эко хватил малец — шестьсот верст! Это сколько же надо земель, лесов свести и затопить, лучших земель, лучших угодий, сел, городов и леспромхозов, народу сколько с места согнать...

Слух слухом, а нюх нюхом. Волнуется народишко по берегам великой реки, тревожится. Переселять будут. Точно. Уже и страховку за строения начали выплачивать, уже и ссуды на новожительство выдают, но вот поговорить с народом, объяснить ему что к чему — никому в голову не приходит.

Татьяна моя смолкла, соображает. Я матерюся, когда Петруши дома нету. Народ по маленьку начинает сыматься с мест, распыляться. Татьяна в отпуск засобиралась в Красноярск, к родной своей сестре Зинке. Приезжает и говорит:

— Ваня, давай подниматься с Изагашу. Ему скоро под воду. Ты уж под водой бывал. Ничего там хорошего нету. Сам видал. Я дом сторговала в деревне, около города. Петруша десятилетку закончит, в институт ездить близенько. Он у нас, сам знаешь, какой богатырь, ему догляд нужон и питанье хорошее. При доме огород большущий.

Я как узнал, что деревня та близ гидростанции, заорал:

— Значит, на съеденье гидре! Она, значит, нас заглатывает, а мы сами, считай что, сами в пасть ей лезем!

Татьяна мне:

— И чего такого? Там народу тучи, изагашинских встречала. Не глупее оне нас с тобою.

Кто с бабой спорит, тот назьма не стоит, учила наша бывшая наставница бабушка Сысолятиха. И я спорить не стал. Переехали мы сюда. Гнилушки перетрясли, отстроились, обжились. Я сперва на гидре бетономешалкой командовал, потом, когда гидра загремела и ре-

ку перемалывать начала, на деревообделочный наш заводик, в столярный цех механиком пошел, да там до пенсии и доработал. Фото мое с Доски почета не сходило, и сейчас, когда попросят пособить, — не отказываюсь, иду в кочегарку либо бруски пилить на дверные блоки и рамы. Таня работала опять на почте. Да недолго. По болезни на пенсию ее отправили. В огороде копалась, дом обихаживала, Петрушу в институт снаряжала. Как и многие тихие, бессловесные люди, он у нас головастый оказался, в науке хорошо преуспел, и при Политехническом институте его оставили в какой-то аспирантуре. И вот тут-то, в аспирантуре, он и попал в лапы той выдры, воровки проще. Она в их институте завстоловой работала, ну, прикормила его, видать, или споила чем — иначе где бы ему чего смикитить? Самому, бывало, и титьку мамкину не найти. А тут эвон какую золотую самородку откопал.

А в изагашинских местах я, паря, не бываю. После затопления раз один на рыбалку съездил — ничего не узнал, нет местности родной. Топил, топил Анисей нашего брата, теперь самого утопили, широкой лужей сделали, хламом, как дохлую падаль, забросали. Толстой водой и хламом покрылось речное приволье. Где было наше с Татьяной прибежище и Петруша где по яру бегал, травку пяточками мял, на бережку песок месил и домики строил из глины да лепешки стряпал — ни глазом, ни памятью я найти не мог. И бакана теперь — автоматы-мигалки старое русло реденько означают, народ другой живет, на других, малородных берегах, все боле переселенец. Наши на месте не удержались, кому уж помирать пора подходила, кому сниматься сил нету, те в косогоры поднялись. На старых пашнях березники взошли, берега моет, землю рушит, камень оголяет, и пускай там другие люди живут, оне не тут родились, у меня же там — ни жить, ни стоялу воду пить нету желанья. Моя родина, мой берег и могилы родительские, Лелькина, Петрушина, Серегина, Борькина, Костинтина, стариков Сысолятиных, того горемычного товарища, что со мной рыбу имал и которого не откачали, — на дне глубоком.

Мы на земле своей, изагашинской земле из поколения в поколение жили и работали, нам ее жалко, да и боязно делается, как подумаешь, что за люди без земли, без своего бережка, без покоса, без лесной деляны, без зеленой полянки, на сером бетоне вырастут. Что у их в душе поселится? Казенная стена! Какое дело они справлять станут? Кого любить? Кого жалеть? Чего помнить?»

Мы с Иваном Тихоновичем одногодки, оба фронтовики, и рассказ его не зря был доверен мне. Я чего не понял, то почувствовал, проникшись его благодарной печалью, от чувств, нас обоих пронзивших, да, наверное, и сроднивших, прочел ему любимые стихи:

Мир детства моего на дне морском исчез...
Где петухи скликались на рассвете,
Где зрела рожь, синел далекий лес,
Теперь в воде сквозят рыбацьи сети.

Ты грустным взглядом в глубину глядишь
Без горьких сожалений и обиды.
Там чудится тебе солома крыш
Уснувшей деревенской Атлантиды.

Крепчает ветер. Между черных свай
Вскипает пены белоснежной вата...
Спи, Атлантида. Спи и не всплывай.
Тому, что затонуло, нет возврата.

Иван Тихонович сидел, опершись о скамейку, не отрываясь глядел в заенисейское горное заречье, в земные пространства остановившимся взглядом. Не отпускаясь от скамейки, о плечо, об выношенную телогрейку вытер лицо — так вот на фронте во время зем-

ляной работы мы вытирали пот, чтоб не обляпать лицо грязными руками.

— Это кто же так проникся? — тихо спросил он.

— Тот самый поэт, что написал в войну для нас «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза».

— Фамилия его какая? Запомнить хочу.

— Алексей Сурков.

— Живой еще или помер?

— Помер. Недавно.

Иван Тихонович, что-то в себе заломав, упрятав подальше, вздохнул протяжно:

— Уходят бойцы фронта боевого и трудового. Покидают земные пределы последние их колонны. И хоть не в согласии, но все ж в мире оставляем землю детям нашим. Как-то оне сберегут, сохранят такой кровью, такой мукой добытое...

Долго мы молчали, не шевелились.

— Вот скажи ты, что дадено человеку, а? — не меня печального тона, все еще находясь в воспоминаниях, продолжал Иван Тихонович. — С одной стороны, поджигателям войны неймется опять все порушить, передать, изуродовать, с другой — взять, что во мне, скажем, на самом дне лежало, песком, землей, прахом замытое, все это из тьмы кромешной, из хаоса золотишкой добыть бы и жизнь высветлить... Вот сколь давно живу, а постичь не умею. Клавоочка наша... Ну ни единого у нас плясуна в родове, петь певали — голосистые были, но по танцам — что медведи. А она вон по какой линии приударила! Уж какая из нее танцорка будет — бог весть, но деда и всех людей любит — это в ней есть, это точно! Это от изагашинских корней сок в нее просочился...

В пятницу с самого утра дневалит Иван Тихонович возле ворот — ждет внучку Клавоочку из города. Чует он ее, еще не увидев, узнает средь всего народу, с электрички идущего, хотя и «сяло», как он говорит, у него зрение. Внучка еще задаль машет ему рукой, будто комаров над головой разгоняет. Беленькая, стройненькая, ноги у нее — носки врозь, пятки вместе, будто у парадного, вымуштрованного солдатика, наростопырку ходит, руки длиннопалые кренделем держит, не сутулится и ничего тяжелого не поднимает, лишку не ест, не пьет, картошки не садит, дров не носит, назмю не убирает. Да дедушка и не заставляет ее тяжелую работу делать, слава богу, сам еще в силах.

Петруша умер, когда Клавоочка училась во втором классе, мамулю загребли в тюрьму через два года после смерти мужа. Не одну, целую банду из общепита заневодили, будто табун зубатки в мутном половодье. Все золото с воря содрали, машины и дачи отняли, барахлишко в скупку свезли. Попировали! Хватит!

А время бежит, бежит. Клавоочка «Лебедей» для выпускного спектакля репетирует, пока еще маленьких, пока еще артельно. Как-то ударила по деревенскому радио музыка — и пошла Клавоочка колена выдильвать, сигаает по избе от стены до стены, двор единым прыжком взяла... Но недавно пожаловалась деду: на сольную партию не тянет, нет, сказали, данных у нее и опыту. Да как это нету, как это нету, когда вон чего вытворят человек! Козлом горным скачет и кости не переламывает. Блату нету, вот что. Сяла та выдра кабацкая в тюрьму не ко времени. Дала бы девке образование закончить хоре... хоре... — не с первого раза, с раскачки берет мудрое слово дед — хо-ре-огра-фи-чес-кое, в соло бы ее вывела, в театр определила, в самое Москву — тогда бы и садись на здоровье...

А-а, да хрен с ним, с солом, продолжает размышления Иван Тихонович. На хлеб, на сахарешко и без сола добудем; для свадеб-

ной сряды иль на завитушки какие, так он ей половину пенсии отвалит, надо, дак и всю высадит, дом продаст, на картошках сидеть будет, но чтобы все у внучки, как у современных молодых людей, чтоб досыта пито-едено, чтоб хоть платье, как у той, у выдры кабацкой, вилок называется, хоть джинсы, хоть картуз с длинным козырьком, хоть туфельки на морковках, хоть магнитофон, пусть недорогой,— надо дак...

— Дедуля, здра-астуй! — доносится до Ивана Тихоновича, и на него, распластав крылья, с кожаной, словно у давнего изагашинского почтаря, сумкой через плечо, набитой всякой женской мелочью, харчишками из училищного буфета на выходной, с безделушкой, подарком дедушке, летит легкая юная внучка.

И то, что Клавочка, как в малолетстве, от торопайности ли, а дед считал — от волнения встречи, сглатывала в слове «здравствуй» буквы, ввергало его в какое-то глупое беспамятство, когда все вроде видишь, слышишь и помнишь, но земли под ногами нету, да и сами ноги вроде как не твои.

Прижав Клавочку руками ко все еще не запавшей груди, Иван Тихонович долго не выпускает ее, будто не верит, что вот она, девонька его родимая, взяла и прилетела к нему и никуда-никуда не улетит от него.

И всякий раз при встрече с внучкой с уже отдаленным, привычным горем коротко, неслышно вздохнет Иван Тихонович: «Вот бы бабушка-то жива была! Радости-то, радости-то бы...» — это чтоб и на том свете Татьяна Финогеновна не подумала, что он всю любовь внучки присвоил себе и забыл о ней. И тут же сжимается нутром от неожиданно вернувшейся, неотвязной догадки: «И я вот тоже скоро... небось скоро... Зачем? Как же мы друг без дружки-то?..»

...Жизнь прожить — что море переплыть.



ВИКТОР ВАСИЛЕНКО



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Возле Иткола

Скала и облако. Скала
и к ней тропа. И нет покоя.
В лощине голубая мгла
и белый камень под ногою.

И тихий переплеск воды,
таинственный из отдаленья.
И ослик серый у гряды,
знак — здесь недалеко селенье.

Уздечкою привязан он
к кусту шиповника. А в небе
каких-то птиц немолчный звон,
снег гор как верх великолепий.

..*

У ветра звуки Шопена.
Падают ветки на грудь.
Хвойная зыбкая пена.
Смутный, потерянный путь.

В воздухе тают снежинки,
падают на постель
хвойную без заминки,
вьют, развивают кудель.

Сколько печали у ветра,
музыки в песне его!
Сломана, падает ветка
вниз со ствола своего.

Хвоя, забыв про утраты,
жаждет себе высоты.
Сосны плывут, как фрегаты,
из голубой темноты.



СЕРГЕЙ ГОЛИЦЫН

★

ДЕДОВ ДОМ

Повесть

Глава первая

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТ ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ

1

В первых числах сентября тысяча девятьсот восемьдесят такого-то года в некоем городе Владимирской области, что стояла на высоком берегу реки Клязьмы, умер один старый дед.

Похоронили его не на городском кладбище, а на сельском, за семь километров, в той местности, откуда дед был родом и где покоилась в земле сырой многочисленная его родня.

Как исстари полагалось, на девятый день после кончины деда собрались в его доме несколько старушек — ближних и дальних родственниц деда и его покойной жены. Все они были в черных одеждах и черных кружевных платочках, все на одно лицо, с заплаканными, тусклыми глазами и скорбно поджатыми серыми, сухими губами. Пришел белобородый и лохматый старик цыган, дедов сосед, пришли два брата — внуки покойного — со своими женами, явился лучший друг отца обоих внуков, дедова сына, погибшего на войне, — юриконсулт на одном из заводов города.

Старушки сидели за столом и то запевали вполголоса молитвы, то замолкали и тогда дружно, не чокаясь, выпивали, закусывали разной расставленной на скатерти снедью и принимались потихоньку переговариваться между собой, вспоминая о многочисленных дедовых добродетелях.

Все они считали, что помер дед не от какого-то там склероза сосудов головного мозга, а просто зажился: ведь как-никак, а прожил он на белом свете почти что девяносто лет.

Внуковы жены оживленно шептались между собой о последних промтоварных покупках. Юриконсулт и старший внук Леонид также о чем-то потихоньку беседовали. Старый цыган и младший внук Виктор молчали.

Цыган был очень расстроен, потому что лишился своего соседа. Ведь весь этот городской квартал — два с лишним десятка маленьких, деревянных, разноцветных, изукрашенных резьбой домиков, в первые послевоенные годы свезенных сюда из окрестных деревень, — был обречен на гибель, или, как официально говорилось, подлежал сносу. Многие домики с окружающими их надворными постройками, огородами и фруктовыми садами уже успели исчезнуть под ножом бульдозера. На их месте возводились девятиэтажные, ослепительно белые, похожие на поставленные на попу, увеличенные в тысячу раз спичечные коробки.

И люди, жившие в маленьких, без водопровода, с печным отоплением домиках с будочками уборных на концах участков, довольные и счастливые, получив сколько какой семье полагается жилплощади, переселились в эти благоустроенные, совсем одинаковые высокие дома.

Старый цыган теперь оставался последним жителем этого некогда веселого, оживленного, утопавшего в зелени садов квартала. Два его сына с женами и многими детьми получили две просторные квартиры и, столь же довольные и счастливые, как и прочие переселенцы, недавно покинули свой маленький и тесный домик, оставив старика одного.

Не хотелось старому цыгану уходить из обжитого дома. Кобылу свою, приносящую ему немалый доход, он продал в дальний колхоз, осталась у него молоденькая ее дочка-трехлетка, не знаящая ни хомута, ни уздечки. Жалко ему было с ней расставаться, да и дешево за нее давали. И он не знал, что с ней делать, по три раза на день приходил к ней, кормил ее овсом и сеном, хлеба давал, поил, холил, чистил и ласкал.

Он первый встал из-за стола, поклонился молча низким общим поклоном и пошел ухаживать за своей кобылкой...

Виктор откинулся к спинке стула и задумался. Он искренне любил деда, по вечерам иной раз хаживал к нему слушать его рассказы про милую дедову сердцу родную деревню Завражье на высоком берегу Клязьмы-реки, где тот прожил первую половину своей долгой жизни.

Дед и на войне побывал, но за преклонным возрастом служил в нестроевой части, охранял какие-то военные склады, а демобилизовался, прибыл в Завражье, услышал, что тамошний колхоз на обе ноги хромает, и не стал возвращаться к привычной с детства сельской работе.

А тогда в городе начали большой завод строить. Заводской вербовщик всюду разузнавал, где какой демобилизованный вернулся. Явился он в Завражье и уговорил деда перевезти дом во вновь отведенный на окраине города квартал, переселиться с женой, со снохой, с двумя малолетними внуками и поступить на завод плотником. А дед был мастером на все руки.

Тогда по всей Владимирщине и по другим соседним областям многие крестьяне переселялись в города, покидали колхозы и свои дома перевозили.

А заводы строились везде, и трудовые руки там требовались позарез. И заработки на стройках и на заводах были куда больше, нежели по колхозам. И предприятия принимали людей тем более охотно, что квартиры таким сельским переселенцам не требовались.

В горсовете отвели деду участок в шесть соток. Дал ему завод грузовик, и он без жалости разобрал свой дом, перевез бревна в город, на новом месте выложил кирпичный фундамент, на нем сруб-пятистенку поставил, крышу из листового железа возвел, к окнам резные наличники приделал. А на участке посадил яблони и вишни. И поступил на завод работать.

Проработал он двадцать с лишним лет, на пенсию пошел; жена и сноха его померли, оба внука выросли, в армии отслужили, женились, обзавелись семьями и получили в городе квартиры.

Так остался дед бобылем в своем доме. И затосковал. Не один раз спрашивал он себя: «Эх, зачем переехал в город и дом перевез? Вон в деревне дела вроде бы получше пошли, вместо малых колхозов встал один большой совхоз на тридцать деревень. И рубли там получают немалые».

Загрызла деда совесть — и чего в трудные для села времена с земли в город сорвался? Перетерпел бы — и жил пенсионером в своем Завражье, на Клязьму ходил бы рыбку удить да в лес за грибами...

В городе по зимам он книжки читал, в телевизор смотрел, а когда приходил к нему внук Виктор, рассказывал про старое, про бывалошное.

А с весны и до первого снега дед на своем участке усердно копался, Виктор частенько приходил ему помогать. И снабжал дед и внуков и самого себя овощами, ягодами и яблоками, на весь год всем хватало.

Знал Виктор, что помер его дед от огорчения, оттого, что доживал дедов дом последние деньки. И хоть давали деду отдельную однокомнатную квартиру, но дом родной и участок, в который вложил он столько труда, были ему милее во сто крат...

2

— Слышь, Виктор,— Леонид обернулся к брату и, показывая на одну из старушек, сказал: — Вот тетя Лиза говорит, что в Завражье два дома продаются.

— Померли хозяйки-то, а у сынков в городе квартиры подходящие,— тянула старушка, скорбно вздыхая.— Одна изба куда как хороша, а другая поплоче будет, можно сказать, вот-вот развалится.

Виктор вздохнул, весь встрепенулся.

— Выходной завтра, поедем их посмотреть! — воскликнул он, умильно глядя на брата, недавно купившего «Жигуленка».

— Можно я с вами прокачусь? — спросил юрисконсульт.— Знакомлюсь, что представляет собой Завражье...

Так и договорились — завтра с утра втроем ехать...

Известие о продаже домов привело Виктора в неопишное волнение. Будоражили его прежние дедовы рассказы, от них давно уже зародилась у Виктора заветная мечта — купить где-нибудь в ближайшей деревне домик и туда после работы и на выходные дни ездить, там сзади посадить яблоньки да грядки вскопать.

Садовые участки по городским учреждениям раздают, можно бы в кооператив записаться. Но это совсем не то, никакой речки рядом нет, домишки вроде будок торчат, и народ разный шатается. А тут — вот какая удача! Дома продаются! И не где-нибудь, а в родном Завражье, где закопана его пуповина. Там он провел первые три года своей еще несознательной жизни, о коей вовсе ничего не помнил. А все же, будучи взрослым, он в поездках за грибами, случилось, заглядывал в родную деревню и знал, что на месте, где некогда высылся дедов дом, двоюродная сестра деда тетя Лиза поставила совсем маленькую, в два окошка избенку.

«Тот хороший дом, что продается, мне купить будет не по карману,— рассуждал Виктор про себя.— Куплю какой подешевле...»

А волновался он также и потому, что все последнее время самозабвенно читал по вечерам одну удивительную книгу...

Еще неделю тому назад, на следующий день после дедовых похорон оба брата с женами пришли разбирать и делить все его небогатое имущество. Мебель — столы, стулья, лавки, табуретки, а также горку, шифоньер, комод, шкаф с разными точеными и резными украшениями — их жены отвергли как вышедшую из моды, иконы раздали старушкам, весь инструмент — топоры, пилы, рубанки, долота, отвертки и прочее — Виктор взял себе, а запасы продуктов, посуду, одежду, постельные принадлежности, фотографии родственников, десятка два книжек между собой поделили.

Так толстая и затрепанная книга «Подарок молодому хозяину» досталась Виктору. Автор ее был неизвестен, да и название могло оказаться иным, потому что начертал его на бумажной обертке своею рукой химическим карандашом сам дед.

Это был всеобъемлющий справочник по разным отраслям сельского хозяйства — о полях, лугах, огородах, о скоте, о постройках,

притом напечатанный по старой орфографии и, видно, давно, вскоре после отмены крепостного права. Ни одного слова об электричестве, о каких-либо механических двигателях, о сельскохозяйственных машинах там не упоминалось, а самая обширная глава посвящена была лошадям — как за ними ухаживать, как кормить, какие существуют экипажи, какая упряжь. Очевидно, справочник предназначался недавно освобожденному от крепостной зависимости деятельному крестьянину.

Особое внимание Виктор обратил на главу «Изба». Там шла речь о деревянных постройках на селе, рассказывалось, как их рубить и содержать в порядке. Больше всего заинтересовало Виктора пояснение, как избу перевозить с места на место, как и какого вида зарубками размечать перед разборкой каждое бревно на всех четырех, а при двойном срубе на пяти стенах и с какими хитростями полагалось размечать короткие бревна между окнами.

Вот почему так, до дрожи в коленях, Виктор встрепенулся, когда узнал, что в Завражье два дома продаются. Он спасет дедов дом и перевезет его не на старое место, а туда, где сейчас притулилась изба-развалюха.

3

Чтобы добраться до Завражья, требовалось на седьмом километре от города свернуть с шоссе и проехать совсем немного по проселку. Но трое пассажиров «Жигулей» на полпути остановились, наткнувшись на обширную и, верно, глубокую, вряд ли когда просыхающую лужу. К их удивлению, перед лужей стояла изящная светлая «Волга». Поставили они рядом свою машину и далее отправились пешком, благо погода стояла солнечная, по-летнему теплая.

Домов в Завражье насчитывалось около двадцати, все они были старые, с бревнами будто серебряными, вернее, поседелыми, с почерневшей, когда-то старательно выведенной резьбой на крылечках, под крышами, вокруг окон. Стояли дома в один рядок, перед каждым домом липы росли с пожелтевшей осенней листвой, иные заборы покосились. На опустелой улице, густо заросшей овечьей травкой, кое-где бродили куры. Людей не было видно. Царила полнейшая тишина.

Через промежутки между домами открывался вид широкий и просторный. Клязьма угадывалась где-то под горой, за усадьбами. А на той стороне, вся в желтых и оранжевых осенних красках, раскинулась вширь на много километров заклязьминская пойма, заросшая по гривам дубами и вязами. Там и сям блестели светлые полоски озер — старицы Клязьмы. А дальше и еще дальше, в голубой дымке, пропадали лесные просторы...

— Какой тут воздух живительный! — воскликнул юриконсульт.

Домик-развалюху нашли сразу. Ну уж и изба! Верно, срублена она была еще в прошлом столетии, с тремя маленькими, перекошенными окошками, она и набок накренилась, и вперед ссутулилась, и крылечко ее покосилось, и ступеньки провалились, а крыша, покрытая выщербленной дранкой, была вся в заплатках из толя. На двери висел замок.

Все трое остановились перед избой, разглядывая ее убожество. Высохшие, видно, от морозов, яблони чернели корявыми ветвями сзади, на заброшенном участке.

Виктор ткнул ботинком в бревно нижнего венца избы. И разом отлетели щепки, посыпалась труха, засуетились потревоженные муравьи.

А рядом гордо высился на высоком кирпичном фундаменте дом-богатырь под железной, оцинкованной и потому казавшейся серебряной крышей, дом, обшитый реечками, выкрашенными светло-коричневой краской, с тонко вырезанными, словно кружево, голубыми с

белым наличниками по пяти окнам, на коньке крыши красовались чеканные из листа цинка два барса, прыгающие друг на друга, словно взятые с двух гербов древнего Владимирского княжества. А по обоим краям крыши водосточные трубы начинались с двух пышногрудых жестяных русалок. На створках зеленых ворот были прибиты четыре солнца, покрашенные серебром и состоявшие из многих щепочек-лучиков.

Тут неожиданно юрисконсульт и Леонид окаменели от удивления. Виктор оторопел. Из этих самых ворот с солнцами вышла сперва толстый гражданин, потом толстая гражданка, потом старушка тетя Лиза. Кто такой был этот толстяк, Виктор не знал, но понимал, что начальник он был шибко важный, раз приехал сюда на «Волге».

А брат Леонид и юрисконсульт его хорошо знали, все трое работали на одном и том же заводе.

Толстяк был там заместителем директора, и не просто заместителем, а по снабжению. Он славился своим поражающим и восхищающим всех умением доставать все то многочисленное, что требовалось производству. Различные детали для бесперебойной работы завода теоретически получали по договорам с предприятий-поставщиков. Но замдиректора для уверенности посылал туда еще бойких молодцов-толкачей. И никогда завод не лихорадило, и план выпуска продукции неизменно перевыполнялся. Министерство было довольное, а заводские работники получали премии. Словом, начальство в городе, в области и в Москве, как говорится, высоко ценило и уважало незаменимого работника.

Супругу его также высоко ценили в городе, правда, не сами руководители различных учреждений, а их жены. Она занимала вроде бы не такую уж значительную должность — была в райпищеторге старшим товароведом. Но ни одна свадьба сыновей и дочерей городских руководителей, ни один их юбилей не обходились без содействия супруги замдиректора. Она снабжала все торжества различными заморскими яствами и вином. И вообще снабжала...

И вот эта солидная пара неожиданно появилась в Завражье и даже пешим порядком прошествовала с полкилометра.

Юрисконсульт первым нашелся что сказать:

— Добрый день! А мы решили немного прогуляться!

— Добрый день, — сказал Леонид. Он работал сменным инженером цеха и сейчас несколько оробел.

Виктор молча поклонился.

Замдиректора угрюмо, исподлобья посмотрел на Леонида, потом на юрисконсульта и, не подавая руки, буркнул:

— Мое почтение! — Потом он указал на красивый дом и обратился лишь к одному юрисконсульту: — Учтите, купил его я и уже задаток дал.

— Извините, но я ничего покупать не собирался, — ответил юрисконсульт, несколько уязвленный бесцеремонным тоном замдиректора.

Супруга последнего во время этого разговора презрительно и молча смотрела вдаль.

— Всего наилучшего! — сказал замдиректора, едва кивнув головой. Оба они круто повернулись и направили стопы к своей машине...

От тети Лизы Виктор узнал адрес жившего в городе сына умершей хозяйки старенькой соседней избушки. Все трое осмотрели заброшенный, видно, давно не паханный участок сзади и отправились к тому концу деревни, где некогда стоял дедов дом. Они потолкались в раздумье у маленькой тети Лизиной избенки, потом повернули к поджидавшим их среди поля «Жигулям».

Пока шли, разговорились.

— Послушай, Виктор,— говорил юрисконсульт,— что касается перевозки дома из города в сельскую местность, ничего сказать не в состоянии. Насколько мне известны постановления по земельным вопросам, подобный исключительный случай вообще не предусматривается. Но знаю, что на любое строительство требуется соответствующее разрешение. Что же касается самой покупки дома, то эта операция может быть юридически оформлена сельсоветом, но лишь при одном обязательном условии — если ты выпишешься из своей городской квартиры, пропишешься здесь и поступишь в совхоз на работу... А директор совхоза выделит тебе участок сзади дома. Насколько мне известно, высококвалифицированные кадры в селе необходимы крайне.

Прослушав эту длинную тираду, Виктор оторопел.

— А почему такие сложности? Один хочет дом купить, другой хочет дом продать, почему ставят красный свет? — заволновался он.

— Многие стремятся купить дома в сельской местности, чтобы приезжать на лето отдыхать, наслаждаться природой, но не работать. Сельскому хозяйству от подобных дачников польза равняется нулю, одни беспокойства,— говорил юрисконсульт.

— Я лично пользу приносить буду! — уверенно сказал Виктор.

— Какую же? — насмешливо спросил юрисконсульт.

— Буду пока думать, какую пользу. В совхозе разных машин много, найду часок-другой свободный, отремонтировать их возьмусь.

Юрисконсульт столь же насмешливо и недоверчиво улыбнулся.

— А вот наш замдиректора купил же тут дом,— вставил Леонид,— да еще какой! Как он покупку оформил?

— На этот вопрос я ответить не в состоянии,— сказал юрисконсульт.

— Да он все может, коли захочет! — воскликнул Леонид.— Для завода все сделает, а уж для себя и подавно!

Юрисконсульт промолчал.

Подошли к машине, он и Виктор сели сзади, Леонид взялся за баранку.

— Ну посоветуйте, что мне делать? — обратился Виктор к юрисконсульту, нотка отчаяния зазвучала в его голосе.— А уходить с работы я не могу никак! Я так нужен нашим девочкам!

— Есть один выход,— сказал юрисконсульт, помолчал, потом продолжил свою речь,— только, друзья мои, строжайший уговор: никому ни слова, что данный совет дал тебе, Виктор, я, хотя с юридической точки зрения в моем совете никакого нарушения закона не усматривается.

Оба брата такое слово дали.

— Сколько на поминках было старых женщин? — продолжал юрисконсульт.— Восемь или десять? Так вот, уговори одну из них... Пусть она выпишется из квартиры, да еще напишет заявление в сельсовет, что желает купить дом в Завражье и просит ее там прописать, еще пусть она напишет доверенность на имя Виктора, что доверяет ему оформить данную покупку, да еще пусть напишет завещание, что в случае ее смерти дом в Завражье переходит в собственность Виктора.

— Да никакая из моих тетей не согласится переехать в Завражье! — жалобно воскликнул Виктор.

— А никакого переезда не потребуется,— невозмутимо продолжал юрисконсульт.— Твоя тетка спокойно останется жить в своей городской квартире, а прописана будет в Завражье как домовладелица.— Он обещал, что заявление в сельсовет, доверенность и завещание сам составит и печатает. Все эти документы необходимо заверить в нотариальной конторе.

Виктор замолчал. Он понимал, что всю эту нужную канитель придется провести, да еще как можно скорее, пока бульдозер не под-

ступил к дедову дому. А подходящую покупательницу завражской развалюхи он уже наметил. Это будет другая двоюродная сестра его деда — тетя Феня, живущая в городе со своей незамужней дочерью. Он сегодня же пойдет к ним и уговорит их принять участие в этой сложной юридической сделке.

4

Виктор уже давно работал на самом удивительном предприятии не только в городе, но, наверное, во всей Владимирской области. Там трудилось свыше двухсот человек, правда, не девочек, как выразился Виктор, а девушек и женщин от восемнадцати до пятидесяти лет. Их обслуживали только двое мужчин — он и старик-пенсиянер Михеич, слесарь и плотник. Даже директор и главный инженер, даже ночные сторожа были женщины.

Предприятие это называлось швейная фабрика имени 8 Марта, там изготавливалась детская одежда.

Наверное, ни один мужчина не пользовался в городе таким успехом у представительниц прекрасного пола, каким пользовался Виктор. Лет ему было уже за сорок, росту невысокого, плотный, лицо круглое, румяные щеки, глаза голубые и ласковые, прищуренные, улыбка скорее глуповатая, чем привлекательная, образование всего-то семь классов. А ведь как очаровывал он, и не только работниц фабрики! Никакой интеллигентный и видный представитель сильного пола за ним не угнался бы.

Работал Виктор на швейной фабрике механиком. Не случайно юрисконсульт назвал его высококвалифицированным. Таскал он на тесемке на шею ящичек с набором разных отверток, щипчиков, ключей, пинцетиков, буравчиков. Расхаживая по обширным помещениям цехов, между рядами склоненных над швейными машинками работниц, он по слуху определял малейший перебой в том или ином моторе, подходил к не замечавшей этого перебоя работнице сзади, хлопал ее по плечу, останавливал мотор, запускал в него руки... И через минуту, смотришь, пошла машинка жужжать, как ей полагалось. «Витя, Витенька, Витюшок! Витёк!» — время от времени слышались зазывания с разных концов зала. Он торопился и быстро исправлял механизм да еще успевал учить молодых работниц таким премудростям шитья, о каких они в своих ПТУ раньше и не слыхивали.

А по вечерам нередко звали его соседи по дому и многочисленные знакомые чинить телевизоры, проигрыватели, холодильники, разные электроприборы и прочую технику — ныне обязательную принадлежность каждой квартиры. Он чинил быстро и умело. А деньги за эти ремонты, между прочим, брать стеснялся, разве кто уж силком совал ему в карман трешницу. Оттого-то у Виктора было много друзей не только среди женщин, но и среди мужчин. Оттого-то уверенно считал он, что преодолеет все препятствия, а дедов дом в Завражье перевезет, там поставит и заживет припеваючи. Но он сознавал, что действовать надо скоро, умело и даже с хитростью. Смущала его лужа на дороге, но он надеялся, что на грузовике сумеет преодолеть и это препятствие.

Была у Виктора жена Капитолина, работавшая на маслозаводе, безмерно любившая своего мужа, мастерица готовить всякие соленья, маринады и варенья. Она совершенно спокойно относилась к обнимкам и поцелуям, какими иной раз награждали ее любимого муженька швеи. Она знала, что ее суженый никогда ей не изменит, и потому никогда не шла против его воли. И на этот раз, коли задумал он столь сложное предприятие с дедовым домом, значит, надо ему всячески помогать.

Был у них единственный сын — восьмиклассник Лёничка. В свое время его отец учился в школе, едва-едва вытягивая на троечки. Так и сын. Но в отличие от отца, с детства самозабвенно увлеченного всякой техникой, сын рос обалдуй обалдуем, ровно ничем не интересовался и был для родителей тяжкой ношей. В свое время они мечтали, что окончит их сын вуз, станет хорошим, трудолюбивым инженером. А теперь их удовлетворяло и то, что не водится он со всякими уличными дружками, а все свободное время сидит дома, тупо уставившись в телевизор, одинаково бездумно воспринимая мультики для малышей, футбольные матчи и научные лекции.

5

Зная о своих неизменных успехах у женского пола, Виктор шел к тете Фене и ее дочери уверенно.

Тете Фене давно уже шел восьмой десяток, но была она еще бодрой старушкой и, кроме пенсии, с весны до осени прирабатывала: у двух владельцев участков в городе брала на комиссию садовые цветы и успешно их продавала на рынке. Сколько прибыли на этой торговле она получала, даже родная дочь не ведала.

Люда работала в сберкассе, в том учреждении, где все сотрудницы были женщины, из коих многие не находили себе мужей и оставались не удовлетворенными судьбой старыми девами. А когда-то в молодые годы Люда была тайно влюблена в своего троюродного племянника Виктора, тогда только что вернувшегося из армии веселого балагура. С тех пор прошло много лет, но она продолжала мечтать про себя о несбыточном, о прекраснейшем в мире принце с круглыми румяными щеками и с очаровательной, как ей казалось, улыбкой.

Вот почему сейчас, когда Виктор вошел, Люда вся просияла и расцвела. Он рассказал о цели своего прихода.

Тетя Феня разволновалась.

— Нет, нет,— замахала она руками,— никаких домов отродясь не покупала, ни в какую нотариальную контору не ходила! Нет, нет, дорогой племянничек, и не проси!

Люда поняла, что именно от ее матери требуется. Она полностью встала на сторону Виктора и, правда, не сразу, но сумела уговорить свою мать подписать все четыре сочиненные юрисконсультом и отпечатанные на машинке бумажки. Люда обещала на следующий день оформить в ЖЭКе и в милиции выписку матери из городской квартиры. Но она выговорила одно условие: два раза в месяц пусть Виктор приходит к ним в гости.

Правда, не на следующий день, а через три дня Виктор со всеми бумажками, подписанными тетей Феней, с ней самой и с Людой отправился с утра в нотариальную контору. На работе он отпросился, сказал, что уходит по важному и неотложному делу, по какому — предпочел умолчать. Точно так же отпросилась и Люда.

Втроем подошли они к дому, где над входной дверью была вывеска «Нотариальная контора».

Сперва Виктор отправился один на разведку. В коридоре томились человек десять посетителей — целая очередь, он сразу сообразил, что ждать придется долго, и решил всех перехитрить. Выскочил на улицу, подхватил тетю Феню под руку с одной стороны, Люда — с другой... Так они и вошли в заветное учреждение. Старушка болезненно охала и едва переступала ногами. Они направились, минуя очередь.

— Завещание надо заверить. Видите, какова бабушка,— жалобно объяснял Виктор.

Очередь поворчала, но пропустила.

А через десять минут, размахивая скрепленными печатями бумажками, сияя голубыми глазками и улыбаясь торжествующей улыбочкой, Виктор вышел наружу. Тетя Феня и Люда бодро шествовали за ним. Хозяин развалюхи поджидал его с мотоциклом. Виктор поцеловал обеих женщин в щеки, взял теткин паспорт и вскочил на багажник. Оба седока надели цветные каски и помчались на центральную усадьбу совхоза. Там помещался сельсовет, где они оформят покупку дома.

Виктору казалось, что в самом тарахтении мотора слышалось нечто бодрое и обнадеживающее.

Глава вторая

ПОКУПАЮТСЯ ДВА ДОМА

1

Председатель сельсовета занимал свою должность недавно, однако успел прослыть человеком чрезвычайно деятельным, но не на том поприще, которое ему было доверено. Он очень любил участвовать в различного рода совещаниях и заседаниях и стремился на них выступать. И еще он постоянно писал статьи в районную газету, и еще читал лекции на различные темы.

Когда Виктор и продавец дома явились в сельсовет, председатель укрылся в своем кабинете. Он готовился к докладу о международном положении, который должен был состояться в клубе центральной усадьбы совхоза.

А впрочем, для оформления покупки завражского дома участие председателя не очень требовалось, потому что всеми делами управляла секретарь, которую называли в зависимости от обстановки Зиной, Зиночкой, Зинаидой Ивановной, а за глаза иногда и просто Зинкой.

Она была поистине идеальным секретарем. На территории сельсовета, а значит, и совхоза, располагалось тридцать населенных пунктов, как многолюдных, так и совсем захиревших. Она и родилась и школу окончила в здешних местах, работала на своей должности давно и обладала памятью необыкновенной: регистрируя рождения, браки и смерти, прописывая и выписывая граждан, она помнила историю каждой семьи и знала в лицо почти всех жителей. Она вмещивалась в ссоры между соседями, между супругами и стремилась их примирить. Она вызывала пьяниц и хулиганов в сельсовет, всячески их бранила, уговаривала и стыдила.

И еще она была совершенно неподкупна. Никто никогда не мог выклянчить у нее справку, если таковую согласно инструкциям выдавать не полагалось.

С виду она была самая обыкновенная, ничем не примечательная, одевалась скромно, ходила в платочке. Ей пора было идти на пенсию, но она с ужасом думала: что тогда будет делать? В жизни не довелось ей обрести личного счастья. Ее суженый был убит перед самым концом войны. И осталась она вековухой, жила одиноко.

Несколько лет тому назад по ее почину учителя и школьники прошлись по всем деревням сельсовета и установили фамилии, годы рождения, воинские звания и годы смерти всех погибших на Отечественной войне жителей этих деревень. Она уговорила директора совхоза выделить средства на постройку памятника погибшим воинам. На скромном обелиске по четырем сторонам постамента были установлены отделанные под мрамор доски с фамилиями павших воинов.

С тех пор каждый год в День Победы на площади центральной усадьбы совхоза собираются на митинг. Председатель сельсовета говорит затяжную речь, кто-то из ветеранов войны читает списки, старушки плачут. Кто-то выступает, школьники декламируют стихи и поют песни, у подножия памятника возлагаются венки из искусственных цветов.

А Зинаида Ивановна скромно стоит в сторонке со слезами на глазах...

2

— Садитесь,— вежливо сказала секретарь сельсовета Виктору и владельцу завражского дома и принялась внимательно изучать те бумаги, которые Виктор положил перед нею на стол.

Завещание, что дом после смерти тети Фени должен перейти в его собственность, по совету юрисконсульта он предусмотрительно не показал.

Секретарь укоризненно посмотрела на продающего дом и заговорила:

— Эх, механизатор, механизатор! Значит, насовсем покидаешь родимую землю? А совхоз помог бы тебе дом поправить. И деньжишки получал бы немалые. Эх! — Она с сердцем стукнула по бумаге и впервые испытующе посмотрела на Виктора.

Начался строгий допрос.

— Кем покупательница дома вам приходится?

— Бабушкой.

— А почему она не сама явилась оформлять сделку?

— Да где же ей на багажнике мотоцикла трястись? Он и у меня все печенки поотбил.— Виктор ткнул пальцем в свой живот.

— К нам автобус три раза в день приходит. Ну, ладно.— Секретарь перетасовала бумаги и вновь продолжала допрос: — А почему ваша бабушка ни с того ни с сего вздумала бросить свою городскую жилплощадь? Небось с центральным отоплением, с ванной и с прочим? По каким причинам она захотела переселиться в Завражье, куда только на тракторе проедешь?

Виктор ожидал этого вопроса. Еще с мальчишеских лет он был великий мастер врать и сейчас без запинки повел длинный, с красочными подробностями рассказ о зяте-алкоголике, который пропивает весь свой заработок, дома бушует, грозит свою тещу пристукнуть.

— Так почему же вы в милицию не заявите? Такого судить надо! — воскликнула секретарь.

Виктор повел рассказ о жене алкоголика, безмерно любящей своего мужа, о невыносимой жизни несчастной старушки, ее мамы. Он умильно глядел на секретаря своими светло-голубыми праведными глазами и чем дальше плел рассказ, тем секретарь все больше и больше проникалась жалостью к старой бабушке, которая, как указывалось в паспорте, и родом была из Завражья. А внук — какой с виду привлекательный!

Она быстренько застрекотала на машинке, заполняя различные бланки. И одновременно говорила:

— Положенные проценты со стоимости дома внесете в нашу кассу, пойдете в дирекцию совхоза — вон контора виднеется, там оформят участок сзади дома. Потом опять ко мне вернетесь для окончательного оформления. Пять соток хватит?

— Хватит.— Виктор облегченно вздохнул.

Секретарь, печатая, продолжала говорить:

— Избушка в аварийном состоянии. Два нижних венца надо сменить. Я помогу выписать в лесничестве лес, ну, а толь на крышу вы сами купите и сами покроете. Внук ведь.— Она улыбнулась.

Виктор вспомнил совет юрисконсульта, что на перевозку дома из города требуется особое разрешение сельсовета. Но только было он собрался открыть рот, как в комнату вбежала молоденькая девушка.

— Зинаида Ивановна! Скорее, скорее! И вас и председателя директор требует, немедленно требует. Важный начальник приехал.

— Всегда-то он требует,— досадливо проворчала секретарь.— Мы ему не подчиняемся.

— Нет, нет, простите! Я оговорилась,— поправилась девушка.— Директор очень просил вас обоих прийти. Право, так и сказал: по-про-си.

— То-то же,— смягчилась секретарь и заспешила в кабинет председателя.

И тотчас же из-за двери послышался тонкий, почти бабий, истерический тенорок:

— Сколько раз я тебе говорил: не мешай, не мешай! Я занят, занят! Никуда не пойду! Ступай одна!

Секретарь, усмехаясь про себя, вернулась.

— Подождите меня здесь,— сказала она Виктору,— я у директора совхоза сама вам оформлю эти пять соток.— И вместе с девушкой поспешно вышла.

Виктор внес в кассу сельсовета положенную по закону пошлину, отошел с продавцом дома в угол, отсчитал ему деньги. Тот уехал, Виктор остался.

«Какая, видать, симпатичная бабенка эта секретарша,— думал Виктор.— Она вернется, он ей скажет, что хочет перевезти дом из города, и она, конечно, сразу ответит: да».

3

А в тот же самый час в недалеком месте вот что происходило: директор совхоза откинулся к спинке кресла и задумался. Только что от него ушел секретарь парторганизации. Они вместе обсуждали вчерашнюю вечернюю телепередачу.

Показывали хозяйство совхоза в соседней области. Образцовое хозяйство — не придерешься. Больше всего их обоих взволновали недавно выстроенные в том совхозе коттеджи. На экране они увидели целую улицу веселых двухквартирных и, верно, со всеми удобствами домиков, с высокими крышами, с сараем, с гаражом, на участках сзади поднимались молоденькие яблони, краснели на грядках помидоры, зеленела всякая овощь...

В их совхозе было совсем не так: большим местом являлись кадры, особенно кадры механизаторов. Из училища присылают парнишек, а там их не очень начинают теорией, и практики они не набираются. Оттого-то технику гробят нещадно, пока не научатся. А среди старых работников попадают пьяницы, лодыри. Кого бы для острастки выгнать, да нельзя — заменить некем. А почему такое происходит?

Директор с тоской поглядел в окно на два ряда одинаковых уныло-серых двухэтажных зданий с чахлой травкой вокруг и продолжал рассуждать про себя: «Эх, живут в наших фатерях, приходят с работы, а делать им нечего. А заработки — ого-го какие! Еще хорошо, коли в домино стучают. А то к рюмке тянутся. Нам бы такие коттеджи! На первое время хоть пяток. Какие золотые люди из городов сюда поехали бы!.. Нам самим надо строить такие коттеджи. Те, кто захочет в них поселиться, сами с огоньком, с радостью возьмутся строить. А материалы? Ну, лес — в лесничестве. А цемент, шифер, белый кирпич, разная сантехника? Ничего такого нам не занаряжено. Поеду в райком, поговорю, посоветуюсь...»

Раздумья директора прервала незнакомая светло-серая «Волга», внезапно подкатившая к крыльцу конторы.

— Вот неожиданный гость! — Он назвал про себя имя-отчество замдиректора завода по снабжению.

А тот вместе с какой-то дамочкой уже вываливался из машины, входил в контору.

Директор поднялся с кресла, открыл дверь в приемную.

— Проходите, проходите, — приглашал он неожиданных посетителей в свой кабинет.

И пошли сердечные приветствия, сердечные рукопожатия.

— Моя благоверная, — буркнул замдиректора. — Старший товаровед райпищеторга.

И опять сердечные, с улыбками, рукопожатия...

— Садитесь, пожалуйста, — сказал директор совхоза.

Все трое сели. Установилось молчание.

Директор ждал.

Замдиректора начал издали, плавно, без запинки. Он заговорил о нервной и сложной работе — и своей и своей жены, о том, что сердце у него пошаливает, о том, что и он и его жена все свои силы отдают производству и им необходим после напряженного трудового дня заслуженный отдых, необходимо дышать чистым, сельским воздухом.

Директор совхоза все слушал, но никак не мог понять, куда его собеседник клонит.

А тот неожиданно перешел на описание Завражья. Какие там просторы над Клязьмой, какой воздух!.. Наконец, помолчав немного, он бухнул:

— Там продается дом, и я хочу его купить.

Директор совхоза наконец смекнул, в чем дело, и медленно начал свою речь:

— Да ведь покупка дома оформляется в сельсовете, а не в совхозе. Но учтите, существует циркулярное письмо облисполкома о запрещении покупок домов в сельской местности, если без прописки.

— Знаю, знаю об этом письме! — с досадой воскликнул замдиректора завода, и хотя в кабинете, кроме них троих, никого не было, он перешел на полупшепот: — Прошу вашего содействия... Мне известно, что в сельсовете сидит особа весьма несговорчивая... Словом, в порядке исключения... Соседом-то для совхоза, пожалуй, я буду весьма полезным...

Директор сразу смекнул: «Цемент, шифер, белый кирпич, разная сантехника... вот они, коттеджи, сами в руки плывут...»

Он нажал кнопку. Вскочила девушка-секретарь.

— Беги в сельсовет, позови и Зиночку и председателя. Скажи, очень прошу. Да-а, дела, если выразиться точнее, деликатные, — сказал он, чтобы что-то сказать.

— Все будет в порядке, не беспокойтесь, — уверенно ответил замдиректора завода.

— Простите! — жалобно воскликнула до сих пор упорно молчавшая его жена. — Я на важное совещание опаздываю.

— Ничего не поделаешь, надо так оформить дело, чтобы комар носа не подточил, — сказал директор совхоза.

— В наш город идут два вагона арбузов, их требуется заранее распределить по магазинам, — взволнованно объясняла жена замдиректора завода. — Назначено совещание.

— А в наш магазин нельзя ли подбросить? — спросил директор совхоза.

— Конечно, можно, если... — Она замолчала.

Но он сразу понял: можно, если будет оформлена покупка дома...

Вбежала, запыхавшись, секретарь сельсовета.

— Председатель очень занят, просил его извинить, он к докладу о международном положении готовится.

— Зиночка, садись,— начал директор совхоза.— И без него обойдемся. Ты же у нас самая главная власть на местах. Извините.— Он повернулся к замдиректору завода и к его жене.— Мне надо выяснить кое-какие вопросы.— Он опять повернулся к секретарю сельсовета.— Ну, выкладывай, какие у тебя ко мне претензии?

— Да какие! — быстро заговорила она.— Вот учителькам дров не подвезли, вот школьники за четыре километра пешком ходят, вот колодцы,— она назвала деревню,— засорились...

— Даю тебе, дорогуша, слово — все выполню. Еще только сентябрь, управимся с полевыми работами и всем учительницам дрова развезем. О подвозке школьников сегодня же издам приказ. Колодцы тоже починим. Видишь, по всем вопросам иду навстречу. Сельсовет и совхоз обязательно должны дружить. Еще что у тебя?

Жена замдиректора завода посмотрела на часы и почти просто-нала.

Директор совхоза выразительно посмотрел на нее и успокаивающе помахал ей рукой. Дескать, потерпите.

— Да вот,— продолжала секретарь сельсовета.— Еще Завражье. Там на дороге лужа прямо невозможная. Только трактор проедет. Там одни старушки. А если «скорая помощь», тогда как?

— Лужи больше нет,— неожиданно возгласил замдиректора завода.

И директор совхоза и секретарь сельсовета разом к нему повернулись и вытаращили глаза.

— Я ее полностью ликвидировал.— И он гордо обвел взглядом своих собеседников.

— Давай, Зиночка, поблагодарим за такое удачное начинание,— сказал директор совхоза и улыбнулся.— Видишь, какой человек нам полезный. Ты знаешь, кто к нам пожаловал? — И он назвал фамилию замдиректора завода.

— Ах, я так много о вас слышала! — не удержалась секретарь сельсовета.

— Так вот, Зиночка,— заговорил директор совхоза.— Как раз вопрос о Завражье. Такой известный в городе администратор пожелал в Завражье купить дом. Надо это дело оформить.

Секретарь сельсовета густо покраснела, опустила глаза, однако твердо сказала:

— Этого никак нельзя. Есть циркулярное письмо облисполкома.

— А нет ли там примечания насчет исключительных обстоятельств? — спросил директор совхоза.

— Нет, там прямо сказано: предлагается воздержаться от оформления купли-продажи домов лицам, в сельской местности не прописанным,— как заученную фразу проговорила секретарь сельсовета.

— Ого! «Предлагается воздержаться» — до чего же обтекаемо сказано! — воскликнул директор совхоза.— Мне думается, это еще не значит — запретить.

— Конечно, не значит,— вставил замдиректора завода.

— Нет, значит,— твердо сказала секретарь сельсовета и стала пунцовой. Она назвала директора совхоза по имени-отчеству и добавила: — Вот, в Завражье на другой дом сельсовет сейчас покупке оформил. Пожалуйста, подпишите, что пять соток участка отводите.

— Значит, кому можно, а кому нельзя? — вставил замдиректора завода.

— Ну, там обстоятельства и вправду исключительные,— возразила секретарь сельсовета.— Старушка в родную деревню возвра-

щается на постоянное жительство, покупает избенку — хуже некуда, а в городе ее зять загрыз. А вы дачники. Дачникам нельзя. И участок нельзя.

— Никакого участка нам не нужно, — отмахнулся замдиректора завода и опять перешел на полусшепот: — Может быть, оформите покупку как сарай?

— Зиночка, а если и правда как сарай? — так же полусшепотом спросил директор совхоза.

— Это будет прямой обман, — упорствовала секретарь сельсовета.

— Вот что, Зиночка, — сказал директор совхоза, подписывая подсунутую ему бумажку об отводе пяти соток, — давай кончать разговор. Как добрый сосед тебя прошу. И не будем ссориться. Всегда пойду навстречу сельсовету.

— Да уж и не знаю... — Секретарь как будто заколебалась. — А что председатель скажет?

— Я вашего председателя как облупленного знаю! — воскликнул директор совхоза. — Он же все бумажки подписывает не читая. Ну, Зиночка, решайся. Единственный раз в жизни.

— Ну, пойдете оформлять, — вздохнула секретарь сельсовета.

— Давно бы так! — радостно воскликнул директор совхоза.

На прощанье он сердечно пожал руки замдиректору завода и его жене.

И хоть до сельсовета было всего двести шагов, трое людей сели в машину и с шиком подъехали. Поднимаясь на крыльцо, секретарь сельсовета обратилась к своим спутникам:

— Там в Завражье у одной старушки печка совсем развалилась. Вы не подбросили бы штук двести кирпичей?

— Я две тысячи, целую машину доставлю, — надменным тоном отвечал замдиректора завода.

— Вы меня извините, — сказала ему секретарь сельсовета. — Мне еще надо гражданина отпустить, он давно меня дожидается. — Она села за свой столик и весело застрекотала на машинке. — Все в порядке! — с улыбкой кивнула она Виктору, не отрываясь от машинки.

Виктор ликовал. В самом стрекотании машинки ему словно слышалась плясовая музыка. Секретарь сельсовета забрала все Викторovy бумажки, отправилась к председателю подписывать. Через минуту она вернулась и давай со страстью стучать печатью.

— Я, кажется, с ума сойду! — простонала жена замдиректора завода.

— Чутьочку еще подождите. Его автобус вот-вот уйдет, — старалась ее успокоить секретарь сельсовета и начала быстро и привычно регистрировать бумажки в разных толстых книгах. — Вот тут распишитесь, — говорила она Виктору, — вот тут и вот тут. Укажите, что по доверенности. Все! — Передавая бумаги Виктору, она сердечно пожалала ему руку и торжественно возгласила: — От имени сельсовета поздравьте вашу бабушку!

Так дом в Завражье перешел в собственность тети Фени. Однако Виктор понял, что сейчас этой милой секретарше не до него. Поговорить с ней о разрешении на перевозку дома из города не придется. «Ладно, успею», — сказал он самому себе и, окрыленный многими мечтами, заспешил к автобусной остановке.

А в сельсовете началось оформление покупки второго завражского дома. Но почему-то машинка теперь заунывно перестукивала однообразную барабанную дробь...

Проводив посетителей, директор совхоза прошел в маленькую комнатку секретаря парторганизации и тяжело опустился в кресло сбоку его стола.

— Что это у тебя вид какой-то расстроенный? — спросил его секретарь. Оба они давно были друзьями и порой беседовали между собой совершенно откровенно.

— Кажется, я совершил сейчас сомнительной чистоты сделку со своей совестью, — сказал директор совхоза.

И он начал рассказывать о том разговоре, который только что происходил в его кабинете, потом заговорил о цементе, шифере, белом кирпиче, разной сантехнике, потом перешел на коттеджи.

— Отвечать вместе будем, — задумчиво сказал секретарь парт-организации. — А знаешь, о чем я сейчас размышляю: вот эти самые коттеджи поставить бы не на центральной усадьбе, где нет реки, а за три километра, в Завражье. Пусть пойдет там вторая улица параллельно первой и ближе к лесу. Хорошие люди рядом с красотой охотнее поселятся, и Завражье вновь расцветет...

Глава третья

СТРОИТСЯ ДЕДОВ ДОМ

1

Накануне выходного дня, с вечера, Виктор и его жена Капитолина вошли в дедов дом и начали выносить всю мебель, предназначенную для будущего завражского жилья. Они пошарили по закоулкам чуланов и сарая и все, что в будущем могло пригодиться, складывали сзади дома в одну кучу, а вовсе хлам в другую.

Виктор вынес из сарая четыре оконных наличника. Они принадлежали другому дому, с которого началось уничтожение разноцветного квартала. Тот дом был знаменит, славился своей затейливой резьбой по всей передней стене, был настоящим теремом и, пожалуй, даже памятником культуры, но старый его хозяин давно умер, а молодые были рады получить квартиру в большом доме. Наверное, только один Викторов дед искренне огорчился гибелью того дома-терема и сберег неизвестно для какой надобности наличники с него.

Среди старых вещей Виктор обнаружил целый мешок лука-севка; луковицы были чуть побольше вишни. Очевидно, дед собирался весной их рассаживать по своему участку, чтобы выращивать зеленые перья для внуков и для продажи.

Капитолина предложила луковицы замариновать, получится мировая закуска. Но Виктор запротестовал. В заветной книжице «Подарок молодому хозяину» луку была отведена целая страница, он сперва ее изучит. И Капитолина с ним согласилась.

В доме электричество было уже несколько дней как выключено. Наступили сумерки. Виктор прошелся по всем трем комнатам, в последний раз оглядел их, вышел, запер наружную дверь и отправился с женой к себе на квартиру. Непонятная грусть охватила его...

Утром в субботу, в выходной день, как договаривались, несколько человек собрались к дедову домику к восьми утра.

Пришел Виктор с женой и с сыном Ленечкой, который улыбался во весь рот, потому что пропустил школу. Брат Леонид пришел один, его жена в тот день должна была идти на примерку пальто. Явились трое дружков Виктора и старик Михеич со швейной фабрики. Все были в затасканной одежде или в спецовках, принесли ломы и топоры.

И под командой Михеича принялись разбирать дедов дом.

Каким незаменимым искусником оказался этот деятельный старик! С виду был он самым обыкновенным юрким дедком и суетился, казалось бы, бестолково. А на самом деле все-то он знает, заранее

разметил, с какой стороны начинать, командовал хриплым голосом, резко, отрывисто, точно командир в бою, иногда отпускал такие словечки, какие в книгах не печатаются.

Двое залезли на крышу и начали бережно отдиравать железные листы, двое разбирали печи, кто-то рушил чулан, сени, сарай, потом принялись за стропила, потом — за доски потолка. Все складывалось по указаниям Михеича в определенном порядке.

Наконец взялись за стены. Бревна были заранее размечены Виктором различного вида зарубками согласно справочнику «Подарок молодому хозяину». Когда отдирали бревна одно за другим, они кричали и стонали.

Дом, старый дедов дом, чего же ты плачешь и стонешь? Нет, не губить тебя пришли люди, наоборот, поднять на лучшем и прекраснейшем месте, в той деревне, где некогда гордо и величаво стоял ты на высоком берегу Клязьмы-реки. Ликуй, дедов дом! Тебя спасают, возрождают!..

Работа спорилась, пыль поднималась клубами, падающие бревна гулко стучались о землю.

Тем временем Капитолина посреди садика на переносной газовой плитке, на огромной сковороде жарила картошку с салом.

Подошла Люда. Сберкассы, как известно, и по субботам бывают открыты, но Люда отпросилась, с ходу она бросилась готовить холодную закуску.

Мужчины трудились в поте лица своего, а кое-когда искоса поглядывали на заманчивые кулинарные приготовления, ожидая, когда наступит команда на перекур.

Один только был дед Ленечка, на первых порах очень довольный, что не пошел в школу, трудился вполсилы, норовил увильнуть, не бревна таскал, а тонкие доски и жерди.

Его дядя Леонид, несмотря на свое инженерное звание несколько не отстававший от других, обругал племянника совсем не по-инженерному. Но тот образумился разве что на полчаса.

А из-за палисадника, держась за ствол поломанной яблони, в растерзанной рубахе, с искаженным лицом наблюдал за разрушением дедова дома сосед — старый цыган. Его глаза горели, взлохмаченные белые волосы и всклокоченная борода колыхались от ветра. Он напоминал библейского пророка с новгородских фресок.

По другую сторону участка, там, где еще утром поднимались ворота с калиткой, стоял юрисконсульт. Он был в светлом плаще, как всегда, элегантный, подтянутый и также с интересом наблюдал за жаркой работой, но из-за облаков пыли опасался подойти ближе.

— Перекур! — наконец скомандовал Михеич.

И все оставили работу, не торопясь приблизились к яствам, расставленным на столе под грушей. Подошел старый цыган, подошел и юрисконсульт. Поздравили Виктора с благим началом и принялись тыкать вилками в тарелочки.

Юрисконсульт отвел Виктора в сторону и спросил его:

— Ну, расскажи, как оформил дело?

— Все, все на большой палец! — радостно восклицал Виктор. — Такая предупредительная тетенька в сельсовете попалась! И пять соток участка получил.

— А как с разрешением на снос старой избушки и на установку дедова дома?

— Не успел, ну никак не мог успеть, — говорил Виктор. Его круглые щеки раскраснелись. — Ладно, выберу часик-другой и съезжу оформить.

— Ну, смотри, не откладывай. Это очень серьезное дело, — грозил пальцем юрисконсульт.

Ровно к двум часам подъехали два грузовика. Водители тоже оказались приятелями Виктора. Загрузили машины выше бортов, поверх бревен и досок водрузили мебель. Крепко все увязали. Виктор сел в кабину первого грузовика, Михеич в кабину второго и поехали. Остальные остались довершать разрушение дедова дома.

Виктор волновался — как преодолеют ту страшную лужу перед Завражьем. Когда же к ней подъехали, он даже глаза протер. Лужи не было. Да, да, впереди белела щебеночная дорога, а в сторону шла свежевыкопанная канавка. Виктор сразу понял, по чьему распоряжению было устранено это препятствие.

«Какой, видно, ценный дядя — мой будущий сосед», — подумал он.

Покатали как по асфальту, подъехали к избушке, начали разгружать. Михеич суетился, распорядился — где что складывать. Отправились вторым рейсом.

К вечеру все то, что оставалось мало-мальски годным, до последней доски было доставлено в Завражье, да еще Виктор купил белый кирпич для фундамента, красный для печей и все перевез.

Утром в воскресенье те же трудяги поехали на новое строительство, двое на мотоциклах, Леонид усадил в своего «Жигуленка» четверых, в том числе Капитолину и Людю — опять готовить трапезу на газовой плитке. Виктор уехал еще вперед на своем маленьком мопедике. Только его сынку Ленечке места не хватило, и он, очень довольный, отправился сидеть у телевизора.

В то утро жена Леонида устроила скандал. Она договорилась с подругой и с ее мужем, что Леонид повезет их в лес за грибами, а тот второй день старается, как она выражалась, для своего дураля брата.

Завражскую избушку разнесли в два счета. Бревна оказались настолько трухлявыми, что даже на дрова не годились.

И сразу на прежнем месте начали укладывать фундамент. Виктор и Михеич оказались умелыми каменщиками, начали с противоположных сторон, клали кирпич за кирпичом по шнуркам. Остальные готовили бетонный раствор, подносили кирпичи.

Выложили фундамент по уровню в виде прямоугольника, кончили, обошли, залюбовались, как ослепительно блестел на солнце белый кирпич. Договорились в следующую субботу, когда бетон схватится, начать возводить стены дома. Михеич божился, что такие удалцы в два счета поставят сруб и строила и даже крышу покроят.

Все хлопали Виктора по плечам и клятвенно уверяли его:

— Да, да, через неделю дом будет стоять!

Только Леонид хмурился. Он уже один раз подвел жену и примирился с нею, обещая, что в следующее воскресенье непременно повезет ее с подругой и с мужем подруги за грибами. По слухам, пошли белые, а в городе многие обладатели машин и мотоциклов с ума посходили — устремились в лес, чтобы побольше ухватить добычи...

Но Леонид понимал, что здесь, на строительстве дедова дома, и его руки и его машина куда нужнее. Ради любви к младшему брату он решил пойти и на вторую ссору с женой, хотя и сознавал, что достанется ему от нее крепко.

Всю неделю Виктор и Михеич сразу после работы ездили в Завражье. Они клали две печи прямо на грунт — печь-голландку в будущей парадной комнате, а в будущей кухне русскую печь, похожую на корабль, с лежанкой, с подпечьем, с плитой спереди. Вернее, клал кирпичи Михеич, а Виктор их подавал, месил глину. Старик оказался подлинным мастером-печником. Ведь чтобы правильно выложить свод

русской печи да вывести дымоход, требовалось большое, к сожалению, ныне почти забытое искусство.

Ездили они в Завражье на двух мопедах-тарахтелках. А дни стояли короткие, работать приходилось всего по два-три часа за вечер, и заканчивали они уже при свете фонаря «летучая мышь».

Однако в пятницу к вечеру обе печи, правда, еще без труб, высились эдакими диковинными башнями.

3

В субботу приехали в Завражье те же трудяги, исключая Лечечку, которому классный руководитель не разрешил пропускать уроки, явились к семи утра и тут же, даже без перекура, принялись за работу.

Положили на фундамент бревна нижнего венца, начали их равнять. И какой оказался лес первоклассный! Виктор ударил по бревну обухом топора, и оно зазвенело. И поднимался, поднимался дедов дом, венец за венцом.

К полудню неожиданно прикатила «Волга», из нее вышли замдиректора завода и еще трое. Он постоял, посмотрел, как усердно пытит какой-то народец, и, ни слова не сказав, повел своих гостей к себе в дом. Они несли полные сумки.

Кухарила Капитолина вместе с завражской жительницей, дедовой двоюродной сестрой тетей Лизой.

На стройке оторвались от работы на перекур и на обед на каких-нибудь четверть часа и опять принялись вкалывать.

Подходили старушки, охали, сочувствовали, радовались — какой славный дом строится.

К вечеру был уложен самый верхний венец. Пошли ночевать к тете Лизе. Там их ждал самовар и ужин. Но все так устали, что тут же завалились спать прямо на полу, на каких-то дерюжках.

Одному Виктору не спалось, наверное, от возбуждения, что сбылись его заветные мечты. Уже далеко за полночь он вышел на улицу. Над ним темнело усыпанное звездами небо. Он прошел туда, где высился остов его будущего дома, и, к своему удивлению, обнаружил, что дом соседний был ярко освещен. Занавесок еще не успели там повесить. Он подобрался к окну и увидел, что четверо сидят за столом и играют в карты.

Он вернулся к своему дому, прислонился к его стене. Спину, плечи, руки ломило от тяжелой работы, но он не замечал усталости. Вдыхая полной грудью свежий ночной воздух, он стоял, глядел на звездное небо и мечтал...

Утром встали рано, наскоро закусили и опять принялись за работу, устанавливали стропила, обшивали их досками решетника. Михеич забрался наверх и начал крыть крышу, лист за листом. Его молоток звонко и весело стучал по железу.

Тем временем к внутренним перерубам пришивали половицы, устанавливали дверные косяки, навешивали двери, ставили бревенчатые сени. Виктор выводил обе трубы, брат Леонид подавал ему кирпичи и глину.

А в соседнем доме четверо игроков так и не выходили на улицу. Всю ночь они продолжали картежничать.

Уже смеркалось, когда вставили косяки и рамы окон и приколотили наличники. Виктор отошел на середину улицы, хотел полюбоваться, да оказался в доме один изъясн: больно уж нескладно выводит — четыре наличника были фигурные, цветные, а пятый, от дедова дома, выглядел попроще, и потому дом вроде бы подмигивал. «Ладно, выберу свободный день, сфабрикую наличник сам», — подумал Виктор. И тут он увидел, как светлая дымка завилась к небу из

обеих труб. Это Михеич испытывал печи. «Поднимайтесь, поднимайтесь, дымки,— думал счастливый Виктор.— Печи топятся, значит, в доме жить можно...»

Стали собираться в дорогу. Виктор запер наружную дверь тем замком, который верой и правдой служил его деду более тридцати лет. Поехали, когда совсем стемнело, не успели поставить крыльцо, внутри доделать. А конопатить бревна придется весной, когда сруб как следует осядет. Ну, все это довершат Виктор с Михеичем...

На своем мопедике Виктор скоро отстал от остальных. При выезде на шоссе его обогнала «Волга». Четверо картежников так пульку и не закончили, пришлось ее расписать. Замдиректора выиграл полтора рубля и возвращался весьма довольный...

Глава четвертая

ИСТОРИЯ МЕЧТЫ

1

Так и раскатывали Виктор с Михеичем из города в Завражье каждый вечер после работы на своих мопедах, возвращались уже в темноте. От усердия они похудели, осунулись, но продолжали стучать топором и молотком внутри дома и в пристройках.

На своей швейной фабрике Виктор по-прежнему был молодцом, перешучивался и перемигивался с девочками, и также внимательно и быстро устранял неполадки в их машинах. Он успел расхвастаться всем сослуживцам о своем новом доме, рисуя его чуть ли не замком. Он даже позвал всех весной на новоселье, хотя, как практически его организовать для двух сотен гостей, он еще не додумался.

В следующую пятницу Виктор и Михеич заночевали в Завражье у тети Лизы.

Уже начало темнеть, когда в дверь ее дома резко постучали. Виктор пошел открывать и увидел старого цыгана, как всегда, всклокоченного, растерянного, с горящими глазами. Цыган держал за поводок лошадку.

Вышли Михеич и тетя Лиза. Не сговариваясь, воскликнули:

— Какая красавица!

Действительно, лошадка была стройная, тонконогая и редкой, как определил Михеич, мышастой масти, то есть вся была мышино-серая, с белой гривой и с белым хвостом. На ее спине свешивались с двух сторон два перевязанных между собой мешка с овсом.

Цыган хриплым отрывистым голосом заговорил, коверкая фразы, заметно волнуясь, с трудом выговаривая слова. Он сказал, что его дом сегодня снесли бульдозером, что кобылку ему девать некуда. Он и привел ее в Завражье и дарит Виктору.

Виктор опешил, взглянул на лошадку, залюбовался, завосхищался, от избытка чувств не мог вымолвить ни слова. А большие и кроткие сизые глаза лошадки его очаровывали...

— А сам ты куда денешься? — спросил Михеич цыгана.

Тот безнадежно махнул рукой и сказал, что поселится у сына, сказал с такой горечью, точно собирался жить в собачьей конуре, а не в благоустроенной квартире, правда, на третьем этаже, куда кобылку не затащишь.

— Бери ее, бери,— толкала племянника тетя Лиза.— Она всем нам участки вспашет.

За последние дни Виктор видел, с каким трудом убирали в Завражье картошку. Деревню перерезали овраги и овражки. Совхозному трактору тут негде было развернуться. Одинокие старушки вска-

пывали свои участки вручную, лопатой, насколько хватало сил. А ко многим в выходные дни приезжали из города сыновья и дочери с семьями, впрягались в плуг и таким древнеславянским способом собирали урожай.

Виктор видел все несовершенство подобной обработки земли и задумался, как бы изобрести такую машину, которой можно было бы легко вскапывать участки.

А тут — вот она, совсем не машина, а лошадка, да какая красавица, да еще его собственная.

О коне-кормильце, о главном помощнике русского крестьянина, о том, что без коня в деревне прожить трудно, много и красноречиво рассказывал Виктору покойный дед. Но сейчас внук не подумал, что эпоха тогда была совсем иной.

А во всем совхозе осталось лишь две лошадки, но они были заняты на вывозке навоза с единственного скотного двора, где еще не наладили механизацию. Установят там ленточный транспортер, доставляющий навоз непосредственно из-под коровьих хвостов прямо в специальное навозохранилище, тогда можно будет направить обеих коняг на распашку усадебных участков. Но когда еще установят, а Виктор готов был пахать хоть с завтрашнего дня.

— А сколько твоей кобылке лет? — спросил цыгана Михеич.

— Три года.

— А как ее зовут? — спросил Виктор.

Цыган забормотал по-своему. Виктор не понял и решил назвать ее... назвать... назвать... А как?

— Мечта! — вдруг блеснула у него мысль. — Пусть лошадка будет моей Мечтой.

— Только через год ее можно будет запрягать, — сказал в некотором сомнении Михеич.

— Весной запрягай! — гаркнул цыган. — Старухам будешь землю пахать. Денег получишь — вот сколько! — И он широко развел руками. — А вина — ведро на день.

— Я не пью, — хмуро сказал Виктор.

Тетя Лиза предвкушала будущий барыш и себе. Она согласилась поместить новоявленную Мечту в своем просторном хлеву, где раньше стояла корова, а теперь в углу ютилась коза. Она знала, у кого в Завражье можно купить сено, и сказала:

— А уж овес, дорогой племянничек, доставай где хошь. У нас его давно не сеют, и в магазинах он не продается.

Цыган надел на морду лошади торбу с овсом, объяснил, сколько и когда давать ей сена, когда поить, в последний раз потрепал ее по холке и, понунив голову, побрел в город...

Виктор, продолжая трудиться на отделке дома, все думал о своем неожиданном приобретении. Был он отличным слесарем, столяром, недавно стал печником и каменщиком, на работе числился рационализатором и даже изобретателем. А вот с лошадьми он никогда не имел дела. Только теперь, впервые в жизни, он погладил свою Мечту по голове и только теперь узнал, что лошади кушают овес и сено, но овес любят больше.

«Нужна упряжь, — думал он. — А какая? А где она продается? Где ее достать? Есть уздечка. На ней цыган привел Мечту в Завражье. Есть дуга». Ее обнаружили на чердаке старой избушки, когда разрушали. Дуга была особенная, вся в тонкой резьбе в виде сказочных птиц, перевитых стеблями и листьями. Эту находку Виктор собирался пожертвовать в городской краеведческий музей. Нет, теперь дуга ему самому пригодится! Какая еще требуется упряжь, Виктор и понятия не имел. Решил изучить нужные страницы все в том же спасительном справочнике «Подарок молодому хозяину».

Зарядили осенние дожди. Работу по отделке дома пришлось прекратить, кое-какие мелочи отложили до весны.

— Сколько с меня причитается? — спросил Виктор Михеича.

— Знаю, ты крепко поистратился, — ответил тот. — Мы с тобой не рядились. Ничего мне, старому бобылю, не надо.

— Да что ты, Михеич? Да как же так? Мне, право, неловко, — настаивал Виктор.

А старик все отмахивался. Договорились, что Виктор посмотрит его телевизор, что-то барахлить начал. И все...

Теперь Виктор ездил в Завражье один, ездил специально из-за Мечты — принести воды, почистить сарай. Лошадка успела его полюбить, встречала радостным ржанием. Пытался он с тетей Лизой накинуть ей на голову уздечку, надо же гулять выводить. Да не тут-то было! Проказница мотала головой и никак не давалась.

Как-то приехал Виктор домой уже ночью, весь вымокший от дождя, простудился, начал кашлять.

— Хоть бы ты продал свою дуреху, что она тебе далась? — говорила ему Капитолина, но, как всегда, неуверенно и робко. — Смотри, как ты исхудал, измучился.

А у Виктора и правда круглые щеки вроде бы вытянулись. Но он был упрям, а кроткая его жена не умела настаивать на своем. Так он и ездил.

Однажды тетя Лиза ему объявила, что овса остается на два дня.

Виктор великолепно знал, где в своем городе, а также во Владимире и даже в Москве можно купить, достать или поменять остродефицитнейшие детали для телевизоров, магнитофонов, холодильников и прочей домашней техники. А вот где можно купить овса — он не знал.

А беспокоился он об овсе уже давно, искал на рынке, в магазинах. Овсяная крупа продавалась везде, и не очень-то хозяйки ее жаловали. Сколько людей он спрашивал про овес — никто не мог ему подсказать. Что делать? Что делать?..

И еще однажды тетя Лиза встретила его визгливой бранью:

— Хоть бы она сдохла, проклятая, окаянная!

Виктор зашпешил к сараю да так и опешил. Сарай осел на один бок, а Мечта исчезла, да не через ворота, а через стену. И убежала. Еще счастье, что коза паслась перед домом и потому уцелела. Что же случилось?

Любовь, еще не осознанная и одновременно несказанно сильная, проснулась в сердце Мечты. И она копытами проломилла стену сарая и убежала.

— Беги в совхоз, шукай ее там, небось миловаться к тамошним коням ускакала, — визгливо голосила тетя Лиза. — А ко мне и не думай приводить. И никто в Завражье ее не примет. У-у-у! Потаскуха, блудница! Продавай ее за любую цену. Беги да уздечку захвати, горемычная твоя головушка, тебе с такой бешеной не сладить.

И бедняга Виктор, оставив мопед, побежал, размахивая уздечкой.

Первое, что он увидел еще издали на лугу, не доходя до крайних домов совхозного поселка, была его Мечта, да не одна, а с двумя конями.

Она положила одному из них свою голову на плечо и так стояла и ждала ответа на свою любовь и на свою ласку. Но конь был бесчувственным мерином, не обращал ни малейшего внимания на тяжесть у плеча и, опустив голову, мирно щипал траву.

Отвергнутая подошла к другому коню и так же ласково положила свою голову ему на плечо. Но и тот оставался равнодушным,

более того, передернул туловищем и взбрыкнул, чтобы сбросить с плеча непрошеную тяжесть...

Всю эту трогательную сцену издали видел Виктор. Он подкрался к Мечте, попробовал было накинуть на ее голову уздечку, но она не давалась, отбегала.

Что же делать? Виктор оглянулся, увидел хорошо одетого, пожилого, худощавого, усатого дядю невысокого роста. По случаю выходного солнечного дня тот, как видно, прогуливался, держа за ручку маленького мальчика. Попросить его помочь? Нет, неудобно. Виктор подошел к лошади с другого бока, опять попытался накинуть на ее голову уздечку. Безуспешно.

Вдруг дядя оставил мальчика и решительно зашагал к Виктору. Он взял из его рук уздечку и резким движением тут же изловил непокорную лошадку.

— Вот как надо! Учись, пока не поздно, — сказал дядя. — А какая кобыла! Вот бы ее в наш совхоз! Откуда она у тебя?

Виктор сказал, что лошадь ему подарил один цыган. Да вот он не знает, как с ней справиться.

— Подарил? Цыган? — удивился дядя. — Я слышал, что в древние времена цыгане лошадей крали. Ты-то сам кто?

Виктор ответил, что работает механиком на швейной фабрике.

— Что ты городишь! — продолжал удивляться дядя. — Знаешь, что? Пойдем-ка в контору совхоза, и я кое-куда позвоню. И выясню, что за лошадь. Я секретарь парторганизации совхоза и я обязан знать, что делается в округе. — Он обернулся к мальчику. — Ты знаешь, кто это? — Он показал на Мечту.

— Знаю, это лошадка, я на картинках видел. — Мальчик, видно, был любознательный и закидал деда вопросами: — А почему у нее четыре ноги? А что она кушает? А можно ее погладить? А можно ее в гости позвать?

Дед терпеливо отвечал, шагая с мальчиком за руку. Оба они непритворно любовались красавицей Мечтой.

По дороге Виктор рассказывал, но не обо всем, начал, как его бабушку обижает зять-алкоголик, а закончил, как лошадка проломилла стену сарая. Умолчал Виктор об одной существенной частности — о дедовом доме, как его перевезли и поставили в Завражье.

Когда они уже подходили к конторе совхоза, Виктор неожиданно взмолился:

— Возьмите мою кобылу. Я с ней совсем измучился. Я хочу подарить ее совхозу...

Секретарь парторганизации даже остановился от удивления.

— Ты, парень, чудишь. Наверное, хотел сказать — продать?

— Нет, нет, подарить. Мне же она досталась бесплатно. Возьмите. — И он опять повторил: — Я с ней совсем измучился.

Секретаря давно волновал один, хотя, казалось бы, незначительный, но большой вопрос, силами совхоза в трех изрезанных оврагами малых деревеньках вроде Завражья усадьбные участки пенсионеров не распаиваются. А тамошние жители — бывшие заслуженные работники сельского хозяйства — за свою жизнь столько дали государству, а сейчас обрабатывают землю сами, притом вручную. А тут лошадь предлагают, ведь это выход из положения...

Подошли к зданию конторы совхоза, привязали Мечту к телефонному столбу, вошли внутрь.

Как и полагалось в выходной день, никого в конторе не было.

Пошли по коридору. Виктор с любопытством читал надписи на запертых дверях: «Директор совхоза», «Отдел кадров», «Бухгалтерия», «Главный инженер», «Главный агроном», «Главный зоотехник», «Главный механик». «Интересно, ладится ли работа у главного механика?» — подумал он.

Своим ключом секретарь парторганизации открыл последнюю дверь, сам сел за стол, малыша посадил к себе на колени, жестом пригласил Виктора сесть у окна и тотчас же начал накручивать вертушку телефона.

— Да, да, здравствуй! Говорит...— Он назвал свою фамилию.— Ну, как живешь?.. Да что, я не только парторг, я еще и дед.— Он погладил мальчика по голове.— Подкинули мне внука на весь день, а сами уехали за грибами... Смеешься?.. А у меня к тебе небольшое дельце. Знаешь ли ты механика швейной фабрики? — Секретарь назвал фамилию Виктора...— Да, да, круглощекий, глаза, говоришь, веселые?.. Да нет, не очень веселые...— Неожиданно секретарь широко заулыбался, глядя на Виктора.— Говоришь, весь город его знает? Чем же он так прославился? И телевизоры тоже?.. А вот он к нам лошадь привел, подарить хочет. Как ты на это смотришь? Говоришь, на него такое похоже? Ну, спасибо за сведения. Будь здоров. Как-нибудь загляну.— И секретарь повесил трубку.

Он откинулся к спинке кресла и заулыбался.

— А я ведь начальнику милиции сейчас звонил, признаться, подумал про тебя черт те что. Он тебя охарактеризовал с самых положительных сторон.

— Он меня знает,— сказал Виктор.— Я ему телевизор чинил.

— Вот-вот! У нашего директора тоже телевизор вышел из строя. Можешь ты сейчас его починить?

— Надо посмотреть.

Секретарь опять завертел вертушку телефона, заговорил в трубку:

— Здравствуй! Это я. Послушай, сейчас передо мной сидит один гражданин, который чинит телевизоры... Идем! — Он положил трубку и сказал Виктору: — Пошли!

Вскоре Виктор уже сидел с отверткой в руках перед разверстым телевизором. Двое взрослых и один малыш с любопытством наблюдали, как он колдует.

— Готово! — Виктор поднялся, воткнул вилку, и через полминуты на голубом экране замелькали цветные кадры и заиграла музыка.

— Ну, ты и мастер! — воскликнул директор совхоза.

Секретарь начал ему рассказывать про кобылу.

— Сколько же ты за нее просишь? — спросил директор Виктора.

— Ничего.

— Ну и чудак! — усмехнулся директор.— Пошли ее смотреть.

— Давно не видел такой красавицы! — воскликнул директор, оглядывая Мечту.— Ей бы под седлом скакать, а не плут тянуть. Вижу, еще молода, хомут только весной наденем. Так ты что?— обернулся он к Виктору.— Серьезно хочешь ее нам подарить?

— Она же мне бесплатно досталась,— ответил тот.

— Ну, спасибо. Признаться, не знаю, как наш главбух к такой покупке отнесется.— Директор отступил на шаг и оглядел Виктора тем же изучающим взглядом, что и Мечту, с головы до ног.— Смотрю, примечательный ты парень. А что, в Завражье бывает?..— И он назвал фамилию замдиректора завода.

— Он сейчас там, в своем доме,— ответил Виктор,— я видел его машину.

Директор живо обернулся к секретарю парторганизации.

— Послушай, поедем в Завражье вместе, прямо сейчас.

— Поехали,— согласился тот.— А малышу моему одно удовольствие.

Директор увидел одного из своих работников и распорядился поместить кобылу пока в коровнике.

В последний раз Виктор потрепал Мечту по холке. Он подумал, что ждет ее трудовая, беспросветная жизнь...

— Ее зовут Мечта,— сказал он директору совхоза, когда тот подкатил к конторе на «козлике».

— Буду иметь в виду,— равнодушно ответил директор.

Они поехали вчетвером. Директор правил, секретарь сидел рядом с ним, внук — на его коленях. Виктор устроился на заднем сиденье.

Деловой разговор впереди его не интересовал. Сегодня вечером ему предстояло идти к Люде и к ее матери. И он подумал, что безрадостная судьба Люды чем-то напоминает ему судьбу Мечты.

4

— Дедушка, смотри, какие домики красивые! — вскричал малыш, выпрыгивая из автомашины, остановившейся посреди деревенской улицы.

— А на самом деле, оба выглядят как в сказке,— сказал директор совхоза. Он направился было к тому дому, перед которым стояла «Волга», и невольно остановился, залюбовавшись.

— А этот чей же будет?

— А этот как раз моей бабушки,— сказал несколько смущенный Виктор.

— Бабушка шустрая какая оказалась! Взяла да и дом перевезла в Завражье,— сказал директор.

— И успела так скоро на новом месте поставить,— добавил секретарь парторганизации.— Не ты ли тут принимал деятельное участие? — спросил он Виктора.

— Я,— потупился тот и рассказал всю историю перенесения дедова дома.

— Ты спас? — спросил секретарь парторганизации.

— Я,— опять потупился Виктор.

— Молодец! Деревню, смотрю, украсил,— похвалил секретарь и вместе с директором направился к соседнему дому...

Для игроков в преферанс явились исключительно не вовремя. Замдиректора завода только что объявил девять без козыря. Его противники открыли карты, и он понял: если они догадаются, что он снес, сидеть ему без трех. От чрезмерного волнения у него закололо сердце. И тут он увидел подъехавшую совхозную машину. Вот черт!

— Товарищи, быстренько все со стола долой! — воскликнул он. На столе валялись окурки, раскрытая консервная банка, вилки, посуда, игральные карты.

Все четверо, с воспаленными от бессонницы глазами, вскочили, выжидающе встали. Замдиректора завода с преувеличенной сердечностью пожал руки непрошеным гостям. Неловкое молчание неожиданно прервал малыш:

— Дедушка, а почему бутылки и тарелки стоят под столом? — спросил он.

Все деланно засмеялись.

— Выходной день. Прикатил с друзьями несколько отдохнуть,— улыбаясь, оправдывался замдиректора завода.

— Мы тоже решили в выходной прогуляться,— сказал директор совхоза и сразу понял, что никакого делового разговора не получится.

— Присядьте, пожалуйста,— не очень уверенно сказал замдиректора завода.

— Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. А как поживает ваша супруга? — спросил директор совхоза, чтобы что-то спросить.

— Спасибо, ничего, очень занята, переутомляется, сюда приезжает редко.

— Передайте ей, пожалуйста, мой привет. Пусть она не забывает наш скромный магазин. И вы нас не забывайте. Всего наилучшего.

Директор совхоза и его спутники, не пожимая рук, вышли наружу. И сразу задышали полной грудью.

— Точно в кабаке побывали,— с гримасой гадливости поморщился секретарь парторганизации. И добавил: — Пойдем, покажу, где мечтаю коттеджи ставить.

Вдоль бровки овражка они направились на зады усадеб. Остановились. Полосой по отлогой горе шел выгон, дальше поднимался березовый и осиновый лес, весь в золотых осенних красках.

— Новая улица пойдет здесь, параллельно нынешнему деревенскому порядку,— указывал секретарь.— Дома расставим так, чтобы вид из окон на тот берег Клязьмы открывался — во какой. Представляешь? И украсим настоящей народной резьбой.

И хоть дымка скрывала заречные лесные дали, оба руководителя совхоза и одновременно мечтатели угадывали, какие бескрайние просторы открывались отсюда в ясные деньки...

В тот вечер Виктор, уезжая в город, прицепил к своему мопеду сзади дугу. Он собирался подарить ее городскому краеведческому музею.

Глава пятая

ПЕРВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

1

Теперь Виктор ездил в Завражье не каждый день. Ноябрьская хмарь и длинные ночи мешали.

В разделе «Огород» справочника «Подарок молодому хозяину» он вычитал о теплице и о луке. И начал рядом с домом сооружать здание, правда, не по явно устаревшему образцу, какой описывался в справочнике, а переиначивал на современный лад, вместо стен стеклянных смастерил пленочные, вместо печи кирпичной раздобыл на старой мусорной свалке железную буржуйку, в нее всунул самоварную трубу, а ее длинное колено надставил, протянул вдоль всей двускатной крыши и с помощью другого колена вывел наверх.

Ранней весной в теплицу, в почву, круто удобренную навозом от Мечты, он собирался посадить дедов лук и вырастить уйму зеленых перьев.

Для каркаса теплицы и для прясел всего огорода ему пришлось таскать жерди из ближайшего леса. Нет, нет, он не срубил ни одной живой сосенки, но сухие стволы, какие стояли или валялись в не очень-то ухоженном лесу, он разыскивал, счищал с них сучья, взваливал на свои могучие плечи сразу по две жерди и шел к дому.

И попался, да не леснику, а лесничихе, которую боялись в округе все те, кто метил разжиться хотя бы одной слегой.

Напрасно Виктор пытался очаровать неподкупную и своей широкой улыбкой, и умильным взглядом, напрасно оправдывался, что не знал о запрещении собирать в лесу сушняк, напрасно доказывал, что, прихватывая гниющие стволы, он расчищает лес и борется с лесными вредителями.

Лесничиха, суровая пожилая женщина, твердила, что любой породы лес положено выписывать в лесничестве, уплати деньги, принеси квитанцию, и она отведет, да не сушняк, а там, где запланировано **прореживать** молодые сосновые посадки. Любое, даже **самое**

тонкое деревце согласно закону рубить запрещено. Она вынула из полевой сумки бланк и начала составлять акт самовольной порубки.

Виктор оправдывался, что до лесничества четыре километра в одну сторону, а до жилья блюстительницы лесного порядка четыре километра в другую. Неужели из-за десяти жердей терять целый день? А лесничиха уже показывала, где ему расписаться.

Так впервые в жизни Виктор был оштрафован, правда, всего на три рубля.

Но он очень расстроился и продолжал строительство теплицы с меньшим воодушевлением. Когда выпал снег, теплица была готова. Чтобы испытать, Виктор затопил буржуйку, но штраф, который он считал несправедливым, так угнетал его, что он без особой радости глядел на струйку дыма, впервые завитками выходящую из железной трубы.

2

За зиму Виктор только однажды побывал в Завражье. К его удивлению, дорога туда от шоссе была расчищена снегоочистителем и шла словно в ущелье между снежными стенами. На свой дом он посмотрел издали, постоял, полюбовался, но зачем приближаться и нарушать нетронутую целину снега? Высилась дом, занесенный сугробами до низа окон, величавый, молчаливый и, как считал Виктор, самый лучший на свете. Вот только пятое окошко словно подмигивало. У соседнего дома было расчищено крыльцо, и к нему шла дорожка, вокруг синели отброшенные комья снега...

Тетя Лиза встретила Виктора восторженными рассказами о новом соседе — какой он заботливый, веселый, снегоочиститель посылает опосля каждой метели, и теперь куда как способно стало до магазина и до автобуса добираться. А по выходным он с дружками наезжает, так она взялась по будням в его доме печи топить и прибираться, и он отдает ей и ее козе продукты, какие остаются. О том, что она забирает еще и пустые бутылки, которые затем сдает в совхозном магазине, ей не хотелось признаваться.

Виктор подумал, что надо бы как следует познакомиться с таким, как видно, полезным соседом...

Он старательно прорабатывал премудрости справочника и обратил особое внимание на главу «Рыболовство». В раннем детстве, в пионерском лагере, он раза три в жизни держал в руках удочку и поймал пару малявок. А тут рассказывалось о рыбе крупной. И решил он сплести ту снасть, которая называлась крылёны, раздобыл суровых ниток, соорудил посреди комнаты каркасик, вырезал челночок. И все вечера, то взглядывая в телевизор, то продевая нитку, он плел ту ловушку для рыб, какой пользовались еще древние славяне и какая по уверению справочника сулила при спаде половодья несметное количество рыбы различных пород и размеров, идущих на нерест.

Как-то зашел к Виктору Леонид. Теперь братья виделись редко, из-за Леонидовой жены. Она все еще сердилась на Виктора, дважды сорвавшего осеннюю поездку за грибами, и не желала, чтобы муж к ним ходил.

Увидев недоплетенную снасть, Леонид воскликнул:

— Да ты что? Обалдел, что ли? Такие штуковины строжайше запрещены. Это же браконьерство!

Но Виктор был упрям. Он спокойно возразил брату, что собирается ловить лишь по одной большой рыбине, а остальных выпускать обратно в воду, что в справочнике «Подарок молодому хозяину», наоборот, крылёны даже рекомендуются, и продолжал завязывать узелок за узелком на сети. Он не учитывал, что справочник был составлен лет сто двадцать тому назад, при совсем иных порядках, когда природу нисколько не берегли.

Леонид так и не сумел переспорить брата.

В начале марта в городе появились первые признаки приближения весны. Солнце светило ярче, и с крыш падали капли.

Виктор отправился в выходной в Завражье и с той поры стал туда ездить каждую пятницу с вечера, он затапливал в доме обе печи и оставался до утра понедельника.

Живя в городе, он почти не обращал внимания на изменения погоды, природа для него вообще не существовала, книг он почти не читал, а если попадался ему в руки случайный роман, то описания природы он неизменно пропускал.

Теперь весна обернулась для него подлинным открытием. С пылливостью юноши глядел он на завражские просторы и с каждым новым приездом видел, как меняются краски, какими густо-синими делаются тени на снегу и каким ослепительным кажется снег на солнце. Появились первые птицы — жаворонки — в поле, над Клязьмой — чайки, набухали почки на ветлах. А потом снег постепенно начал сходить, проступили бурые полосы проталин, березы покрылись нежно-зеленым пушком, а потом и впрямь зазеленели...

Виктор увидел ледоход на Клязьме. Сизо-серые и темно-синие льдины, сталкиваясь между собой и налезая друг на друга, плыли по свинцовой воде. Он забывал, зачем приехал в Завражье, и не отрываясь смотрел, как мимо него неостановимо плыли и плыли льдины...

Он посадил в теплице дедов лук по способу, рекомендованному в справочнике, то есть тесно-тесно, луковица к луковице. Без него теплицу в морозные вечера топила тетя Лиза. Когда же топил он, то с любопытством наблюдал, как луковицы начали просыпаться от долгой спячки, как наклеивались белые бугорки на их маковках, как высывались кончики зеленых росточков...

А Клязьма между тем постепенно выходила из берегов, разливалась по всей пойме противоположного берега, оставляя гряды островков и отдельные деревья. А потом и островки уменьшались и один за другим исчезали.

С высокой горы от дедова дома Виктор впервые в жизни видел разлив, настоящее светлое море. И смотрел он на широкий вид, на голубые дали с восторгом первооткрывателя...

Как ему не хотелось в понедельник утром возвращаться на работу! Теперь на своей фабрике он ходил понуриив голову между рядов швейных машинок и склоненных над ними работниц. Без прежнего внимания он прислушивался к жужжанию моторов и с работницами реже шутил и пересмеивался. Долг свой он исполнял добросовестно, но тянуло его в Завражье неумолимо. Всю неделю он с нетерпением ждал вечера пятницы, чтобы сесть на свой мопедик и укатить.

А зеленые перышки лука все росли. А вода в Клязьме начала спадать.

Эту пору Виктор не должен был пропустить. Он облюбовал местечко под высоким бережком реки, залез в резиновых сапогах по колено в воду и поставил свои крылѣны на небольшой глубине, закрпив открылки и саму мотню колышками.

Утром он пришел проверить, засунул руку — что-то забилось, задергалось под его пальцами, он потянул и вытащил снасть, полную рыбы. Он даже обомлел — столько серебра трепетало внутри мотни. Но он заранее решил не жадничать и потому кинул обратно в воду всю мелочь и покрупнее, а вытащил на берег и поволок сеть лишь с одной рыбиной, но зато такой, какой никогда не видывал. Он даже усомнился — рыбина ли это, а может, какое-то неведомое чудище.

Оно было немногим короче его ноги, со спины темно-коричневое, гладкое, без чешуи, с блестящими черными плавниками, с темно-зелеными боками. Светло-желтое, с голубыми крапинками брюхо надулось, длинные розовые веревки-усы шевелились. Выставив тупую морду, выпучив оранжевые злые глазки, чудище то открывало, то закрывало свою широченную пасть, показывая добрую сотню загнутых назад острых и мелких зубов.

Виктор не стал вынимать его из мотни, а закинул за спину и понес, как носят мешок, но повернул не к своему дому, а к соседнему. Надо же узнать, что такое ему попало.

Он застал четырех картежных игроков за столом, горками валялись окурки, стояли тарелки с остатками еды.

Замдиректора был как раз свободным. Он встал и густым басом издал возглас удивления:

— Вот так сом!

Игроки бросили карты, вскочили, начали рассматривать рыбину и тоже издавали возгласы удивления. Замдиректора взял безмен и зацепил его крюком за угол сети.

— Ого! Четыре кило триста граммов! Ну, триста на снасть, четыре килограмма чистых потянул! Сколько же ты за него просишь? — спросил он Виктора и полез в карман за бумажником.

— Я хотел вам подарить, — пролепетал очень смущенный Виктор.

— Подарить? Хорошее дело! — И замдиректора сразу засунул бумажник в карман. — Вот, товарищи, — обратился он к игрокам, — представляю вам своего соседа. Виктор... Виктор... Эх, забыл фамилию! Ну, это не так уж важно.

Игроки едва взглянули на Виктора.

— А не зажарить ли нам сейчас соседский подарок? — громко возгласил замдиректора и обратился к Виктору: — Ну как, дружище, не возьмешься ли ты за ответственное дело? — И он похлопал его по плечу.

Виктор так оробел, что молча согласился.

Замдиректора отвел его на кухню, показал недавно установленную газовую плиту, а также все то, что требовалось для приготовления столь лакомого блюда. Вдвоем они еле вытащили сома из мотни, и замдиректора вернулся к игрокам.

А Виктор снял свою совсем поблекшую румынскую куртку, засучил рукава и начал священнодействовать. Он вспорол сомовый живот и вывалил объемистый кус розовой икры. «Вот те на! — обомлел он. — Выходит, поймал не сома, а сомиху, а сколько мальков погубил, верно, целый миллион! Ужас, ужас!»

Но как бы угрызения совести ни мучили его, он зажарил сома на славу, куски получились с румяными корочками, с них капал золотой жир.

Замдиректора поставил на стол поллитровку и стопочки, пригласил также и повара.

Виктор присел на уголок, на чересчур высокую и неудобную табуретку. Загудели ноги в резиновых сапогах. А все же он сидел гордый, что вот оказался в одной компании с такими важными дядями. От стопки Виктор отказался.

— Что ж, нам больше достанется, — усмехнулся замдиректора. Он опять похлопал Виктора по плечу и возгласил: — Учтите, товарищи, он вовсе не такой скромник, как с первого взгляда кажется. Он настоящий ловкач, каких не сыщешь. Представьте себе, перевез из города дом сюда, в Завражье, и оформил его на подставную старушеницу, какую никто здесь и в глаза не видывал. Да, да! Не бойся, не бойся, никому о твоих махинациях не выдам.

Он по-приятельски похлопал Виктора по плечу, остальные залились хохотом.

А Виктор сидел, едва дыша от ужаса, от унижения. Ему до мурашек на спине захотелось уйти из этой прокуренной, в густом тумане комнаты, уйти туда, на свежий воздух, спуститься к берегу Клязьмы... Но он не знал, как встать.

Выручил замдиректора. Он спросил его:

— Сосед, в картишки играешь?

— В дурака немножко,— выдохнул Виктор.

— А мы в преферанс перекидываемся, никак пульку не разыграем. Садись сзади меня, буду тебя учить. Может, когда без партнера останемся, а ты тут как тут. Давай, давай, садись, не стесняйся.

— Я пойду! — с большим усилием Виктор преодолел свою робость, встал и забормотал: — Спасибо, я лучше пойду. У меня дела много. Право, я пойду.

— Ну как хочешь, не держу,— холодно сказал замдиректора.

Виктор поклонился общим поклоном. Никто даже не оглянулся. Он взял свою рыболовную снасть, вышел на крыльцо и невольно застыл на месте.

Отсюда, с высоты ступенек, открывался широчайший вид на противоположный берег Клязьмы. Полая вода сходила, и по всей пойме блестели серебряными полосами озера. А по деревенской улице пробивалась зеленая травка, распускались листочки на липах и вязах...

«До чего же тут хорошо! — думал Виктор. — А на душе как противно!» Он даже закряхтел, сжимая зубы, и пошел спускаться с горы к берегу Клязьмы. И еще он думал, что вот до сих пор не удосужился оформить постройку дома. Надо бы съездить за разрешением в сельсовет, да все некогда. А может, и не надо? Дом-то стоит! И какой дом!..

5

«Интересно, хоть один раз спускался сюда этот жирный дядя?» — подумал Виктор про своего соседа. Он пошел по песку вдоль самой кромки воды со снастью в руках и остановился у того места, где высывались из реки колышки и где полтора часа назад была поймана сомиха.

Он стоял в раздумье и не отрываясь смотрел, как мимо него струи текли и текли...

«Не надо было ее отдавать, лучше домой бы отвез». И он мысленно представил себе радость, уху и жарено, Леонида с женой у них в гостях. И полное примирение. Так думал Виктор. Он и не подозревал, что из ближних прибрежных кустов пристально следят за ним двое. «А что, если еще раз поставить крыльены? — продолжал он рассуждать сам с собой. — Теперь знаю, как отличить рыбу-маму от рыбы-папы. У мамы живот вздутый. Папу ловить, наверное, можно. Заберу самого крупного папу, а остальной улов выкину обратно».

Осторожно он ступил в воду, нагнулся, зацепил за крайний колышек петлю снасти, начал ее разворачивать, побрел к другому колышку.

— Стой! — вдруг загремело за его спиной.

Он оглянулся, увидел двух людей и чуть не упал в воду.

— Иди, иди сюда! — приказал высокий, в брезентовом плаще, который стоял ближе. — И снасть свою отцепи и дай мне.

Виктор побрел по воде, от ужаса он шел наклонив голову и едва дыша.

— Районный инспектор рыбнадзора,— холодно представился высокий и показал маленькую синенькую книжечку. — Так вот, статья сто шестьдесят третья Уголовного кодекса РСФСР гласит: «Незаконное занятие рыбным и другим водным добывающим промыслом». Налицо злостное браконьерство. Сейчас рыба идет на нерест. Много ли успел поймать?

— Только одну рыбку,— жалобно пролепетал Виктор. О том, сколько в этой рыбке было килограммов и сколько икры, он предпочел умолчать.— Всех, всех остальных я выбросил в воду. Клянусь вам — выбросил! — лепетал он в безысходном отчаянии.

— Идем на моторке, гляжу, кольшки из воды торчат,— объяснял инспектор своему спутнику.— Я сразу смекнул, причаляли, вижу, свежие следы на песке, рыба чешуя разбросана, значит злоумышленник скоро обратно явится. И дождался.— Он обернулся к Виктору.— Так что с тобой делать? Подобного характера преступления наказываются лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей с конфискацией орудий лова. Кто ты такой? Где работаешь?

Виктор едва выдавил свою фамилию и место работы.

— А, так я о нем слышал! — неожиданно радостно воскликнул до сих пор молчаливый спутник инспектора.— Это ты телевизоры так здорово чинишь, притом бесплатно?

— Я.

— Бесплатно? Ну, так что с тобой делать? — спросил Виктора несколько смягчившийся инспектор.

— Простите, я больше не буду,— как нашкодивший мальчишка, умолял Виктор, его круглые щеки пунцово пылали.

— Давай сюда сеть! — приказал инспектор и развернул ее.— А до чего артистически сплетено! Вижу, ты мастер не только по телевизорам. Подержи у конца,— обратился он к своему спутнику, достал нож и — раз-раз! — хладнокровно пошел кромсать Викторovy усердные труды. И выбросил обрывки в воду.— На первый раз не буду тебя привлекать к уголовной ответственности,— брезгливо сказал он Виктору.— Неужели не понимаешь, сколько молодежи губится?

— Понимаю,— простонал Виктор.

— Но больше не попадайся.

Инспектор повернулся и зашагал к прибрежным кустам, где была спрятана моторная лодка. Через минуту она затарахтела, круто развернулась, вышла на середину реки и помчалась против течения, разрезая струи и поднимаемая волны.

А Виктор все стоял у самой воды, не помня себя от ужаса, стыда, унижения, обиды. Впервые в жизни его обозвали преступником. И это была правда...

Глава шестая

«ЛУКОВОЕ ДЕЛО»

1

В своем позоре Виктор никому не признался, даже своей Капитолине не сказал, хотя всегда утверждал, что никогда ничего от нее не скрывает.

Как-то брат Леонид спросил его:

— Что же ты рыбкой не угощаешь?

— Крылѐны пропали,— мрачно ответил Виктор, но не стал вдаваться в подробности.

На работе он ходил хмурый, и швеи замечали в нем перемену. По привычке он отшучивался на их заигрывания, но словно хотел от них поскорее отделаться, уходил в свой маленький кабинетик. С нетерпением он ждал окончания рабочего дня, после звонка сразу же садился на свой мопед, забегал на минутку домой, целовался с женой, она ему совала сумку с продуктами. И он катил в Завражье.

Подъезжая к своему дому, он с высоты горы каждый раз оглядывал начинающий спадать разлив Клязьмы и каждый раз шептал про себя: «До чего же тут хорошо! И как на душе противно!..»

Зеленые перья лука между тем вытянулись настолько, что пора было собирать урожай. Виктор никогда не думал, как извлечь из этого пользу. Он вообще никогда не думал, что от сельского приусадебного участка можно получать доход, и при желании немалый.

Он решил весь лук привезти на фабрику и там раздать девочкам, еще надо подарить соседям по дому да оставить юрисконсульту, да брату Леониду, да тете Фене, ну и, конечно, себе.

На фабрике его предложение было, естественно, принято с восторгом, хотя иные работницы удивлялись. «Какой наш Витенька чудак!» — говорили они.

Одна Капитолина робко возразила:

— Может, лучше на рынке продать?

— Спекулянтom не был и не буду! — оборвал Виктор.

И Капитолина смолкла.

Виктор договорился с Леонидом, что рано утром в воскресенье он привезет Капитолину в Завражье за луком.

На задворках фабрики с давних пор валялись две старые ванны. Виктор с Михеичем забрали их и поставили возле проходной. Вахтерши обещали, когда подъедет к фабрике легковушка, они помогут грузить с нее лук, снесут его в ванны, не забудут налить в них воды, чтобы к понедельнику после рабочего дня луковые дары выглядели свежими.

Сперва все шло точно по расписанию. Виктор приехал в Завражье, как всегда, в пятницу вечером. В воскресенье с рассвета он начал дергать из земли лук. Когда подъехала машина, зеленые связки — перья вместе с луковицами — уже лежали перед воротами. Виктор их опрыскивал водой.

Загрузили и багажник и все заднее сиденье. Леонид с Капитолиной поехали, а Виктору места не хватило, и он остался.

— Знаешь, что, Капа, — обратился Леонид к невестке, когда они уже подъезжали к городу, — твой муж еще с детства был чокнутым. Ну ее, швейную фабрику, а поедем-ка к тете Фене, она сядет вместо тебя, и я с ней — на рынок. Чем ей цветами от чужих теток торговать, так лучше от любимого племянничка луком. Как раз на мотоцикл наживетесь.

— Уж и не знаю. Ведь он заругается, — заколебалась было Капитолина.

— Ничего, ничего, я отвечаю, — настаивал Леонид и свернул машину в ту улицу, где в большом доме квартировала тетя Феня с дочерью Людой.

2

В то солнечное апрельское воскресенье с утра на городском рынке замечалось чрезвычайно оживленное движение. Одни покупательницы бежали на рынок с пустыми сумками, другие возвращались с полными.

— Где достала? Почему продают? — спрашивали те, кто бежал к рынку.

— Да уж обдирают, прямо обнаглели, спекулянты, — отвечали те, кто возвращался.

Оказывается, впервые за эту весну на рынок был выброшен зеленый лук.

Тетя Феня сидела за прилавком, величественная, как королева, двигала руками неторопливо, отвечала медленно. Подоспела Капитолина ей помогать, подавать пучки, отсчитывать сдачу.

В душе тетя Феня ликовала. Это не какие-то там полсотни тюльпанов, тут карман набьешь крепенько. На всем рынке продавала зеленый лук только она одна. А раз так, то и цену можно было назначать какую хошь. Вон сколько баб набежало — целая очередь. Пускай

выражаются, пускай спекулянткой обзывают. Ей не впервой слышать. А вишь, как прытко берут...

Люди за зиму истосковались по витаминам, и организм настойчиво требовал свежую зелень. Оттого-то и покупали столько пучков, сколько хватало денег. И несли домой для мужа и для детей. Многие ворчали, а все равно оставались довольными.

К обеду весь лук был продан. Капитолина полную сумку набила рублями и трешками, другую сумку мелочью, две крупные бумажки протянула тете Фене и пошла домой, сияя от восторга.

Правда, немножко у нее под ложечкой щемило, она не знала, как отнесется ко всей этой, хотя и несомненно выгодной, затее ее дорогой муж.

Но ведь тут мотоцикл! А с тех пор как построился в Завражье дом, они мечтали о мотоцикле. Теперь будут раскатывать — любимый муж впереди, она сзади, на багажнике. Она будет ему помогать и по завражскому дому, и в огороде. А Леонид ее выручит. Вдвоем они уговорят Виктора, долго на них сердиться он не будет.

Так думала Капитолина, направляясь к своей квартире. На лавочках грелись на солнышке соседки старушки и степенно переговаривались между собой о том и о сем.

— Муженек твой нам лучок обещал, — окликнула Капитолину одна из старушек.

— Да небось весь расторговали, — вздохнула другая.

— И как это у людей совести хватает рабочий народ обманывать, — подхватила третья.

Разумеется, все они доподлинно знали о той коммерческой операции, какую Капитолина считала столь удачной.

Низко опустив голову, она прошла сквозь строй осуждающих взглядов. Она знала: теперь все лето, пока осенние холода и дожди не разгонят по квартирам, старухи будут перемывать косточки ей и ее мужу.

Придя домой, она вывалила на стол деньги и начала считать.

Ленечка, лежа на диване, смотрел телевизор. Он равнодушно повернул голову и сказал:

— Тут приходил за луком... — И он назвал имя-отчество юрисконсульта. — Я ему отдал что на кухне было.

— Весь отдал?

— Весь.

Так ни одного перышка Капитолине не досталось, чтобы угостить мужа и сына.

3

Вот как Виктор провел тот насыщенный городскими событиями день. Дел у него в Завражье хватало, трудился он все один. Капитолине было не на чем приезжать, а у сына Ленечки хоть и был велосипед, но отец так ни разу не сумел затащить своего отпрыска в деревню. Ленечка вообще не видел дедова дома на новом (вернее, на старом) месте.

Виктор вскопал ближнюю часть участка, посадил морковь, петрушку, сельдерей, редиску. Но его ждало одно ответственное дело — утеплить дом.

Еще с осени в недалеком болоте он понадергал мха и привез его на дедовой тележке. Теперь мох высох. Михеич научил способного ученика мшить, как выражались владимирцы, то есть с помощью деревянного молотка-киянки и деревянного долотца-забивалки конопатить щели между бревнами стен моховыми прядями.

Проводив Леонида с Капитолиной, Виктор сперва разгреб грунт в теплице, посадил там огурцы и начал мшить. Тюкал и тюкал киянкой. Эта однообразная работа успокаивала его, вводила к разным далеким и неопределенным, но неизменно светлым мечтам.

У него и в мыслях не было, что жена и брат могут его обмануть. Спокойно он протюкал до позднего вечера, переночевал впервые в дедовом доме, а ранним утром отправился в город, прямо на фабрику.

Конечно, сперва он заглянул к стоявшим у входа ваннам. Его беспокоило — не завял ли лук, не надо ли подлить воды?

Ванны были пусты.

Задыхаясь от предчувствия недоброго, он спросил вахтершу. Та ответила, что никакая легковушка не подъезжала. Он оторопел. Мимо пробежали работницы, заворачивали к тем же ваннам, заглядывали в них, бежали дальше. Одна, другая, третья спрашивала его: «Ну как, Витенька, натерговал?»

Он являл все. Не помня себя, пошел в помещение фабрики. С утра запускались швейные машинки. Он привык медленно проходить по рядам и чутким, привычным ухом прислушиваться к их жужжанию — нет ли у какой хоть самого малого стука или перебоев. Сейчас он прямо через цех, мимо работниц, мимо машинок, не останавливаясь, прошел в свой кабинетик, заперся там и сел у стола, стиснув руками голову.

Швеи, конечно, сразу заметили его настроение. Начались пересуды. Некоторые работницы накануне побывали на рынке, видели, как бейке торгует луком какая-то старуха, возмущались неслыханными ценами. Но никто из них не покупал, они же были уверены — потерпят до понедельника и получат обещанный лук бесплатно. А сегодня, придя на работу, они увидели ванны пустыми и, конечно, поняли, что лук, продававшийся на рынке, принадлежал их любимому Витеньке, который попросту их обманул. Велико было их возмущение. Судача между собой, они называли своего механика не только обманщиком, но и спекулянтом...

А он, уединившись от всех и вся, сидел, оцепенелый, целых полчаса. Наверное, другой при таких обстоятельствах постарался бы обратиться «луковое дело» в шутку. Но Викторова душа была очень уязвимой, всякие, даже самые малые, неприятности вроде, например, штрафа за жерди он чересчур близко принимал к сердцу. А тут обманул целых двести девочек!

Вдруг в дверь его кабинета резко застучали. Кто-то крикнул: «В фабком! К телефону!»

Он бежал по цеху, пронзаемый косыми взглядами, никого и ничего не видел. Фабком помещался в таком же маленьком кабинетике, как и его. Он взял трубку.

— Алло!

— Это ты, братишка? Здравствуй! Здравствуй! — Голос Леонида был непринужденно весел.

Две женщины, о чем-то оживленно беседовавшие между собой, разом смолкли и приготовились слушать чужой телефонный разговор.

— Поздравляю тебя с новым мотоциклом! — гремел голос Леонида. — Сегодня в «Спорттоварах» выходной. Завтра после работы айда вместе покупать! Хватит тебе на тарахтелке мотаться.

Виктор завертелся, потянул было провод к окну, пригнулся, прикрыл ладонью трубку. Но он видел, с каким любопытством женщины ждут его ответных слов.

— Ну как, договорились? — между тем спрашивал Леонид.

О, Виктор мог бы обрушить в телефон столько горьких слов, излить всю свою обиду, все свое негодование... Но женщины молчали и слушали, вернее, подслушивали. И потому он только односложно буркнул:

— Договорились.

— Ну, не сердись, не сердись. Это я уговорил твою Капочку. Всю вину беру на себя, — весело раскатывался голос в трубке. — Так, значит, завтра, после работы у «Спорттоваров». А хочешь, сегодня ве-

чером со своей благоверной мы к вам закатимся? Знаешь, как она луку обрадовалась!

— Да, договорились,— еще раз пролепетал Виктор и положил трубку. То, что Леонид с женой придут в гости, ему пришлось по душе, значит, она больше на него не дуется. Но лук, лук! Родной брат, а как подвел!..

Обе женщины, не удовлетворив своего любопытства, остались явно разочарованными. Одна из них, председатель фабкома, была особа строгих правил. Ее уважали все, а молодые работницы и побаивались.

— Товарищ, вы...— Она откинулась к спинке кресла и назвала Виктора по фамилии. А раньше никогда не обращалась к нему столь сухо и официально, всегда ласково называла просто Витенькой и на ты.— Вы понимаете, как-то нехорошо получилось... Не надо было обещать...— Говорила она вроде бы доброжелательно, однако с оттенком недовольства.— И потом, знаете, такие цены... Право, не к лицу члену нашего коллектива. Многие обижены..

— И скажу тебе, дорогой Витек, как родному сыночку,— подхватила другая женщина, одна из старейших работниц фабрики,— как ты дедов дом в деревню перевез, так стал без прежнего пылу у нас работать. Не я одна заметила.

Виктор все ниже и ниже опускал голову. Он понимал, что женщины были правы. Он обещал исправиться, учесть ошибки и вышел...

С того дня он работал усердно, добросовестно исполнял свой долг, но без огонька. И прежних шуточек со швеями не допускал, и девочками их больше не называл. Две или три как-то спросили его: «Когда позовешь в новый дом на новоселье?» Он молча отошел. Отношения его с коллективом явно охладелись.

4

Капитолина обычно возвращалась с работы раньше мужа. Она услышала, что он открывает наружную дверь своим ключом, бросила готовить ужин и кинулась к нему на шею, одновременно и целуя его и плача. Она знала, как смягчить его сердце.

— Прости меня, прости. Это Леонид меня уговорил,— повторяла она.

Нет, Виктор не мог на нее сердиться. Он обнял жену и стал осыпать мелкими поцелуями ее голову.

Ленечка, валявшийся на диване, равнодушно смотрел на эту неожиданную сцену.

Виктор предупредил Капитолину, что скоро явится Леонид, да не один, а наконец впервые за долгий срок с женой. Надо хорошенько приготовиться к приему дорогих гостей.

Виктор любил повторять, что у хорошего хозяина обязательно должно быть припасено на всякий случай угощение. А так как он считал себя даже очень хорошим хозяином, то сейчас вытащил все запасы из кладовки и перенес в холодильник. Селедку, конечно, следовало бы украсить зеленым луком, но, увы, ни одного перышка в доме не нашлось.

Супруги суетились на кухне и в парадной комнате, звенели посудой, оживленно переговаривались между собой, советовались. Капитолина поняла, что муж ее простил, и ликовала про себя.

— Мамк, жрать хотца! — промычал с дивана Ленечка.

— Потерпи, потерпи, сыночек,— отвечала Капитолина,— скоро гости придут, переодень штаны, приведи себя в порядок.— Она никак не могла привыкнуть, что ее обожаемый мальчик уже почти взрослый, и обращалась с ним как с малышом.

Ленечке было лень вставать. Он продолжал валяться, тупо уставившись в голубой экран, и мать оставила его в покое...

Виктор еще с детства любил старшего брата, более того, он его боготворил, всегда смотрел на него снизу вверх. В школе Леонид учился только на пятерки, после армии поступил на работу и одновременно с большим упорством учился, заочно получил высшее образование, стал инженером. Виктор всегда считал его удачливым, умным, прислушивался к его советам. Сейчас он перебарывал себя, чтобы на него не сердиться. Из-за чего? Из-за лука? Он старался убедить себя, что лук, в общем, пустяки...

Гости явились нарядно одетые, оживленные, даже с букетом тюльпанов. Леонид сердечно пожал руку Капитолине, похлопал брата по плечу. Его жена расцеловалась с Капитолиной, подставила щеку Виктору. И он понял, что она его простила.

Сели вокруг стола. Леонид протянул было к селедке вилку, помачал ею и озадаченно воскликнул:

— А что же не вижу зеленого лука?

— Лука у нас, наверное, до следующей весны не будет,— вздохнула Капитолина, а Леонид и его жена расхохотались.

— Что ты собираешься делать со своей тарахтелкой? — спросил Леонид брата.— Ты же изобретатель.

Виктор даже вскочил от возбуждения.

— Да, я изобретатель. Ты не видел, а я видел, как трудно дается завражским жителям обработка их участков. Я мечтал — будет их распахивать моя лошадка. Да сорвалось дело. С тех пор всю зиму я думаю о маленьком тракторишке! Вот для него мотор! От мопеда!

— Правильная идея! — воскликнул Леонид.— Конечно, бензин доставать куда проще, чем овес. И завражские старушечки будут в восторге. Дай-ка лист бумаги.— Он начал чертить.— По-инженерному будущий механизм называется мини-трактор. Вот смотри. Если присобачить к мотору две стойки, здесь их согнуть, соединить хомутиками. Понял? Ну, изобретай, изобретай.

Леонид знал, что Виктор как техник мастер исключительный, выдумщик хоть куда, а в чертежах не очень разбирается...

И уже еда была отставлена. Оба брата склонились над листом бумаги.

— Эй вы, гуляш остынет! — окликнула их жена Леонида.

Они и головы не подняли.

— Мамк, жрать охота! — привел их в чувство голос Ленечки.

Братья хоть и были голодны, а закусывали словно мимоходом. И весь вечер, не обращая внимания на своих жен, говорили и говорили, горячо между собой спорили, прикидывали, черкали на бумаге, какие штуковины надо присоединить к мотору мопеда, чтобы получился мини-трактор.

Глава седьмая

ПЕРВЫЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ДОГАДЛИВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

1

Получив отдельные квартиры, счастливые граждане постепенно начинают их обживать. И постепенно там скапливаются в разных углах всевозможные ненужные и поломанные вещи, однако выбрасывать их почему-то бывает жалко. Эти углы — в кухнях, в ваннных комнатах, в чуланчиках — иногда называют злачными местами.

За последние пятнадцать лет такое «злачное место» образовалось и в квартире Виктора и Капитолины, в темной каморке, наверное, и предназначенной для подобных целей.

Из беспорядочной пропыленной кучи старой обуви и одежды супруги извлекли детскую колясочку, в которой они некогда катали своего ненаглядного сына. Виктор решил приспособить ее для будущего мини-трактора.

Леонид назвал идею брата гениальной. Так, сперва на бумаге, был составлен некий удивительный проект. В фабричном кабинетике Виктора и в заводском цехе Леонида постепенно сооружалось сие чудо техники. От мопеда пошли в дело мотор, а также оба колеса, насаженные на одну ось, разные мелкие детали. От детской колясочки были взяты станина и две ручки, чтобы в будущем управлять мини-трактором во время движения.

В поте лица своего оба брата по вечерам распиливали, растачивали, стгбали, приваривали, сверлили, подгоняли, насаживали, припаивали и свинчивали различные части. Наконец настала суббота, и они повезли свое новорожденное детище на «Жигуленке» в Завражье.

Испытательный полигон облюбовали сзади дедова дома. Старый плуг, со времен единоличных хозяйств хранившийся у тети Лизы, они прицепили сзади за специальный крюк.

Все жители Завражья собрались смотреть. Виктор запустил мотор. И мини-трактор пошел. Виктор зашагал рядом, держась за ручки.

Нет, до чуда техники было еще весьма далеко, изобретение не слушалось своего создателя, норовило вырваться, бросалось туда и сюда.

Пришлось увезти его обратно в город. Еще целую неделю братья что-то меняли, что-то подгоняли, как-то иначе приспособливали мотор к станине.

В следующую субботу в Завражье произошло знаменательное событие, свидетелем которого случайно оказался внук одной из тамошних старушек — корреспондент районной газеты. Ничего не подозревая, он прибыл в Завражье помогать на огороде своей бабушке и неожиданно поймал материал на остросовременную тематику.

Через неделю статья была опубликована:

«ДОГАДЛИВЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Механик нашей городской швейной фабрики имени 8 Марта,— далее следовали инициалы и фамилия Виктора,— проживающий на своей даче в д. Завражье, соединив детскую колясочку с мотором и колесами мопеда, изобрел чудесную сельскохозяйственную машину, которую назвал мини-трактором. За два выходных дня он распахал все без исключения усадебные участки указанной деревни.

Крайне любопытно было наблюдать, как он сам, держась за обе ручки пыхтящей тонким голосом машины, шел за своим остроумнейшим изобретением строго по прямой, а за ним следовали радостные завражские жители, а также их городские дети и внуки и кидали в каждую борозду картофелины, запахиваемые следующим рейсом, а еще сзади степенно переступали лапками слетевшиеся со всех окрестностей иссиня-черные грачи и клевали дождевых червей.

Руководству нашего завода в порядке ширпотреба следовало бы заинтересоваться указанным изобретением и наладить производство данных простых в обращении сельскохозяйственных орудий, столь необходимых для обработки приусадебных участков.

Ура догадливому изобретателю!»

2

Статью, разумеется, читали многие жители и города и района, читали с интересом, делились друг с другом своими мыслями и пожеланиями, иные владельцы приусадебных и садовых участков рассуждали про себя: «Вот бы мне такую машину!» Мужчины — знакомые Виктора,— встречаясь с ним, говорили ему что-то вроде: «Ну, Витька, даешь!» У многих работниц швейной фабрики уже успело несколько остыть неприязненное чувство к своему механику из-за злополучного «лукового дела». Встречаясь с ним, они с улыбкой говорили ему: «Витенька, вот ты, оказывается, какой изобретатель!»

Директор совхоза и секретарь парторганизации в день выхода газеты со статьей вечером встретились друг с другом.

- Читал сегодняшнюю газету? — спросил директор.
- Читал, конечно. Это ведь тот парень, который нам подарил кобылу, — ответил секретарь.
- И починил мой телевизор, — добавил директор.
- Хочу с ним поближе познакомиться, — сказал секретарь.
- Ну-ну, — закончил разговор директор. И оба разошлись по своим делам.

Капитолина и ее деверь были на седьмом небе от гордости за Виктора, а сам он ходил, улыбаясь широченной, от уха до уха, улыбкой.

Но нашлись и такие, которые, прочитав статью, отнеслись к ней совсем иначе.

Заврайфо в тот день сел за утренний завтрак в самом скверном настроении и обругал жену за холодный кофе. А для скверного настроения у него были особые причины.

Накануне явились в его кабинет две юные девушки, студентки финансового техникума, отбывать в течение месяца практику.

Заврайфо решительно не знал, что с ними делать. Они же первокурсницы, шестнадцатилетние дурочки, никакую серьезную работу с цифрами, с деньгами им не доверишь. «А что им можно поручить?» — в досаде спрашивал он самого себя, держа в одной руке чашку с остывшим кофе, а в другой газету. И вдруг ему попался на глаза любопытный заголовок. Он прочел статью и возликовал:

— Те-те-те! А мы этого изобретателя — да к ногтю! Сколько он содрал с несчастных старушек?

Придя на работу, он вызвал обеих девушек в свой кабинет, показал им статью в газете и начал пространно объяснять, как райфо обязано бдительно следить за лицами, получающими чрезмерно высокий доход, и предъявлять им подоходный налог согласно закону. Он сказал присмиревшим девушкам, что доверяет им весьма ответственное поручение, которое следует выполнить точно. Он объяснил им, как доехать на автобусе до центральной усадьбы совхоза, там в конторе отметить командировочные удостоверения, потом — ничего не поделаешь — придется прошагать пешком три километра до Завражья, там заходить в каждый дом, узнавать у владельцев, какая у кого площадь распаханая, и, самое основное, выявить размер суммы, уплаченной за данную распашку, и составить с каждым владельцем отдельный соответствующий акт.

Заврайфо передал девушкам готовые печатные бланки подобных актов.

После обеденного перерыва на доску объявлений был вывешен приказ. Девушкам вручили командировочные удостоверения сроком на три дня, в кассе им выдали деньги — суточные, квартирные и транспортные.

К концу рабочего дня заврайфо опять вызвал девушек в свой кабинет. Вперив в них строгий взгляд, он еще раз подчеркнул важность и ответственность порученного им дела, а про себя был удовлетворен — по крайней мере, три дня он может о них не беспокоиться, а там что-нибудь придумает.

Обе девушки, переполненные энтузиазмом и решимостью, покинули контору райфо, с тем чтобы на следующее утро отправиться в Завражье разоблачать рвача-изобретателя, как успел прозвать ничего не подозревавшего Виктора бдительный начальник.

3

В райфо следующий день прошел как обычно — щелкали счеты, скрипели арифмометры, ворковали вычислительные машинки. Женщины-служащие потихоньку переговаривались между собой, единственный мужчина — сам заврайфо — одиноко восседал в своем кабинете.

Зато на следующий день помещение райфо еще за десять минут до начала работы наполнилось звонким девичьим смехом, оживлен-

ными возгласами и восклицаниями. Студентки-практикантки рассказывали о своей командировке в Завражье.

Перебивая друг друга, они восхищались, какие там пейзажи изумительные, какая река изумительная и каким парным, и тоже изумительным, молоком их угощали.

Явился заврайфо, и разом все стихло. Он буркнул короткое «здрасьте», сурово оглядел девушек и прошествовал в свой кабинет.

Одна из служащих поспешно вскочила и с бумагами юркнула следом за ним. Вскоре она вернулась и сказала притихшим девушкам:

— Он вас зовет. Никаких смешков, докладывайте серьезно, толково, обстоятельно, объясните, почему возвратились так быстро.

— Покажите акты,— коротко бросил заврайфо, когда оробевшие девушки, для бодрости держась за руки, предстали перед его столом.

— Акты все они категорически отказались подписать,— сказала та, что была чуть посмелее.

— Кто они?

— Завражские бабушки.

— На каком основании отказались? — Заврайфо начал повышать голос.

— Потому что изобретатель всем им пахал бесплатно.

— Как это так — бесплатно? — Заврайфо повысил голос еще на одну ноту.

— Только одна бабушка угостила его яичницей из трех яиц. А всем остальным он пахал бесплатно.

В разговор осмелилась вступить другая девушка.

— И они так его хвалили, какой он хороший, какой умелый, одной бабушке часы с кукушкой починил, другой — швейную машинку, третьей пилу наточил. И все бесплатно, бесплатно! — Девушка говорила убежденно, пылко.

— Вот и посылай вас с серьезным поручением! — загремел заврайфо. — Неужели вы не поняли, что этот прохвост подговорил старушек? Конечно, они будут его до небес превозносить. А я послал вас расследовать, выведать, поймать с поличным, дал вам целых три дня сроку. Чему вас в техникуме учили?

— Мы такого не проходили! — с отчаянием в голосе разом воскликнули обе девушки.

— Идите, мне подобные практикантки не нужны! — рявкнул заврайфо.

Обе девушки бросились в слезы. А девичьих слез мужчины, как правило, не выносят, и заврайфо пожалел оплошавших.

— Верните бланки актов,— только и бросил он.

Узнав, в чем дело, его сотрудницы тоже пожалели девушек. Они придумают для них какую-нибудь работу в конторе. Заврайфо дал свое согласие. А «дело» догадливого изобретателя он вынужден был закрыть — не сумели поймать шабашника...

Секретарь сельсовета Зинаида Ивановна считала, что знает обо всех жителях тридцати населенных пунктов сельсовета все и вся. Раньше время от времени она отправлялась то в одну деревню, то в другую, обстоятельно беседовала с тамошними жителями, узнавала, кто в чем нуждается, давала советы, обещала помочь. Но за последние годы она располнела и ездить на велосипеде ей стало трудно. К тому же новый председатель совсем не умел разговаривать с людьми, а однажды в ее отсутствие так заполнил бланк метрики о рождении младенца, что потом ей пришлось все переделывать заново да еще писать объяснение в райисполком.

Теперь секретарь сельсовета почти никуда не выезжала — ни в район, ни по деревням. Когда же кто из деревенских приходил в сель-

совет, в магазин или в контору совхоза, она зазывала такого или такую к своему столу и расспрашивала его или ее об их односельчанах. На сессиях сельсовета она подробно разговаривала с каждым депутатом, узнавала о новостях и о нуждах деревень. Память у нее была исключительная, но с годами она стала сознавать, что упускает какие-то нити по связям с людьми, и такое положение ее тяготило.

От Завражья и от двух соседних малых деревень депутатом являлась тетя Лиза. Еще на зимней сессии секретарь сельсовета ее расспрашивала.

Словоохотливая старушка рассказывала подряд обо всех своих соседях, и весьма охотно, с подробностями, смахивающими на сплетни, замдиректора завода она расхваливала так красноречиво, как, наверное, никто никогда его так не расхваливал. Ведь надо же — дороге теперь после каждой метели снегоочиститель расчищает!

— Ну, а как ваша новая бабушка? — перебила ее секретарь сельсовета.

Ей было неприятно слушать похвалы тому завражскому дачнику — начальнику, от которого и сельсовет и совхоз ожидали обещанных благ, но пока получили, в общем-то, кукиш.

Тетя Лиза, отлично знавшая все похождения Виктора в Завражье, прикусила язык.

— Так как поживает ваша новая бабушка? — повторила свой вопрос секретарь.

— Ничего, — ответила притихшая тетя Лиза.

— Не мерзнет?

— Да нет.

— А почему она не приходит лес выписывать?

— Там от старого хозяина бревна остались, — начала врать тетя Лиза.

— А что я ее в магазине никогда не вижу?

— Стара она, хлеб и все другое я для нее покупаю, — продолжала нести тетя Лиза.

Ответ вполне удовлетворил секретаря сельсовета. А несколько дней спустя районная газета опубликовала заметку такого содержания:

«КРАСОТА НА ЧЕРДАКЕ

Нашему краеведческому музею недавно был преподнесен в дар найденный на чердаке одного старого дома в д. Завражье высокохудожественный экспонат.

Это дуга, неотъемлемая принадлежность конской упряжи. С обеих сторон она покрыта тонкой резьбой в виде растительного орнамента, раскрашенного различными яркими красками. Указанный экспонат явится подлинным украшением отдела дореволюционного крестьянского быта нашего музея».

Прочитав эту заметку, секретарь сельсовета сразу сообразила, о каком старом доме идет речь, и прониклась особой симпатией к Новой бабушке, как она успела заочно прозвать тетю Феню. Вот ведь какая, залезла на чердак, нашла там дугу и подарила музею. И Зинаиде Ивановне захотелось познакомиться с такой, как видно, симпатичной старушкой.

Она вырезала заметку и наклеила ее в особый альбом, где помещала все газетные материалы об их совхозе, о населенных пунктах сельсовета и о людях, там живущих и работающих. Она была большой патриоткой своей родной земли.

Но весной чувство доброжелательности у секретаря сельсовета к Новой бабушке несколько поколебалось.

Ее ближайшая подруга, главный зоотехник совхоза, как-то в воскресенье явилась к ней на квартиру, тряся сумкой, наполненной зеленым луком, и с возмущением рассказывала, как в городе на рынке

она купила у старой бабки лук за сумасшедшую цену. И оказывается, лук этот был выращен в теплице в Завражье!

Секретарь сельсовета подумала — кто бы это мог быть? Неужели Новая бабушка оказалась столь деятельной — построила теплицу и вырастила лук? Пускай выращивает что хочет, но в корыстных целях продавать продукцию со своего участка по столь завышенным ценам! Такая жадность глубоко возмутила секретаря сельсовета.

Она все собиралась отправиться в Завражье, сделать Новой бабушке отеческое внушение. А на такие внушения она всегда была мастером. Текущие дела не позволяли ей отлучаться из сельсовета. И поездку в Завражье она все откладывала и откладывала.

А тут, как прочитала статью «Догадливый изобретатель», так у нее от негодования похолодели ноги и захватило дыхание.

«Проживающий на своей даче в д. Завражье...» — еще и еще раз она читала про себя одни и те же слова статьи.

И секретарь сельсовета начала подозревать, что за спиной бабушки действует тот самый круглорожий парень, который прошлой осенью по доверенности старухи оформлял покупку в Завражье некудышной избушки.

«Как это он стал, минуя сельсовет, завражским дачником? А сколько он заработал денег за пахоту с завражских старух? А сколько он заграбастал денег за лук?» — спрашивала секретарь сельсовета сама себя.

Правда, корреспондент мог что-то напутать. Пока многое для нее оставалось непонятным, но было ясно одно: ей необходимо как можно скорее отправиться в Завражье, чтобы на месте установить факты.

Однако на следующее утро она должна была ехать в город сдавать квартальный отчет — полотнище в полтора метра длиной со множеством цифр. Не председателю же ехать! Ему с таким заковыристым делом не справиться.

А впрочем, у нее в городе до обратного автобуса, наверное, останется часок-другой. Она заглянет на прежнюю квартиру старухи, кое-что выведает о ней, о ее дочери, о зяте-алкоголике. В шкафу, в деле о покупке завражского дома, она разыскала нужный адрес.

5

В городе с наступлением теплых дней по палисадникам, на лавочках возле многоэтажных домов любят греться на солнышке пенсионеры.

Старики смачно стучат в домино, сосредоточенно играют в шахматы, а возле них сидят и стоят болельщики, поддакивают, мешают игрокам или, наоборот, их вдохновляют.

Тем временем старушки рассаживаются рядком, переговариваются потихоньку, предаваясь воспоминаниям, чаще всего о светлых деревенских временах детства; ведь почти все они родились и выросли на селе, в город переехали позднее. И еще старушки сплетничают об отсутствующих соседях, рассказывая о них разные были и небылицы.

Старики, занятые игрой, посторонним не отвечают. Зато старушки охотно вступают в разговоры с теми, кто их о чем-то спрашивает, а тем более кто к ним подсаживается.

Вот к такой старушечьей лавочке перед домом, где жила тетя Феня с Людой, и подсела секретарь сельсовета.

Старушки сперва на нее покосились и опять возобновили свою тихую беседу.

— В тридцать первой квартире ни хозяина, ни хозяйки не застала, — начала секретарь сельсовета, ни к кому не обращаясь.

— А там хозяина нетути... мать с дочерью живут, — ответила одна из старушек.

— Квартира двухкомнатная, отчего же вдвоем не жить на просторе,— подхватила другая.

— Дочь в сберкассе работает, мать вроде спекулянтки, их разве ближе к вечеру застанешь,— добавила третья.

Вскоре секретарь сельсовета узнала о тете Фене и о ее дочери все то, что знали, или о чем только догадывались, или о чем только подозревали их соседи. Подлинные сведения поразили секретаря сельсовета до боли в сердце.

Оказывается, никакого зятя-алкоголика нет и никогда не было. Больше всего ее потрясло известие, что мать, то есть официальная владелица маленькой избушки в Завражье, на самом деле уже много лет никуда из города не выезжает, зимой выходит разве только в магазины, а с весны до осени на рынке торгует цветами владельцев участков в городе.

— Немалый доход ей цветочки приносят,— сказала одна из старушек.

— Да уж, какое зимнесезонное пальто оторвала,— подхватила другая.

Но секретаря сельсовета не интересовали ни цветы, ни пальто. До автобуса было еще два часа. Она поднялась и, не сказав ни слова, пошла по улице, не думая, куда идти и зачем идти...

Только что она благополучно сдала в райисполкоме квартальный отчет. Ее хвалили, говорили: вот бы другие сельсоветы сдавали так же! Хотели вывесить на районной Доске почета ее фотокарточку. Только что она пребывала в самом лучшем настроении. А тут — здрасте-пожалуйста! — такое расстройство!

Вот ведь как! Никакой Новой бабушки, оказывается, нет и не было, а есть подставная старуха. И оформляя покупку малой избушки в Завражье, секретарь сельсовета потеряла бдительность и не разгадала, что тот, круглорожий, ее дурачил самым бессовестным образом. А каков жук! Надо же — зятя-алкоголика сочинил! А каким первоначально показался завлекательным!

Наверное, впервые за свою долгую работу секретарь сельсовета так опростоволосилась.

И она возненавидела круглорожего жгучей ненавистью. Избушку задешево купил. Доход-то — ого-го какой начал получать! Еще машину какую-то изобрел. Нет, нет, так дальше не пойдет! Она не допустит спекуляций на территории сельсовета.

Завтра же в Завражье! Там разузнать, сколько рублей заграбастал круглорожий шабашник. И подать на него жалобу. И она медленно зашагала к автостанции.

6

На следующий день секретарю сельсовета никак нельзя было ехать в Завражье. В дальней деревне скончался старик — ветеран войны, еще с далеких лет начала колхозов всеми уважаемый, исполнительный и усердный земледелец. В отсутствие секретаря явился в сельсовет сын покойного оформлять свидетельство о смерти, а председатель только и брякнул ему:

— Приходите завтра!

Да разве так можно! Сын придет сегодня во второй раз. Секретарь сельсовета скажет ему столько хорошего о его отце, велит передать матери многие слова сочувствия. И сын унесет нужные бумаги, хоть мало-мальски утешенный таким вниманием.

И секретарь сельсовета осталась, а председатель уехал в город. Она знала за чем. Сперва — в райисполком, выслушивать похвалы по случаю успешной сдачи квартального отчета, потом заглянет в общество «Знание», потом в общество книголюбов за путевками на выступления. Говорить-то он мастер, но его не укоришь — путевки

получит шефские, бесплатные. Потом он пойдет в редакцию газеты договариваться о будущей статье. А сочинять он тоже мастер, пишет бойчее любого журналиста... А чем чаще люди будут читать об их совхозе и о здешних тружениках, тем больше почета и сельсовету.

Удобно было секретарю работать с таким начальником, бумажки он какие читал, а какие и так подписывал. Вот только из сельсовета трудно ей было отлучаться. А ехать в Завражье требовалось обязательно.

И на третий день, в пятницу, с утра она покатила на велосипеде...

Наверное, никогда в жизни ничто ее так не ошарашивало. Впоследствии она говорила, что у нее сердце в ту минуту словно шилом пронзило и дыхание остановилось.

Она увидела рядом с домом замдиректора завода вместо малой кирпичной избушки дом-богатырь на ослепительно белом от солнца кирпичном фундаменте. За резным, с точеными балясинами, высоким крыльцом между филенчатыми створками свежеекрашенных дверей висел замок, значит, в доме никого не было. Толстые бревна стен поседели, от старости выглядели серебряными. А каковы наличники на четырех окнах! Резьба вся завитая, разными красками расцвеченная. Пятый наличник выглядит проще, и от этого окошко вроде бы портило вид. Но все равно дом был красив, точно памятник старины.

Стояла секретарь сельсовета, опираясь на велосипед, расширив глаза. Стояла с острой болью в сердце и все равно домом любовалась. Два чувства в ней боролись.

Как крестьянка по рождению она не могла не любоваться, да не на один, а на два красавца дома, стоявших рядом на взлобке между двумя оврагами.

Но она была секретарь сельсовета, представительница власти на местах, ей было доверено строго следить за исполнением законов. А тут оказалось явное их нарушение. Видно, еще с осени поднял дом круглорожий, юридически не имевший никаких прав ни на него, ни на предыдущую малую избушку, построил без разрешения райисполкома, без ведома сельсовета. И как скоро отгрохал, значит, из города перевез. А она и не подозревала, какое самоуправство от нее за три километра происходит! Ведь это же настоящее уголовное дело! Долго стояла она, чуть велосипедную раму не погнула.

Покупку соседнего дома она оформила скрепя сердце тому дачнику-начальнику. А покупку этого... Да, она тоже оформила, а как — на имя подставной бабушки, и участок совхоз отвел сзади дома. Но в бумаге-то числилась избушка в аварийном состоянии, а ее владелицей бабка из города.

Законы секретарь сельсовета знала. Построенный без разрешения дом может быть по санкции прокурора постановлением суда снесен. Если владелец откажется, сельсовет за его счет снесет. А как? Вон какой фундамент. Его ни бульдозер, ни даже танк не возьмет. Она вспомнила: есть специальная машина вроде экскаватора, которая ковшем бьет по кирпичным стенам, а за ней бульдозер глыбы сгребает. Она видела, как в городе разрушали дома куда солиднее. Неужто такую машину и бульдозер пригонять из города? Договор на снос заключать? Вон сколько мороки от этого круглорожего!..

Секретарь сельсовета покатила велосипед, чтобы посмотреть дом сбоку. И там, на краю оврага, она увидела под прозрачной пленкой на каркасе из жердей новенькую теплицу. Ага, вот откуда зеленый лук, на котором так разжился круглорожий! Он самовольно захватил принадлежавшую совхозу полоску.

И хоть полоска эта раньше вся заросла крапивой, лопухами да пустырником и никому не была нужна, Зинаида Ивановна все свое негодование обратила на теплицу. Она снесет ее без пощады. Что там? Печка-буржуйка, труба вдоль конька крыши, огурцы посажены. Да трактор в два счета снесет и каркас, и печь, и огурцы. А дом?..

Тем временем, узнав, что секретарь сельсовета приехала к ним в деревню, начали собираться одна за другой старушки. Сперва стояли молча, издали следили, как она смотрела на новый дом спереди, как смотрела на него сбоку, как начала мерить шагами теплицу и так и эдак...

Всей гурьбой старушки к ней подошли. Тетя Лиза как депутатка встала впереди.

— Ну что, приехала на новый дом любоваться? — подала она голос.

— Привет честному народу, — ответила секретарь сельсовета. — Любоваться-то люблюсь, а вот непорядочек-то какой! Ну, как, по вашему, хорошо ли это? — обратилась она к старушкам. — Взятся невесть откуда дачник, построил дом без ведома сельсовета, построил теплицу, нажился на луке ужасть сколько, вас ободрал с пахотой как липок...

— И нисколько не ободрал... Он нам задаром пахал... Ничего с нас брать не хотел... Мы ему деньжишки совали, а он — руки назад.

— Сколько он брал с вас за сотку? — строго спросила секретарь сельсовета.

И опять старушки загалдели в несколько голосов:

— Тут две девки приезжали, тоже допытывались... Уж как выспрашивали, заставляли бумажки подписывать...

«Это из райфо», — подумала секретарь сельсовета.

— Неужели, Зиночка, не веришь? Право слово, бесплатно пахал... За милую душу старался, уважил нашу старость... Вот и корреспондент газеты может подтвердить... Он тоже удивлялся, что денег не берет... Едет машинка по борозде, пыхтит, стрекочет, а водитель знай кричит: «Бабушки, проворней кидайте картошку!» Распахнет одну усадьбу, пот со лба утрет и опять кричит: «Ведите на следующую!»

— Так-таки и пахал вам всем бесплатно? — недоверчиво спросила секретарь сельсовета. — А не сговорились ли вы с ним?

Старушки взвились разными голосами еще громче и убежденнее:

— Да ты что, Зинаида, нам, старым, не веришь!.. С чего это мы будем нашу власть обманывать?.. Человек оказался хороший, вот нас и уважил.

— Как депутатка скажу: пахал бесплатно, только яичницей и закусил, — заключила тетя Лиза.

«Неужели и правда бесплатно?» — подумала секретарь сельсовета про себя. Уж очень странными и неестественными казались такие бескорыстные действия круглорожего, который так ловко ее обманул. Лук-то он продал с немалой для себя прибылью. Этот факт установлен.

Старушки между тем рассказывали, какой новый дачник хороший, ведь они его считали законным владельцем перевезенного из города дедова дома. Приезжает только по субботам и воскресеньям, со всеми заговаривает, со всеми раскланивается. Придет пора — картошку окучивать пообещал.

Секретарь сельсовета их слушала и думала про себя: «С теплицей дело простое: раз построил на захваченном участке, она попросит в совхозе трактор — и нет теплицы... А то, что он дом воздвиг незаконно, придется составлять акт и подавать жалобу прокурору».

Тетя Лиза стояла впереди других и ретивее других защищала беднягу Виктора.

— Ты что зимой мне голову морочила? — повернулась к ней секретарь сельсовета. — Говорила, новой бабушке продукты носишь. Оказывается, никакой бабушки и не было, избу еще с осени развалили. Эх ты, а еще депутатка!

— А ты бы сама приехала проверить,— нашлась тетя Лиза.

Секретарь сельсовета смолкла и снова задумалась: «Да, она связь с массами теряет, и вот результаты — прозевала незаконное дело, а оно еще с осени идет».

Точно угадав ее мысли, тетя Лиза вкрадчиво начала:

— Ты, Зиночка, не кручинься. Смотри, как с новым домом Завражье похорошело! А то выглядела наша улица, будто у меня рот — где зуб целый, где корешок гнилой, где и вовсе пусто. Ведь, признайся, любишься. Который краше, Витенькин или начальников?

— Правда твоя, люблюсь. Только Витенька твой поставил дом без разрешения,— с грустью сказала секретарь сельсовета.

— Ну и пушай стоит людям на радость, а хозяину на пользу,— заключила тетя Лиза.

Ничего не ответила секретарь сельсовета. После недолгого молчания она со всеми распростилась, сказала, что приедет завтра или послезавтра, ей надо повидать «вашего любимчика дачника», как она успела прозвать Виктора, села на велосипед и укатила.

Старушки разошлись по своим домам.

Глава восьмая

С ВЕЧЕРА В ПЯТНИЦУ — ДО ОБЕДА В ПОНЕДЕЛЬНИК

1

В ту самую пятницу, в тот самый час, когда секретарь сельсовета приезжала в Завражье, ближе к вечеру перрон городского железнодорожного вокзала заполнился народом. Родители провожали своих сынков и дочек — ребят старших классов,— да куда? Ни более и ни менее как в Астраханскую область! В лагерь труда и отдыха!

Вот-вот должен был подойти поезд. Папы стояли, покуривая, коротко переговариваясь друг с другом. Мамы взволнованно давали последние наставления своим не очень внимательно их слушающим деткам.

Солнце сияло на белых стенах зданий. И сияли ребячьи лица. Ведь впервые в жизни отправлялись они вполне самостоятельно в дальние края, ехали работать, помогать выращивать урожай, ну и, конечно, веселиться.

Один только Ленечка на фоне общего сияния выглядел уныло и стоял с таким безысходным отчаянием на лице, точно его отправляли в колонию для малолетних преступников.

Его папа молчал, мама говорила слова утешения. А ненаглядный сыночек совсем не хотел ехать. Но весь класс отправлялся. Директор школы вместе с классной руководительницей потратили немало красноречия, чтобы убедить Ленечкиных родителей: «Надо же хоть как-то расшевелить вашего инертного, необщительного сына».

Поезд подошел, началась сумятица посадки. Ленечка, влезая по ступенькам, кинул на родителей последний душераздирающий взгляд и скрылся внутри вагона.

Поезд тронулся. Замахали десятки рук и платочков. И тут Виктор и Капитолина почувствовали облегчение. О, никогда бы они не признались, как их тяготил недотепа сын! Но сейчас, проведив его, они улыбнулись друг другу и даже расцеловались, не стесняясь толпы.

— Поедем в Завражье прямо сейчас,— сказал Виктор.

— Поедем,— отвечала жена.

И они поспешили домой, надели каски, сели на мотоцикл, он впереди, она сзади с сильным рюкзаком за спиной. И помчались.

Приехали в Завражье. Они были счастливы, как, наверное, в далекие и счастливые времена медового месяца. Приехали, сразу нача-

ли вдыхать животворящий речной и сосновый воздух. Ведь у них начинался отпуск! Они мечтали провести его вдвоем, ни о чем не думая, заботясь лишь о дедовом доме и об огороде.

Они вошли в нутро его. Вся дедова обстановка была сюда перевезена. И не желал улетучиваться своеобразный и сладостно-приманчивый, а для Виктора с детства такой родной запах. Виктор показал Капитолине гладко оструганные бревна стен с игрой сучков, мастерски срубленные углы. Они постояли, обнявшись, прошли в огород, посмотрели, радуясь, как с прошлой недели поднялись ростки овощей, заглянули в теплицу, где уже зацветали огурцы. Только лук, по неприятным воспоминаниям, они не посадили.

Наскоро закусив, они сбежали к берегу Клязьмы. Никого ни вблизи, ни вдали не было.

— Давай купаться без ничего, — сказал Виктор.

— Давай, — согласилась Капитолина.

И они разделлись совсем, купались, плавали на другую сторону, со смехом, как малые дети, резвились, брызгались друг на друга. Потом оделись, взялись за руки, прижались друг к другу и пошли.

Вернулись они в дедов дом с наступлением темноты.

У соседнего стояла «Волга», за ярко освещенными окнами сквозь тюлевые занавески виднелись четыре игрока в карты. Ну и пускай играют! Какое до них дело!

После ужина Виктор стал развешивать по стенам картины — репродукции из «Огонька» и «Работницы», остекленные и окантованные. Советовались и спорили, где какую повесить. «Сикстинскую мадонну» поместили в горнице, в красном углу. Мадонна с младенцем на руках, с ангелочками внизу напоминала икону.

Их счастье, их радужное настроение продолжалось и утром, пока умывались, пока завтракали. Собирались заняться прополкой грядок. И тут вошла тетя Лиза. Она очень любила сочувствовать, хотя порой ее сочувствие было вроде соли на рану.

Расточая красочные подробности, она принялась с чрезмерным смаком рассказывать, как сперва приезжали две девчонки и все допытывались, все выведывали. А только вчера приезжала Зинка, то есть секретарь сельсовета, и тоже все допытывалась — сколько Виктор зашибил денег на пахоте.

Ну, тут он был чист ровно стеклышко. Тетя Лиза и все соседки сумели доказать и девчонкам и секретарше, не дали Виктора в обиду.

Но были дела посерьезнее, сообщение о которых тетя Лиза нарочно приберегла напоследок. Она не знала, что Виктор поставил дедов дом без разрешения.

— Как мы эту Зинку молили, как уламывали, — говорила она слегка нараспев, переполненная участием к чужой беде. — Корили мы Зинку — неужто на такую красу у тебя руки поднимутся? А она, людоедка этакая, все долдонила: дом заставлю снести, губительная машина приедет — все разломает, все разнесет. И прокурору жалобу подам. А уж о теплице как злилась! Ты же на чужую полосу залез. Увидишь, на той неделе она трактор пригонит. Он двинет, так только жердочки затрещат.

Тетя Лиза испытывала подлинное удовольствие, пересказывая события куда более красочно, нежели они происходили на самом деле, и добавляла совсем немислимые подробности.

Виктор и Капитолина слушали, опустив головы, точно судебный приговор. Все их радостное настроение разом исчезло. И даже сама природа в тот час потускнела. Солнышко зашло за тучи, и вот-вот собирался дождь.

— Я брошусь под экскаватор, а дедов дом губить не дам! — твердо сказал Виктор, не поднимая головы.

— И я тоже вместе с тобой брошусь! — вторила Капитолина, прижимаясь к мужу.

— Так что же нам делать? — спросил Виктор тетю Лизу.

— Что делать? — повторила она его вопрос. — Бог авось не без милости. А мы, коли напасти на тебя нагрянут, всей деревней грудью за дедов дом встанем, — уверенно сказала она, хотя вряд ли себе ясно представляла, как это завражские старушки да вдруг на самом деле грудью встанут. — Я эту Зинку давно знаю, — продолжала она, — раз что не по закону, она ни в жисть не уступит. Вот я тебе что скажу: жди! И мы будем ждать, как дальше дела повернутся... Смотрите, как за неделю у вас грядки лебедой поросли. Принимайтесь полоть.

— Да если и дом и теплицу снесут, значит, огород и подавно погубят, — угрюмо сказал Виктор.

— А может, не погубят, потрясут-покрутят тебя за шиворот и отпустят твои грехи, — утешала тетя Лиза. — Заходи, Витенька, на эту грядку, а ты, Капочка, вон на ту.

И они выпололи и привели в порядок весь огород. Старались молча, даже не смотрели друг на друга...

2

Как-то руки опустились у Виктора. Чтобы восстановить былую дружбу с фабричными девчатами, он собирался организовать грандиозное новоселье неизвестно на какое количество гостей.

Какое тут новоселье, когда такие беды нагрянули на его голову!

Он и Капитолина намеревались кое-что поделать по дому и огороду. И расчотолось. Чуть ли не силком они заставили себя вкопать перед домом лавочку.

Они сели. Отсюда Клязьма за взлобком горы не была видна, зато заклязьминские дали расстилались во всю ширь и во весь простор, пропадая в голубой дымке километров за тридцать. Им бы любоваться, вдыхая живительный воздух, а они сидели молча со своими тяжелыми думами.

Часов в одиннадцать приехали гости — полная машина: Леонид с женой, юриконсульт и супружеская пара — приятельница Леонидовой жены с мужем.

Леонид сразу заметил хмурый взгляд брата, всегда такого гостеприимного, всегда радостно встречавшего любых гостей. Но спрашивать было некогда.

Приехали с тяжелыми сумками разных вкусовностей, с восклицаниями радости, со смехом, с весельем и сразу пошли осматривать дом, сперва снаружи, потом внутри, заглянули в теплицу, по очереди трогали прославленный мини-трактор, восхищались, восторгались. Потом все смолкли, любуясь прекрасным видом...

Женщины сели на лавочку, мужчины встали сзади. Леонид фотографировал группу на фоне дедова дома, фотографировал отдельно Виктора с женой, разумеется, тоже на фоне дедова дома. Собрались на Клязьму купаться.

Виктор знал, что юриконсульт купаться не любит, потянул его за рукав и шепнул:

— Мне надо с вами посоветоваться.

Оба они отстали.

— А вы что же не идете? — крикнула им Леонидова жена.

— Сейчас, сейчас догоним, — весело откликнулся юриконсульт, повернулся к Виктору, сразу сделался серьезным. — Что случилось? — спросил он.

И Виктор начал рассказывать о всем том ужасе, что ему поведала сегодня утром тетя Лиза.

Юриконсульт любил рассуждать пространно, как и положено законооведам:

— Относительно распахки старушечьих участков — твое дело ясное, никаких свидетелей обвинения не нашли. ● Относительно завышенных цен на лук — так ты тоже не виновен.

— Но мотоцикл-то я купил на луковые деньги,— вставил Виктор.

— Пусть так! Однако особо корыстолюбивых намерений с твоей стороны я не усматриваю,— продолжал свою речь юрисконсульт.— Теплицу, чтобы не было излишних разговоров, советую снести, и чем скорее, тем лучше. Но построить дом в деревне без разрешения! Я просто слов не нахожу в твое оправдание! Для сельсовета юридически ты никто. Ты понимаешь, завязывается сложное и запутанное уголовное дело.

— Уголовное? — прохрипел Виктор.

— Подожди, дай подумать.

Юрисконсульт нахмурил брови и закрыл глаза.

— Так вот, предположим, сельсовет вкупе с райисполкомом подадут на тебя жалобу в прокуратуру. При смягчающих обстоятельствах прокурор может оставить жалобу без последствий, но он может передать дело в суд по обвинению по статье сто девяносто девятой Уголовного кодекса РСФСР — самоуправство. Пункт «а» — самовольный захват земельного участка и пункт «б» — самовольное строительство жилого здания. По пункту «а» полагается штраф до ста рублей, по пункту «б» — исправительные работы на срок до одного года с конфискацией незаконно возведенного здания.

— У меня есть смягчающее обстоятельство,— с отчаянием в голосе говорил Виктор.— Я подарил совхозу лошадку и я распахал в Завражье все усадебные участки и всегда буду их распахивать. И еще я подарил музею старинную дугу.

— Ну, это как посмотрит прокурор и как посмотрит суд,— сказал юрисконсульт.— Вообще, по твоим поступкам тебя можно сравнить с малым ребенком.

— Да ведь я хотел дедов дом спасти. И я так радовался, что его спас! — в отчаяние восклицал Виктор.— А снести его могут?

— Само собой разумеется! Разберут, разломают согласно закону, да еще за твой счет.

— Ну, теплицу пускай сносят, хотя уже маленькие огурчики завязались. Не жалко! Пускай эта полоса бурьяном опять зарастет. Но дом! Нет, это невозможно! Так что вы мне посоветуете? — От переживаний Виктор едва выдавливал слова.

— Что могу посоветовать? Только ждать. Я могу узнать в канцелярии прокуратуры, когда на тебя поступит жалоба, и уведомить тебя об этом. Но для сельсовета твое дело принесет немало хлопот и, в сущности, никаких выгод. Они могут вообще не подавать на тебя жалобу. Словом, как бы дальнейшие обстоятельства ни складывались, ясно одно — жди.

Виктор вспомнил, что и тетя Лиза тоже советовала ждать. И эта мысль его чуть-чуть успокоила...

За шумным и веселым столом он сидел отрешенный, почти ничего не ел. Капитолина не знала, что ему сказал юрисконсульт, предвидела недоброе и беспокоилась за мужа.

— Витенька, ты расскажи нам что-нибудь веселенькое про своих фабричных девочек,— со смехом обратилась к нему жена Леонида.

Он только улыбнулся.

— Ему сегодня нездоровится,— сказала Капитолина.

После обеда Леонид отшел в сторону брата.

— Что случилось? — спросил он его.

— Узнаешь у... — И Виктор назвал имя-отчество юрисконсульта.

Гости уехали раньше, чем предполагали...

На следующий день, в воскресенье, Виктора ждали новые переживания...

Меньше чем за полкилометра от Завражья находилась летняя стоянка для ста пятидесяти совхозных коров. На холме над Клязьмой был огорожен участок леса примерно с гектар, там построили длинный навес со стойлами для коров, рядом будочку для ночного сторожа и провели электричество.

Дважды в день, утром и вечером, пастух пригонял с пастбищ коров на эту стоянку. Тогда же на грузовике подъезжали доярки, официально назывались они более почетно и длинно — операторы машинного доения, впрочем, в жизни их продолжали именовать прежним, всем известным и более коротким словом.

Каждая корова знала свое стойло и знала, в какую очередь в него заходить на дойку — в первую, во вторую или в третью. И каждая доярка знала своих подопечных по имени и, поочередно ласково их оглаживая, надевала им на соски концы резиновых шлангов. Коровы заходили в стойла, через положенное время выходили, их сменяли другие. Так шла электродойка — моторы гудели, молоко лилось в бидоны. И через час доярки уезжали с удоем.

Пастбищ было два, одно — выше Завражья, другое — ниже Завражья, там, где Клязьма отступала от крутого берега. Эти два луга назывались Верхняя лука и Нижняя лука.

Сколько-то дней пастух гонял стадо на один луг, сколько-то — на другой, на первом трава снова вырастала, и снова пастух перегонял туда коров. Так продолжалось с весны до осени. Выгода от такой пастбы была несомненной. Коровы давали много молока, и в сводках в районной газете совхоз по удоям ниже второго места не опускался...

В то воскресенье две приятельницы — главный зоотехник совхоза и секретарь сельсовета — поехали на велосипедах в Завражье. Зоотехнику хотелось похвастаться, как организована электродойка, а секретарь сельсовета давно собиралась посмотреть на передовую технику животноводства. Кроме того, у нее было в Завражье одно, как она выражалась, кляузное дело, в которое ей хотелось вовлечь в качестве свидетельницы свою подругу. Полюбовавшись на четкий порядок электродойки и на коровью дисциплину, они поехали в Завражье и прямо подкатили к дедову дому.

Виктор их увидел из окна. Секретаршу сельсовета он сразу узнал, а ее спутница была не иначе как тоже какой-то начальницей. От длительного общения со многими женщинами на фабрике у него наметался на них глаз, и он понял, что с этой тетей можно повести себя столь же непринужденно, как и с иными своими сослуживцами.

И не ошибся. Главный зоотехник была веселой разбитной бабенкой, бросила двух или трех мужей, или они ее бросили. Впрочем, в последнее время она несколько остепенилась и говорила, что, кроме коров, никого не любит. Однако, когда подходило время, она безжалостно отправляла их на бойню и радовалась, что в районной газете в сводках по мясозаготовкам их совхоз также никогда не опускался ниже второго места...

— Сиди дома и не выходи, — приказал Виктор жене, а сам выскочил на крыльцо.

Ему стоило немалых усилий деланно-приветливо улыбнуться.

Обе женщины приставили свои велосипеды к дереву и направились к дедову дому.

Секретарь сельсовета могла быть и любезно-доброжелательной, и ласково-сочувственной, и непоколебимо твердой, но она никогда не повышала голоса и умела сдерживать свои даже самые негодующие чувства. Сейчас она взяла тон строго официальный, слегка кивнула головой и сказала:

— Прибыла по делу. — Показав рукой на свою спутницу, представила ее, назвала ее должность, имя, отчество и фамилию.

«Ага, вторая тетя не по мою душу, а по коровьим делам», — подумал Виктор, и ему стало чуть-чуть легче.

Секретарь сельсовета глядела на Виктора в упор, в его ясные, светло-голубые глаза и начала произносить свою заранее подготовленную речь:

— Вы совершили два грубейших нарушения закона: первое — вы самовольно захватили участок. — Она показала в сторону теплицы. — Второе, и основное, — вы без ведома и разрешения сельсовета и райисполкома перевезли из города дом и...

Ах, тетя Феня, тетя Феня. Она и не подозревала, сколько десятков раз за последнее время склоняется во всех падежах ее доброе имя.

— Мне точно известно, что ваша престарелая родственница никогда здесь не проживала, — продолжала рубить секретарь сельсовета, — ни в маленькой, незаконно на ее имя купленной, а вами снесенной избушке, ни в этом, опять же незаконно вами построенном здании. — С плохо скрываемой ненавистью она указала пальцем на дедов дом.

— Ах, какой он красивый! — не удержалась зоотехник.

— Теплицу я снесу, — с горечью в голосе сказал Виктор, — пускай снова растет бурьян. Но разрешите снести позднее. Смотрите, сколько желтеньких цветочков и сколько поспевают огурчиков. — Он показал на ряды хорошо видных сквозь пленку нитей, протянутых внутри теплицы от земли и до крыши, и на огуречные плети, обвивающие эти нити. — Я через месяц снесу.

— Завтра же пришлю трактор! — твердо отрезала секретарь сельсовета. — Построили бы на участке, который отведен совхозом вашей подставной родственнице.

— Вы тут свой лучок вырастили? — погрозила пальчиком главный зоотехник.

— Здесь, — ответил Виктор. — Обязательно нужно на южной стороне. У меня есть специальный справочник, там рекомендуется ставить теплицы только к югу от построек. Исключительно хороший справочник! — Он неожиданно повернулся к главному зоотехнику. — Там и про коров шибко занятно написано. Хотите посмотреть?

— Покажите, пожалуйста, — попросила та.

Виктор взлетел по ступенькам крыльца и скрылся в доме. Тотчас же главный зоотехник обратилась к секретарю сельсовета:

— А каков чудик! Так бы ему обе щежки исщипала. Ты, Зинок, оставь его в покое. Больно тебе нужен этот дом.

— Чудик нарушил закон. Уступишь — другие городские полезут жить по деревням, — угрюмо ответила секретарь сельсовета.

Виктор слетел с крыльца, подскочил к главному зоотехнику, развернул перед ее носом книгу.

— Вот заглавие — «Подарок молодому хозяину», вот глава «Корова», смотрите, сколько картинок.

Главный зоотехник начала перелистывать книгу.

— И правда, как интересно! — воскликнула она.

— Ну, что тебя увлекло? По старой орфографии, значит, сведения устарелые, — чуть бросив взгляд на книгу, отвернулась секретарь сельсовета.

— Дайте почитать, — попросила главный зоотехник. — Ну, пожалуйста, дайте. — Она умильно стрельнула глазками в Виктора.

Он сразу потупился.

— Не могу. Никак не могу. Эта книга мне очень дорога, она от деда досталась...

— Я приехала в Завражье, — совсем мерзлыми словами пошла резать секретарь сельсовета, — я приехала, чтобы вас предупредить: сельсовет составит акт на вашу самовольную застройку и передаст дело в прокуратуру, а прокурор, закончив следствие, передаст дело в суд.

— Суд меня оправдает,— выдал Виктор. Он собрался с силами и заговорил горячо, страстно: — Я уже успел принести совхозу пользу и еще буду приносить. Вы газету читали? Я сконструировал мини-трактор. Я вспахал усадебные участки всех здешних старушек. Я буду их картошку окучивать, за лето два раза обработаю. Так рекомендуется в этой книге. Осенью помогу убрать урожай. Я готов и по другим деревням пахать, где совхозный трактор не пройдет.

Секретарь сельсовета молчала. Ее льдинки-глаза смотрели куда-то мимо.

Виктор неожиданно повернулся к главному зоотехнику и сказал ей даже чуть кокетливым тоном:

— Хотите посмотреть мой мини-трактор?

— Конечно, хочу, покажите, пожалуйста! — так же кокетливо ответила она.

Виктор повел обеих женщин к пристройке сзади дома и вывез оттуда свое творение, пестро покрашенное красным, белым, зеленым и черным.

— Какая прелесть! — воскликнула главный зоотехник. Она нагнулась и начала гладить мотор, станину, руль, гладила, как своих коров, ласково и нежно.

Секретарь сельсовета не смогла удержать любопытства. Она тоже нагнулась и надавила пальцем на тугую резиновую покрышку колеса, вдруг опомнилась, выпрямилась и вперила взгляд в нарушителя закона:

— Я вас предупреждаю. Ждите повестку в прокуратуру.

Виктор опустил голову и ответил не сразу. Чувство правоты всеяло в него решимость. И тут он выпалил такое, что сразило секретаря сельсовета:

— Вы обзываете меня нарушителем закона, хотите погубить мое детище — дедов дом. А сами как оформили покупку этого? — Он показал на соседний дом. — Потому что большому начальнику? Да?

Секретарь сельсовета вся передернулась, бросила своей подруге короткое «едем!» и, не прощаясь, покатила на велосипеде.

Главный зоотехник, садясь на свой велосипед, помахала Виктору ладошкой.

— До свиданья,— улыбаясь, сказала она.— Вы мне разрешите еще раз к вам приехать, почитать вашу замечательную книгу?

— Пожалуйста, я и жена будем вам очень рады,— отвечал он.

При упоминании о жене, главный зоотехник сразу потускнела, нажала на педаль велосипеда и уехала...

Капитолина сидела в кухне на лавке и ждала мужа.

— Ну что? — спросила она его.

Он опустил на пол и молча положил голову ей на колени...

А на следующий день, в понедельник, их ждало новое испытание.

4

С утра Виктор занялся желобами для стока воды с крыши. Он их нарезал и согнул из старого листового железа и теперь, стоя на стремянке, прикреплял проволокой под крышей с одной и с другой стороны дома. К пруду для полива огорода ходить далеко, а теперь дождевая вода с крыши будет стекать в бочки, стоящие по углам дома. Капитолина подавала мужу инструмент или так стояла, заглядываясь на него.

Время близилось к обеду, когда в Завражье, бодро стуча мотором, въехал трактор; он сперва притормозил, словно раздумывая, в какую сторону ехать, потом повернул прямо к дедову дому и остановился перед ним.

— Приехал разрушать нашу теплицу! — крикнула Капитолина. Виктор соскочил со стремянки, подошел к трактору. В кабине

сидел юный светлокудрый паренек и растерянно смотрел на него.

«Ни дать ни взять ангелочек!» — подумал Виктор. Он разумел висевшую в их доме репродукцию с картины Рафаэля. И действительно, тракторист был очень похож на того ангелочка, какой у ног мадонны подпирал подбородок своей пухлой ручкой.

— Ты что? — спросил его Виктор.

Тот что-то ответил, но за стуком мотора ничего не было слышно. Виктор вскочил на ступеньку трактора и закричал ангелочку в ухо:

— Слезай, поговорим!

Тот слез. Оба отошли в сторонку. Под стук мотора начался разговор:

— Где тут теплица? — спросил ангелочек.

— А на что тебе она? — спросил Виктор.

— Велели ее снести. Она построена на совхозной земле.

— Теплица вон там, пойдем покажу.

Оба зашли за угол. Тут можно было говорить, не повышая голоса. Виктор понял — надо выиграть время.

— Видно, полезным предметам вас в техникуме учили, — сказал он, — гробить человеческий труд.

— Не-е, мы такого не проходили. Нас учили, как с сельскохозяйственными машинами обращаться.

— Отчего не с утра приехал?

— Да я с утра тут за лесом пахал. А как кончил, мне главный механик задание дал — сюда ехать. Зинаида Ивановна говорила, я до вечера в ее распоряжении. Она меня посылала, упреждала: «Никого там не будет, ты враз теплицу смахнешь и поезжай домой».

«Она считала, что я на работе, не знала, что я в отпуске», — понял Виктор. И еще он смекнул, раз ангелочек тут с утра, значит, он голоден, и схватил его за рукав.

— Слышать? Слышишь?

— Чего?

— Да как мотор стучит? Да у тебя через неделю все подшипники разнесет. Разве так можно машину запускать?

— Да я говорил главному механику. Ведь нас учили — надо на профилактический ремонт один раз в квартал ставить. А он говорит — ничего, пускай еще поработает, надо план выполнять.

— Я почище вашего главного механика в технике разбираюсь. Может, читал в газете про меня статью, как я мини-трактор сделал?

— Так это вы? — Ангелочек восторженно взглянул на Виктора.

— Конечно я! Хочешь, в два счета твою клячу отремонтирую?

— Хочу, — еще сильнее замирая от восторга, прошептал ангелочек.

Оба подошли к трактору. Виктор вскочил в кабину, выключил мотор.

— Ну давай, доставай ключи нужных размеров и отвертки. Капочка, — крикнул он жене, все это время издали следившей за ними с крыльца, — чтобы через полчаса хор-р-рошай закуска была!

Услышав такое, ангелочек облизнулся и глубоко вздохнул.

Оба сели на корточки сбоку трактора. Виктор принялся откручивать гайки, разбирать мотор. Ангелочек подавал ему инструмент или так сидел, расширив свои детски наивные глазки.

Через полчаса они встали.

— Запускай мотор! — крикнул Виктор.

Ангелочек вскочил в кабину, трактор не застучал, а застрекотал бодро и звонко.

— Ну, слышишь, какая музыка? — спросил Виктор.

— Слышу, — восторженно ответил ангелочек.

— Глуши мотор и пошли руки мыть. А потом... — Виктор не сказал, что будет потом, но ангелочек и так догадывался.

А потом они сели за стол. Ангелочек любовно оглядывал алые шарики редиски под сметаной, открытую банку шпротов.

Потом был суп, было мясное второе, был компот, ангелочек рассказывал, как учился в сельскохозяйственном техникуме, как теперь всегда нормы выполняет и перевыполняет, рассказывал про маму и даже про любимую девушку.

Виктор вывел его из-за стола, завел трактор, повернул его на прогон из деревни, посадил в кабину, и ангелочек через минуту скрылся за поворотом дороги...

А зачем он приезжал в Завражье, ему вспомнилось только на следующее утро, когда он проснулся. «А что сказать Зинаиде Ивановне, если она спросит? Да скажу, как разогнал машину, как двинул, так...» Он не мог насочинять подробностей разрушения теплицы, вскочил и начал быстро натягивать штаны.

Глава девятая

СПЕРВА ВТОРНИК, ПОТОМ ГРОЗНАЯ СРЕДА

1

На следующий день, во вторник, Виктору и его жене опять пришлось немало поволноваться.

Он возился в теплице, акварельной кисточкой опыляя огуречные цветы, когда перед обедом к дедову дому опять подъехал трактор и остановился.

— Другой приперся громить, — чуть не плача, позвала Капитолина мужа.

Он поспешил к трактору и сразу уразумел, что этого чернявого парнишку одурачить как вчерашнего ангелочка, не удастся.

Парнишка заглушил мотор, нахмурил косматые брови и соскочил на травку. Его загорелое лицо выражало решимость.

— Видно, полезным предметам вас в техникуме учили — гробить человеческий труд. — Виктор повторил те же самые слова, с каких накануне начинал обработку ангелочка.

— Чего? Чего гробить? Я не понял, — удивленно и даже растерянно отозвался тракторист.

А Виктор, наоборот, сразу понял, что тот явился к нему по какому-то другому делу.

— Ты что? — спросил он его.

Тракторист насунился и стал объяснять, что Гешка, как он назвал ангелочка, ему рассказал, будто в Завражье объявился мастер всякую механику чинить.

— А-а! Вот оно что! — Виктор облегченно вздохнул. — Так что с твоей балаболкой?

Тракторист, как заученный урок, начал объяснять, пересыпая речь многими недавно усвоенными в техникуме терминами, что вот ни с того ни с сего мотор глохнет. Поедешь куда, а он вдруг — стоп! А почему стоп — даже главный механик совхоза не знает...

Далее все повторилось почти так, как накануне с ангелочком. — Капочка! — крикнул Виктор жене, тоскливо глядевшей на него с крыльца. — Чтоб через полчаса хор-р-роший обед был!

Он и тракторист разбирали, потом собирали мотор, потом Виктор то заводил трактор, то глушил, опять заводил, опять глушил, потом они мыли руки, потом сели за стол, уставленный яствами. И тракторист с увлечением рассказывал об учебе, о производстве, о маме, о любимой девушке, рассказывал, что у них в мастерской все, и даже сам главный механик, знают, что в Завражье живет большой спец — изобретатель мини-трактора.

Виктор остался очень доволен таким сообщением.

— Как бы поглядеть на ваше изобретение? — спросил тракторист, когда встали из-за стола.

Он долго осматривал и любовно оглаживал Викторово детище. После его отъезда Капитолина спросила мужа:
— Неужто так и заладят трактористы к тебе?
— Кто приедет, всем буду чинить,— отвечал тот.

2

Следующий день была среда. Наверняка крепко запомнили все завражские жители то потрясающее событие, которое произошло в их деревне в тот день.

С утра было ясно, тепло и солнечно, ничто не предвещало перемены погоды. Виктор собрался в город, жене сказал, что наверняка в их почтовом ящике полно газет, а может быть, пришла открытка от Леночки, ну и, конечно, требовалось купить разных продуктов.

Капитолина знала, почему Виктору понадобилось в город — в доме не осталось запасов того самого, совершенно необходимого.

Приехав в город, Виктор отправился на свою квартиру, вынул из почтового ящика пачку газет, открытку любимый сынок еще не прислал, отправляться в магазин было рано. Он сел у окна и задумался...

«Эх, заглянуть бы на фабрику! — думал он. — Как там управляется дружок механик во время его отпуска? А на доске показателей какая бригада впереди, какая отстает? Нет ли других новостей? Может, какая девочка замуж собралась?.. Да ведь опять будут приставать с новосельем». Ему было тяжело думать — вот вернется он из отпуска, и пойдут вызовы к прокурору, вызовы в суд... И у него засало под ложечкой...

«А пора в магазин!» — очнулся он, вышел из дому. Но тут пошел дождь, да какой! Пришлось переждать в своей квартире. Виктор наблюдал из окна, как по улице текли мутные ручьи, как деревья качались от сильного ветра, слышал отдаленный гром, как раз в стороне Завражья...

Выбрался он из города не скоро. Капитолина встретила его испуганная, растерянно бросилась ему на шею.

— Как я за тебя переживала! И какого страху натерпелась! Ты знаешь, что тут было!..

И она стала рассказывать, как хлынул страшный ливень. Она никогда не видела, чтобы столько воды проливалось. А в овраге настоящая река бурлила. Гром гремел, словно тучи раскалывались. И молнии сверкали. Одна вспышка была такой ослепительной и с таким оглушительным громом, что Капитолина подумала — это американцы бросили крылатую ракету, метили в город, да промахнулись, и она упала вон там, на опушке леса. Но раз Завражье уцелело, значит, то была не американская ракета, а что-то другое, тоже очень страшное. И электричество потухло. А у них полный холодильник продуктов, мясо в морозилке растаяло, потекло.

Виктор посмотрел в окно, куда показывала Капитолина. Там, недалеко, на опушке леса находился трансформатор. По лесной просеке к нему подходили столбы высоковольтной передачи, а от него по столбам потоньше расходились две линии обычного низкого напряжения. Одна линия шла к деревне, другая — к летней коровьей стоянке. Не отдышавшись, ни минуты не отдохнув, не раздумывая, Виктор захватил кое-какие инструменты и на мотоцикле помчался к опушке леса.

Трансформатор был самого несложного устройства. Просто стояли две соединенные между собой открытой площадкой из досок высокие бревенчатые опоры в виде двух букв «А». На площадке находился металлический ящик, к нему тянулись толстые и тонкие провода с белыми стаканчиками изоляторов. И ящик и ближайшие части бревен были черны от копоти.

Недолго думая, Виктор по скобам, вбитым в одну из опор, поднялся к ящику. Его боковая дверка почему-то была открыта, хотя какой-то не очень умелый художник намалевал на ней череп, а под ним сложенные крест-накрест кости.

«Раз дверка открыта, значит, можно»,— подумал Виктор и заглянул внутрь ящика...

3

В самую страшную грозовую пору на табло диспетчерской сельэлектро загорелась красная лампочка. Поняли, что авария электросети произошла где-то возле Завражья, решили, что от сильного ветра упал столб и оборвалась высоковольтная линия.

Подняли тревогу, снарядили бригаду монтеров на легковом «козлике». Но ливень хлестал такой, что дорогу было видно от силы на три шага. Пришлось остановиться, переждать грозу, поехали, когда дождь немного утихомирился.

Из диспетчерской позвонили в совхоз, предупредили об аварии — смотрите, как там ваши коровы. Директор совхоза, не надеясь на расторопность главного зоотехника — «все же баба»,— решил выехать сам, захватил и ее с собой. Поехали на совхозном «козлике» и тоже из-за ливня сразу не смогли добраться.

Монтеры убедились, что авария произошла на трансформаторе — сгорел грозовой предохранитель,— и повернули к стоянке коров.

Почти одновременно с ними подъехал и директор совхоза с главным зоотехником. Монтеры им объяснили, что новый предохранитель придется доставлять из города, аварию обещали ликвидировать только к вечеру. На этом и уехали...

Тем временем завражские старушки, обнаружив, что электричества нет, сразу встревожились. Нынешние деревенские жители были не те, какие в прежние времена довольствовались керосиновой лампой, погребом да русской печкой. У каждой старушки завелся холодильник, электроплитка, другие электроприборы, а также телевизор. Ну, обед можно было приготовить в печке или на керосинке, без телевизора тоже можно было потерпеть. Но потекли морозилки холодильников, наполненные разными припасами. Это уже было слишком! И завражские старушки заворчали, заохали...

У директора совхоза и у главного зоотехника причин для тревоги набиралось куда больше. Коровы с пастбища, с Нижней луки, должны были подойти к своей летней стоянке через два часа. Что же делать? Директор распорядился гнать недоеную скотину за четыре километра на ту сторону центральной усадьбы совхоза, где находился зимний коровник.

Но там, воспользовавшись отсутствием рогатых обитателей, затеяли капитальный ремонт. Работала бригада студентов строительного техникума. Главный зоотехник недавно к ним заходила, видела, что все было разворочено, деревянные загородки стойл лежали кучей, на полу валялось, по ее словам, черт-те что, да наверняка и электропроводка была снята.

Директор совхоза решил немедленно возвращаться, чтобы студенты и те рабочие, каких удастся снять с других объектов, успели бы до прибытия стада хоть мало-мальски привести в порядок помещение для организации электродойки.

А главный зоотехник осталась ждать коров. Подъехали на грузовике операторы машинного доения, то есть доярки,— три пожилые женщины и две молодые девушки, хотели сгружать пустые бидоны. Главный зоотехник их остановила и объяснила, что случилось. Сдерживая волнение и тревогу, доярки сели на лавочку ждать коров.

Но стадо задерживалось, видно, из-за грязи по пути. Главный зоотехник пошла навстречу коровам, чтобы передать пастуху и подпаску приказ директора — гнать стадо к зимнему коровнику.

Издали послышался глухой гул. Тесно прижавшись одна к другой, чуть подталкивая боками друг друга, низко опустив рогатые головы, распространяя характерный запах, разбрасывая комья грязи, шли по хорошо знакомой дороге коровы, все как одна белые с черными пятнами на боках, на спине, на голове. Сто пятьдесят коров!

Они тяжело дышали, их глаза выпучились, тупо уставились вперед, налились кровью. Коровы жаждали одного — чтобы как можно скорее к отяжелевшему вымени, напоминавшему огромную надутую резиновую игрушку, к их горячим соскам были приставлены концы шлангов, чтобы как можно скорее облегчить их от чрезмерного, благодаря тучному пастбищу, количества жирного молока. Коровам было очень больно...

4

С дороги, ведущей на центральную усадьбу совхоза, сворачивал отвилок к летней коровьей стоянке. Здесь, на самом перепутье, встали с кнутами старик пастух и юноша подпасок. Главный зоотехник встала сбоку.

Коровы приближались. Пастух резко хлопнул кнутом и хрипло пустил, словно пулеметную очередь, такие словечки, каких в обычных условиях, но не при столь чрезвычайных обстоятельствах коровы слушаются беспрекословно.

Сейчас все они шли вперед молча, теснясь одна к другой, не обращая ни малейшего внимания на пастухову раскатистую ругань. Он опять пустил пулеметную очередь, опять хлопнул кнутом. Подпасок попытался ему подражать, но у него не хватало ни голоса, ни разнообразия словечек.

Коровы шли прямо на пастуха. Ошалелый подпасок отскочил. Обходя с двух сторон заметавшегося пастуха, коровы шли мимо испуганного подпасака, мимо главного зоотехника, спрятавшейся за березу.

Это был настоящий коровий бунт, стихийный, неукротимый и грозный.

Коровы молча повернули к своей летней стоянке. Испуганные доярки взгромоздились в кузов грузовика. Коровы, как бы ни было им тяжело с переполненным выменем, не забыли, чья очередь заходить в стойла была первой, чья — второй, чья — третьей. И они, уступая дорогу первоочередницам, остановились.

Пастух застрял где-то в гуще стада. Хлопать бичом не позволяла теснота коровьих туш, но он продолжал хрипло отпускать даже не трех-, а пятиэтажные обороты. Коровы не обращали на него ни малейшего внимания. А ведь он был пастухом бывалым, с мальчишеских лет скотину пас, с тех далеких времен, когда благозвучными жалейками зазывались деревенские стада. А тут до какого стыда к старости лет докатился! Коровы его не слушались! Он стоял среди них бессильный, и любая могла бы, опустив голову, поддеть его на рога.

Главный зоотехник пробиралась к стойлам с другой стороны. «Ну коровы, ну милье, неужели вы не понимаете, что на трансформаторе перегорел грозовой предохранитель? — мысленно уговаривала она коров. — Потерпите, соберитесь с силами и отправляйтесь в свои зимние квартиры».

Но коровы и этих уговоров не слушались.

О том, чтобы гнать коров за четыре километра, да еще через лес, не могло быть и речи. Но недоенные коровы будут долго болеть, потому их постепенно надо раздаивать, а некоторых придется прирезать.

Все это хорошо знала главный зоотехник. И еще она знала, что в сводках в районной газете их совхоз неминуемо соскочит на последнее место по сдаче молока. И еще она предвидела, что ей обязательно велят выговор.

— Доите вручную, — крикнула она в надежде, что хоть часть коров освободится от непосильной тяжести.

Но девушки доярки не знали, как это доить, ухватившись пальцами за соски. Их на курсах такому не учили, наоборот, подчеркивали, что они — операторы именно машинного доения. Да они просто боялись спускаться с грузовика.

А пожилые доярки пытались подобраться к самым крайним коровам. Но подходящей посуды у них не было, они собирались доить прямо на землю. А коровы не давались, отбрыкивались. Они же никогда не испытывали, как это в течение многих сотен веков женщины всех народов мира получали молоко от своих кормилиц.

И коровы заревели. Ревели все сто пятьдесят! Наверное, даже на центральной усадьбе совхоза был слышен их исполненный тоски и страданий рев...

Впоследствии главный зоотехник говорила, что за свою долголетнюю практику и дружбу с коровами она ничего подобного не видела и не слышала.

А коровы, обезумевшие, не понимающие, что случилось, стояли и ревели. И тут произошло настоящее чудо. По крайней мере, в первую секунду иначе никто объяснить не мог.

С высоты кузова грузовика доярки увидели, как над будкой ночного сторожа зажглась совсем слабенькая при дневном свете электрическая лампочка. И они закричали безмерно радостными голосами: «Горит! Свет!» И просто: «А-а-а!»

5

Нет, никакого чуда не было. А был Виктор. За час до того мгновения, как зажглась лампочка, он, стоя на скобе, вбитой в опору, открыл боковую дверку металлического ящика трансформатора и внимательно стал рассматривать все, что находилось внутри.

И хоть образования у него было всего ничего, а специального — никакого, он умел быстро и успешно чинить электроприборы и телевизоры. Было у него поразительное техническое чутье, своего рода лисий или волчий нюх. Он не принадлежал к тому разряду опытных мастеров, которые начинают тщательно доискиваться до причин поломки различных механизмов. А Виктор сразу догадывался, где находится испорченное место. Его даже сравнивали с Левшой Лескова.

Но чинить телевизоры и холодильники было совсем безопасно. А здесь? Виктор впервые в жизни рассматривал непонятную для него установку. Он знал, что до некоторых частей дотрагиваться можно, а до некоторых — ни в коем разе. Не зря же на дверке ящика был наклеен череп с костями...

Тут издали, километра за два, он увидел, как с Нижней луки приближается стадо коров...

«Эге! Для коров авария куда серьезнее, чем для завражских холодильников!» — подумал он.

О том, что до любой части трансформатора дотрагиваться категорически запрещено, у него и в мыслях не было, не думал он и о том, что опять, в который раз нарушает законы...

Он видел, что идут коровы, и продолжал разглядывать неизвестное.

Внутри ящика были разные непонятные для него составные части. Все покрылось копотью, а в одном месте лежал особенно толстый слой копоти. Там торчали два шпенька с оборванными концами проволоки, между шпеньками было свободное пространство шириною с его ладонь, а внизу, под этим пространством, поднималась горка белесого пепла.

Виктор понял, что тут находился какой-то сгоревший предмет. Он не знал, что это как раз и был грозовой предохранитель.

«А если шпеньки соединить проволокой? — подумал он. — Пойдет ток или нет?»

От левого шпенька отходила более тонкая проволока, от правого — более толстая. Он подумал, что до одного шпенька дотронуться можно, а до другого — сразу как-то. До которого можно, а до которого нельзя?

Виктор остерегся, не стал рисковать, соскочил на землю. В траве валялись мотки ржавой проволоки разного диаметра. Кусачками он легко отхватил три отрезка, согнул их концы какие петлей, какие крючком...

Между тем коровы приближались к летней стоянке. Они вошли в лес и скрылись из виду...

Виктор взял два отрезка, соединил их между собой — петля—крючок, петля — крючок, — прицепил к ним третий отрезок с двумя петлями. Так получилась цепочка, состоящая из трех звеньев-отрезков.

Прежде чем действовать дальше, Виктор нарвал будильев прошлогодней полыни, связал их в веник, полез по скобам к ящику и давай что есть силы размахивать веником над шпеньками, чтобы сдуть с них копоть. Он размахивал, не касаясь шпеньков. А то мало ли чего...

Петлю первого отрезка он легко накинул на левый шпенек. Теперь предстояло самое главное и самое страшное — накинуть петлю третьего отрезка на правый шпенек и тем самым соединить оба шпенька...

И тут Виктор услышал, как заревели коровы...

Он не знал, являются ли материя и дерево достаточными изоляторами при столь сильном напряжении. Он решил рискнуть. Скинув на землю свою бывшую огненно-оранжевую, а ныне до предела замызганную румынскую куртку, скинул майку и обмотал ею руку, взял заранее приготовленную палочку и дотронулся ее концом до третьего отрезка проволоки. И ничего! Выходит, что ток по проволоке не идет. Что же, можно ли безопасно дотронуться до нее просто рукой?

«Витька, осторожней! — сказал он самому себе. — Действуй майкой и палочкой...»

Жуть как ревели коровы, точно смерть видели. От их рева Виктор начал нервничать. Рукой, обмотанной майкой, с помощью палочки он осторожно приподнял цепочку и попытался накинуть петлю третьего звена на правый шпенек, но промахнулся. Снова попытался накинуть петлю и опять промахнулся... А коровы ревели так, что всю душу выворачивало...

«Витька, возьми себя в руки!» — сказал он самому себе, прицелился... и накинул петлю проволоки на шпенек.

И сразу в ящике глухо загудело. Значит, есть контакт! Значит, ток идет!

«Уф-ф-ф! — Виктор облегченно вздохнул. — Надо проверить, есть ли ток у коровника...»

Он не знал, что в это самое мгновение на летней стоянке зажглась электрическая лампочка, соскочил на землю, спешно оделся, сел на мотоцикл и помчался.

Главный зоотехник, несмотря на весь переполох коровьего бунта, издали, за триста метров видела, что кто-то возится у трансформатора. Этот кто-то подъехал к стойлам, как раз когда в них заходили коровы первой очереди и с ликующим гудением началась электродойка.

Главный зоотехник узнала Виктора, не стесняясь пастухов, доярок и водителя грузовика, она бросилась ему на шею — и давай его целовать, да как!

— Наш спаситель! Наш спаситель! — повторяла она между поцелуями.

Три доярки постарше укоризненно покачивали головами, две молоденькие скромно нагнулись к шлангам, идущим от коровьих сосков к бидонам.

А сам герой дня смущенно вертел головой.

Глава десятая

АКТ И ВОКРУГ АКТА

1

Во второй половине дня, ближе к вечеру, высоковольтная линия возле Завражья была выключена на два часа — приезжали монтеры и устанавливали на трансформаторе новый грозовой предохранитель. Старший из них с удивлением обнаружил в ящике цепочку из трех проволочных звеньев и только сказал:

— Видать, догадливый гусь тут орудовал, а рисковый, вишь, какого жучка поставил!

И монтеры уехали, снова в Завражье загорелись лампочки, загудели холодильники. А когда пришла пора возвращаться коровам на свою стоянку на ночь, громко и призывно загудел мотор электродойки...

Следующие два дня — четверг и пятница — были для Виктора и его жены относительно спокойными. Они ходили на Клязьму купаться, копались в огороде. А для усердных людей всегда найдется работа на своем приусадебном участке.

Только бы им блаженствовать в безмятежные дни отпуска, да еще в таком прекрасном месте, да еще в своем доме. А Виктор уже успел привыкнуть называть дедов дом своим... Но на душе у него покоя не было. Как дальше пойдут его дела? Просто по своей натуре он был нетерпелив, и потому решил ускорить события. Ведь сколько пользы он совхозу принес! И он решил отправиться к секретарю парторганизации, видно, человеку хорошему, простому. Вот прошлой осенью, когда встретились на выгоне, с каким вниманием он к нему отнесся. Но Виктор не пойдет в его кабинет, там народ будет заходить, а кто и вовсе сядет слушать. Он пойдет к нему в субботу, в выходной день... Может, он опять с внуком будет по выгону прогуливаться. И там Виктор сумеет с ним поговорить по душам, все-все ему без утайки расскажет.

Утром в субботу приехал Леонид с женой. Он передал Виктору важное известие: накануне, к концу дня, юрисконсульт звонил в канцелярию прокуратуры и узнал, что никакого акта ни из сельсовета, ни из совхоза не поступало.

Леонид приветствовал намерение брата ехать на свидание с секретарем парторганизации, ободряюще и сочувственно похлопал его по плечу и пошел с женой спускаться с горы. Она собиралась весь день провести на клязьминском пляже, купаться, загорать, наслаждаться свободным днем.

«Счастливы! — думал Виктор, провожая их. — Никаких у них забот и беспокойств!..»

Расцеловавшись с женой, он поехал на мотоцикле к центральной усадьбе совхоза и свернул прямо на выгон.

Там никого не было, только паслись три лошади. Виктор взгляделся и узнал Мечту. Он остановил мотоцикл и пошел к ней пешком, а то она еще испугается. И невольно ею залюбовался, ее изящной статью, ее мышастой мастью — серебристо-серой, с белым хвостом и белой гривой. «Какая же ты красавица!» — прошептал он.

И она узнала его, призывно заржала. Бедняжка была стреножена путами и неловко подсакивала, приближаясь к нему. Она печально глядела на него своими большими сизыми глазами, с них скатывались крупные, как черная смородина, слезы. Она положила свою

тяжелую голову ему на плечо, задышала в его ухо, наверное, жалуясь на свою безрадостную участь.

Виктор ее гладил, утешал, как умел, смотрел в ее наполненные слезами глаза. Он досадовал на себя, что не догадался захватить с собой краюху черного хлеба или хотя бы кусочек сахара. И все гладил и гладил бедную лошадку по голове, по шее, по плечу...

— Я тебя жалею,— говорил он ей,— и ты, дорогая, меня пожалей. Жду я одного дяденьку, а он не идет и не идет. Как мне нужно с ним поговорить, посоветоваться!..

2

Если бы Виктор знал, сколько самых различных людей за эти последние дни упоминали его фамилию, разбирали его по косточкам, славословили, бранили, спорили о нем, он бы, наверное, и гордился и одновременно терзался своей неожиданной известностью.

Во вторник к концу рабочего дня собрались на перекур в механической мастерской совхоза трактористы, механики, слесари, водители автомашин. Оба молодых тракториста — ангелочек и чернявый — наперебой рассказывали о необыкновенном мастерстве того спеца, который сейчас проводит свой отпуск в Завражье и который починил их машины.

Вспомнили статью в газете о догадливом изобретателе, кто-то сказал, что хорошо бы пригласить героя статьи на работу в их мастерскую.

Главный механик тоже слушал рассказы ребят. Он сам тщательно обследовал оба отремонтированных трактора, но у него были и свои расчеты и намерения. За последнее время в мастерской сложилась тяжелая обстановка: несколько человек заслуженных механизаторов ушли на пенсию, прислали на их место молодых, только что окончивших техникум.

Ребята оказались старательные, а практических навыков им не хватало. Позарез требовался для них наставник, хоть на две недели, чтобы малость их поднатаскать.

И главный механик подумал: не подойдет ли на это дело завражский житель, о ком с таким восторгом отзывались оба тракториста?

В среду утром он отправился к директору совхоза и рассказал ему о необыкновенном спеце. Как бы принять его на работу в механическую мастерскую? Он проводит отпуск, на Клязьме прохлаждается, а тут деньгу зашибет, да ребят подучит, да успеет кое-какую технику отладить.

Директор сказал, что этого спеца знает, он ему починил телевизор, а совхозу подарил молодую кобылу.

Вызвали главбуха. Но блюститель финансов, узнав, в чем дело, заартачился, сказал, что соответствующих лимитов не отпущено и что вся эта затея напоминает наем так называемых шабашников, а эту категорию людей, как известно, весьма недолюбливают ревизоры. Словом — нельзя и нельзя! А то еще ему, главбуху, и директору совхоза придется выплачивать энные суммы из собственных карманов. Согласно инструкциям человека, уволившегося с другого предприятия, оформить на постоянную работу можно, а на временную и, следовательно, без трудовой книжки — нельзя.

— Ага, на постоянную работу можно! — воскликнул директор и повернулся к главному механику. — А ты запомни, что на постоянную можно.

Директор очень ценил главного механика как одного из лучших специалистов совхоза. Он сказал, что в понедельник едет в город, различных вопросов набралось немало. Он будет говорить с на-

частьством, чтобы разрешили принять на временную работу этого необыкновенного мастера.

— Только, пожалуйста, чтобы разрешение было дано в письменной форме,— согласился главбух.

На этом разговор был окончен...

С четверга главный зоотехник совхоза начала рассказывать о ЧП на коровьей стоянке и о подвигах Виктора, рассказывала она весь день и продолжала в пятницу. В зависимости от того, кто являлся ее слушателем, она называла Виктора то героем, то спасителем, а то и милашкой.

Еще с давних школьных лет ее словарный запас был не особенно богат, поэтому, чтобы сгустить в своих коровьих рассказах краски, она то и дело повторяла на разные голоса и ноты лишь одно, однако достаточно красноречивое словцо: «Ужас! Ужас! Ужас!..»

3

В сельсовете все эти дни тоже шел разговор о Викторе, но совсем иной, окрашенный в темные, даже зловещие тона.

Секретарь сельсовета Зинаида Ивановна не столько обсуждала с председателем и немногими своими сослуживцами поведение злостного нарушителя закона, сколько о нем печатала на машинке.

Она составляла акт. Не так легко удавалось ей сосредоточиться на столь запутанном деле, приходилось постоянно отрывать на текущие дела, разговаривать с посетителями, оформлять для них различные справки и бумаги.

О самовольном захвате совхозной земли она решила в акте не упоминать: она же была уверена, что теплица снесена. А вот о покупке дома через подставное лицо и о самовольной, без разрешения, перевозке из города и постройке другого дома она решила изложить как можно подробнее и обстоятельнее.

Как и полагается в деловых бумагах, она обильно подпускала различные канцелярские словечки вроде «каковой» и «таковой», «означенный» и «вышеуказанный» и в том же духе.

Акт полагалось подписать трем лицам. Подпишет она, подпишет председатель сельсовета, третьим лицом должен быть кто-то из ответственных работников совхоза. Кто же? Да, конечно, ее приятельница, главный зоотехник. Они же вместе ездили в Завражье, и та в курсе всего дела.

Акт получился длинный. Чтобы поместить его на одной стороне листа, пришлось отпечатать в один интервал, поэтому читать его было несколько трудновато. Но зато какой неопровержимый, убедительный удался документ!

Председатель сельсовета его прочел, похвалил, проставил две запятые и сказал, что о завражском пройдохе напишет заметку в районную газету. Он успел придумать заголовок: «Обманщику — крепкий заслон!!!» — и непременно с тремя восклицательными знаками...

Главного зоотехника заставить было нелегко. Ведь она контролировала огромное хозяйство — в трех отделениях совхоза насчитывалось свыше тысячи коров, да еще телята маленькие, телята постарше на лугах на другой стороне Клязьмы, куда приходилось добираться на пароме, да еще свиньи разных возрастов, да еще три лошади, включая Мечту, да еще постоянно вызывали в город на разные совещания и заседания. И главный зоотехник со своей бурной энергией всюду успевала побывать да еще составляла ежедневные сводки, отвечала на различные бумаги.

Только в четверг утром наконец ее поймала секретарь сельсовета в маленьком кабинетике конторы.

Главный зоотехник внимательно прочла акт, взглянула укоризненно на свою приятельницу и как топором отрубила:

— Ты что? Опупела, что ли? Я такую кляuzu подписывать не буду! Брось ее в туалет!

— Да ведь ты же ездила со мной в Завражье, и дом видела, и нарушителя закона видела?

— Видела, видела! Не хочу обижать такого мирового чудика. А знаешь, как я его целовала! — Главный зоотехник даже закрыла глаза при одном воспоминании. — А губы у него горячие, тугие. Счастливица жена, каждую ночь его целует.

— Черт-те что ты городишь! — рассердилась секретарь сельсовета. — Я к тебе по делу пришла, подписывай, и я пойду.

Главный зоотехник начала подробно расписывать завражские события, называла беднягу Виктора героем и все твердила свое любимое: «Ужас! Ужас! Ужас!»

— Мы с тобой поссоримся, если не подпишешь, — еще сильнее рассердилась секретарь сельсовета.

— Зиночка, не лезь в бутылку. Не подпишу и не подпишу! — Главный зоотехник тоже начала сердиться. — Еще прокурору вздумала подавать! Эх ты, бессердечная!

Кончилось тем, что секретарь сельсовета встала и, хлопнув дверью, молча вышла.

Акт пришлось перепечатывать. Но теперь для третьего лица она предусмотрительно оставила вверху листа пустое место.

Кто же подпишет?

Она вспомнила о главном механике. Ведь он тоже был отчасти в курсе дела — направлял в Завражье тракториста крушить теплицу.

Главный механик прочел акт. Был он человек рассудительный, рассказал, как заинтересовались завражским спецом все работники мехмастерской, рассказал о своих планах привлечь его к временной работе.

— Он нам приносит определенную пользу теперь и наверняка будет приносить и в дальнейшем, — закончил главный механик свою речь. — С таким ценным человеком надо хорошие отношения поддерживать, а не жаловаться на него прокурору.

И тут секретарь сельсовета впервые заколебалась. Она вспомнила, что этот самый ненавистный ей круглорожий распахал, да еще бесплатно, участки завражских жителей. Но она по самой своей должности обязана была бороться с нарушителями закона. И еще она вспомнила, что под нажимом директора совхоза она оформила покупку дома важному начальнику и тем самым нарушила, правда, не закон, но все же директиву облисполкома.

Она поняла, что у нее остался один выход — пойти к тому, к кому рабочие и служащие ходят советоваться как с отцом родным по разным затруднительным личным и общественным делам.

И пошла к секретарю парторганизации.

4

Она его застала в маленьком кабинетике. Но у него народу набилось полным-полно. Велся доверительный и горячий разговор по душам с молодыми механизаторами.

Она постеснялась прервать, прислушалась и очень удивилась, потому что имя завражского спеца — она поняла, о ком шла речь, — поминалось, да не один раз, да еще ребята на разные лады расхваливали его. Наконец она решилась прервать оживленную беседу, побралась к столу хозяина кабинета и сказала ему:

— Мне надо с вами серьезно поговорить об одном деле.

— Зинаида Ивановна, и мне надо с тобой поговорить, и как бы не о том же самом деле, — отвечал он.

Условились встретиться здесь, в его кабинете, поздно вечером, когда от него уйдет последний жаждущий с ним встречи...

Наконец состоялся их разговор. Он сидел за столом, она села напротив, протянула ему бумагу.

— Все так, все правильно, — сказал он, внимательно прочитав акт. — Только уж очень тон, я бы сказал, неприязненный, смотри — слово «злостный» повторяется несколько раз. А вот чего-чего, а злостных намерений у этого, как ты называешь, нарушителя закона я не вижу ни на полсловечка. Я ведь с ним познакомился. Он произвел на меня впечатление этакого романтика. Взял да и перевез из города дедов дом, спас его от гибели, да куда перевез — в Завражье, откуда и его дед и он сам родом. Да еще старухам участки бесплатно раздавал. А ты на него жалобу прокурору хочешь подать. Кстати, знаешь, откуда у нас появилась белохвостая кобыла?

— Совхоз, кажется, где-то ее купил.

— Ан нет, от этого романтика у нас кобыла, да не продал он нам ее, а подарил.

— Но ведь он же своей перевозкой дома закон нарушил.

— Знаю, знаю, что нарушил. А ты, Зиночка, слышала, наверно, как Ленин боролся со всяким бюрократизмом? Не помню где, есть у Ленина золотые слова, что по закону все правильно, а по существу издевательство. Не издеваешься ли ты сейчас над хорошим человеком?

Секретарю сельсовета сдаваться так легко не хотелось.

— А знаете, что больше всего меня возмущает: как бессовестно этот романтик мне врал, когда оформляя покупку маленькой избушки.

Секретарь парторганизации искренне расхохотался.

— Ну и молодец! Даже зятя-алкоголика выдумал! — И продолжая смеяться, он спросил свою собеседницу: — А как электричество в Завражье было починено, ты знаешь? Нам в конторе твоя приятельница так расписывала, мы все заслушались.

— И про электричество знаю.

— А знаешь, что в понедельник главный механик собирается ехать в Завражье уговаривать этого чудаковатого романтика поступить к нам на работу на время отпуска?

— Я это узнала из вашей сегодняшней беседы с молодыми механизаторами.

— Вот видишь, Зиночка, сколько он нам пользы принес, и за такой короткий срок? Не то что его сосед, приезжает только в картишки дуться.

— Видеть-то вижу... — Секретарь сельсовета вспомнила, что она сама нарушила инструкцию, когда оформляла покупку другого дома. «Выходит, правда, издевательство...» — подумала она... И еще ей мысленно представилось, как стоят на горе над Клязьмой два дома-красавца, резьбой изукрашенные...

— Ну как, сдаешься? — прервал ее раздумья секретарь парторганизации.

— Сдаюсь.

— Ну то-то же! Запомни — дачник дачнику рознь. А у меня на счет этого романтика есть бо-о-ольшая задумка. Пока с ним не встречусь, не скажу — какая. Ну что, Зиночка, оставишь его в покое?

— Оставляю, — сказала она и вдруг вспомнила о погибшей, такой аккуратной новенькой теплице, о зеленых огуречных плетях с желтыми цветочками. И все это разворочено... Затем чисто деловые мысли пришли ей в голову: в инвентарной книге не забыть исправить, что числится маленькая избушка в аварийном состоянии, придется задним числом оформить разрешение на перевоз дома из города. И

еще страховые бумаги придется заново составлять... Да, еще не забыть сказать председателю, чтобы разоблачительную заметку не писал...

— Ну что, засиделись? — опять прервал ее раздумья секретарь парторганизации. — Пойдем, сегодня телефильм занятый...

А на следующее утро, хоть и был день субботний, выходной, секретарь сельсовета пошла на работу. И первое что она сделала — это разорвала в клочья оба экземпляра акта и бросила их в мусорную корзину.

5

Виктор все гладил и гладил Мечту по голове, по холке, по плечу, перебирал волоски на ее гриве. Он не замечал, что к нему приближается человек, держа за руку мальчика.

— Экий ты жалостливый какой! Смотрю я на тебя! Ну, здравствуй, здравствуй!

Виктор вздрогнул, оглянулся. Секретарь парторганизации стоял, улыбался в усы. К его ноге жался внук. С осени он заметно подрос и сейчас уставился на Виктора.

— Видно, крестьянская кровь в тебе играет, — говорил секретарь, — что так ласково кобылу гладишь. А ведь я давно хотел с тобой поближе познакомиться, завтра в Завражье собирался. Есть о чем потолковать. — Он показал на штабель бревен у крайнего сарая. — Пойдем присядем.

Виктор еще раз ласково провел рукой по плечу Мечты и пошел следом за секретарем и его внуком. Оба взрослых сели на бревна, а внука, чтобы не мешал, дед услаив рвать цветы.

— Скажи, пожалуйста, какое у тебя образование? — спросил секретарь.

Ох, не любил Виктор этого вопроса и всегда краснел, когда его об этом спрашивали.

— Семь классов, — угрюмо уставившись в землю, ответил он.

— Семь классов, восьмой — коридор. Маловато, маловато. И никакого специального?

— Никакого.

— А нравится ли тебе твоя теперешняя работа?

Виктор сразу оживился, стал рассказывать... и маленько прихватнул, рассказал, как его любят двести девочек.

— А хочешь, чтобы тебя любили мальчики, правда, не двести, а только десять? — неожиданно прервал его секретарь и повел рассказ о механической мастерской совхоза, какие там порядки и какие непорядки. — Вот ребята молодые, желания работать у них много, а иной раз машины гробят. И носы вешают...

И еще секретарь сказал, что совхоз собирается пригласить Виктора на время отпуска, чтобы хоть немного наладить дело. Но две недели, конечно, мало. И не в одних ребятах дело. Машинный парк в совхозе огромный, есть где специалисту руки приложить.

— А поступи-ка ты к нам на постоянную работу, — закончил секретарь свою речь. — Конечно, получается вроде переманивания. Но ты смотри — там штанишки да комбинашки детские, а тут хлеб, молоко, мясо, картошка, овощи, одним словом — выполняется Продовольственная программа. Конечно, ничего не скажешь — одевать детишек надо. Но, наверное, у нас для тебя работа будет живее, интереснее. Да и жить ты собираешься, я вижу, в наших краях.

Далее секретарь напомнил, что дед Виктора в деревне родился, на земле сидел, был колхозником, а после войны перевез дом в город, стал рабочим. А теперя внук пошел как бы обратным путем, дом в деревню перевез. Но нужно решиться на следующий шаг — поступить на работу в совхоз и поселиться в Завражье на постоянное местожительство.

Виктор слушал, опустив голову, ничего не отвечая.

А секретарь говорил, что Виктор успел принести пользу совхозу, притом немалую. И потому сельсовет сейчас не будет подавать на него жалобу. На этот счет он может быть спокоен. Но юридически он остается тут, в деревне, вроде белой вороны, на липовых правах, одним словом — дачник. А в будущем — мало ли какие появятся постановления о порядке жизни на селе.

— Да вроде я привык среди девочек. Жалко мне расставаться и с работой и с ними, — наконец сказал Виктор.

— Жалко только у пчелки, знаешь, где? Увидят в совхозе, как ты технику ремонтируешь, так все тебя и зауважают, — убежденно сказал секретарь. — Ну как?

Виктор сказал, что подумает и посоветуется со старшим братом, он сейчас как раз в Завражье.

— Дедушка, смотри, какие цветочки! Как они называются? — прервал их беседу подошедший с букетом цветов внук.

— Да, еще один вопрос, — спросил секретарь, вставая с бревен и не обращая внимания на внука, — расскажи, как поживает зять-алкоголик? В милицию еще не угодил?

Оба громко расхохотались. Разговор был окончен.

Секретарь сердечно пожал руку Виктору и направился с внуком в одну сторону. Виктор издали оглядел Мечту, завел мотоцикл и помчался в Завражье.

Леонид всецело одобрил советы секретаря парторганизации и сказал, что давно хотел посоветовать брату уходить с фабрики и поступать на работу в совхоз. Оказывается, и юрисконсульт был того же мнения и также собирался поговорить с Виктором на эту тему. А Капитолина сказала:

— Я всегда с тобой согласна.

Леонид помог Виктору составить заявление с просьбой освободить по собственному желанию. Полагалось предупредить заранее, как раз за время отпуска. Значит, Виктор уже не будет приступать к работе на прежнем месте.

В понедельник утром он поехал в город прямо на фабрику, которую он уже не мог называть своей.

Четыре женщины — директор, главный инженер, начальник отдела кадров и секретарь парторганизации — пытались его уговорить, но он оставался непреклонным, говорил только — нет и нет!

В последний раз прошелся он по цехам вместе со своим другом — будущим механиком фабрики.

Работницы, видя его, улыбались, кое-кто спрашивал: «Когда позовешь на новоселье?» Они не знали о решении Виктора.

В последний раз Виктор заглянул в свой кабинетик, который с такой любовью оборудовал и теперь оставлял своему преемнику.

В последний раз он спустился в подвал, в каморку старика Михеича и расцеловался с ним на прощанье. Тот сказал, что без него на работе не останется. И пожелал Виктору счастья в новой жизни.

Оформлять свой уход, рассчитываться, получать на руки трудовую книжку Виктор будет через две недели. Значит, еще раз предстоит ему побывать на фабрике. А сейчас он уходил, высоко держа голову.

Его ждала новая жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С тех пор много воды утекло в Клязьме и Завражье стало совсем иным.

Исполнилась заветная мечта директора совхоза и секретаря парторганизации. Ведь близ центральной усадьбы не было реки, ее окружали либо поля, либо лес, и то чахлый, замусоренный. А здесь

красавица Клязьма несла свои полные воды, лес березовый и сосновый с грибами и ягодами подступал к самым заборам, вид с горы на другой берег открывался широкий.

И теперь выше нынешнего порядка домов, ближе к лесу, выстроились в ряд пока пять коттеджей, на две квартиры каждый, с приусадебными участками, погребями, гаражами и банями, а через год встанет еще семь.

И все они были из белого кирпича, все разные, с каемочками и другими отделками из кирпича красного, а под белыми, из шифера, крышами и вокруг окон шла кружевная по дереву резьба. Внутри коттеджи были, как говорится, со всеми удобствами. В самой деревне на пустых усадьбах теперь стояли перевезенные из города, спасенные от бульдозера дома. И конечно, все они красовались затейливой резьбой, а их стены были обшиты деревянными реечками наискось, в елочку, так и эдак, и тоже покрашенные в разные цвета — зеленые, желтые, светло-коричневые, голубые. А наличники и лобовые доски щеголяли ярко, пестро, в две, в три краски.

С городского лесозавода доставляли эти самые реечные дощечки, а резьбу по дереву выделывал поступивший на работу в совхоз старик Михеич, большой выдумщик, подлинный мастер, каждый дом он украшал по-разному. На квартире он устроился у Виктора.

Так вырос в Завражье образцовый новый стиль, стиль владимирской деревни восьмидесятых годов нынешнего столетия.

А дом замдиректора завода заметно ветшал. Деревенское жилище требует ухода. Обязательно надо каждый год что-то подправлять, подновлять. Жена замдиректора сюда никогда не приезжала, ходят слухи, что супруги поссорились. А сам он свой дом совсем запустил, на усадьбе ничего не сажает, яблони посохли, и вырос там один бурьян. Резьба по цинку на крыше заржавела. Металлические барсы, вздыбленные в прыжке на острие конька крыши, однажды при сильном ветре упали. Но самое страшное, что учудил хозяин, — он уничтожил веселые светло-зеленые ворота с четырьмя покрашенными серебрянкой солнцами. «"Волга, через ворота не проезжает», — объяснял он. И теперь там этаким чирьем сидит черный железный гараж, портящий весь вид красавицы деревни.

Хозяин дома и «Волги» некоторое время по-прежнему приезжал с приятелями по выходным дням играть в преферанс. Ни с кем, кроме тети Лизы, он не знался и, кажется, так ни разу не спустился к берегу Клязьмы. В строительстве коттеджей обошлись без его помощи. Единственная от него была польза — зимой, после каждой метели, заводской снегоочиститель расчищал дорогу в Завражье. А недавно на радостях после большого выигрыша в сильном подпитии он чересчур быстро вел свою машину, и она правым передним колесом с ходу наскочила на сосну, были сдвинуты с места стойки, разбит весь перед, пострадал мотор, вдребезги разбилось лобовое стекло. И с тех пор он не появляется на своей даче.

Летняя коровья стойка действует безотказно. Две недели коровы пасутся на Верхней луке, потом на две недели переходят на Нижнюю, потом опять на Верхнюю, и так до середины сентября. Электричество работает исправно.

Иные завражские старушки умерли. Теперь в их дома переселились из двухэтажной центральной усадьбы некоторые работники совхоза. Кое-кто из наследников умерших старушек подновил доставшиеся им в Завражье дома и оставил городские квартиры. Дважды в день маленький автобус отвозит и привозит взрослых жителей деревни, школьников и малых ребятишек на центральную усадьбу — кого работать, кого в школу, кого в детский сад.

Секретарь парторганизации следит, чтобы каждый дом был красив и чтобы новоселы непременно обрабатывали свои усадьбы, а кто хочет — заводил бы коров, поросят, кур.

Он нередко приезжает в Завражье, подгадывает под вечер, чтобы застать всех жителей дома, а приезжает он в двухместном, двухколесном шарабане, запряженном резвой кобылкой Мечтой,— сумел где-то в другом районе раздобыть экипаж и упряжь.

Он — единственный во всей области ответственный работник, кто пользуется лошадкой при своих поездках по отделениям и полям совхоза, а в город ездить на ней опасается, потому что Мечта боится автомашиц.

Она теперь не одинока — сзади нее бежит резвый высоконогий жеребеночек, мастью весь в мать. Жениха ей нашли за полтораста километров, возили на свадьбу на грузовике. Стало быть, и она познала радость любви.

Секретарь парторганизации, приезжая в Завражье, подкатывает непременно к дедову дому, и тогда оттуда выходит улыбающийся Виктор.

Веселым ржанием встречает его Мечта. Он подходит к ней, ласкает, дает кусочек сахара и ломоть хлеба и ей и ее сыночку, и она ласкается к своему бывшему хозяину.

Скончалась в городе тетя Феня. Но ее дочь Людмила не осталась одинокой, посватался к ней старый вдовец, ветеран войны, и теперь, хоть и в преклонных годах, она обрела наконец любовь и счастье.

Виктор согласно завещанию стал полновластным хозяином дедова дома. Теперь он вместо изрядно подряхлевшей тети Лизы уважаемый депутат по Завражью и двум ближайшим деревням. Он неизменно участвует в сессиях сельсовета и сумел подружиться со строгой, сменившей гнев на милость секретаршей Зинаидой Ивановной.

На работе его уважают и ценят, он обихаживает тракторы, грузовики, комбайны, знает характер каждой машины. Под его руководством молодые энтузиасты-механизаторы сконструировали еще два мини-трактора, моторы взяли более мощные — от мотороллеров, а для станин воспользовались старыми велосипедами. Работали по вечерам.

Теперь приусадебные участки не только в Завражье, но и в двух других расположенных по оврагам деревнях неизменно распахиваются этими столь нужными для сельских жителей машинами.

Викторова сына Ленечку чуть ли не за шиворот перетаскивали из класса в класс, он окончил десятилетку еле-еле с одними тройками и сразу же оказался в армии. Родители крепко надеются, что там вытрясут из него лень и безучастие ко всему на свете. В будущем они собираются оставить ему городскую квартиру.

Знатный умелец Михеич выточил и вырезал на маленьком токарном станочке недостающий на пятом окне наличник. А еще он обшил реечками в елочку седые бревна стен. Целая комиссия — Виктор, Леонид, их жены, юрисконсульт и Михеич — со спорами решала, где и что какой краской покрасить; для стен был выбран тон светло-салатный, а по резьбе пустили белую и желтую краски...

И теперь когда кто-то приезжает в Завражье, то неизменно останавливается перед дедовым домом, глядит на него не наглядится, любитесь. И стоять ему многие, многие годы. На кирпичном фундаменте нижние венцы не гниют...



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ



РАДОСТИ И МУКИ

Оглядываясь на прошлое, я вижу только любовь и муку. Больше муки, чем любви. В то далекое время мука бушевала в мальчишеской моей груди подобно бескрайнему морю. Я даже слышал его стоны, слышал по ночам, как бьется оно в слепой ярости о скалы; слышал смирённый шепот откатывающихся волн. Но с годами шепот слабел, потом и вовсе смолк. А мука осталась и застряла под сердцем словно острая кость. Но со временем это забылось, хотя я и помнил, что мука сидит во мне, затаилась, как уголь под теплым пеплом. И только много, много лет спустя понял, что она копилась во мне годами и сгустилась как кристалл, самый настоящий прозрачно-синий кристалл.

Таких черных, непроглядных ночей, как в малярной Дунайской низменности, нет нигде. И камень свой я увидел в такую же непроглядную ночь, распростершуюся над землей зловещей черной птицей.

Мы охраняли военные склады. Их огораживал высокий забор из колючей ржавой проволоки, на которой там и сям повисли клочья овечьей шерсти. Двор, на краю которого находились наши посты, густо зарос бурьяном, и днем здесь паслись овцы. Сержант по кличке Дундук забыл взять фонарик, и мы шли ощупью, стучаясь головами то о березы, то об орех, спотыкаясь о кротовые норы. Мой пост был самый дальний и самый безопасный, если опасностью считать появление сержанта. Постовых сменили быстро, обошлись без обычного ритуала. Видно, Дундуку тоже до смерти надоела служба. Едва заглох звук его шагов, как я рухнул в заросли болиголова и мигом уснул.

Разбудили меня винтовочные выстрелы. Я вскочил как ошпаренный и, стуча зубами, снова юркнул в нагретую траву. По инструкции мне следовало дать два предупредительных выстрела, и тут я спохватился, что забыл зарядить винтовку, как того требовал устав. Неожиданно стрельба прекратилась, и я подумал, что теперь, если не хочу попасть под трибунал, самое время зарядить винтовку. Открыв затвор, я дрожащими руками вставил обойму в магазин, но она выскользнула — пружина выбросила ее куда-то в ночную тьму. Вставив вторую, я начал искать утерянную: за утерянную обой-

му отправляли без суда и следствия в штрафные роты в Сливен. И тут я услышал какое-то шипение и увидел, как рваная красная полоса развернулась в небе большим белым шаром. Вероятно, ракету запустили наши — хотели обнаружить нападавших. При свете ракеты я стал лихорадочно искать обойму, и тут-то я и увидел мой кристалл. Не исключено, что я называю его неправильно, — не исключено, что это был настоящий драгоценный камень. Величиной он был с лесной орех, но сиял так сильно, словно лучился изнутри. Я положил его на ладонь. На ощупь он был холодный, почти ледяной, и сиял он тоже холодным светом. Послышались чьи-то быстрые шаги — я увидел, что по саду бежит парень. Но тут шар погас, и я испугался, как бы парень не налетел на забор — он уже был совсем рядом. Я боялся не столько за него, сколько за себя. Ведь это мой участок и я отвечаю за все, что на нем происходит. Но парень исчез — словно сквоззь землю провалился.

Когда меня сменили, начальник сам посветил мне фонариком, чтобы я нашел обойму. Из себя выходил, но ничего мне не сказал. Ведь это он должен был проверить мое оружие, перед тем как поставить на пост. Весь обратный путь я держал камень в руке, в карман почему-то не клал. Наверное, боялся, что потеряю так же нечаянно, как и нашел.

Дежурный по полку поручик Пырванов сидел за столом в караулке и рассеянно листал Библию — единственную книгу, которую нам разрешалось читать. Как всегда, лицо его было спокойно и безучастно. Из всех офицеров, что мне доводилось встречать, он был самым странным. Красивый, худощавый (он почему-то напоминал мне Жюльена Сореля), но хотя форма сидела на нем ладно, на военного он не был похож. Когда ни встретишь его в городе — у него всегда под мышкой тоненькая книжечка в белом переплете с розовыми цветочками — курс французского языка профессора Маврова. Поговаривали, что во время прогулок он бормочет как полоумный какие-то иностранные слова, не замечая окружающих. И хотя разговаривал он с нами вежливо, точно с господами, чувствовалось, что ни служба, ни солдаты его не интересуют. Наверное, его потому и направили в этот захолустный город, что считали тронутым. Пырванов знал меня в лицо, иногда мы даже беседовали с ним по-французски, разумеется, в меру моих знаний.

Пока ставили винтовки в пирамиду, Пырванов смотрел на нас рассеянно.

— Что это у тебя в руке? — произнес он вдруг по-французски.

— Ничего!

— Дай взглянуть!

Я почему-то испугался, но ладонь все же разжал. Синий камень излучал мягкое тревожное сияние. Глаза Пырванова сверкнули.

— Откуда это у тебя? Дай мне его.

Но что я мог ему сказать — разве только что этот камень вышал из моей груди?

— Это семейная реликвия, — сконфузился я. — Бабушка подарила его маме.

— Уж не была ли твоя бабушка маркизой? — спросил он, переходя на болгарский. — Это сапфир.

— Нет, это искусственный кристалл, — ответил я.

Пырванов вдруг погрузился, потом неожиданно сказал:

— Это проклятый камень! Он принесет тебе несчастье.

— Не верю! — ответил я. — Я потому и взял его, чтобы он охранял меня. Мать дала мне его для этого.

— Ну ладно, — пробормотал он. — А теперь давай выясним, что у тебя тут произошло...

Дней десять тому назад я столкнулся с Пырвановым в парке Свободы. Ему уже перевалило за шестьдесят. Он был в штатском и если в военной форме мало походил на военного, то в штатском чувствовалась военная косточка. Мы поравнялись, но его взгляд скользнул по мне как по пустому месту. Кто знает, может быть, он и не узнал меня, но скорее связывающие нас воспоминания были ему неприятны. Ведь в ту ночь его солдаты стреляли по нелегальным. На душе остался неприятный осадок. Если он действительно узнал меня, я бы хотел, чтобы в следующий раз мы встретились по-дружески. Все-таки он был одним из немногих людей, видевших мой камень.

Камень хранился у меня недолго, всего несколько лет. Я потерял его так же неожиданно, как и нашел. И все же, как бы ни был дорог мне этот чудный синий камень, я опасался прикасаться к нему. Даже смотреть на него старался как можно реже, хотя ни на минуту не забывал, что камень со мной. Может быть, мне хотелось забыть о том, о чем напоминал камень?

Когда я увидел впервые ее глаза

Я родился в одном из самых печальных софийских кварталов. И хотя он был окраинным кварталом, как и многие другие, но похож на них не был. Те больше напоминали выродившиеся села и, как всякие выродки, были куда хуже своего прообраза. Наш же квартал был совсем городской, совсем софийский. Во дворах не визжали тощие поросята, петухи не будили нас на заре своим пением. А на нашей улице были даже водопровод и фонари. Подобно статным молодцам поднимали свои сильные плечи над неказистыми домишками и несколько трехэтажных домов. Последним в ряду домов стоял двухэтажный дом попа Никифора. За ним простиралось пустынное поле, в котором даже ветер боялся ночевать. И хотя наш квартал нельзя назвать очень бедным, он был удивительно печальным. И вы скоро поймете почему.

Я пружил в этом квартале чуть не четверть века, но вспоминаю о нем очень редко. И что самое странное — он исчез даже из моих снов. Когда я заставляю себя возвращаться мыслями в прошлое, у меня такое чувство, будто я брожу в запущенном заброшенном доме, покрытом плесенью, но все же сохранившем атмосферу своего времени, как сохраняет старая коробка запах карандашей, находившихся некогда в ней. Всюду время выветрилось, а здесь сохранилось таким, каким было, и стоит открыть коробку — сразу повеет его тонким ароматом, поэтому я спешно закрываю ее, пока аромат не выветрится, ибо какие же воспоминания без аромата времени?

Моя комната находилась на третьем этаже большого дома, напоминающего башню, где мы снимали квартиру. Тогда считалось, что квартиры снимают самые последние неудачники. Сдается мне, что подобное мнение бытует и у современных болгар.

С высоты кирпичной башни была видна вся улица — от начала до конца. На том месте, где сейчас проходит железная дорога, простиралось поле, заросшее высоким бурьяном и терном. Впрочем, я не уверен, что бурьян был такой уж высокий. Просто в те годы я был от горшка два вершка и мне все казалось высоким, даже кровати и столы... Все увиденное и услышанное жадное мое воображение поглощало неразборчиво и усваивало, руководствуясь своими таинственными законами.

Мне кажется, что самыми заклятыми врагами нашего квартала были грязь и болезни. София славилась своей грязью — глубокой, вязкой, непролазной. Но такой непролазной, как в нашем квартале, нигде не было. Я часами сидел и смотрел на улицу, на которой не было ничего, кроме грязи, изрезанной глубокими колеями, доверху

наполненными антрацитной водой. Она вселяла в меня чувство тоски и безнадежности. И вся земля представлялась мне черной, равнодушной, промокшей. Даже лето в нашем квартале было грязным. Улицы подсыхали только к июлю, но и тогда они горбатились окаменевшими грядами. Только в августе они превращались в плотный слой пыли — мягкой, как пепел, летучей, всепроникающей. А не дай бог еще подует ветер или проедет двуколка. Тогда пыль заволакивала улицу плотной завесой, скрывая дома, даже небо и то серело.

В ту пору мой отец был молочником. Его молочная находилась на улице Марии-Луизы. Когда я впервые пришел к нему с мамой, я опешил: оказывается, существует и другой мир, совсем не похожий на наш, — чистый, светлый, какой-то неземной. Столешницы в молочной были беломраморные, прохладные и чистые. Прилавок облицован белой фаянсовой плиткой. Отец стоял за прилавком в ослепительно белом халате и в очках в золотой оправе. Он всегда был щеголем, а теперь и вовсе поразил мое воображение. В луженом kazanе кипело молоко, кружевная пена поднималась над ним снежной шапкой.

Увидев меня, отец отложил черпак в сторону и виновато улыбнулся. Сейчас-то я понимаю, что ему было просто стыдно перед сыном. Но тогда такая мысль не приходила мне в голову. Да и откуда я мог знать, что эта профессия была не по нему. Я еще не знал тогда, что мои деды никогда никому не прислуживали, даже туркам. Однако смущение его длилось недолго. Улыбнувшись, он посадил меня за один из мраморных столиков, налил в фаянсовую чашку молоко, высоко держа черпак. Как сейчас вижу эту пенную струйку... Шутливо поклонившись, он поднес мне молоко и блюдо с двумя венскими булочками. Я не знал, что венские булочки бывают такими мягкими. Отец приносил домой такие сухие, что крошились между пальцами.

Вскоре отец забросил молочную, навсегда отринув мещанское благополучие. Он не знал тогда, что отныне его ждут одни испытания, лишения и унижения. Но в ту пору мы были еще более или менее зажиточными людьми. Видимо, чтобы осуществить свои несбывшиеся мечты, отец отдал меня во французский коллеж. Пробыл я там недолго. Вскоре тяжело заболел, а когда выздоровел, мне было уже не догнать одноклассников, и я перешел в болгарскую школу. Но тем не менее отец страшно гордился тем, что я болтал по-французски, и заставлял меня блистать перед многочисленной родней, которая смотрела на меня во все глаза.

Воспоминания о французском коллеже — самые мрачные в моей жизни. Никогда не забыть мне зловещие черные одежды преподававших нам «отцов». Любая детская шалость и озорство вызывали у них звериную злобу. Наказывали они нас часто и жестоко. Я шел в школу как на казнь, возвращался как после помилования. Но эти испытания все же закалили мою хрупкую ребячью душу.

Зато теперь предо мной открылся новый мир, не имевший ничего общего с нашей грязной улицей. Коллеж находился в самом центре города. Жизнь здесь была совсем иной. Весело звенели трамваи, с грохотом проносились автомобили, призывно позванивали колокольчики у входов в кинотеатры. По пути из коллежа я непременно заходил в торговый центр. Я всегда входил с чувством страха в этот холодный, страшный дворец мяса и крови. Огромные животные, разрубленные пополам, висели на железных крюках. Желтый нутряной жир закрывал их брюшины, с мускулистых шей капала кровь. Мелькали окровавленные топоры, слышался отвратительный скрежет пил, распиливавших крепкие кости.

Без особого интереса обходил я птичье царство. Дольше всего я пропадавал в рыбном отделе. Там кучами громоздилась рыба — мор-

ская, речная, переложенная кусками льда. На огромных лотках лежали настоящие чудища: сомы, нарубленные крупными кусками осетры. Единственными живыми существами в этом царстве смерти были раки. Раки копошились в громадных корзинах, терлись друг о дружку наждачными панцирями. Дома я взажлеб рассказывал обо всем, что увидел в торговом центре. Естественно, самую малость преувеличивал. Мать слушала, слушала меня, а потом грустно говорила:

— Делчо, удивляюсь я тебе, почему бы не купить рыбы... Раз ребенку так хочется.

— Нечего его приучать к рыбе! — отвечал отец назидательно. — Рыба только богатым по карману.

— Не такие уж мы и бедные, — бормотала удрученно мать.

— Будет есть рыбу, когда в село поедем... Там неводом будет ловить в Тополнице.

Так отец и не купил ни разу рыбы, хотя вовсе не был жадным. Теперь я понимаю почему: ему казалось глупым отдавать деньги за то, что являлось даром природы. Рыбу тогда спокойно ловили в тихих заводях одной из самых красивых рек Болгарии. Ловили руками, острогой, сетями. Рыбы было столько, что хватало даже последним беднякам, у которых не было сетей. Сейчас Тополницу уже не назовешь рекой, сейчас вода в ней серая и мутная, с металлическим блеском — она мертвее Леты и в тысячу раз мрачнее. Во всяком случае, такой она была два года назад.

В этот самый знаменательный год моего детства произошло еще одно важное событие.

Весной отец купил мне вязаный шерстяной костюмчик-комбинезон. В то время их почти не носили, а уж в таком квартале, как наш, и подавно. Белый комбинезон плотно облегал тело, и, наверное, я был смешон в таком одеянии. Но тогда я ужасно радовался обновке, чуть не летал от счастья. Я подстерег момент — с башни мне ничего не стоило это сделать, — когда соберется побольше ребят, и вышел на улицу. Сначала дети ошалели — очевидно, решили, что произошла ошибка и я по рассеянности вышел на улицу в нижнем белье. Но когда увидели, как самодовольно я верчусь перед ними, мигом все поняли и скопом набросились на меня. Повалили в грязь, извозили как поросенка, ткнули головой в жижу, чтобы навсегда запомнил этот день, и бросились врассыпную.

Я даже не пикнул. Не заплакал и когда бесславно вернулся домой. Не рассердился, не обиделся, даже не пожаловался родителям. Мне было стыдно. Я чуть не сгорел со стыда. Я знаю, есть люди, которые напрочь лишены этого чувства, им удается как-то сглаживать подобные ситуации, относиться к ним с юмором. Мне же это не удается и по сей день. Иногда мне кажется, что вся моя жизнь — бесконечная цепь таких вот нелепых случаев, печальных глупостей, в которых виноват прежде всего я сам. Но старый урок оказался самым сильным. Я до сих пор боюсь надеть что-нибудь экстравагантное, совершить поступок, который выделял бы меня.

В моих воспоминаниях взрослых людей почти нет. Может быть, я их не замечал? Или запомнил только тех, кто наводил на меня страх? На нашей улице было много страшных людей, начиная от мясников и кончая бородатым попом. С большой осторожностью обходил я стороной возниц двуколок. Возницы были рослые, вечно пьяные, черные их лица казались мне необычайно свирепыми. Может быть, не все помнят их двуколки с огромными колесами. Таким двуколкам грязь была нипочем — ось у них располагалась очень высоко, ну и, конечно, в двуколку должна была быть впряжена сильная лошадь.

И вот, наблюдая за улицей, я увидел двуколку — ее тащила крупная тощая лошадь. Наверное, очень старая — она не шла, а плелась. Ребра у нее страшно торчали, казалось, еще чуть-чуть — и они прорвут стертую до крови кожу. Вскоре лошадь, совсем обессиленная, увязла в хляби прямо напротив нашего дома. Возница в бешенстве схватил кнут и стал хлестать лошадь — он хлестал ее не только по крупу, но и по голове, глазам, влажной морде. В первый раз я видел такого озверевшего человека. Он пинал лошадь изо всех сил в живот, и она упала в грязь. Упала и словно потонула в ней. Из окна мне были видны только ее передние ноги и уши. Озверевший возница схватил кол и стал бить лошадь куда попало. Я слышал, как трещал конский череп. Вот лошадь сделала последнее усилие — поднялась на передние ноги, но тотчас снова рухнула. Собрался народ — размахивал руками, что-то кричал, давал советы вознице. Какие уж тут советы. Схватить этого безумного, связать и самого втоптать в грязь — вот что надо сделать. Какая-то неодолимая сила потащила меня к двери. Дрожащими руками я надел ботинки, спустился вниз по ступенькам. На улице меня поразила необычная тишина. Не было слышно ни ругани, ни криков, ни ударов. Тяжело дыша, возница стоял около лошади с колом в руках — видно, собирался с силами, чтобы снова наброситься на свою жертву. Я подошел поближе, увидел окровавленную голову лошади. Как мне хотелось помочь ей, никогда до сих пор я не испытывал такого желания. И тут лошадь повернула голову и посмотрела на меня. Да, именно на меня, наверное, потому, что я был совсем близко. Глаза ее блеснули, остановились, из мертвых глазниц потекла иссиня-черная, словно деготь, мука. Я не понимал, как остальные не видят этого: она не просто текла, а струилась по потной шее лошади, превращалась в антрацитную лужу. Испуганный, я бросился бежать домой и упал там на кровать — мне хотелось одного: умереть. И тут я вспомнил о суджухах¹. Они висели на стене на ржавом гвозде. Отец объяснил мне накануне, чтоб я не смел к ним прикасаться: после болезни они для меня смертельно опасны. У детей страх перед смертью намного сильнее, чем у взрослых. Дети и смерть так же чужды, как огонь и вода. И вот я с трудом оторвал слабыми ручонками один суджук. В самом ли деле я хотел умереть, или это мука поборола во мне страх смерти? Но, как бы там ни было, я стал грызть суджук жадно, даже не ободрав кожуры. Первый же кусок обжег мне рот, я почувствовал, как огнем обожгло живот, но это не испугало меня. И только насытившись, я ощутил страх... Теперь я уже точно знал, что умру. Лег, закутался с головой в одеяло и стал ждать. Таким и застала меня мать через час-полтора: в слезах, прижимающего к себе остаток суджука. Теперь уже не помню, как она спасала меня. Но я не только не умер, даже расстройство желудка не получил.

С того страшного дня я охладел к людям. Правда, не ко всем. Все, что случается в детстве, не проходит бесследно. И если мы не можем чего-либо в себе понять, надо взглянуть в свое детство. Уверен, что именно там мы найдем истоки. За долгую свою жизнь я видел много бед и страданий людей. И все же их страдания не трогали меня глубоко. Я знал — это расплата, люди платят. За что? Не знаю. Только в мути воспоминаний поднимается на передние ноги лошадь, и мука, черная, как деготь, струится из ее глаз.

Как мука вылилась в бескрайнее море

Каждому взрослому детство чаще всего помнится играми. В начале века игр было намного больше, чем сегодня. Сейчас уже нет ни бабок, ни городков, ни змеев, ни чижика. Да и где современному

¹ Сорт колбасы. (Здесь и далее примечания переводчика.)

ребенку запускать змея, когда небо опутано проводами? Как выкопать ямку для городков в асфальте? А в те далекие годы у детей только и радости было что игры.

Но у меня воспоминания о детских играх вызывают только тягостные чувства. Чтобы играть с ребятами, надо было, во-первых, ходить босиком, и хорошо бы, чтобы на ногах были еще волдыри, парша и даже короста. А я хожу в ботинках, носках, да еще у меня чистая шея — какой из меня игрок? Уличная детвора сторонилась меня, как будто не у них, а у меня была короста. Впрочем, иногда меня тоже приглашали играть, особенно в решку. Конечно же, приглашали потому, что у меня бывало больше стотинок, чем у них, и потому, что я проигрывал их быстрее всех. Ну а потом я снова оставался один. Однажды ребята сжалились надо мной и разрешили играть с ними в городки. Когда подошла моя очередь, я на радостях так замахнулся палкой, что чуть не расшиб голову стоящему рядом со мной мальчишке, и меня тут же пинками спровадили домой. Так что обычно мне приходилось стоять где-нибудь в сторонке и шмыгать носом. Но даже это у меня толком не получалось.

Летом мы иногда совершали походы на скотобойню, на реку и даже в квартал Подуяне — нам он казался концом света. На обратном пути делали набеги на огороды: воровали огурцы, кольраби, земляные груши, иногда прихватывали кочан капусты.

Но особым развлечением были для нас походы в главную государственную больницу, где лечили проституток. Больница состояла из отдельных одноэтажных корпусов, окрашенных грязной охрой. Венерическое отделение было самым отдаленным. Я не имел понятия, что это за болезни. Да и сами проститутки считали, что они попали сюда по дурацки. Все они были ужасно нехороши собой — таких некрасивых женщин мне больше не доводилось видеть. Обычно они стояли за зарешеченными окнами, ухватившись мясистыми руками за ржавые прутья. По преимуществу они были толстые, но встречались среди них и худые, как скелеты, с лиловыми опухшими лицами. Потом их лица являлись мне даже во сне. Апатичные, равнодушные, разговаривали они грубо, а матерились так забористо, что у мальчишек от удивления челюсти отваливались. И все как одна были накрашены, точнее — разукрашены так, словно собрались на карнавал. Яркие губы, бледные лица делали их похожими на вампиров. Как ни странно, я ни разу не испытывал к ним жалости.

Обычно мы ходили к проституткам целой гурьбой — нам нравились их дразнить. Но мы с моим другом Ваней довольствовались ролью публики. Мальчишки же кривлялись и таращили глаза так ловко (Гошо умел выворачивать веки и корчить страшные рожи), что выводили женщин из себя. Некоторые просто уходили, а те, что постарше, крыли нас почем зря. Но в общем-то, они привыкли к нашим проделкам. Кое-кто из женщин даже улыбался, завидев непрощенных гостей под окнами. Как мы ни дразнились, они все же предпочитали глядеть на нас, чем на унылое поле с железнодорожной насыпью. Уже позже, когда я понял, кто были эти проститутки, я не мог простить себе нашу детскую жестокость.

Затем мы стали ходить на скотобойню. Уже на мосту до нас долетал отчаянный рев животных. Сначала мы цепенели от этих звуков, потом привыкли к ним, как привыкли к нашим издевательствам проститутки.

В те годы животных убивали не так, как сегодня. Их убивали откровенно, деловито, как собирают яблоки или свеклу. Хватали за недоуздок и без всяких тапчили к плахе-чурбану. Животные ревели, упирались, а мясники валили их на землю и закальвали громадными ножами. Мясники привыкли уже к хрипам и предсмертным кон-

вульсиям и делали свое дело, как любую будничную работу. Очевидно, они не знали, что природа не только все видит, но и запоминает навек. Что это зрелище поглощается их клетками, запечатлевается в хромосомах, располагается, как у себя дома, в спиральных рибонуклеиновой кислоты и что рано или поздно память природы отомстит своим одичавшим сыновьям.

Многие из мясников жили в нашем квартале. На нас они навели страх. Как правило, ходили они небольшими группками, и мы распознавали их еще издали по запаху запаху за запаху за запаху огромным ножам и залубеневшей от крови, точно брезент, одежде. Даже слепой узнал бы их по исходившему от них запаху смерти и тления. Обычно из бойни мясники направлялись прямо в корчму. Пили допоздна, вусмерть, часто дрались. Иногда побоища заканчивались жестокими увечьями и даже убийствами. Не многие порядочные люди решались зайти в корчму на Кладбищенской, хотя там и готовили вкуснейшие колбаски. Несколько лет спустя, уже гимназистом, я хаживал туда с друзьями. Теперь мясники казались мне не страшными, а скорее жалкими, беспомощными и грустными. С нами они вели себя приветливо. Это были уже не прежние мясники, а смиренные и дряхлые старцы. Да и вся зловещая улица, по которой провозжали в последний путь самых знаменитых людей страны, в моей памяти осталась пропитанной вкусным запахом фаршированных колбасок, а не запахом ладана и свечей. Да, таков мир: рано или поздно страшилище превращается в чучело. Но в то время именно из-за мясников о нашем квартале пошла худая слава, постепенно в нем перестали селиться приличные люди, и каждый вновь выставивший в нем дом был все беднее и неказистее.

Но возвратимся к нашим походам. Недалеко от скотобойни был канал. Цвет воды в нем то и дело менялся: он становился кровавым, когда в нем мыли ободранные туши животных, и желто-зеленым, когда очищали их огромные желудки. Железными крюками, а то и прямо руками, мы ловили в этой вонючей воде требуху. Естественно, больше вылавливали те, кто стоял ближе к воде. Меня же всегда оттесняли назад ребята постарше и посильнее, хотя я и ловил требуху не для себя. Я ловил ее ради спортивного интереса и потом отдавал ребятам, которые таскали это добро домой целыми ведрами. Разумеется, не для того, чтобы есть самим (хотя кто знает), а чтобы скормить курам. Куры в нашем квартале водились такие откормленные, каких я нигде не видел. А откормленные требухой петухи становились такими воинственными, что свирепо дрались меж собой, а порой нападали даже на людей.

Как правило, требуху мы ловили с утра, а потом шли купаться. Купались в реке — естественно, в нее вливался и канал. Наша река не была похожа на сельские реки — с чистыми заводями, поросшими цветами берегами, зелеными излучинами. Она отбегала от скотобойни на несколько сот метров и внезапно обрывалась, точно отсеченная ножом. Затем вода падала с приличной высоты в водоем — мы еще называли его бумбако. Не старайтесь найти это слово в толковом словаре. Его породил наш мальчишеский восторг. Течение в реке было слабое, вода больше крутилась на одном месте и совсем подмыла отвесные берега. Сдохшие куры, мусор, кровь и дерьмо с ближайшей скотобойни — все это вертелось в воде. В этой же воде мы купались, точнее купались мальчишки, а я довольствовался тем, что наблюдал за ними. И не потому, что брезгвал, — просто я не умел плавать. Но ребята храбро лезли в воду, поднимая такой гвалт и возню, что брызги летели во все стороны. Вода пенилась, кипела, они были безумно счастливы. Сейчас я ужасно жалею, что ни разу не окунулся в реку. Может быть, я стал бы неуязвимым, как Ахиллес или Зигфрид, — правда, от всепроникающей подлости никому еще не удалось защититься. А пока ребята купались, я смиренно

стоял в стороне и шмыгал носом — от этой привычки я не могу отделаться всю жизнь

В то время мой отец владел отелем. Человек он был до удивления непрактичный, чем резко отличался от обычных мещан. Он не умел отделить воображаемое от реального. «Пальма», его отель, по тем временам был сравнительно чистым и дешевым, и находился он в очень удобном месте — на Львовом мосту. Но даже это обстоятельство не меняло положения дел. Словом, дела шли неважно, денег едва хватало на то, чтобы покрыть расходы, о прибылях и говорить не приходится. Чтобы сэкономить на стирке, мама стирала белье сама. Это был самый трудный период в ее жизни. Свою красивую, образованную маму я на всю жизнь запомнил склоненной с утра до вечера над корытом и утюгом.

Отец вечно боялся разориться и поздними зимними вечерами ходил на мост, чтобы позвать постояльцев, прибывших в Софию вечерним поездом. Хотя трамваи еще ходили, немногочисленные пассажиры тащили свои пожитки на себе, стараясь сэкономить даже на этом.хлопоты отца большого успеха не имели.

— Теплый дешевый отель, прошу!.. Теплый дешевый отель! — зазывал он пассажиров.

Вот до чего дошел потомок средногорских повстанцев, гайдуков и революционеров.

Зато одна за другой развенчивались его наивные политические иллюзии — в каких только партиях он не состоял, и во всех крайне недолго. В те трудные годы в отеле отца хранилось оружие военного центра. Я хорошо помню покушение в кафедральном соборе в 1925 году. В тот день мы с отцом сажали у себя в палисаднике (у нас уже был собственный дом) цветы и лук. Внезапно страшный взрыв потряс всю округу. Я вздрогнул, поднял глаза. Где-то в районе центра словно из мощного кратера вулкана в небо поднялся столб огня, взлетели куски ограды и крыша собора. Изумленный, я посмотрел на отца. Лицо его было мрачно, но на нем не было ни тени удивления или испуга. Не проронив ни слова, он ушел в дом, переоделся и на целых два месяца исчез. Возвратился он уже после того, как отшумели самые жестокие и кровавые в истории болгарской революции дни.

Страшное это было время². И не только для взрослых, но и для нас, детворы. Прекратились игры — квартал точно вымер. Военные и штатские сновали по городу, как ищейки, страшные «черные вороны» с ревом носились по улицам днем и ночью.

Я упомянул о нашем доме, и мне хочется рассказать, как нам, несмотря на нашу нищету, удалось приобрести его. В те годы одной из самых болезненных проблем был так называемый жилищный вопрос. После окончания войны приток жителей в Софию резко увеличился. В основном это были неимущие разорившиеся крестьяне, пришедшие в столицу в надежде найти кров и пропитание. К ним присоединилась армия беженцев с утерянных нами земель. Люди прибывали целыми семьями с нехитрым своим скарбом, не подозревая, что отныне обречены на нищенское существование, поскольку плата за жилье пожирала все их средства.

Это послужило началом массового грабежа государственных и общинных земель. За одну ночь на пустующих землях возводили целые кварталы грубо сколоченных бараков (некоторые строили потом на их месте жалкие кирпичные и глинобитные дома). Были та-

² Имеются в виду бесчинства фашистской диктатуры, пришедшей к власти после подавления антифашистского восстания в 1923 году.

кие пустыри и неподалеку от нашего квартала. Прямо за Дунайской улицей простиралось заброшенное поле. На него-то и нацелились софийские бездомные. Разумеется, строительство велось организованно. Если какой-нибудь несчастный строил дом на общинной земле в одиночку, дом его был обречен. Мигом налетала пожарная команда и ломала постройку. Поэтому кварталы возводили буквально за ночь. Так дошла очередь и до нас. За ночь по тихой окраинной Дунайской улице проехали сотни подвод со строительными материалами. Под окнами слышался скрип колес, конский топот — казалось, по улице проходит целая армия. Я встал и подошел к окну посмотреть, что творится на улице. На пустынном до той поры поле светилось множество огней. Там, где когда-то мерцали бледно-голубые огни светлячков, сияли сотни, тысячи огней — это были фонари, освещавшие стройку.

Разумеется, бездомные строили свои дома не сами. Каждый сторговал себе опытных мастеров-трынчан³, притом больше, чем при обычном строительстве. Всю ночь звенели топоры, визжали пилы. А наутро изумленные жители старого квартала увидели настоящее чудо. Рядом вырос новый квартал, правда дома в нем были одноэтажные, деревянные, и все-таки это был квартал. Весело адело море марсельской черепицы на крышах, сверкали белизной занавесочки на окнах. А на рассвете наше имущество погрузили на телегу и перевезли на новое место жительства. Я сначала не мог поверить — неужели это настоящее жилище? Крыша над головой была, но стены стояли нештукатуренные. Сквозь щели виднелись дома нового квартала, кое-где уже дымились трубы: матери готовили завтрак своим проголодавшимся детям. Новый квартал жил полнокровной жизнью.

Когда прибыла пожарная команда, брандмейстер Захарчук не верил своим глазам. Такого массового нашествия бездомных еще не было. Да и как сломаешь целый квартал? Но закон есть закон. Пожарные неохотно взялись за дело. Поднялся невообразимый шум, гвалт. Дети плакали, женщины ругали пожарных на чем свет стоит, мужчины мрачно стояли в стороне. Рухнул первый дом. Пожарные направились ко второму.

А в это время делегация бездомных во главе с моим отцом уже была в кабинете премьер-министра Александра Стамболийского⁴. Начали они с того, что бездомные, в сущности, разоренная сельская беднота, чьи интересы он призван защищать. Вдобавок делегаты решили назвать наш квартал именем Стамболийского. Они вполне могли не прибегать к подобным хитростям премьер-министр и сам хорошо понимал, почему бездомные вынуждены захватывать земли. Однако неприкосновенность земель, как государственных, так и частных, гарантировалась законом и конституцией, и с этим нельзя было не считаться. Но Стамболийский разобрался в сложной ситуации, принял правильное решение и отменил на свой страх и риск разрушение квартала. Пожарные убрались восвояси, народ торжествовал. И победа эта была предвестником победы народной власти.

Однако последствия этого переселения, во всяком случае для нас, были более чем плачевными. Из столичных граждан, живших в современных благоустроенных домах, мы вдруг превратились чуть ли не в кочевников, нам приходилось обходиться без воды, канализации и освещения. Даже адресов и то у нас не было. Словно по маговению волшебной палочки мы оказались вне цивилизованного общества. Наш квартал был лишен всех прав и стоял вне закона. Вот

³ Жители села Трын на западе Болгарии, известного своими плотниками.

⁴ Лидер Болгарского земледельческого народного союза, защищавшего интересы крестьянства. С 1919 по 1923 год премьер-министр правительства Болгарии, проводил буржуазно-демократические реформы. Убит после фашистского переворота 1923 года.

тогда-то я впервые понял, что значит настоящая бедность. На постройку жалкого глинобитного домика ушли все наши средства. И теперь наша семья, которая за это время увеличилась еще на двух человек, ничем не отличалась от остальной бедноты. Я был уже не прежний разнаряженный мальчик. Как и остальная детвора, теперь я снимал ботинки в конце весны, чтобы надеть их снова только в начале учебного года. Как и у остальных, мои ноги тоже покрылись многочисленными ссадинами и цыпками.

Но перед этим еще два события потрясли меня до глубины души. По сравнению с ними раны на ногах — ничто, хотя следы от них остались и по сей день. Эти события не оставили отметин, но последствия их были более страшные: я впервые понял, что люди вовсе не такие, какими они кажутся. Что за спокойной внешностью часто таится страшная и непонятная жизнь. И вот тогда до меня впервые доносся далекий, совсем глухой плеск моря.

Однажды меня взяли в театр. Было это вскоре после моей болезни. Мама предупредила меня, чтобы я, когда погаснет свет, вел себя тихо и не шумел, не пугался. Мне почудилось тут что-то нехорошее, и я затаил дыхание.

Огни погасли. Поднялся занавес, и открылась залитая светом комната с красивой мебелью и люди в черных блестящих одеждах — такой я еще до сих пор не видел. На душе было радостно, и я подумал: не может быть, чтобы здесь было страшно. Наверное, мама просто пошутила надо мной.

Сейчас уже не помню, что за пьесу давали тогда. Но происшедшее на сцене меня напугало. Люди, которых я видел, не жили обычной жизнью, а страдали, и страдания их были невыносимыми. Они заламывали руки, падали на колени и, рыдая, умоляли друг друга о чем-то. Их страдания были так ужасны, что я невольно вспомнил лошадь. Такая же черная мука струилась и из их глаз. Я испугался и залился слезами.

Домой я вернулся ни жив ни мертв. И с этого дня смотрел на людей с каким-то мрачным, недетским подозрением. Я считал, что они любезны друг с другом только на людях. А оставшись наедине, набрасываются друг на друга и мучают до смерти. Зачем они делают это? Понять этого я не мог. И знал одно: когда-нибудь и мне суждено попасть в этот страшный капкан. И я тоже буду заламывать руки и страдать. В слезах буду умолять кого-то о чем-то, наверняка о чем-то нелепом, диком, несуразном.

А двумя годами позже произошло второе, еще более страшное событие. Оно потрясло не только нас, детей, но и всех взрослых жителей квартала.

На окраине города, в чаще неподалеку от городского кладбища стояла маленькая таинственная корчма. На первый взгляд это было самое тихое, а бы даже сказал, самое красивое место в округе. Помню, там журчала меж низких тополей небольшая речка, но прозрачные ее воды были мертвы: в тенистых омутах не мелькало ни единой рыбки, не прыгали даже лягушки. Я до сих пор не могу понять, откуда она текла и куда исчезла — так внезапно и бесследно, как, впрочем, исчезли после того страшного случая и корчма и деревья вокруг нее.

К корчме можно было добраться по узкой тропинке, вившейся вдоль речки. До сих пор не могу понять, что за болезненное любопытство тянуло нас туда. Наверное, нас манила таинственность корчмы: поговаривали, будто под корчмой живет змея. Мы отправлялись к корчме всегда молча. Никогда не подходили близко. Мы знали, что в корчму ходят мясники с ближайшей скотобойни. Корчма была приземистая и походила на сельскую избу. Из никогда не запирающейся двери тянуло холодом. Мы останавливались примерно в двадца-

ти метрах от корчмы. И не потому, что боялись мясников, а потому, что боялись змеи.

О змее этой ходили целые легенды. Некоторые ребята утверждали, хотя не видели ее в глаза, что она толстая, как столб, и такая же длинная. Детские фантазии, конечно. Как я сейчас понимаю, в кирпичном фундаменте корчмы жил уж. Корчмарь держал его для того, чтобы охранять свою хибарку от таких непрошенных гостей, как мы. Но корчму охранял, конечно же, не уж, а страх. Мы подолгу стояли, затаясь в кустах, и таращились на корчму. Нам до смерти хотелось увидеть эту змею, хотя каждый был настороже и в любой момент готов был броситься наутек. Мальчишки постарше утверждали, что, если змею разозлить, она набросится на обидчика, обовьется вокруг него, задушит, а потом проглотит. Хотя до сих пор никого в нашем квартале еще не проглотили, мы все верили этим байкам и тряслись от страха.

Однажды с утра пораньше мы направились к корчме. Было нас человек пять-шесть. Тропинка петляла то влево, то вправо, мы ступали очень осторожно. «Кто знает, вдруг она тоже прогуливается по тропинке?» — шутили мы, чтобы прогнать страх, но смеяться никому не хотелось. Мы примолкли, старались ступать совсем бесшумно. И вот тут-то увидели бегущего навстречу нам человека. Человека мы хорошо знали — это был шорник. Одна нога у него была намного короче другой, поэтому на бегу он переваливался — ни дать ни взять маятник. Глаза его вылезли из орбит. Мы тут же решили, что за ним гонится змея, и уже готовы были дать деру, но почему-то замешкались. Заметив нас шорник замедлил свой бег, подбежал к нам и остановился. Глаза его лихорадочно блестели, вид был испуганный и возбужденный. Переведя дух, он прерывисто произнес:

— Вы куда?

— К корчме... — робко ответил один из нас.

— Марш назад! — рявкнул шорник.

Мы уж было собрались дать тягу, как он остановил нас:

— Подождите! Впрочем, идите, если хотите, только не входите в корчму. Туда никто не должен входить. Стойте на улице и никого туда не пускайте.

Кого не пускать? Почему? Да и можем ли мы остановить взрослых? Все это показалось нам нелепостью. Шорник, видимо, заметил наше недоумение и раздраженно добавил:

— Остановите, и все тут! Скажете, что там произошло убийство... Кто туда войдет, тому и придется отвечать. Поняли?

Нет, не поняли. За что отвечать — ведь убийство уже совершенно. Но шорник только махнул рукой, побежал дальше и вскоре пропал за поворотом.

Нам ничего не оставалось кроме как продолжить свой путь. Слишком тяжелое бремя взвалил шорник на наши хрупкие плечи. Мы совсем забыли о змее. Вспомнили, только когда подошли к корчме — одинокой, притихшей, точно к чему-то прислушивающейся. На этот раз окна были закрыты крепкими ставнями, дверь же оставалась распахнутой, но внутри была такая темень, что ничего не разглядишь. Мы долго стояли перед дверью, не говоря ни слова. Наконец кто-то робко произнес:

— Давайте войдем. Посмотрим с порога, что там и как...

Все оцепенели, хотя такая мысль приходила каждому. Только Ваня испуганно произнес:

— А змея?

Какая там змея. Теперь нам было не до нее. Произошло событие во сто крат страшнее... Но у детей любопытство пересиливает ужас. Еще с полчаса мы постояли молча, пугливо переглядываясь. Все ждали — что-нибудь случится, но корчма безмолвствовала. Наконец Си-

мо — лучший игрок квартала в бабки — произнес нетерпеливо:

— Вы как хотите, а я войду!

— Не смей! — крикнули мы чуть ли не хором.

Нет, не испугать мы его хотели, а наоборот — подстегнуть, чтобы он вошел в корчму. Нам хотелось узнать, что там случилось, и рассказать об этом событии первыми.

— Не смей, не смей! — подзуживали мы его.

— А вот и войду. Вот увидите, войду, — повторил он и страшно побледнел.

И вошел. Хотя и не без нашей помощи. Мы толкнули его в корчму и бросились наутек. Отбежав метров десять, остановились и стали ждать. Время шло, а в корчме было по-прежнему темно и страшно. И вдруг оттуда выскочил желтый, как осенний лист, Симо и привалился к дереву. Его тошнило.

Теперь уже ничто не могло остановить нас. Если Симо не побоялся войти один, все вместе и подавно могут войти. И вот, пугливо подталкивая друг дружку, мы ввалились в корчму. Пока глаза не привыкли к темноте, мы ничего не могли различить. Сначала показались поваленные стулья, перевернутый стол, и уж потом нашим глазам предстала страшная картина.

Да, такова моя судьба: самое страшное мне выпало увидеть в детстве. На грязном полу лежало несколько трупов — от страха я не разобрал сколько, — аккуратно сложенных в ряд. Все жертвы были убиты одинаково — как закалывают барашков. Пол залила черная загустевшая кровь.

Мы так и застыли на месте, но тут неожиданный стук напугал нас, и мы бросились на улицу.

На меня тяжело подействовал этот случай. Долгое время я был сам не свой. Никакие врачи никак не могли мне помочь. Отец скрепя сердце согласился отвести меня к знахарке. Знахарка оказалась беленькой кругленькой старушкой, кроткой на вид и ужасно трудолюбивой. Она заговаривала меня с таким усердием, что уже через три дня я действительно выздоровел.

Подробности того зверского убийства остались мне неизвестны. Говорили, что корчмарь тихо и мирно жил со своей семьей, но, на беду, к нему приехал гость — и не откуда-нибудь, а из самой Америки. Убийцы, видно, приняли его за богача. (Каждый, кто возвращался из Америки, невеждам казался толстосумом.) Сейчас я не помню, нашли убийцу или нет. Мое сознание от потрясения вычеркнуло из памяти все подробности. Но сама эта страшная картина навсегда запала мне в душу. Могу сказать одно: в темную корчму я вступил мальчиком, вышел оттуда узнавшим страх человеком. После этого я ожидал от людей всего что угодно.

Этот страшный случай стал последним воспоминанием моего детства. Больше я не помню ничего из жизни нашего квартала. Все остальное, что было потом, как бы затуманилось, померкло.

Сейчас я вдруг осознал, что в те годы у меня не было друзей. Кроме, пожалуй, Вани. Он, как и я, был чужаком в квартале. Учился он в немецкой гимназии, и чего только ему не приходилось за это сносить. Дети просто ненавидели его — может быть, подспудно считали его отступником от родины и веры. К тому же Ваня, хоть ребята и гоняли, как футбольный мяч, его фуражку с надписью «Дойче шуле», отказывался ее снимать. А в придачу к македонскому упрямству у него был еще и живой ум. Он постоянно подначивал меня писать вместе, и, помню, мы написали какой-то роман, но мама сказала, что мы просто-напросто переписали «Тома Сойера». Я знал, что Ваню ждет необыкновенная судьба. Так оно и случилось. Хоть он и был сыном крупного поставщика, Ваня впоследствии стал министром.

В смутных, размытых воспоминаниях тех лет выделяется только одно, его огни светят в них и сейчас. Это заговенье.

Заговенье — красивый весенний праздник, сохранившийся еще с языческих времен. В заговенье повсюду собирают мусор и хлам и сжигают вместе с болезнями и заразой. Но для меня этот праздник символизирует народное будущее.

В нашем квартале готовились к заговенью загодя. Собирали сухие ветки, древесную стружку и сооружали огромную гору, в несколько раз выше человеческого роста. Пролетарские кварталы словно мерялись силами. Самому большому костру доставалась и самая большая слава. Наши же Дразмахленские костры славились по всей округе. Дальние кварталы и то посылали к нам лазутчиков, чтобы подглядеть, как мы складываем костры. Обычно кострами занимались ребята постарше. Они складывали костер с толком, с чувством, с расстановкой. И даже когда в других кварталах вспыхивали костры, наши ребята ждали своего часа. Они-то не спешили, а мы места себе не находили от нетерпения. И только когда вспыхивали жалкие Слатинские костры, зажигался и наш.

Сначала загоралась сухая стружка, затем огонь быстро полз вверх. Я и сейчас слышу, как потрескивает, как жадно пожирает пламя костер изнутри. Затем из вершины костра вырвался огромный огненный зонт и окроплял нас огненным дождем. Языки пламени, казалось, лижут само небо — таким огромным и мощным было пламя костра.

Вскоре друг за другом вспыхивали и остальные костры. И вот уже весь город был окружен огромным огненным кольцом, озарявшим своими кровавыми отблесками небо. Наш пролетарский квартал ликовал.

В центре города буржуи тоже выходили поглазеть на эту необычную иллюминацию. Пока еще они чувствовали себя сильными и смотрели на наши костры насмешливо. Они не понимали, что не пройдет и десяти лет как эти костры вспыхнут в самом центре города, и это будет для них полной неожиданностью.

Острая, как кость

Я просто не заметил, как это произошло, а теперь понимаю: пришло то самое время, когда ребят не занимает ничего, кроме самих себя. Все мы хорошо помним этот период. Но из всех сил стараемся его забыть. Мы забываем о потрясавших нас бурях, об ураганах, кидавших нас из стороны в сторону. Забываем, как мечты и иллюзии принимались нами за реальность. Мы ненавидим эти воспоминания. Насколько сильно мы их ненавидим, ясно уже из того, как мы ведем себя со своими детьми, когда они достигают этого возраста. Раздражаемся, выходим из себя. Не понимаем их, не хотим помочь. Как будто не знаем по собственному опыту, что эти годы решают их жизнь.

И все же как бы ни бушевала буря, как бы стремительно ни несла свои воды река жизни, им не победить нас. Рано ли, поздно ли — каждый сам выбирается на мель, пристаёт к спасительному берегу. По себе знаю, что в этом возрасте человек начинает думать всерьез. И мне кажется, что именно в это время он начинает думать о справедливости. Порой дети чувствуют справедливость и несправедливость настолько остро, что у них это становится навязчивой идеей. Большинство мальчишек судят о справедливости и несправедливости по отношению окружающих к ним. Это, конечно же, не лучший критерий, но не в том суть. Самое важное тут: удастся или нет парню пристать к какому-нибудь берегу? Тогда он спасен.

Откуда происходит это обостренное, чуть ли не болезненное чувство справедливости? Затрудняюсь ответить. Может быть, оно заложено в человеке вместе с инстинктом самосохранения? Но не это суть важно, а то, что каждый, кто поступает несправедливо по отношению к детям, особенно к мальчикам, рискует потерять их навсегда. И добро бы только для себя, так нет же, еще и для общества, во имя которого воспитывает их. Такие раны заживают особенно тяжело, а иногда и не заживают вообще. И нет ответственности более серьезной, чем ежедневная, ежеминутная ответственность учителя за детей, которых он воспитывает. Не может быть хорошим учителем, педагогом тот, для кого справедливость — пустой звук. Он разрушает, вместо того чтобы созидать, отчуждает, вместо того чтобы приобщать. Не страшно испортить машину, пусть и самую дорогую, но испортить человека, сделать из него духовного калеку порой страшнее убийства.

Спустя полвека мне трудно анализировать свои поступки, выяснять, что вывело меня на мой путь. Но с уверенностью могу сказать, что в основе всего лежит чувство справедливости. Первым, в ком я разочаровался, был не кто иной, как господь бог. Современному молодому человеку мои слова могут показаться смешными. А в то время нам ежедневно и ежечасно твердили о всемогущем и справедливом боге. Но обостренное чувство справедливости натолкнуло меня на мысль: «Что это за бог, который терпит нищету, унижения, муки человеческие?» Я уже знал, что такое муки, а чувство справедливости мало-помалу привело меня к идеям, которые обещали уничтожить эти муки. Позже у меня появилась любовь к родине. И любил я ее вовсе не потому, что она прекрасная и обильная, не потому, что другой не будет, а потому, что она — поруганная наша прама-терь, потому что она нуждается в нашей защите.

Кое-кто из современных буржуазных философов называет нашу идеологию философией зависти. Удивительное бесстыдство. Чему нам завидовать? Душевной пустоте? Безмерной алчности? Нет, мы чувствуем себя намного сильнее, талантливее и умнее их. Мы не только не завидуем им, но даже презираем их. И они это хорошо чувствуют сейчас, чувствовали и раньше. Я учился в Первой мужской гимназии — самой элитарной в стране. Во многих классах, в нашем особенно, училось много выходцев из богатых семей. И вот ведь что — все они как были никчемными людьми, так и остались ими по сей день. Конечно, они не испытывали недостатка в булках, какао, шоколаде. Зато мы не испытывали недостатка в идеях. И этого нам хватало.

Помню, когда мы впервые собрались, нас, мальчишек, была всего горсть, но молодежное движение охватило всю гимназию как пожар. Я до сих пор не могу понять, в чем заключался секрет его быстрого успеха. То ли искра была очень жаркой, то ли материал слишком сухой. А может быть, и то и другое. Но пламя в самом деле не знало удержу в своем продвижении. И этот пожар, святой пожар, прежде всего охватил лучших учеников гимназии, ее цвет. Так что кому нам завидовать? И чему?

Хорошо помню нашу первую настоящую схватку. В тот день было назначено собрание общества трезвости нашей гимназии. Руководство этим обществом, естественно, находилось в наших руках, но так называемые патриотические организации сговорились захватить его. Собрание проходило в каком-то мрачном, недостроенном помещении. Когда мы пришли туда, зал был битком набит. Наши противники пришли раньше нас и захватили центральную часть зала, поближе к трибуне. Тогда я впервые понял, как много значит любая схватка, пусть даже словесная.

Собрание, в сущности, было сорвано. «Патриоты» не давали нашим острым на язык ораторам говорить, улюлюкали, свистели, скан-

дировали какие-то лозунги, а когда поняли, что нас этим не проймешь, затагнули «Шумит Марица». Запели очень громко, дружно. Мы переглядывались, не зная, что делать: не петь же в такой обстановке «Интернационал»!

И вдруг кто-то завел «Жив он, жив»⁵. Песню подхватил весь зал, она гремела как набатный колокол. Кое-где начались потасовки, но до массовой драки дело пока не доходило. Мне заехали по носу, я едва не потерял сознание от боли, а мой обидчик, помахивая ножкой стола, благоразумно скрылся в толпе. Меня охватило бешенство, я рванулся вслед за подлецом, но плотная стена тел отшвырнула меня.

Вот тогда-то я и почувствовал нужду в оружии, хотя бы в камне, кости — оружии наших далеких предков. Но оружия у меня не было, и мне не оставалось ничего как запеть во все горло — надо же было дать выход своему бешенству! Но бесполезно! Куда там... Что это за утешение и что это за битва — соревноваться, кто кого перепоеет?

Делать было нечего — мы вышли с песней на улицу. Смеркалось. Двое конных полицейских, равнодушно оглядев нас, обогнали, не сделав никаких замечаний. Тогда еще не запрещалось петь «Жив он, жив».

Быстрые успехи вскружили нам голову, сделали самоуверенными, неосторожными. И полицейские без всякого труда послали к нам провокатора. Однажды утром наш дом окружила группа полицейских. Они произвели обыск, нашли компрометирующие материалы. Увы, с законами конспирации мы тогда еще были мало знакомы. Меня арестовали и отвели в полицейский участок. Посадили в одиночку и вскоре вызвали на допрос. Своими нелепыми ответами я сумел довести до бешенства печально известного Гешева — и этим я гордился больше всего. На вопрос, откуда у меня взялась нелегальная литература, я ответил: «Купил у уличного торговца» (в то время книги действительно продавали прямо на улицах с двуколок, как зелень или галантерею). И сколько ни хлестал меня по лицу Гешев, я упрямо повторял эту фразу.

Видимо, желая наказать, а может быть, и запугать, Гешев после допроса велел перевести меня в другую камеру, которая была рассчитана на двоих. Мой сокамерник, связанный по рукам и ногам, напоминал какой-то куль. Дверь закрыли, и я остался один на один с этим несчастным. Едва глянув на его лицо, я понял, кто это. Моим сокамерником оказался кумаршийский убийца. Я уже знал о нем из газет, там описывались его злодеяния: спяну он схватил топор и зверски зарубил многих односельчан.

Страшнее дня и ночи, проведенных в этой камере, не было ничего в моей жизни. Даже воздушная бомбардировка Софии не переполняла меня таким ужасом, какой я испытал тогда в камере. Обросший, в одежде, испятнанной засохшей кровью, убийца был мне мерзок. Остановившись посреди камеры, я смотрел на него, трепеща от ужаса. Лицо у него было погасшее, безразличное. В волнении я заходил по камере из конца в конец, мне казалось — если остановиться или сесть, произойдет что-то страшное.

Так я проходил, может быть, час. Тревога истощила мои силы, я уселся на пол лицом к убийце, чтобы не спускать с него глаз. Он тут же посмотрел на меня. У него был самый обычный взгляд. В нем не было ни зла, ни ярости, даже муки не было — в этом взгляде сквозило лишь чувство подавленности, какое испытывает, наверное, каждый связанный по рукам и ногам человек. Я опасался, что он заговорит со мной. что-нибудь попросит — скажем, воды. Но он ничего не попросил и ничего не сказал.

⁵ Песня на слова Христо Ботева о национальном герое Болгарии Хаджи Димитре (1840—1868), боровшемся за освобождение Болгарии от османского ига.

Спустилась ночь. Я не сомкнул глаз. Все казалось: если я усну, он развяжет веревки. Мне была ясна нелепость этой мысли, но спать я все равно не мог. Лампа светила еле-еле, мне чудилось, будто я в каком-то нереальном мире. В конце концов я не выдержал и пересел к нему за спину, решив, что уж лучше не видеть его лица. И вскоре окровавленная рубашка убийцы, разбитая голова, слипшиеся волосы стали вызывать у меня не страх, а жалость и сострадание. Зверь перестал быть зверем, а стал жертвой — несчастной, обреченной на гибель жертвой.

И тогда-то я подумал: в ком, в сущности, жив человек? В том, кто распят на кресте, или в этом, кто связан, как кровавая колбаса? И не я ли это лежу на полу? Несмотря на свою молодость, я смутно понимал, что стена, разделяющая нас, не такая уж непроницаемая. Может быть, мы оба связаны — только разными веревками, а в общем-то, суть у нас одна. И я убивал, хотя только в помыслах своих. Ведь убивал же я, скажем, того же Гешева. Я всаживал в него и пули и клинки, сжигал его специально придуманными для того лучами и, ликуя, смотрел, как он горит, точно крыса. А так ли далеко от мыслей до дел?

С такими мыслями и впрямь трудно уснуть. Что толку оплакивать наши муки, сострадать им? Надо искоренить их. Будь я богом или хотя бы всеильным, я бы немедленно искоренил их. А потом? Что станет тогда с нами? Не превратимся ли мы в каплунов, ленивых и грустных холощенных котов?

Утром меня вновь вызвали к Гешеву. Он посмотрел на меня с издевкой, но все же в его взгляде просквозила жалость. Тогда еще он не озверел окончательно. Он обращался со мной не как с врагом, а как с дураком, который сбился с пути.

— Ну, как поживалось? — спросил он.

— Спасибо, хорошо.

— Неужто? — засмеялся он. — Раз так, я распоряжусь, чтобы в эту ночь твоего напарника развязали.

— Это как вам угодно, — спокойно ответил я.

Я действительно сумел произнести эту фразу спокойно. Хотя внутри у меня все трепетало, а притворяться я тогда еще не умел, я не мог спасовать перед врагом. Чувство собственного достоинства было тогда у меня, у мальчишки, сильнее голоса разума, сильнее страха.

Гешев смотрел на меня, о чем-то размышляя. Видно, ренал, добить меня или нет. Приобрести еще одного врага или подождать, пока я не испугаюсь и во мне не заговорит благоразумие.

— Слушай, ты ведь сын зажиточных родителей! — сказал он. — Что у тебя общего с этими оборванцами?

В ту пору мой отец снова занялся какой-то неудачной торговлей.

«Что сказать Гешеву? — пронеслось у меня в голове. — Может, крикнуть, что мой дед был революционером?» Но тут во мне заговорило то самое благоразумие, на которое он надеялся.

— Идеи, господин Гешев, — тихо ответил я. — Человек не может без идей. И потом, еще Христос сказал, что люди должны быть равными.

— Это что, написано в твоей книге? — злобно выкрикнул он.

Я и запомнил, что среди моих книг имелась одна с наивным названием «Существует ли Христос?».

— Так написано не в моей, а в его книге, — ответил я.

— Кто бы это ни говорил, все равно глупость. Станешь взрослым, сам поймешь что к чему. Тебе захочется превзойти других.

Я, разумеется, мог ответить ему: «Превзойти чем — умом или силой власти?» Но счел за благо помолчать.

Назавтра меня освободили. Возвратили по описи все конфискованное накануне и выставили на улицу. Многолюдье оглушило меня, я щурился от солнечного света и, наверное, был похож на кота, которого вытряхнули из мешка в незнакомой ему местности: он стоит в надежде услышать знакомые звуки и не знает, выйдет ли на верный путь.

Я побрел через Львов мост, зашел в молочную, когда-то принадлежавшую отцу. Сел за мраморный столик, заказал молоко и булку. Хмурая женщина принесла заказ, молча поставила передо мной и удалилась. Я ел медленно, с удовольствием. Только теперь я по-настоящему понял, как невыносимо лишиться свободы. Насколько приятнее попить горячее молоко и есть хрустящую венскую булочку.

Когда я стал расплачиваться, одна монета упала на пол и покатилась. Я наклонился, чтобы поднять ее, и, как ни странно, ничто не кольнуло меня. Куда девалась острая кость? Неужели я потерял ее там, в тюрьме?

* * *

Долгие годы для меня не было ничего дороже синего камня. И все-таки в один прекрасный день я его потерял — так же неожиданно, как и нашел.

Я никогда не расставался с ним. Но смотрел на него лишь изредка. Его мягкое сияние пугало меня, переполняло мою душу мукой. А в те годы муки в жизни было и так слишком много.

Война приближалась к неизбежному концу. Я уезжал на фронт в Венгрию. Камень, как всегда, лежал у меня в верхнем кармане гимнастерки завернутый в кусок черного сатина. Всего раз я посмотрел на него за все то время, что воевал. Немцы прорвали тогда наш фронт у Дравы. И вот смотрел я на него и не верил своим глазам: камень сверкал так, как не сверкал еще никогда. «Неужели эта война никогда не кончится?» — подумал я с отчаянием.

Тяжелее ночи мне не выпадало на фронте. Нас вызвали в штаб армии — низкую одноэтажную постройку. Она содрогалась от артиллерийской канонады, хотя бой шел в двадцати километрах от нас. Полковник Гилин мрачно сообщил, что этой ночью мы эвакуируемся в тыл, в югославский город Сомбор. Мы не верили своим ушам: отступать, когда Красная Армия уже на подступах к Берлину? Что могло случиться? Уж не пустили ли немцы в ход свое пресловутое «секретное оружие»? От одной этой мысли продирала дрожь.

Раздумывать было некогда, надо было выполнять приказ. Мы погрузили типографию «Фронтвика» и двинулись в путь. Дорога в Сомбор проходила недалеко от линии фронта — по плато Харкан. На нем мы и остановились, чтобы посмотреть, хотя бы издали, на самое большое сражение, в котором когда-либо участвовали болгарские войска. Трудно описать увиденное. Однажды я наблюдал, как горела София после одной из ночных бомбардировок. Горела точно факел, от которого занялось даже черное небо. Но то, что открылось нашим глазам теперь, было за гранью. Огромное кровавое зарево вознеслось над землей как корона. Артиллерийские залпы прошивали ночь гигантскими молниями. Бушевал огонь, лились реки крови. Мы не верили своим глазам. Неужели возможно, чтобы в этом огненном океане сражались обычные люди? Один вид этого зрелища был невыносим. Мы сели в наш дряхлый редакционный автобус и поехали. Оружия нам почему-то не дали: у нас был один пистолет на всех. Если бы нас остановили, перебили бы всех до одного.

А спустя месяц мы уже шли вперед со своей армией по равнинам Южной Венгрии. Прорвали линию Маргит, затем наш правый фланг вошел в Надьканижу. Чистый, приветливый венгерский городок был для нас первым мирным оазисом после военных испытаний. Мы помылись, побрились, сверкали чистотой. Впервые за долгое время почувствовали себя людьми.

Война шла к своему концу. Новости с фронта говорили о полном разгроме гитлеровцев. И все-таки в Берлине еще шли ожесточенные бои. Этот город — символ гитлеризма — в те дни напоминал нам сумасшедшего, не ведающего, что творит. Мы с ненавистью следили за его агонией. Теперь, когда все уже было предрешено, каждая жертва была для нас вдвое дороже, потому что была бессмысленной. Сколько бы ни обращался я к прошлому, не вижу там ничего позорнее этой войны. И, наверное, никогда историкам ее не объяснить, а психологам не проникнуть в ее сущность — слишком унижительны для человеческого достоинства выводы, к которым приходишь.

Мы возвращались к себе в квартиру. Но тут послышалась стрельба. Автоматные, пулеметные очереди, даже залпы орудий.

В чем дело — мы ведь знали, что фронт уже далеко. Может быть, воздушный налет? Да нет, гула самолетов не было слышно. Мы стояли посреди улиц в растерянности, не зная, что предпринять. И тут распахнулось окно в доме напротив и из него высунулся русский солдат.

— Берлин взяли! — крикнул он и, подняв автомат, дал очередь.

В ту победную ночь пировал весь город. Собирались в столовых, в квартирах, прямо на улицах. Все, у кого было оружие, от радости стреляла в небо — салютовали победе. Патронов не жалели. К чему они нужны были нам теперь? Тогда мы все искренне верили, что эта война будет последней.

Наша редакция собралась отпраздновать победу в одной из квартир. Еда, как всегда, была скудновата, зато выпивки — хоть отбавляй: и коньяк и венгерская палинка. Все мы здорово выпили, даже те, кто никогда капли в рот не брал, как Рашо Шоселов, например.

Чуть сегодня я вспомнил о своем камне и подумал: «Как-то чувствует он себя в эту ночь?» Вытащил из кармана сатиновую тряпицу, развернул ее и посмотрел на камень. Он показался мне холодным и спокойным, таким холодным, что я даже обиделся. Ни капли радости не чувствовалось в его сиянии. Напротив, в его синем свете мне почудилась печаль. Что бы это могло значить? Может быть, он скорбел по павшим? Или же считал, что все то, что происходило до сегодняшнего дня, ничем нельзя ни оправдать, ни искупить? В ту минуту я даже возненавидел его. В конце концов, он был частью меня — должен же он был разделить мою радость!

Я засунул его в карман, даже не завернув, как обычно, в тряпицу. Встал, налил себе вина, выпил и тут заметил, что Рашо, бледный как полотно, пошатываясь идет к балконной двери. Он впервые так перепил, и я испугался, как бы с ним чего не приключилось, и пошел следом за ним. Рашо перегнулся через балконные перила, под ним зияла бездна. Тело его обмякло. Одно неосторожное движение — и он свалился бы вниз. Я схватил Рашо за ворот гимнастерки. Но, видно, при этом синий камень выскользнул у меня из кармана. Я тут же спохватился, но было уже поздно. Камень разбился о тротуарные плиты. Разбился, как маленькая звезда, — вспыхнули и погасли голубые искорки. Но мне показалось, что он не разбился, а сгорел от собственных мучений. Я понял, что случилось нечто непоправимое, и радость моя сменилась необычайной пустотой. Я вернулся в комнату. Товарищи мои еще веселились. А для меня пир кончился.

Нет, я пережил потерю не так тяжело, как может показаться. На следующий день я даже испытывал некоторое облегчение. В Венгрии я провел еще два месяца — мирные, спокойные месяцы. Все, кто был там, помнят, какая прекрасная стояла весна — за два месяца ни облачка в синем небе. Много радостных дней пережил я в Венгрии, много незабываемых, радостных впечатлений осталось у меня. И только уже вернувшись в Болгарию, я осознал, как тосковал по своему камню. Невозможно, чтобы то, с чем ты жил не одно десятилетие, вмг исчезло...

Сколь тяжела была для меня эта утрата, я почувствовал, только когда снова взялся за перо. Казалось, я разучился писать — так трудно было возвращаться к своему любимому делу. Я усилием воли заставлял себя сидеть за машинкой, но мысли мои витали где-то далеко. Свет камня, который был для меня вечным огнем жизни — куда более живым и более подлинным, чем моя собственная жизнь, — угас. Вместе с ним угас и вечный огонь. Или же его, этот вечный огонь, занесло пеплом событий, и теперь мне надо было вытаскивать угли из пепла и раздувать огонь? Разумеется, не такое уж это трудное дело — раздуть огонь из углей, достаточно что-нибудь на них положить. Но, может быть, то, что я клал, было еще довольно сырым?

Так или не так, огонь все же разгорелся. Но я смутно чувствовал, что он греет не так, как прежде. Первое время я писал о войне. Мне хотелось выразить подлинные, искренние чувства. Что они подлинные, наверное, заметно по моим книгам. И все же этого недостаточно. Сдается мне, что вместе с камнем я потерял нечто жизненно важное.

Теперь мне было больно, что я лишился своего камня. Я не могу описать пожар, бушующий на фоне солнца. А ведь я сам видел его у Дравы на фоне страшного черного неба. Но, может быть, не нужно описывать пожары? К чему напоминать людям о той страшной ночи? Так я думал в те годы. Вернее, так я успокаивал себя.

Сейчас я часто просыпаюсь по ночам и, затаив дыхание, вслушиваюсь. Не услышу ли вновь ропот моря? Настоящего моря, которое бьется в слепой ярости о скалы. Потом закрываю глаза и жду обесиленный, да, жду, пока не услышу снова плеск его волн. И чувствую, как накатывает могучий прилив, как заливаает он берега — берега, давно ожидающие его. На следующее утро я просыпаюсь взбодренный, подхожу к окну и улыбаюсь. Даже если мое постаревшее израненное сердце остановится, камень будет по-прежнему сиять.

Перевела с болгарского Л. ДМИТРИЕВА.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВАЛЕРИЙ ВЫЖУТОВИЧ

★

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ

1

Место для игры выбрали притаенное, в коридорном прокуренном тупичке. Здесь кончалось настенное царство диаграмм, графиков, портретов передовиков и зовущих плакатов... Даже формальные приметы дела были изгнаны из этой тихой заводя, куда ни по служебной, ни по какой иной нужде начальство не заглядывало. Впрочем, играли не таясь, и всякий, кому пришла бы охота полюбопытствовать, был бы принят — как я, например, — с веселым гостеприимством.

Среди играющих не было женщин, что сообщало игре известную раскованность. С шуточками да подначками шла игра, и те, кто участвовал в ней, являли собой мужское сообщество, сколоченное, будто в дорожной вагонной неприкаянности, с единственной целью — развеять зевотную скуку. Были тут инженеры из конструкторских бюро, разных отделов и служб завода в возрасте примерно от тридцати до сорока, говорливые, в меру остроумные.

Игра (если это игра) запатентована в домах отдыха, она стара и, кажется, бессмертна. Кто знает, какое по счету поколение отдыхающих упражняется в набрасывании резиновых колец на щит, утыканный гвоздями. Но инженерная изобретательность насытила ветхозаветную забаву новейшим содержанием. От гвоздей расходились нарисованные круги, и в центре каждого красным фломастером было означено, чего стоит твое попадание. Такая мишень.

В самом центре — в десятке — сияло: «выпивка». Около теснились «премия», «диссертация», «квартира», «повышение», «отпуск»... По краям шли опасные зоны: «теща», «ремонт», «выговор»... И где-то между кругами рая и ада располагались посулы судьбы, которые в зависимости от личных обстоятельств каждый волен был толковать и так и этак: «свадьба», «развод», «дальняя дорога»...

Где это было? На большом заводе, а на каком именно — не важно, проблема — не местного масштаба.

Инженеров у нас более пяти миллионов. Их ежегодный выпуск — около 800 тысяч. И ежегодно 10 процентов выпускников не доезжают до места назначения, еще 5 процентов уходят с заводов, не отработав и года.

В десятой пятилетке наша промышленность, где занята примерно половина инженерного корпуса, в среднем за год осваивала 3700 образцов новых машин, приборов, оборудования. То есть на один образец новой техники приходится 675 специалистов.

Статистика, экономические реалии, ученые изыскания — ничего не надо, покажите по телевизору (в передаче «Это вы можете»), что за игру изобрели на работе потомки И. И. Ползунова, современники С. П. Королева, и достаточно. Ничего нагляднее все равно не придумаешь. Об отпетых бездельниках ни слова, с ними все ясно. Но сколько инженеров не у дел по причинам, от них независимым! Десятки писем об этом прочтено мной. Вот лишь некоторые; печатаю их без абзацев, ибо это — один документ, одна, общая исповедь.

«Приехал на место. Мучает один вопрос: зачем нашему предприятию, занятому производством шин, понадобились инженеры по вычислительной технике?» (М. Соломович, Езбруйск). «Пишут вам прошлогодние выпускники Новосибирского университета, по специальности физики. Мы числимся в конструкторском бюро, но уже девятый месяц на стройке. На заводе грядет переаттестация: будут выявлять творческий вклад молодых специалистов, развитие способностей, рост квалификации, от чего зависит повышение оклада. Но нам, как видно, это не грозит — работаем на подхвате у каменщиков, штука-

туров, плотников» (Малолыченко, Костин, Повисок, Миронов, Пузирко). «Завод наш маленький, к тому же отстающий. Работаю добросовестно. Даже грамоту получила. А удовлетворенности нет. Затыкаю дырки — старое изношенное оборудование то и дело преподносит сюрпризы. Я писала докладные, инженеров пыталась воодушевить на подвиги. Но они только руками разводят: вот, мол, поставят на капремонт, а пока... Конца и края этому «пока» не видно. Как бороться с рутинной? Как поднять людей на новаторство? Не каждый способен пойти против установившихся традиций, конфликтовать с начальством. И мне ругаться надоело — уйду после отработки. Уйду туда, где можно проявить свои знания. Зачем же тогда пять лет нас ими нафаршировывали? Хотелось бы оправдать надежды, которые на нас возлагало государство, тратя огромные деньги на образование» (М. Логинова, Ленинград).

Георгий Андреевич Кулагин из могикан советской индустрии. Более сорока лет по заводам, из них десять был генеральным директором Ленинградского станкостроительного объединения имени Я. М. Свердлова. Знал лично строителя гидропланов Д. П. Григоревича и корабела А. Н. Крылова, видел в деле металлурга И. П. Бардина, работал с С. П. Королевым. Георгий Андреевич сравнивает современного инженера со спецами начала века, носившими форменную фуражку с молоточками, с теми, кто пробил тоннели в горах Кавказа, перекинул мосты через Волгу, проложил великий сибирский путь, создал лучшие в мире паровозы: «Меня могут упрекнуть в непонимании современного характера технического творчества, указать на то, что эпоха творцов-одиночек давно прошла и теперь новая техника создается коллективными усилиями. Но я действительно не могу понять, когда в ином НИИ или КБ сотни инженеров по десятку лет подряд трудятся «на полку», и не возмущаются, и сами не слишком жаждут увидеть свой труд «в металле». Меня смущает, когда молодой инженер-краностроитель, прекрасно владеющий техникой, расчетов, не может на глаз отличить двадцатитонный крюк от пятидесятитонного. Два моста через Неву расположены почти рядом. Один из них — Большеохтинский — построен семьдесят лет тому назад, но его разводной пролет до сих пор исправно работает без серьезных ремонтов. Мосту же Александра Невского нет еще и десяти лет от роду, но его разводной пролет уже третий год находится в перманентном ремонте и «модернизации». Старый инженер, как мне кажется, ошибался реже».

Обратим и мы взгляд свой на берега Невы. Куда же еще, если в городе 300 научных, конструкторских, технологических, проектных организаций, каждый десятый в стране работник этой категории — ленинградец. Здешний опыт в решении назревших вопросов нашей экономики высоко оценен и станет своеобразной «школой для промышленных предприятий строек научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских организаций...». Потому-то именно в Ленинграде начался эксперимент по совершенствованию оплаты труда конструкторов и технологов. Тоже своего рода мост. От того, как есть, к тому, как надо.

2

Приказы отдаются скорее и охотнее, чем выполняются. Известно и другое: чем безнаднее приказ, тем он более грозен.

«Несмотря на многочисленные приказы и распоряжения последних лет (лет! — В В.) о курении только в специально отведенных местах отдельные сотрудники ВНИКИ СЧПУ нарушают их. Так, систематически в коридорах третьего, четвертого этажей и в холле второго этажа курит старший инженер Снисаренко Александр Борисович. Неоднократные обращения к Снисаренко А. Б. результатов не дали, курение продолжается. Приказываю: 1. За систематическое нарушение правил противопожарной безопасности старшему инженеру Снисаренко А. Б. объявить выговор. 2. Предупредить под личную ответственность всех начальников отделов зав. секторами и весь личный состав о недопустимости курения в коридорах и холлах ВНИКИ СЧПУ... За нарушение данного приказа виновные будут строго наказаны. Зам. директора института А. А. Корбут».

— Наказывали? — спросил я Алексея Андреевича.

— Не за что, — ответил он. — С курением теперь все.

И открыл наконец настоящую причину победы над коридорными курильщиками. Причина проста и весома — некогда. Победа же завоевана не приказом, а волей и логикой начатого эксперимента. И потому оставим нарушителя правил противопожарной безопасности старшего инженера Снисаренко А. Б. Нас теперь более занимает не он,

а новые условия его труда, в которых курить — не только здоровью вредить, но и вредить делу, своему карману, собственной репутации.

ВНИКИ СЧПУ — это Всесоюзный научно-исследовательский конструкторский институт систем числового программного управления. Он входит в объединение «Ленинградский электромеханический завод», где делают электронные управляющие машины, программные устройства для металлорежущих станков, для промышленных роботов.

На восемнадцатом километре Петергофского шоссе (если от Ленинграда) берете вправо — и вы на берегу пустынных волн. Залив дышит в окна корпусов холодным покоем, тревожит душу криками чаек, омывает соленым ветром бегущие к небу стеклянные этажи.

От пишущих машинок — звон куда! Ну да, ведь было: лично С. М. Киров в 1930 году внес предложение в ВСНХ о создании первого отечественного «Пишмаша». Ни опыта, ни специалистов, и — огонь на себя! Бестактно писать — «скопировали», надо бы — «взяли за основу модель», но чего уж теперь, если более полувека назад не от большого нахальства, а от большой нужды с натуры снимались чертежи знаменитой машинки «Континенталь».

Машинку назвали «Ленинград», десять лет выпускали ее. В сорок первом она отстучала себе приговор: приказ заводу об эвакуации. Бывший «Пишмаш» оказался на временно оккупированной территории, труба завода стала немецким наблюдательным пунктом, с нее корректировался огонь по осажденному городу. Наша полевая артиллерия била по этой трубе прямой наводкой, пока труба не рухнула, вздыбив облако красной пыли.

После войны ударили по заводу перемены профиля: с ремонта грейдеров перешли на выпуск торфодобывающих машин, потом на производство пультов управления, затем на выпуск бытовых электросчетчиков...

Словом, чего там, Ленинградский электромеханический — завод смелый, обстрелянный, приученный принимать огонь на себя. Идущий здесь эксперимент — доказательство все того же.

3

— Две минуты ликбеза, — говорит Игорь Лаптев и ведет в лабораторию, название которой предупредительно диктует мне в блокнот: лаборатория устройств позиционно-контурного программного управления промышленными роботами. И сразу ясно, что две минуты об этом — даже не ликбез.

— Писать ничего не надо, лучше послушайте, это же так просто. Все промышленные роботы делятся на два типа. Цикловые — это когда задана определенная последовательность движений, допустим, поднять — опустить руку, или, скажем, взять — положить, взял — положил. И контурно-позиционные, те посложнее. Погрузить, разгрузить, подать деталь в станок, покрасить, выполнить сварку... А четыре года назад, летом, наши выезжали в Киев. Там в институте Патона испытывали устройство управления роботом-сварщиком, стояла страшная жара... Так что вы думаете? В перерывах робот раздвигал по стаканам минеральную воду и подавал...

Смех смехом, но главное понято: здесь создают не промышленных роботов, а новые образцы устройств для управления ими. Разработать проектную документацию, родить два-три опытных образца, провести испытания... Еще короче: придумать устройство, довести до серии.

Остается представить инженера Лаптева, добродушного, с виду несколько хмуроватого, с большими сильными руками и детским выражением незащищенности за стеклами очков.

Ему тридцать четыре года. Одиннадцать лет назад он окончил геологический факультет Ленинградского университета, у него редкая специальность — ядерная геофизика. Был верен ей несколько лет, работал начальником геофизического отряда. Наездами в Магадан, Крым, Карелию... А жил в Ленинграде, сначала — университетская кафедра, затем Институт земной коры, должность и скромный оклад старшего инженера. Когда родился второй сын, Алеша, а первому, Илье, исполнилось пять лет, решили строить трехкомнатный кооператив. Неподъемную для молодых часть первого взноса взяли на себя родители, прочее было за Игорем...

Дом возник на Петергофском шоссе, до завода десять минут на трамвае. «По вашей специальности нет ничего», — сказали в кадрах. Игорь рассеянно покивал: понимаю, понимаю... Извинился, вышел, потоптался за дверью — и снова: «Разрешите? Готов дать расписку, не слоужу — уйду без звука».

Без звука, однако, не обошлось, о Лаптеве вскоре заговорили. Через два года он вырос до старшего инженера, еще через год стал ведущим конструктором.

Как он теперь? Что будет с ним завтра?

Эксперимент ответит.

В подопытные определены пять ленинградских предприятий: «Электросила», Ижорский. Невский, Металлический и Электромеханический заводы. Эксперименту задана цель — «повысить ответственность и материальную заинтересованность работников конструкторских и технологических служб этих объединений в повышении технического уровня и качества разработок, снижении металлоемкости, трудоемкости и энергоемкости продукции, а также в выполнении большего объема работ с меньшей численностью персонала».

Пробил час расставания! Для тех, кому работа хомут, отбываловка, — с заводом; для тех, кто, вроде Лаптева, выкладывался за сотню-полторы в месяц, — с комплексом неполноценности. Зарплата уходящих — это фонд поощрения остающихся. Чтобы требовать по способностям, надо платить по труду. Хорошая работа без хорошего вознаграждения за нее — как любовь без взаимности: благородно, а счастья нет.

Аттестация — вот слово, которое кому надеждой, кому тревогой легло на душу, когда было объявлено: эксперимент начинается. В нем участвуют только конструкторы и технологи — творческий, словом, персонал. А специалисты цехов? Их пока не коснулось. Худо ли, хорошо мастера тянут свой воз, а коней на переправе не меняют, всему свой черед. Провалить план даже в порядке эксперимента непозволительно.

Около девяти тысяч инженеров пяти предприятий вошли в эксперимент, как в реку: умеющий плавать да выплывет. А неумеющий? Что ж, на то и расчет, ведь сказано же — с меньшей численностью... Оно, кстати, так и выходит: иная штатная единица равна нулю. «Зарабатывая» сто тридцать курением, вязанием, празднословием, она, если учесть моральный эффект, даже не ноль — величина со знаком минус. Нужен отбор. И вот начали.

— На сколько рублей выписываете периодических изданий?

— На сто пятьдесят, — не дрогнув, ответил Лаптев, что было истинной правдой. Он добросовестно перечислил названия. Сначала газет: «Известия», «Комсомолка», «Ленинградская правда»... Потом журналов, среди которых были «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Радио», «Декоративное искусство» (жене, она художник), «Здоровье», «Семья и школа»... И еще пяток. Ответом своим Игорь не подвел вопрошавшего, как и тот своим вопросом не подвел Игоря.

— С подчиненными ладите?

Лаптев дипломатично двинул плечами.

— Это не у меня, у них спросите.

Какие там подчиненные у старшего инженера — неважно.

Пожалуй, сами аттестуемые не менее строго испытывали своих экзаменаторов. На взаимность симпатий, разделенность судьбы. Иля — если не в ладах — на элементарную порядочность: не топить, не валить, не сводить счеты. Голосование, кстати, было тайным.

Лаптев большинством голосов был произведен в ведущие конструкторы.

«Хорошо разбирается в технике, грамотный инженер, рационализатор» — так начинали о Лаптеве, когда он предстал перед комиссией. Знание — сила, но не так силен знающий, как умеющий. Потому-то аттестацией испытывается не степень начитанности, а степень соответствия занимаемой должности.

У Лаптева теперь сто семьдесят пять плюс надбавка. Но аттестация же распорядилась судьбой шести коллег Игоря отнюдь не поощрительно. Их ли в том вина, не знаю.

За что винить В. Б.? За то, что его, настройщика аппаратуры в серийном производстве каким-то ветром прибило к конструкторам, у которых старательность хоть и в цене, да идеи дороже? Идеи не было, а на нет какой суд? Тихо-мирно — обратно в цех.

Как заденешь пером немолодого уже Э Ш., когда он явился к завлабу с повинной «Меня понизят?» — «Обязательно». — «Послушайте, мне уходить некуда. Давайте по-людски...» — и положил заявление: «Прошу перевести меня на должность инженера-конструктора первой категории» А был ведущим Пятнадцать рублей потерял, зато морального капитала прибавилось, в отделе к нему относятся с уважением и не имеют претензий.

Сорок шесть инженеров покинули институт до аттестации.

— Кто почувствовал себя неустойчиво, принесли заявления,— внес ясность Лаптев, и в голосе его не прорезалось даже тайного торжества.

— Если по правде, то мы их обманывали,— тихо казнился другой мой собеседник, Михаил Николаевич Кохановский, заместитель генерального директора по кадрам.— Столько лет ничего и вдруг — прощайте! Это как понимать?..

Однако не до вздохов. Через фильтр аттестации прошли все, кому положено. Отбор совершен, так чего же еще, за работу!

4

Телекамера не очень-то располагает к откровенности. А когда на тебя нацелены сразу три да синхронно пишется звук, тут уж будь трижды бдителен, помни: слово не воробей ..

Пока записывали ответы на вопросы своих же, но как бы непосвященных конструкторов и технологов, Михаил Соломонович Паузнер, начальник отдела труда и заработной платы Ленинградского электромеханического, вел себя осмотрительно. Никакой отсебятини, выдавал как по нотам:

— Источником премирования инженерных работников является фонд материального поощрения, он выделяется из фонда материального поощрения объединения. Общая сумма устанавливается, исходя из утвержденного генеральным директором процента премии к фонду заработной платы по должностным окладам. С учетом надбавок, товарищи, с учетом надбавок. Кому? За что? Каждому, кто заслуживает. За высокую квалификацию — раз. За сокращение сроков работ по важнейшей тематике — два. А за сверхплановые работы? За них тоже.

Все, по сути, было уже записано, шло воспроизведение для телеэкрана. Но когда начинается о насущном, о денежном, мучительно лицедействовать, не захочешь, а выплеснешь подлинное.

— Вы сказали: надбавки, премии... Это сколько? Пятерка? Тройка? Если так, чего экспериментировать, дело привычное...

— Даю справку,— спокойно отвечал начальник отдела.— Минимальный размер надбавки — сорок рублей, максимальный — сто.

— Ого! А если заведутся любимчики? — последовал новый вопрос.

Тут Михаил Соломонович и отступил от текста.

— Обязательно заведутся. У кого, извините, котелок варит, кто не зубоскалит а дело делает, те — да, будут в любимчиках, даю слово.

После этот кусок пленки вырежут, останется про коэффициенты трудового участия, про то, что надбавки назначаются на срок от одного до шести месяцев. И про то что фонд надбавок — величина переменная. Кроме зарплаты уволившихся в него поступают и деньги тех, кто берет отгул или отпуск без содержания. И тех, кто бюллетенирует (тут платит профсоюз). Кто за тебя работал, пока ты болел или отдыхал, тот и получит. Мгновенная реакция: количество отсидевшихся на больничном в объединении сократилось на треть. Рубль подействовал буквально оздоравливающе.

— Значит, убрали лишних — и легче стало? — спрашиваю Белова, заведующего лабораторией. Он конструктор милостью божьей. У него скорый насмешливый ум. Держит дистанцию, но во всем, что касается дела, дерзостно, безоглядно откровенен.

— С чего вы взяли? — удивляется.— Говорил тогда и теперь готов повторить: нас не сокращать, расширять надо. До начала эксперимента было в отделе двадцать шесть человек, осталось двадцать три. Каждый третий — руководитель темы, в работе семь — восемь тем одновременно. Если по три человека на тему, а меньше никак, то явный дефицит людей. Понимаете, де-фи-цит!

Но власть нагруженного приплатами рубля Евгений Кузьмич признал. Перепадает не всем? Всем и не надо, иначе та же уравниловка. А так — опять отбор. Раз, другой тебя обошли — делай выводы. Предметный урок: что заработал, то твое. И прозрачный намек: мало платят — ищи, где лучше. Сурово? А всем поровну — теплосердечнее? Кое-кто — уже ханжеским шепотком: деньги портят, рвачей наплодим... Старый любимый мотив. Сто двадцать за просиживание штанов — это ничего, а заработанные двести — прямо-таки разор души.

Яростная язвительность Белова питается, впрочем, не только казенной осторожностью перестраховщиков, но и неистовым рвением тех, кто, уверовав в эксперимент как в панацею, жмет напролом, не ведая сомнений. Кое-где уже дает о себе знать не-

истребимая страсть к охвату. А. Н. Черняк, главный технолог одного из производств Ижорского завода, делился наблюдением: «Я в одной организации даже график получения надбавок и премий видел. Дескать, чтобы все было поровну в течение года. Этакая благотворительность».

Белов пригласил на работу в лабораторию Марину Сморгину. Она из самых молодых, писала у Лаптева диплом, защитилась на отлично. Брали на ставку сто тридцать, а положили сто пятнадцать. Пятнадцать рублей изъяли в пользу А. Б., который до той поры был просто инженером, а получив дотацию из кармана молодого коллеги, утвердил таким образом не только возрастное, но и служебное свое старшинство. Так надо ли учитывать стаж, определяя, кому сколько?

Доктор философских наук Н. И. Алексеев, будучи сотрудником Института социологических исследований АН СССР, не раз и устно и печатно вскрывал вред уравниловки. В одной из своих статей рассказывает: «На Уральском автзаводе работает конструктором одна женщина. Уже тридцать лет сидит в одном отделе и на одном стуле. Она занимается малой механизацией. Однажды, будучи в лирическом настроении, она вдруг сказала мне:

— Иду вчера по цеху, гляжу в один из пролетов и вдруг узнала: моя кран-балка! В пятьдесят первом спроектировала и поставила здесь! До сих пор работает! А? Погладила ее, постучала, ничего, будет еще долго трудиться! И пошла дальше. И вот так в каждом цехе... Идешь и сталкиваешься: то тельферы, то кран-балки, то малые, то большие мосты — крутятся, двигаются, вертятся! Сколько их через мой стол прошло, сколько я на них сил, нервов, слез истратила! — Вдруг она неожиданно для меня заплакала: — А при аттестации мне, знаете, какую зарплату определили? Такую же, как новичку, который только-только диплом получил. Разве это правильно? Справедливо?»

Несправедливо, неправильно. Нервы и слезы дорого стоят, долготелный гнет служебных стрессов отчасти должен быть снят рублем. Сегодняшний труд того же Лаптева не исчезает, а накапливаясь и отзываясь в завтрашних станках и машинах, питает производительные силы страны. Вот почему всякий стоящий работник вправе претендовать на оплату не только живого, сиюминутного, но и прошлого, овековеченного труда своего.

А будущего? — спросит Марина Сморгина. За будущий, увы, не воздастся ей сегодня. Получая свои сто пятнадцать, она выкладывает и не ропщет на судьбу.

Конечно, способностью генерировать идеи вчерашняя студентка пока не сдюжит против Лаптева. Потому у них и разделение труда: Игорь ищет принципиальное решение, а за Мариной детальная проработка узлов. Вопрос — кто из них полезнее? — несерьезный, каждый получает за свое.

Входит в силу, обеспечивая более справедливую оплату труда, и новая организация производства, введенная на ленинградских предприятиях.

Спрашиваю Лаптева, что, по его мнению, в последние годы наиболее всего било по самолюбию конструктора? Что уводило его с уютованного дипломом пути, заставляя искать счастья на стороне? «Обезличенный труд» — таков ответ на первый мой вопрос, и «низкий престиж инженерного звания» — на второй.

Прекрасно. Но как же тогда понимать вот это?

«Необходимо организовать подрядные инженерные бригады. Им выдается задание, смета, указываются сроки. Все вилки ликвидируются, и оплата труда производится, исходя из выполнения сметы, общая сумма заработной платы распределяется с учетом коэффициента отдачи каждого члена бригады. Коэффициент устанавливается ежемесячно тайным голосованием бригады. Совет бригады распределяет премию» (И. Гольцев).

«Бригадный хозрасчет на конкурсной основе обеспечит необходимую связь труда и оплаты... Также необходим конкурсный принцип получения каждой работы, задания. Для реализации этого принципа нужны технические требования на разработку выдавать нескольким компетентным бригадам, а саму работу поручать той из них, которая берется выполнить ее наилучшим, с точки зрения заказчика, образом...» (О. Кравцов).

Строки взяты мною из почты дискуссии «Инженер и время», которую много лет вела «Литературная газета». Кто авторы? Да сами инженеры! Они, они, чье беспокойство и неудовлетворенность выражал член-корреспондент Академии наук СССР Г. А. Химич: «Причины снижения роли и авторитета конструктора в наши дни, видимо,

кроются в завуалированности его труда в условиях современной научно-технической революции; причем, что вызывает глубокую озабоченность, в ряде случаев эта завуалированность создается искусственно».

Не странно ли? Ученый кроет обезличку, а его подзащитные чуть ли не хором: даешь бригаду!

Однако же ничего странного. Хозрасчетные инженерные бригады не чья-то прихоть — потребность экономики. Знаем же, как туго входят новые разработки в живое производство. У разработчиков железное алиби — консерватизм внедряющих, но и те не приемлют упрека, их оборона — нападение: сами хороши, проекты шлете слабые. Правы, увы, и те и эти. Между ними стена. Не только организационная, а, что хуже, экономическая, финансовая, юридическая. Потому-то и сказано: обеспечить единство интересов и единство ответственности всех, кто причастен к созданию новой техники...

Итак задача. Одна работница подает на штамповку стальной лист, другая его принимает. Спрашивается: чем заменить сей далеко не женский и малопроизводительный труд? Самый технически грамотный ответ: создать машину. И вот собираются технологи, конструкторы, разработчики, представители инструментального цеха (им воплощать в металл задуманное)... Все это на «Электросиле», где, напомню, тоже идет эксперимент.

Эдуард Ефимович Потемкин, начальник бюро штампов, сравнивал былое и нарождающееся.

— Раньше как было? У тебя ум, у меня ум, у него — палата ума, а вместе не сложишь. Теперь — складывается.

Нет, бригада сильна не одним лишь сложением умов. Тут интеграция — талантов, знаний, специальностей. Семь человек создавали приемно-подающее устройство. Поработали три конструктора, приложили руку математик (он рассчитал программу для станка), консультант по металлам, еще кое-кто из специалистов. Самое интересное, в коллеги к инженерам попал Анатолий Николаевич Анисимов, слесарь 6-го разряда. Ему пятьдесят шесть лет, тридцать шесть из них слесарит. Потемкин, когда замещал бригадира, ходил к Анисимову советоваться, чуть что — «Толя, глянь-ка».

Девять месяцев бригада вынашивала машину. Все это время платили им не скупясь, надбавки шли авансом, но никого не остудили, не испортили. Машина работает. Благодаря ей трудоемкость штамповки снизилась на 2360 нормо-часов в год, а производительность поднялась в два раза. Меньше расходуют дорогой электро-технической стали, экономия — 43 тонны в год.

Таких — комплексных — бригад на «Электросиле» пятьдесят две. Направление им задано: ликвидировать сегодняшние огрехи, во-первых, и диктовать техническую политику на завтра, во-вторых. Надеются с их помощью получить 115 тысяч рублей экономии в год, главным образом сберегая металл и живой труд.

И на Ижорском созданы бригады инженеров. Геннадий Алексеевич Шутков, генеральный директор, рассказывал о первых результатах: «За счет чего расширились возможности материального стимулирования в конструкторских бюро и технологических отделах? Прежде всего за счет приведения в действие не работавших раньше хозрасчетных рычагов. Все девятнадцать подразделений, включенных в эксперимент, работают по хозрасчету. Заранее определяются показатели по труду и заработной плате, нормативным затратам и снижению трудоемкости, экономии металла и топливно-энергетических ресурсов. Выполнение этих заданий непосредственно влияет на премирование и размер надбавок для работников отделов, секторов, бюро и лабораторий».

Конструктор был и остается главной фигурой НТР. Но ему нужен человек из цеха. Потемкину требуется Анисимов. Оба они, по Марксу, тот «совокупный рабочий», который един и в усилиях и в ответственности за результат.

Конечно, завод есть завод, контакт инженера с рабочим тут задан самой технологией. А каково конструкторам НИИ? В родных стенах им не добыть в союзники такого умельца как Анисимов, а нужда в нем острая. Искать человека со стороны — нелегкая работа. Но рано ли поздно, ее придется начинать. Ведь неслабоющая тяга инженеров к индивидуальному творчеству, так же как их осознанное стремление в бригады, — знак грядущего. Чем глубже специализация в сфере техники, чем больше новых специальностей рождает НТР, тем сильнее потребность в кооперации инженерного труда. Бригада же — это инженер-у и и в е р с а л.

Примечательное свойство эксперимента: не всегда отвечая на вопросы, он умеет их поставить.

Ленинградский электромеханический, пока не ступил на стезю испытательства, был гордостью отрасли: переходящие знамена, Доска почета ВДНХ, прочие приметы успеха. Первый же квартал в условиях эксперимента и план по номенклатуре и ряду других показателей провалили. Тому были свои причины, какие — нам знать не обязательно, главное, они никаким боком не касались нововведений. Но в умах большинства провал прочно связался с преобразованиями. При этом чувствительно ударило по карману участников противоречие, заключенное в «Положении о премировании», согласно которому вознаграждают «в зависимости от личного вклада», но... «за результаты хозяйственной деятельности объединения в целом». Именно в тот период инженеры из лаборатории Белова напрягались вовсю, рвали жилы, как сказал Лаптев. И... были наказаны лишением квартальной. Личный вклад разрешал им получить премию. Результат в целом перечеркнул это разрешение.

Прошло еще немного времени — и другое открытие: право на дополнительный рубль трепещет в сетях оговорок.

— Оформить надбавку — это коррида, — темпераментно объясняет Михаил Эскенази, коллега Лаптева, молодой завлаб. — Нервы надо иметь те еще. Сначала говорят, нет фонда экономии. Как нет? Двоих сократили, трое неделю на больничном... Доказал, а тебе: есть потолок — средний уровень заработной платы. Выше не получишь. Или еще кричок: не так оформили. Не то и не так, значит, записали в карточке.

А по-моему, есть что-то здравое в упрямом крючкотворстве заводских законников. Ты, как хотел, нацарапал себе норму, а мы плати? Просишь больше, а сделал ли больше?.. В ответ конструктор гордо выложит давно припасенное: моя продукция — идея. Чем и как тут измеришь производительность?

Спору этому нет конца. Чтобы разрешить его, провели эксперимент в эксперименте. На Ижорском заводе трем группам специалистов дали схожие по объему и сложности задания. Одной — не дробя, назначив лишь срок исполнения. Двум другим — в разбивку по неделям и дням, определяя конкретных исполнителей, каждому из которых задан был свой урок. И что же? Первая группа, рассказывал главный технолог с Ижоры, сроки сорвала. А вторая и третья управилась с опережением графика. С тех пор вопрос, нормировать или не нормировать, у них не возникал.

Начальники отделов труда и заработной платы предприятий «Союзсчетмаша» приехали на Ленинградский электромеханический посоветоваться. Эксперимент набрал ход, надо разведать что да как, вдруг прикажут внедрять повсеместно... Евгений Яковлевича Семенова, начальника нормативно-исследовательского бюро, гости замучили вопросами, еле отбился. Курск, Томск, Смоленск — в один голос: дайте нормативы!

— Помилосердствуйте! — молил Евгений Яковлевич. — Самим бы кто дал.

Семенов и его люди наскребли-таки по разным министерствам кое-какие нормативы, изучили — не то. Тогда в каждом отделе «разъяли» технологический процесс на тысячи составляющих его операций. И теперь всегда под рукой «Нормы времени ВНИКИ СЧПУ» — четыре тома в сером самодельном переплете. А всего в объединении установлено около 18 тысяч норм: технологам — 2200, конструкторам — 7900 и т. д.

— Ничего, — одобрил Лаптев, — дело невредное.

— Полезное — так понимать?

— Невредное я сказал, а понимайте как хотите.

После объяснил: не представляет, как это — вогнать в нормо-часы всякое новое задание, которое начнется для него с изучения патентной литературы, а закончится чертежом на миллиметровке с приложенными к нему описанием работы схемы, расчетом элементов и узлов. А в какие границы уложить пять дней в Могилеве, куда его срочно командировали участвовать в комиссии по качеству роботов? И десять дней на подготовку экспонатов для выставки в Югославии? «Едешь в трамвае — думаешь. В очереди стоишь — думаешь. А не так: пришел на работу, рукава засучил — и оседало».

Вот и Белов о том же: «Как-то смотрю хоккей, и вдруг... Или еще был случай — решение мне приснилось... Как нормировать такой труд?»

Белов спрашивает, а у меня эхом от другого разговора: «Как оплачивать такой труд?»

— Как оплачивать? — рассуждал Николай Алексеевич Смирнов, заместитель ди-

ректора института.— Коэффициент трудового участия? Но инженер привык: цех с планом — я с премией, а тут вдруг какой-то КТУ...

Чтобы КТУ вывести, надо быть семи пядей во лбу. Понять, как и за что тебе вывели,— академиком. Несколько коэффициентов стекаются в один — трудового участия. Очень затейливо и непросто. Как понимать, скажем, коэффициент сложности? Это когда в лаборатории Белова техник Лена Бабаева работает за программиста. Ей двадцать лет, она студентка на заочном, скоро диплом, полноценная инженерная ставка и уже никакого коэффициента сложности. Зато всегда есть шанс получить за участие в соревновании. Одно лишь условие: чтобы личный твой план попал в обязательство сектора (коэффициент 0,07), отдела (0,1), объединения (0,15). Цифирки эти лягут в отчет о работе отдела зримым свидетельством неуравновешенности, а на души конструкторов — чувством, близким к смущению. Более сильных чувств «дело невинное» вызвать не может. Вот КТУ Лаптева и некоторых его коллег, взятые мною из сводки за квартал: Бенедиктов — 1,04; Березина — 1,01; Ланина — 1,09; Лаптев — 1; Садовский — 1,09. Полная идиллия, как видите. Ни победителей, ни побежденных.

— Цена одной десятой — три — пять рублей, — пояснил Лаптев. — Чтоб за трояк переругаться!..

Да, платить каждому по труду им, пожалуй, сложнее, чем добиться от каждого по способностям. В распределении заработанного многого только на полпути к желанной цели. Впрочем, плата, даже заработанная, не цель, а средство.

Цель у конструкторов одна, еще указом Петра установленная: «Все прожектыв зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить». Чтобы проекты «зело исправны» были, следует весомо поощрять их авторов. Но если 1800 проектных институтов и примерно 30 тысяч мелких конструкторских подразделений (столько по стране) многократно производят одни и те же изыскания, половина из которых не проверяется, если из разных по форме деталей делаются одинаковые станки и машины, тогда как требуется наоборот: из стандартных — разные, то казне явно чинятся зряшные ущерб и разорение. До идеала тянуться и тянуться. Идеально, когда, скажем, так: «Наши знания и опыт в области современной технологии являются гарантией полного и надежного обслуживания. Наши специалисты изучают и усовершенствуют программирование наших роботов и их применение в новых сложных задачах. Мы обучаем ваш персонал использовать роботов таким образом, что вы являетесь независимыми как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения программирования. Наши роботы находятся в производстве уже длительный период. Безотказная их работа обеспечивается квалифицированным обслуживанием».

«Наша» говорит чужой рекламный проспект — финской фирмы НОКИА, чьи промышленные роботы потому и превосходны, что не соответствуют мировым образцам, а превосходят их. Но спросите того же Лаптева, какую технику жаждут от него, и он ответит: «Не уступающую лучшим образцам в мире».

Это провозглашает не сам Лаптев — Госстандарт СССР, его требования. Комитет метит Государственным Знаком качества изделия неуступающие. О превосходящих параграф молчит. Оно и правильно. Ведь и премии и прочие награды выпадают конструкторам за создание новой техники, которая не уступает чему-то уже рожденному.

— Видите ли, — осторожно начал Николай Алексеевич Смирнов, заместитель директора ВНИКИ СЧПУ, — станки с программным управлением, промышленные роботы — это новая эпоха в нашем машиностроении. В нее ввела нас социально-экономическая ситуация. — Он надел очки, словно собрался во всеоружии посмотреть правде в глаза. — Первое и самое главное — дефицит и высокая стоимость рабочей силы. Второе — всевозрастающая мобильность производства, когда требуется быстрее освоить, быстрее сменить устаревшее. Скажем, в Японии — я там был — некая фирма выпускает ежемесячно четыре типа автомобилей, перестроится с выпуска одного на выпуск другого нет проблем, куда ни ткни — электроника... Японцы делают в год тридцать тысяч станков с числовым программным управлением, а мы около десяти тысяч. Да учтите, станок полезен, когда из-под резца стружка летит. А если его то в ремонт, то налаживать — век не окупится... Станкостроители и электротехники внесли свой вклад в отставание отрасли. Правда, и мы не без греха. Пока что гарантируем безаварийную работу наших устройств в течение тысячи, ну, двух тысяч часов от силы. Надо бы — минимум до пяти тысяч.

Вот она, цель эксперимента! А рубль — в помощь, чтобы «мысль, мечтающую на размягченном мозгу», пробуждал к активной работе.

— Верно, — кивает Николай Алексеевич, — но у нас, как в той басне, всяк тянет в свою сторону. Инженерная братия борется за надбавки, у финансистов один бог — фонд зарплаты, комитет по труду: «Сокращай численность». И нет болеющего за самое главное — качество конструкторской мысли.

Прав он. Качество разработок, этот самый показательный из показателей, пока не имеет опоры. Ни в системе организации инженерного труда, ни в системе его оплаты. Каждый чертеж, передаваемый в цех, прежде читается десятками специалистов. Армия контролеров? Боевой заслон техническому слабому? Если бы... Пропускная способность стражей качества беспредельна, поощряются они из того же фонда, что и труд самих авторов. Ни начальник отдела, ни специалисты, знающие толк в технологичности, надежности, стандартах, — никто не волен остановить проходняк. Разве уж явный брак, кричащая несуразица не получают хода, да и то не всегда. Два права у визирующего — подписать или не подписать. «Да» или «нет», оттенки побоку. Если конструкция так себе, однако соответствует, а улучшение сулит мороку (переделка техдокументации, срыв сроков), чертежи уйдут в производство, аукнется в серии.

Но еще не было случая, чтобы прародитель устройства, смилив гордыню, признал: «Ошибка разработчика». Втереть очки нетрудно, институт защищен от критики и санкций со стороны заказчика полной или же относительной некомпетентностью последнего. Не защищен пока одним — качеством своих разработок.

6

Ленинградские социологи опрашивали выпускников двух технических вузов: «Какую долю вашего труда составляет работа, не требующая специальных знаний, доступная десятикласснику?» «Шестьдесят — семьдесят процентов», — отвечали рядовые инженеры, явно пересаливая: самоуничижение — тоже форма защиты. «Сорок процентов», — не без смущения признали те, кто уже утвердился в начальственном ранге и склонен был несколько подсластить реальность, иначе хоть освобождай кресло, сдавай портфель желторотому отроку.

Много ли, мало помехи крадут, а половину рабочего времени отдают. Обыкновенная аномалия: технологи носятся по коридорам с бумажками, завлабы стучат на машинке, молоденькие конструкторши («Леночка, не в службу, а в дружбу...») подают руководству чай... Все это началось не вчера и будет продолжаться до тех пор, куда в том ли, ином подразделении нашей индустрии либо совсем отсутствуют лаборантки, чертежницы, курьеры, секретари, машинистки, делопроизводители, либо их недостаточно. В ленинградских НИИ на трех инженеров один техник. В конструкторских же организациях города на двух инженеров три техника. Тогда как оптимальным признано иное соотношение: в НИИ — два, а в конструкторских бюро — три-четыре техника на одного инженера.

— Техсервис ненавязчивый, — прошелся Лаптев по наболевшему. — Заказываю в отделе технической информации то, что мне требуется, говорят: «Ждите». «Сколько ждать?» «А пока не найдем». Зарубежные патенты изучить — опять «ждите». Переводят, переводят... Готово, наконец. И выясняется: где-то кем-то проблема уже решена, а ты полгода корчился в муках творчества.

Тот расход времени и интеллектуальной энергии зачтется Лаптеву хотя бы как тренинг, развивающая головоломка, этакий кубик Рубика. Если «душа обязана трудиться», то уж уму, тем более уму конструктора, безделье и вовсе противопоказано. Муки творчества только во благо. Бесполезны не муки — мучения. Отдел стандартизации, единовластный держатель ГОСТов, нормативных документов и технических условий, гонит с конструкторов семь потов. В стране действуют свыше 70 тысяч государственных, республиканских и отраслевых стандартов и еще 137 тысяч технических условий. Они стоят на страже качества твердо и непоколебимо. Что, впрочем, не мешает их постоянному обновлению. Но какому! Ленинградский конструктор Л. Попов пишет: «Очередное изменение ГОСТа 2—104—68 предписывает зоны чертежа обозначать вместо «А2, Б4...» совсем наоборот: «2А, 4Б...» Зачем это новшество? Можно представить себе, как среагируют шахматисты, если им дадут указание записывать ход игры не «Е2—Е4», а «2Е—4Е»... А вот мы, инженеры, вынуждены тратить время на никчемные переделки чертежей, которые выпускаем тысячами».

Рутина держит в узде инженерную мысль, не дает ей прибавить ходу. Ведь это

факт, что за последние полвека производительность труда, скажем, в металлообработке повысилась в десять раз, а производительность труда инженера — лишь на двадцать процентов.

За последние десять лет проектировщиков и конструкторов в машиностроении стало в полтора раза больше, а сроки разработки новой техники не сокращаются. Станки с числовым программным устройством, целые автоматические линии годами в «прогуле»: не готова документация, инженеры не успевают...

На Ленинградском металлическом заводе восемь лет назад с помощью ЭВМ начали создавать программы для станков-автоматов. Двадцать программистов вполне справляются, а не помогай им электронные «коллеги», едва ли справились бы и все сто.

Рабочий технически вооружен лучше инженера — вот диспропорция, которой наша промышленность вчера еще не знала. Сколько надо автоматических станков? «Чем больше, тем лучше» — уже не ответ. Зачем производить свыше того, что можем взять на инженерное попечение? Даже цеховому асу с десятилетней випочем не разгадать тайну настройки.

— Лаптев, ты еще здесь? А ну давай в цех! — эта команда регулярна. Она раздается в конце месяца или квартала. Игорь послушно следует к месту назначения, берет паяльник, включает осциллограф и принимается настраивать очередной опытный образец. Все оттого, что цеховому наладчику либо недостает квалификации, либо она не та, а переквалифицироваться ему недосуг — план дышит в спину.

— Что-то одно, — ставит Лаптев вопрос ребром. — Либо определять техническую политику отрасли, либо паять. За совместительство мне, между прочим, не платят.

Ошибка... Платят за совместительство. Не хотите помочь цеху? А прогрессивку, квартальные, тринадцатую зарплату получать хотите? Не выполним план — будете куковать со своими надбавками и КТУ... Вот подход, достойный не мальчика, но мужа. План, когда он в ажуре. кормилец семьи твоей, инженер, хоть и отчасти, а по рука благополучия в ней и покоя. Игнорировать его — что плевать в колодезь.

— Все равно позор! — стоит на своем Лаптев. На хозработы кого посылают? Конструкторов! Ну, технологов еще. Словом, от кого план не зависит. Живем, можно сказать, по Некрасову.

— По Некрасову? Это как же?

— А так: в понедельник Савка мельник, а во вторник Савка шорник, со среды до четверга Савка в комнате слуга...

...А по пятницам инженеры электромеханического завода метут территорию.

— Должна же быть разница, — внушал мне Игорь, — на что инженеру можно отвлекаться, а на что — стыд один.

— Двор мести — это стыд?

— Считаю, да.

— А что приличнее?

— Ну там... — он поискал подходящее, — урожай убирать, это всякий поймет.

Вот, значит, как убирать территорию ему не с руки, убирать урожай — всегда готов! Однако крепко же оно вбито в умы, благоговейное, подогреваемое газетной патетикой отношение к хлебу насущному. Не столько даже к тому, что на столе, сколько к тому что в поле. Видать, глубоко вошло если даже потомственный горожанин, технарь до мозга костей почитает за долг послужить урожаю.

— Правильно. — согласился Лаптев. — чего артачиться, надо так надо. Все равно куда-нибудь запрягут, так уж лучше на свежем воздухе. — Он подумал и выложил еще один плюс. — В институте сидишь до пяти, а там в двенадцать уже свободен.

Полагаю, однако, что он просто себя уговаривал. Скорее для поддержки веры в истину будто нет худа без добра, нежели всерьез радовался превратностям своей и общей инженерской судьбы.

Всякий раз, составляя квартальный отчет. Белов с упрямым постоянством, словно мстя кому-то, выделяет отдельной графой: «Работа в совхозе». Или: «Уборка территории мойка посуды в институтской столовой». Когда и сколько часов. Чтобы правда, ничем не прикрытая, обнаженная, вылезла в документе, колола глаза.

7

Идет эксперимент... Он — разведка перед вводом в действие главных сил. Что же разведано?

— Наметилась тенденция к подъему инженерной активности, — скупко оценил ре-

зультат Валентин Дмитриевич Харин, начальник отдела Госкомтруда СССР, чья сфера — научные, конструкторские, проектные организации. Должностному лицу приличествует блюсти осторожность, что, кстати, не вредно и пишущему о всяком новом деле. Возбудить преждевременный восторг, прокукарекать до зари — это и праздным умам непозволительно, а людям в чине и вовсе не с руки. Потому-то и дозировал оценки Валентин Дмитриевич, доверяясь не столько даже собственным впечатлениям (был в Ленинграде, лично вник в суть и подробности начатого), сколько неподкупной правде фактов. А это факт: кто лучше работает, тот теперь больше получает. И это факт: месячный заработок участников эксперимента поднялся в среднем на 20 рублей, при этом на 15—17 процентов выросла производительность их труда. С начала эксперимента на 2500 тонн снижена материалоемкость продукции, на 700 тысяч нормочасов уменьшена трудоемкость. Итак, затраты упали, производительность поднялась, а с нею и заработок и жизненный тонус инженера — чего же боле? Но Харин упрямо не желает самообольщаться и мне не дает. — Техническая мысль рождается сегодня, а воплощается завтра, послезавтра. Мгновенных результатов не ждите, — снова предостерег он от заздравной поспешности. — Научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки у нас превращаются в станки и машины хорошо если через три-четыре года. Их эффект еще зреет.

Но то, что объем этих разработок на пяти ленинградских объединениях увеличился на 5 процентов, Валентин Дмитриевич оценил как завоевание. Перевыполняются, сказал, более чем на 12 процентов плановые задания по снижению трудоемкости продукции. Заметна экономия материалов, топлива, электроэнергии, что, впрочем, неудивительно: в жизнь многих инженерных служб бодрящим ветром входит хозрасчет.

Словом, поворот. Трудный долгожданный поворот в нужную всем сторону. Что само по себе есть предвестие успеха. Опрос инженеров на электромеханическом заводе выявил также изменения в их настроении. Первое исследование социологи проводили в августе, второе в декабре. И увидели, что количество одобряющих начатое увеличилось на 10,2 процента. Меньше стало и тех, кто застыл на распутье, не сказав ни да ни нет. Про таких Лаптев мимоходом обронил: «Присматриваются, чего-то выжидают». Вышло осуждающе, а зря, надо бы с уважением. Эксперименту нужны скептики. Чтобы пришел человек, который на веру ничего не принимает, посмотрел, потрогал, поцокал языком и этак вот покачал головой. Эти люди, сами того не подозревая, делают полезное дело — испытывают идею на жизнестойкость. Заставляют искать резоны в ее пользу, приучают укреплять позиции, смотреть на все трезвым критическим оком. Помощники, а не противники. За что же их в ретрограды?¹

Новый простор научно-техническому прогрессу открывает постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС о совершенствовании оплаты труда научных работников, конструкторов и технологов.

Эшелон отечественной экономики может двигаться дальше лишь по рельсам интенсификации. Это требование жизни ясно и прямо выражено на июньском совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса.

Как ни велики силы инерции, освежающее умы обновление уже началось. Ему продолжаться. Продолжаться с ускорением.

¹ Пока Лаптев и его коллеги спорили, как оценить новоявленное, инженеры пятидесяти предприятий Минэнергомаша, Минтяжмаша, Минстанкопрома и ряда других министерств благополучно вступили в ленинградский эксперимент. Дело развивается, обретает масштаб.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ЦВЕТОВ

★

ПЯТНАДЦАТЫЙ КАМЕНЬ САДА РЕАНДЗИ

Сад камней, Философский сад, Сад Рёандзи. Десятки имен у древнего творения великого Соами, главной достопримечательности японского города Киото и, вероятно, самой большой его ценности, и десятки толкований сути, какую вложил мудрый монах в пятнадцать черных необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку.

Я сказал «пятнадцать камней», потому что столько указано в путеводителе. На самом деле замечаешь лишь четырнадцать. Пятнадцатого камня перед глазами нет. Его загораживают соседние. Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоугольника, — с остальных трех сторон сад ограничен каменными монастырскими стенами — и снова четырнадцать камней. Пятнадцатый — тот, что до сих пор прятался, — теперь оказался в их числе, а исчез другой камень. Еще шаг по галерее — и гениально спланированный хаос предстает опять в иной композиции, состоящей все из тех же пятнадцати камней, из которых один невидим.

Телевизионный корреспондент обладает важным преимуществом: он может наблюдать мир с точек, часто не доступных никому другому, включая коллег-журналистов, чьи орудия труда — ручка и блокнот. Телекамера в руках оказалась пропуском, который позволил встать на запретной почти для всех стороне сада, противоположащей галерее, и через камни взглянуть на людей, смотревших на сад.

Одни долго и отрешенно от экскурсионной сутолоки, захлестнувшей галерею, сзерцали камни, как это, наверное, делали знакомые нам по гравюрам Хокусая люди в ту пору, когда суетливо-шумных туристских гидов непременно побросали бы живыми в кипящий котел. Другие, покоряясь темпу экскурсовода, в свою очередь не дрогнувшего бы заживо сварить врагов массового туризма, успевали лишь сфотографировать с галереи сад, благо теперешняя автоматическая наводка на резкость позволяет щелкнуть затвором даже из тесной спешащей толпы, да еще успевали пересчитать камни, словно инвентаризировали стройплощадку, которую забыли прибрать нерадивые каменщики.

Разные люди проходили по галерее. И разные мысли вызывал у них сад. «Сад камней может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где утесы монополистического капитала возвышаются над морем песчинок — бесчисленных мелких и мельчайших предприятий» — ассоциация, родившаяся, мне кажется, между двумя спусками автоматического фотозатвора. Ассоциация бесспорная, что касается японской экономики, но звучащая в Саду камней так, будто проводят гвоздем по ржавому железу.

«Это была наглядная модель познания, метафора науки. Обязательно остается что-то неизвестное, несосчитанное, неучтенное. Мы уверены, что мы видим то, что есть, до конца, и в голову не придет, что есть что-то еще, чего мы не видим» — итог размышлений в саду человека, кому достало воли и подлинного интереса к мудрой красоте, чтобы предать анафеме зычного гида-спринтера и отложить на время фотоаппарат.

Я привел полярные по чувствам и эстетической подготовленности восприятия Сада камней.

Но не напрасны ли вообще попытки искать в самом саду смысл творения Соами?

С противоположной стороны сада я смотрел на галерею, заполненную людьми. Совершенно одинаковое количество камней предстало их взору. Но каждый видел свои четырнадцать камней. Может, Соами хотел сказать, что дело не в камнях, а в людях, которые в сад приходят? Уж не в том ли суть сада, что люди воспринимают одно и то же по-разному, каждый — по-своему? И при этом никому не приходит в голову утверждать: я вижу мир правильно, а остальные нет? Может быть, ключ к идее, заложенной в Саду камней, это конституция, составленная, как утверждают японские хроники, принцем Сётоку еще в VII веке и по сию пору поражающая глубиной мысли? «У каждого человека есть сердце, — гласит статья конституции. — А у каждого сердца есть свои склонности. Он считает это хорошим, я — дурным. Я считаю это хорошим, он — дурным. Но я необязательно мудрец, а он необязательно глупец. Оба мы только обыкновенные люди».

В этом повествовании я хочу поделиться своим пониманием японцев, их поведения, их нравов. Задумывая его, я вспомнил снятый мною очерк о Саде камней. Телезрители увидели сад, каким он представился мне с того места, откуда смотрел на сад я. В коротком телеочерке нельзя было показать сад с разных точек. Но от этого другое видение сада не перестало существовать, а мое видение не сделалось самым правильным.

Накануне отъезда из Японии, где я провел почти восемь лет, мне попались записки английского путешественника Петри Ватсона, изданные в начале нынешнего столетия. «Если вы пробыли в Японии шесть недель, вы все понимаете. Через шесть месяцев вы начинаете сомневаться. Через шесть лет вы ни в чем не уверены», — подвел Ватсон итог своим японским впечатлениям. То, что я прожил в Японии двумя годами дольше указанного срока, ничего не меняет. Я, как и Петри Ватсон, уехал из Японии во многом сомневающимся. И тем не менее решился написать об этой стране. Если на это осмелился Петри Ватсон, если рассказать о Японии дерзнули другие путешественники, журналисты, писатели, то почему не могу рискнуть я? Когда же мой рассказ покажется читателю спорным, вспомните о Саде Рёандзи, где каждый видит собственные, свои четырнадцать камней.

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

«Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов... их изображали только одной краской — или розовой, или черной». С тех пор как Илья Эренбург написал это, сплошь черной краской в изображении японцев американскими и западноевропейскими авторами заметно поубавилось, но розовый цвет приобрел грозный оттенок.

Генерала Макатура, командовавшего американскими оккупационными войсками в Японии, никак не отвесешь к прозорливым мыслителям, но выступая вскоре после увольнения из армии перед промышленниками американского города Цинциннати, он, обозленный, видимо, отставкой, в сердцах бросил фразу, сделавшуюся пророческой. «Пока я был там, Япония была вашим клиентом, — сказал Макатур, чей апломб значительно превосходил полководческие способности. — В будущем в некоторых областях клиентами станете вы».

И это время пришло. Теперь западные политики, журналисты, ученые, бизнесмены со смешанным чувством восхищения и опаски говорят и пишут о Японии. На вопрос, какая самая важная проблема встанет перед американским бизнесом в предстоящие десять лет, вице-президент одной из крупнейших американских корпораций ответил: «Самая важная проблема — не технология или инвестиции, не экономическое регулирование или инфляция. Самая важная проблема — как мы прореагируем на следующий факт: японские методы управления производством лучше, чем наши».

Франция решительно принимает жесткие меры против японского экспорта, когда он начинает наносить слишком уж большие удары по французским предпринимателям, прежде всего по производителям промышленной и бытовой электроники. Но французские руководители отдадут себе отчет в низкой конкурентоспособности французских товаров в сравнении с японскими. «Теперьшняя революция в электронике является первой научно-технической революцией, которая зародилась не в Европе, а в бассейне Тихого океана, — с горечью констатировал премьер-министр Франции Лоран Фабюс. — Наши страны слишком малы (премьер-министр подразумевал членов Евро-

пейского экономического сообщества), чтобы осуществить по отдельности требуемые для этого колоссальные капиталовложения».

Два американских государственных секретаря — Сайрус Вэнс в администрации Картера и Джордж Шульц в рейгановском правительстве — розовым цветом рисовали японского, самого преданного союзника Соединенных Штатов, но тревоги своей скрыть все же не могли. «Если не считать отношений с Советским Союзом, то от отношений с Японией станет зависеть будущее Америки, — утверждал Вэнс и объяснял, почему он так думает: — Быстро и неуклонно подбираются японцы к важным позициям в мировой экономике и политике». В высказывании Шульца явственно прозвучала нота безысходности. «Соединенным Штатам пришлось, безусловно, приспособиться к тому, что японцы очень укрепили свои позиции за последние двадцать пять лет и ныне представляют собой совершенно иное явление, чем раньше», — сказал государственный секретарь.

Японцы также заняты восхвалением самих себя. Их изображение собственных успехов лишено и намека на темные тона. Наоборот, к розовой краске обильно добавлена позолота — для большего блеска картины. «Центр мировой экономики перемещается в район Тихого океана, — гордо возвестил Цунао Окумура, бывший президент гигантской компании ценных бумаг «Номура сэкэн». — До XVIII века Средиземное море было средоточием мировой экономической, политической и военной активности. Затем центр мировой экономики переместился в Атлантический океан и мировым лидером стала Великобритания, но позже она уступила лидерство Соединенным Штатам. Со второй половины XX века фокус мировой активности перемещается из Атлантики в Тихий океан, — сказал далее финансист и подвел к главному, что хотел внушить: — Сердце тихоокеанского региона — это Япония со стомилионным монорасовым населением и с экономикой, занимающей второе место в капиталистическом хозяйстве, которая развивается успешнее, нежели экономика любой другой страны свободного мира».

Определенная доля истины имелась в словах финансового воротилы. Темпы японского экономического роста хотя и снизились после первого энергетического кризиса 1973 года, но все равно продолжали оставаться более высокими, чем в «свободных странах», как именуют себя США и участники «Общего рынка». В 1981—1982 годах процесс инфляции в Японии протекал вдвое медленнее, чем в Западной Европе, процент безработицы был втрое меньше, чем в США.

Выдвижение Японии в первые ряды развитых капиталистических стран — очевидный факт. Вывод из него напрашивается сам собой. Но он далеко не нов, этот вывод.

«Япония должна быть предметом всеобщего изучения и стать постоянным и обязательным предметом в наших средних учебных заведениях, так же как Европа, потому что новая Япония уже стоит наравне с государствами Европы по своей военной мощи и культурному уровню». Я перелистал к началу книжку, откуда выписал цитату, и на титульном листе увидел: «Санкт-Петербург, 1905».

Семьдесят восемь лет спустя американский еженедельник «Тайм» сокрушенно заметил: «Япония сделалась слишком мощной и слишком глубоко интегрированной в остальной мир, чтобы оставаться столь мало понятой и мало понимаемой». А еще через два года западногерманский журнал «Ауссенполитик» впал в панику оттого, что «лишь с большим трудом удается совмещать в своих представлениях Японию — страну созерцательного мировоззрения, эстетического отношения к действительности, коллективизма в человеческих отношениях, тесной связи человека с природой, край храмов и садов с Японией — страной жестокой, безжалостной конкуренции, внушительной тяжелой промышленности, технического прогресса, растущей численности промышленных роботов, городов-гигантов и многих других последствий мощного роста экономики». Журнал «Ауссенполитик» предложил рецепт, выписанный впервые семьдесят лет назад, в 1905 году, но полезный и сегодня в силу неоспоримой действительности назначаемого снадобья: «Одной из основных предпосылок ликвидации такого положения явилось бы более углубленное, чем теперь, изучение Японии».

Ни «Тайм», ни «Ауссенполитик» не погрешили против истины. С необходимостью больше знать и правильнее понимать Японию приходится, я думаю, согласиться и нам.

Советское научное японоведение — самое, пожалуй, обширное и основательное. И в то же время широкая публика знает о Японии oddly мало в сравнении с той

ролью, какую играет Япония в современном мире. Икэбана, каратэ, чайная церемония, названия «Тоёта» и «Сони», которые у всех на слуху, не в счет. Ведь нельзя же, в конце концов, слыть знатоком русской жизни, освоив рецепт приготовления борща по-московски, правила игры в лапту, методологию плетения лаптей и научившись расшифровывать сокращения «ЗИЛ» и «ВЭФ».

Мы с детства знакомы с Робином Гудом. А многие ли слышали о японском аналоге дерзкого разбойника? Не торопитесь, однако, краснеть от стыда. Не все японоведы знают об этой странице истории Японии.

Собор Парижской богоматери представляет себе каждый из нас, так как наверняка все видели храм на иллюстрациях в книгах Гюго, в крайнем случае запомнили по кинофильмам. Но может ли кто-либо, помимо побывавших в Японии, хотя бы приблизительно обрисовать «Кинкакудзи» — киотский «Золотой павильон», которому повезло на внимание японских писателей и кинематографистов не меньше, чем собору Парижской богоматери — на внимание французских?

Верно замечено, что для близкого знакомства с Японией требуется путеводитель. Он действительно необходим, потому что некоторые стороны японской действительности не просто белое пятно на карте наших знаний. Японский быт, характер японцев, их представления о жизни — это еще и Алисино Зазеркалье, где очень многое оказывается не таким, иным и даже диаметрально противоположным тому, что привыкли представлять мы.

Анекдот, обросший бородой Черномора: входя в дом, мы снимаем шапку — японцы снимают ботинки. Наблюдение более свежее: мы добиваемся персональной ответственности за порученное дело, японцы — коллективной. Русская мать, желая приструнить не в меру расшалившегося ребенка, обычно пугает: «Смотри, из дому больше не выйдешь». В сходной ситуации японская мать прибегает к совершенно противоположной угрозе: «Смотри, в дом больше не войдешь». Объяснившись в любви, мы бросаемся друг к другу в объятия. Японцы поворачиваются друг к другу спиной. Строгая, мы ведем рубанок от себя, а японцы к себе. Мы высоко ценим специалистов, профессионалов. Японцы предпочитают тех, кого мы неодобрительно называли бы всезнайками.

Чтобы получить японские водительские права, я сдавал в Токио экзамен по правилам дорожного движения. В экзаменационном билете среди других вопросов значился и такой: «По вашей вине случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого повреждены автомашины. Что вам следует предпринять?» Были приведены ответы: «1. Сообщаю в полицию. 2. Сообщаю в полицию и договариваюсь с пострадавшими о возмещении ущерба. 3. Договариваюсь с пострадавшими о возмещении ущерба и не сообщаю в полицию». Экзаменатор, полицейский офицер, предложил определить, который ответ правильный. Я указал, естественно, на первый: «Сообщаю в полицию». Экзаменатор недоуменно пожал плечами и ткнул пальцем в третий: «Договариваюсь с пострадавшими о возмещении ущерба и не сообщаю в полицию». Этот ответ был верным.

Из сибирского города Шелехова корреспондент прислал в Москву, в редакцию радиорепортаж о визите в городской Совет делегации из японского города-побратима Нэагари. Глава делегации — мэр Нэагари — начал свое приветственное слово с того, что попросил председателя исполкома выделить для него место на городском кладбище. «Я не собираюсь сию минуту умереть, — поспешил объяснить японский мэр, заметив, как вытянулись лица у присутствовавших, — но и вечно жить невозможно, — вполне резонно заметил он. — Я хочу, — привел корреспондент дальнейшие слова мэра, — чтобы мой прах покаялся здесь и чтобы этим самым наши побратимские связи укрепились еще больше».

— Слишком мрачный юмор для репортажа на тему о дружбе, — вынес приговор редактор и отправил информацию в корзину.

Подробного и, главное, точного путеводителя по японской жизни никогда не было. Нет его и сейчас. Очерковых книг и популярных статей о Японии хватает, чтобы из них одних составить хорошую библиотеку, и все же каждый, кто приезжает в эту страну, чувствует себя новым Колумбом, потому что непременно сталкивается с чем-то удивительным, нигде и никем не описанным, и с чем-то совершенно непонятным. А разобраться, постичь и, разумеется, оповестить об этом читателей газет и журналов, телезрителей, радиослушателей до жути хочется. И вместо того чтобы заглянуть в серьезные японоведческие труды, в которых проанализированы и объясне-

ны многие стороны японской действительности, начинается укладывание непонятного и непонятого — нет, не на прокрустово ложе, это было бы еще не так плохо, а на прокрустову табуретку стереотипов своего мышления — и в результате получают «лошади с распухшей спиной», как окрестили японцы верблюдов, впервые столкнувшись с ними и свое представление об этих животных ограничив прокрустовыми мерками собственных трафаретов.

Известная писательница украсила журнальный очерк о Японии фотографией, запечатлевшей девушек в микроскопических бикини на бедрах и в шутовских цилиндрах на головах с надписью крупными латинскими буквами «Кабуки» над фантовыми загнутыми полями. «Зазывали в знаменитый японский театр», — сопроводила писательница фотографию подписью, хотя девушки зазывали в ночной бар, именовавшийся «Кабуки». Уверен, автор очерка громко рассмеялся бы, если бы прочла в зарубежном журнале, что билеты в Большой театр навязываются у нас в нагрузку к карточкам «Спортлото». Но сама она написала нечто подобное.

Такого рода выдумки можно отнести к разряду смешных и безобидных. Но о Японии рождаются легенды вредные и даже опасные, одна из них — легенда о необыкновенном японском трудолюбии.

ТРУДОГОЛИЗМ

Основоположником западного мифотворчества на японскую тему следует, на мой взгляд, признать венецианца Марко Поло. Вернувшись с Дальнего Востока, он оповестил тогдашнюю европейскую общественность о том, что японские дома сплошь покрыты чистым золотом и золотом же толщиной в два пальца устланы полы. Небылица звучала заманчиво и красиво, подобно аутентичному утверждению, что в Индии «не счесть алмазов в каменных пещерах».

Однако теперешние легенды создаются не для каминных бесед и не для оперных подмостков.

Япония обошла американского и западноевропейских конкурентов по многим показателям. При одинаковой примерно технической оснащенности крупных промышленных предприятий в Японии, США, ФРГ и Англии производительность труда в японской обрабатывающей отрасли в течение двух последних десятилетий увеличивалась в среднем на 8,2 процента в год, в то время как в США — на 3,3 и в ФРГ — на 5,5 процента. Количество бракованной продукции в японской обрабатывающей отрасли уменьшилось до 1,2 процента. В США и ФРГ брак достигал 6 и в Англии — 10 процентов. Текучесть рабочей силы в японской обрабатывающей отрасли упала до 2,5 процента и в среднем по стране — до 6 процентов, а в США текучесть кадров подскочила до 26 процентов.

В 1981 году на состоявшемся в Женеве Европейском форуме по проблемам управления экономикой был оглашен список, включающий 21 страну по степени конкурентоспособности их товаров. Япония возглавляла этот список.

Наука, объясняющая японский рывок неравномерностью развития капитализма в отдельных странах, показалась слишком рискованной для буржуазных ученых. Они предпочли мифы и легенды и ступили на тропинку, давно протоптанную церковниками, изобретая в лице Японии нового мессию. Не все для капитализма потеряно, стараются внушить эти идеологи трудящимся массам в США, Западной Европе, все более сомневающимся в способности капитализма выбраться из повторяющихся экономических кризисов. Восприняв черты японского характера, прежде всего трудолюбие, освоив методы японского промышленного и социального менеджмента, в основе которого все та же любовь к труду, еще можно выжить, как выжила в двух последних по времени экономических потрясениях Япония, и не только выжила, но и преуспевает в сравнении с другими капиталистическими странами, — постулат огромного числа книг, что сочинены в США и Западной Европе и снабжены кружащими голову названиями: «Подымающееся японское сверхгосударство», «Японский вызов», «Япония — первая в мире».

Апологетические сочинения и в самом деле охмеляют столь сильно, что авторы брошюры о японской экономике, изданной Федерацией экономических организаций, этим штабом японских монополистов, без малейшего смущения заявили, что мир излечится от своих болезней, если станет подражать Японии.

Не скрывая самодовольства, японцы шутят: «Мы, как Байрон, в одно прекрасное

утро проснулись и выяснили, что знамениты». Однако не в обычае японцев оставлять без максимального практического применения любое явление, в том числе и собственную славу. Ее приспособили к достижению идеологической цели, используя уже испытанную схему.

В конце XIX — начале XX века Япония приступила к империалистическим захватам, и ей потребовалось идеологическое оправдание заморского разбоя. Исключительность Японии, ее предназначение править миром были оформлены в концепции «духа Ямато». Ямато называли Японию в древности.

«Дух Ямато! — воскликнул японец и закашлялся, словно чахоточный, — едко высмеял милитаристских идеологов японский писатель Сосэки Нацумэ в сатирической повести «Ваш покорный слуга кот». — Дух Ямато! — кричит газетчик. Дух Ямато! — кричит карманщик. Дух Ямато одним прыжком перемахнул через море. В Англии читают лекции о духе Ямато! В Германии ставят пьесы о духе Ямато... Все о нем говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал. Возможно, дух Ямато одной породы с тэнгу».

Тэнгу — нечто смахивающее на лешего.

После агрессивной войны на Тихом океане, приведшей к позору капитуляции, после Хиросимы и Нагасаки предлагать японскому народу «дух Ямато» для исповедания нелепо. Но можно попытаться заставить народ снова поверить в исключительность Японии, возглашая: «Японское экономическое чудо!», «Особенный японский характер!», «Необыкновенное японское трудолюбие!» Тэнгу вытаскен из лесу и опять превращен в национальный символ. И не без успеха. В 1953 году 20 процентов опрошенных японцев считали себя существами более высокого порядка, чем американцы и европейцы. Пятнадцать лет спустя подобную шовинистическую убежденность выразили в ходе опроса уже 47 процентов взрослого населения страны. Остается совсем немного до того момента, когда кое-кто из японцев вознамерится снова провозгласить себя «божественной нацией».

Заповедник экономических чудес, обиталище существ, наделенных особым характером, самая отличительная черта которого — необыкновенное трудолюбие, нуждаются в защите, а для этого нужна сильная и большая армия — еще один довод среди других столь же лживых в пользу наращивания японской военной мощи.

«Японское трудолюбие! — кричит газетчик. Японское трудолюбие! — кричит карманщик. Японское трудолюбие одним прыжком перемахнуло через море. В Англии читают лекции о японском трудолюбии! В Германии ставят пьесы о японском трудолюбии... Все о нем говорят, но никто его не видел. Все о нем слышали, но никто не встречал...»

Мне кажется, весьма правомерно таким образом перефразировать цитату из Сосэки Нацумэ.

А в самом деле, кто видел японское трудолюбие? Кто его встречал?

Некоторое время назад крупная японская газета «Асахи» задалась желанием выяснить, на что японцы хотели бы расходовать свое время, будь у них возможность выбирать. Лишь два процента опрошенных заявили, что отдали бы часть своего времени труду. Остальные 98 процентов, перечислив самые разные способы времяпрепровождения, о труде так и не вспомнили.

Организаторами исследования не был обойден и вопрос, во имя чего трудятся японцы. Оказывается, только 5,8 процента из них трудятся, чтобы приносить пользу обществу. Подавляющее же большинство опрошенных назвали труд неизбежным злом. Вспоминается точное наблюдение современного японского публициста Такэси Кайко: правило японского чиновника — не отдыхать, не опаздывать и не работать.

Рис толочь в муку для теста —
Невеселая работа:
Бей пестом, а сам не пробуй! —
Сердце жжет от злобы!

Народ может не знать, но он чувствует. Вряд ли безвестный автор песенки был знаком с основами политической грамоты, однако интуитивно он выразил в незатейливых строках верную мысль: подлинное трудолюбие возможно, если содержанием, творческим делается труд и результаты его не присваиваются теми, кто не трудится, если труд рассматривается как высшее наслаждение, ограничение которого не приобретение, а утрата.

«Около 60 процентов населения Токио ютятся в домишках, похожих на клетки для птиц...— написал Такэси Кайко.— Стены в... домах тонкие, фундаменты хлипкие — такое сооружение сотрясается от каждого проезжающего мимо грузовика или самосвала. За тонкими окнами нескончаемый шум, загрязненный воздух, выхлопные газы. И трудно становится понять, для чего они служат: то ли чтобы проветривать комнату и выпускать наружу застойный воздух, то ли чтобы впускать внутрь еще более загрязненный воздух улиц. Внутри «птичьих клеток» ревет младенцы, кричат женщины, воздух пропах запахом пеленок. И господин Рип ван Винкль (такое иносказательное имя дал Кайко японцам.— В. Ц.) в субботний или воскресный день медленно встает со стула, выходит на улицу и, никем не понукаемый, отправляется в свой офис».

Писателю вторит экономист.

«Куда бы вы ни поехали или пошли, чтобы отыскать место для отдыха, везде все будет переполнено,— свидетельствует важный чиновник из японского правительства Управления экономического планирования.— И поскольку вы так и не найдете, чем вам заняться в выходные дни, почему бы не отправиться на работу?»

Если это не трудолюбие, то что?

Трудоголиками — по аналогии с алкоголиками — окрестили американцы японцев, похожих на тех, о ком рассказали писатель Такэси Кайко и чиновник Управления экономического планирования. От прозвища разит высокомерием и японофобией, однако ему нельзя отказать в известной меткости. С прозвищем соглашаются японские специалисты в области менеджмента, кого не ослепило сияние, старательно намалеванное над головой японцев апологетами «японского чуда».

Президент токийской компании «Менеджмент интернэшнл», консультирующей по вопросам организации производства японских и зарубежных предпринимателей, Мицуюки Масацугу написал в книге «Общество современных самураев»: «У нынешней молодежи недостает силы духа переделать общество. Мало того, ее интересы состоят лишь в том, чтобы жить приятной комфортабельной жизнью. Приключения с реформами не для нее». С резкостью и прямотой, весьма неожиданными для представителя истеблишмента, Мицуюки Масацугу дал верную характеристику той части японской молодежи, что позволила обществу потребления одурманить себя. Последующий анализ менеджера-теоретика оказался еще более язвительно-острым. Мицуюки Масацугу написал: «Чтобы стать обладателями товаров и услуг, делающих жизнь приятной и комфортабельной, молодые люди соглашаются усердно работать и подчиняться групповому мышлению. Но в действительности они горькие и безнадежные «трудоголики». Труд для них — неизбежное зло. Они не находят в труде удовлетворения. Желая заглушить чувство безнадежности, испытываемое в процессе труда, они все больше и больше покупают товаров и услуг, которые хотя бы временно предоставляют возможность забыть о ненавистном труде».

Сбросив с пьедестала изваянную недобросовестными скульпторами легенду о японском трудолюбии, Мицуюки Масацугу разнес вдребезги и сам пьедестал, сложенный из догм потребительской идеологии. Далее в книге менеджера говорится:

«Получается порочный круг. Тщетность попыток обрести свое «я», которое принесено в жертву постылому труду, приводит к тому, что молодежь предается в свободное от работы время бездумным удовольствиям. Таким образом, молодежь эксплуатируют дважды: сначала как «работающую машину», а потом как «потребляющую машину». Без той и другой капиталистическое производство существовать не может. И получается, что молодежь одновременно и «трудоголики» и «вещеголики», то есть она механизм, автоматически выполняющий функции производства и потребления».

Сказанное относится не только к молодежи, а ко всем японцам. И как тут не вспомнить слова Льва Толстого, что при определенных обстоятельствах труд оказывается «нравственно анестезирующим средством, вроде курения или вина, для скрывания от себя неправды и порочности жизни».

Но трудоголиками, как и алкоголиками, не рождаются. Ими становятся. Как это произошло, на мой взгляд, в Японии, и пойдет рассказ.

ЛАРЕЦ БЕЗ СЕКРЕТА

Мне казалось, что за годы, проведенные в Японии, я привык к самым неожиданным лозунгам и нравоучительным надписям, которыми неизменно испещрены стены в заводских цехах и служебных помещениях частных фирм и государственных

учреждений. Однако начертанный крупными иероглифами плакат в цехе телевизорного завода концерна «Мацусита дэнки» заставил меня остолбенеть. Да и как было не изумиться, если на плакате значилось: «Кадры решают все!»

Сотрудник концерна, сопровождавший меня, обеспокоенно оглянулся вокруг: что ошеломило иностранца? Не обнаружив, надо полагать, ничего странного в цехе, недоуменно уставился на меня.

— Что-нибудь случилось? — осведомился он.

Я показал на плакат:

— Что это?

— Это? — переспросил сопровождающий теперь уже не встревоженным, а растерянным тоном, словно на плакате было написано, что дважды два — четыре или что лошади кушают овес, а я при виде прописных истин обомлел от удивления. — Ну-у, так это же главный принцип концерна «Мацусита дэнки»! — сказал сопровождающий. Он по-прежнему недоумевал, но теперь моей непонятливости.

Сотрудник концерна так и не догадался, почему поразил меня плакат. Не догадался потому, что до выраженной на плакате мысли японские менеджеры дошли сами и не совершили плагиата. Я вспомнил, что на заводе автомобильной фирмы «Ниссан» видел лозунг, звучавший хоть и не столь знакомо, но содержавший смысл: предприятие — это кадры!

В одной из судостроительных компаний на торжествах по поводу спуска на воду только что построенного судна я воспользовался присутствием сразу нескольких членов совета директоров — высшего коллегиального органа компании — и задал вопрос:

— Кто в совете, помимо председателя и президента, самый главный?

— Все члены совета директоров равны между собой, — последовал ответ.

— С формальной точки зрения так это, наверное, и есть, — не сдавался я. — Но все же кто из вас самый влиятельный?

Руководители компании не сговариваясь сказали:

— Тот, кто ведает кадрами.

В голубых отутуженных курточках, украшенных эмблемой электронного концерна «Мацусита дэнки», кадры у конвейера, на котором собирались телевизоры, выглядели близнецами. Если бы не фамилии, вышитые оранжевыми нитками над левым кармашком курточек, близнецов не распознал бы, наверное, и мастер, который время от времени подходил к рабочим. Каждые десять секунд голубые курточки снимали с конвейерной ленты ошетинившиеся мельчайшими проводками панели и клали перед собой. Восемнадцать аккуратно подстриженных черных голов склонялись над панелями, что-то припаивали или привинчивали к ним, и руки опять взлетали над конвейером, чтобы положить панели обратно на ленту и взять новые. Синхронность и точностью движений рабочие напоминали хорошо вышколенный кордебалет на сцене первоклассного театра, гребцов в лодке, финиширующих в решающем заезде.

— Производительность труда в концерне «Мацусита дэнки» выше, чем на любом аналогичном предприятии Соединенных Штатов или Западной Европы, — сказал сопровождающий и не без гордости добавил: — Наши телевизоры выходят из строя в шестнадцать раз реже, нежели любые другие в мире.

Я наблюдал за голубыми курточками у сборочного конвейера и думал: ларецто, хранящий японскую тайну, открывается, вероятно, очень просто. Достаточно соотнести увиденные в цехах «Мацусита дэнки» и «Ниссан» конвейеры и плакаты над ними с тем, что написано в японских учебниках менеджмента, чтобы суметь легко откинуть крышку ларца. «Увеличение продуктивности производства, — прочитал я в одном из таких учебников, — достигается в первую очередь не внедрением передовых технологических методов, хотя они, без сомнения, чрезвычайно важны, а организацией менеджмента. Этим термином именуется координация и объединение в процессе производства индивидуальных усилий и предоставление работающим побудительных мотивов, которые, во-первых, стимулировали бы координацию и объединение и, во-вторых, способствовали бы совмещению взглядов и целей всех или по крайней мере большинства участников производства. Выражаясь проще, — резюмировалось в учебнике, — увеличение продуктивности производства находится в прямой зависимости от эффективности использования трудовых ресурсов».

Японские менеджеры раньше, чем их американские и западноевропейские кон-

куренты, приняли во внимание, что первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся.

— Нет-нет, мы не стали исповедовать марксизм! — Рюити Хасимото, известный в Японии теоретик менеджмента, всплеснул руками и громко рассмеялся. — Мы попросту увидели, что, несмотря на тяжелейшие испытания — одна лишь вторая мировая война чего стоила! — социализм, Советский Союз все же выжили. Более того, ваша страна кое в чем превзошла Америку! — По тону, каким он говорил, казалось, что, однажды изумившись этому открытию, менеджер так и остался ошарашенным навсегда. — В отличие от России в Америке население утратило доверие к правительству, — принялся перечислять мой собеседник те «кое-что», где социализм оказался сильнее, — нет надежды на решение вопроса о преступности, углубляется кризис больших городов, увеличивается безработица, растут инфляция и дефицит государственного бюджета... — Хасимото здруг смолк и совершенно неожиданно рассмеялся снова, на сей раз несколько неуверенно: «кое-что» превращалось во внушительный список. — Короче говоря, — заторопился менеджер подвести итог, — главный для социализма постулат о рабочем как о первой производительной силе действует, сделали вывод мы, — Хасимото ткнул себя пальцем в грудь, — и решили взять постулат на вооружение.

Разговор с менеджером начался с моего вопроса, почему американский бизнесмен вкладывает деньги сначала в капитальное строительство, в технологию, в оборудование и только потом в персонал, тогда как японский бизнесмен — прежде в персонал, а уж затем в капитальное строительство, технологию и оборудование. Рюити Хасимото долго работал на телевидении до того, как занялся проблемами организации производства, и, вероятно, не забытая еще журналистская солидарность побудила его обстоятельно и откровенно разговаривать со мной.

— Нынешняя научно-техническая революция требует, — сказал Хасимото, — максимального использования человеческих способностей, знаний, энтузиазма. Орудовать кулаком можно было принудить силой. Но думать силой не принудишь. — Собеседник развел руками, что должно было, судя по всему, означать: такова реальность и тут уж ничего не поделаешь, — и продолжил: — Следовательно, не принудишь персонал приводить в движение роботы, так называемые безлюдные заводы, разрабатывать программы для компьютеров. Вы правильно считаете: главная производительная сила действительно рабочий. — Менеджер одобрительно кивнул мне. — Значит, надо создать условия, которые побуждали бы главную производительную силу быть высокопроизводительной. Необходимо, чтобы именно условия, а не управляющие заставляли рабочих эффективно трудиться, — пояснил Хасимото. — Если появляются такие условия, сколь дорого они ни обходились бы, тогда и вложения в капитальное строительство, в передовую технологию оказываются не напрасными и прибыль многократно увеличивается, — подчеркнул менеджер.

Цитирование классика марксизма было, вероятно, кокетством. «Смотрите, каких широких взглядов придерживается японский менеджер!» — тщился, думается мне, продемонстрировать Хасимото. На деле он пересказал уже не новые американские теории: Д. Макгрегора о внутренней мотивации участников производства и Р. Ликерта об участии работников в производстве. Первая теория проповедует необходимость и возможность, используя вместо кнута пряник, заставить рабочего усердно трудиться на капиталиста по собственному убеждению. Другая доктрина утверждает, что там, где осуществлен принцип коллективного участия управляющих и рабочих в решении всех вопросов производства, усиливается преданность персонала предприятию и, следовательно, повышается продуктивность.

В «Мацусита дэнки» увековечен в бронзе японский писатель и общественный деятель XIX века Сёдзан Сакума. Его бюст на территории штаб-квартиры электронного концерна кажется случайным. Но так кажется человеку непосвященному. Основатель и долгие годы единоличный глава концерна Коносукэ Мацусита преклонил колена перед духом своего идейного наставника Сакумы, который писал: «Лишь после того, как мы искусно овладеем всем тем, что блестяще использует враг, мы сможем говорить о победе над ним».

В нынешней Японии слова Сакумы истолковывают так: чтобы победить в конкурентной борьбе, нужно найти лучшее в мире, перенять его и сделать совершеннее, чем это было раньше. Подобной стратегии японские предприниматели придерживаются в отношении не только научно-технических новинок, но и организационно-идеологических методов эксплуатации трудящихся, которые изобретаются за рубежом.

Именно в Японии наиболее полное воплощение обрели теории о внутренней мотивации участников производства и об участии работников в производстве, сочиненные в США.

Налицо, однако, попытка применить назидание Сакумы и к марксистской науке. Предпринимателям хотелось бы сказать трудящимся: «Вы тянетесь к марксизму? Мы верим в него тоже» — и попытаться таким способом убедить их в братстве труда и капитала. Но не могут двинуться японские предприниматели дальше демагогического признания трудящихся главной производительной силой в мире. Следующий шаг подвел бы к выводу о необходимости изменить производственные отношения, чтобы они пришли в соответствие с нынешним характером и уровнем производительных сил, то есть к выводу о необходимости избавиться от самих предпринимателей.

ЛОБОТОМИЯ ПО-ЯПОНСКИ

Пять раз в неделю, кроме субботы и воскресенья, японские рабочие, инженеры и служащие — персонал, по терминологии менеджеров, — начинают день с физзарядки и пения. Выстроившись ровными рядами у станков и поточных линий, у письменных столов и кульманов, у витрин и прилавков, японцы хором выводят гимны своих фирм. В концерне «Мацусита дэнки» поют так:

Непрерывно и безостановочно,
Подобно струям фонтана,
Пошлем всего мира народам
Продукт наших рук и ума.
Как прилив неистощимый,
Расти, промышленность, расти, расти,
«Мацусита дэнки», «Мацусита дэнки»!

Президенты фирм поют гимны, обратившись к фирменным знаменам, хранящимся в их кабинетах.

В цехе роботостроительной компании «Токико» я видел, как шеренга готовых к отгрузке роботов двигала в такт гимну «руками» — манипуляторами.

Затем рабочие, инженеры, рядовые служащие и, разумеется, президенты декламируют заповеди. Заповеди у каждой фирмы собственные. Они вывешены в цехах, конструкторских бюро, конторах. В президентских кабинетах заповеди начертаны известными каллиграфами и заключены в дорогие рамы. Смысл заповедей сводится примерно к следующему: трудиться упорно и добросовестно, повиноваться и быть скромным, быть благодарным и отвечать добром на добро... Если бы выпускаемые в Японии роботы уже могли говорить, то декламировать заповеди обучили бы наверняка и их.

Потом бригадиры или начальники участков поднимаются на возвышение и держат речь. Содержание той, что довелось услышать мне, было таким. Жил в эпоху Эдо (японское средневековье) слепой старец. Как-то вечером собрался он пойти в соседнюю деревню. «Возьми фонарь», — сказала ему жена. «Ведь я слепой, зачем мне фонарь?» — отвечивал старец. «Фонарь нужен, чтобы встречный путник не натолкнулся на тебя». — настаивала жена. Слепец послушался и взял фонарь. Но случилось так, что на темной дороге шедший навстречу старику человек столкнулся с ним и ушиб его. И все из-за того, что погас у слепого огонь в фонаре. Так оглянемся на себя, обратился к рабочим выступавший, не погас ли огонь нашего трудового энтузиазма и не похожи ли мы на слепого, который пострадал, потому что оказался в темноте.

Ритуал завершают начальники цехов. «Прошу вас и сегодня трудиться весь день изо всех сил», — призывают они подчиненных. Эти же слова адресуются и роботам словно живым существам.

— Зачем все это? — спросил я кадровика крупной фирмы.

В ответ услышал:

— Представьте, что у кого-то из рабочих дома нелады. Он тревожится, нервничает. Другой рабочий ехал в переполненном вагоне метро или автобусе и пришел в цех в дурном расположении духа. У третьего вечером приятная встреча, и он, забыв обо всем, ждет ее. Исполняя гимн, декламируя заповеди, вникая в речь, рабочие настраиваются на труд, мысленно готовятся к нему.

— Но ведь это непродуктивная трата времени! — возразил я.

— Неизмеримо больше мы выигрываем благодаря укреплению дисциплины и повышению производительности труда, а они прямое следствие утренней церемонии, — объяснил кадровик.

В таком объяснении есть, разумеется, частица правды. Но лишь частица, потому что не только настраивать на труд назначение гимнов, заповедей, знамени, униформы — этой обрядности, к которой японца приучают с детства.

В каждом детском саду свои, отличающиеся от других по цвету, рисунку или покрою курточки, платица, панамки, причем непременно с эмблемой этого детского сада. В людных местах воспитателям легко следить за детьми, а они, без труда замечая друг друга, привыкают держаться вместе, одной группой, единой семьей.

Все средние школы и высшие учебные заведения имеют знамя и гимн. Самые популярные композиторы и поэты не гнушаются писать для этих гимнов музыку и стихи. Гимн возносит учебное заведение так высоко, что принадлежность к нему воспринимается чуть ли не как императорская милость, а уход из учебного заведения — как измена, почти как святотатство. Начало занятий и открытие школьных или университетских спортивных состязаний, встреча важных гостей и прощание с выпускниками непременно сопровождаются торжественным исполнением гимна и выносом знамени. Перед знаменем клянутся хорошо учиться и быть честными в спортивной борьбе. На стотысячном столичном стадионе зрители поднимаются с мест, когда под звуки школьного гимна на флагштоке взвивается знамя победителя всеяпонского чемпионата по бейсболу среди команд учебных заведений.

Такое воспитание приносит плоды. Приходит время поступить на работу, и вчерашние школьники и студенты, склоняя под мелодию гимна фирмы голову перед ее знаменем, дают обет преданности новой группе, семье, общности, в которую отныне приняты. Им обряд не кажется смешным, а клятва формальной.

В некоторых компаниях с такой же ритуальностью ставят у конвейера роботов. Им даже присваивают человеческие имена. Человек и робот оказываются в одной семье. Цель — воспрепятствовать появлению новых луддитов, ломавших в период промышленного переворота конца XVIII — начала XIX века станки и машины. Луддиты наивно полагали, что машины — причина безработицы. Крушить роботов нынешнему японскому рабочему должно казаться святотатством: это все равно что поднимать руку на брата. А попытки крушить роботов были.

Во время пикника в токийском парке Синдзюку на коллективном любовании цветущей сакурой, которое ежегодно устраивает премьер-министр для японского истеблишмента и зарубежных дипломатов и журналистов, стихийно возник однажды среди корреспондентов-иностранцев диспут о «секрете» динамичности японской экономики в сравнении с американской и западноевропейской. Представители зарубежной прессы отдали должное нежно-белой красоте весенней сакуры и собрались в кружок обменяться новостями и мнениями. Спор врезался в память из-за высказываний корреспондента итальянского журнала «Эспрессо». С запальчивостью, какой хватило бы на десятерых болельщиков с бразильского футбольного стадиона «Маракана», и с непрекращаемостью инквизитора журналист утверждал, что «секрет» этот — в сочетании двух элементов, в теории взаимоисключающих друг друга, но в Японии, где все наоборот, друг друга взаимодополняющих: самой передовой промышленной технологии и феодального образа мышления.

— Взгляните на этих людей.— Итальянец показал рукой на длинную очередь японцев, желавших пожать руку премьеру.— Нарядите их в самурайские одеяния — и можно снимать фильм о японском средневековье, который по достоверности не отличался бы от документального кино.

Итальянский журналист смолк, потому что сгрудившиеся вокруг него журналисты обернулись к стоявшим в очереди двум очень пожилым японцам. Они отшвыривали друг друга поклоны. Поклоны делались все глубже, и, казалось, конец им наступит, только когда «бить челом» нужно будет уже в самом прямом смысле об землю.

— Вот видите,— продолжил итальянец,— поведением, манерами и, я уверен, образом мышления они ничем не отличаются от своих праотцев, которые считали харакири лучшим аргументом в споре, и от праматерей, красивших зубы в черное, чтобы привлекательней выглядеть. А ведь имена многих из них,— итальянец заговорил еще экспансивней,— горят неонов почти во всех столицах мира. Это на их предприятия каждый год приезжают по полторы тысячи делегаций американских и западноевропейских бизнесменов и чиновников учиться рациональному использованию современной технологии — той самой, которую придумали в самих же США и Западной Европе.— Итальянец на секунду умолк и потом закончил: — Девиз «вакон ёсай» свят для них,— он кивнул в сторону очереди,— до сих пор.

Девиз, о котором упомянул корреспондент «Эспрессо», появился во второй половине XIX столетия, когда Япония после долгой самоизоляции начала стремительно впитывать научные и технические достижения Запада. «Вакон ёсай» — это «взять новейшие знания, выработанные иностранцами, но не позволить им пошатнуть основы японского образа мышления». В контексте девиза «японский образ мышления» значил «феодалный образ мышления».

Я склонен согласиться с итальянским журналистом, но с существенными оговорками: под феодальным образом мышления следует понимать общинное сознание, действительно очень характерное для японцев, и учитывать, что это общинное сознание не наследуется, а постоянно воспроизводится усилиями японского правящего класса.

Председатель одной из крупнейших в мире японской судостроительной фирмы «Мицуи дзосэн» Исаму Ямасита сказал:

— После второй мировой войны, когда Япония приступила к реиндустриализации, люди потянулись в большие промышленные комплексы, и существовавший многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы возродили старую общину на своих промышленных предприятиях. И теперь фирмы, подобные нашей, представляют собой новые общины, и на менеджеров возложена обязанность создавать условия, в которых люди могли бы наслаждаться общинной жизнью. Прежде всего мы, менеджеры,— подчеркнул Исаму Ямасита,— несем ответственность за сохранение общинной жизни.

Помните слова менеджера Рюити Хасимото: надо, чтобы условия, а не управляющие заставляли рабочих эффективно трудиться? Из рассказа председателя «Мицуи дзосэн» Исаму Ямаситы видно, во что это вылилось. Условия, типичные для японской средневековой деревни и перенесенные в цехи с роботами и гибкими производственными системами, в конторы с компьютерами и автоматами, явились орудием, при помощи которого японские предприниматели подвергли рабочих идеологической лоботомии.

В романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» приведена древняя легенда о манкуртах. Рабовладельцы из племени жуаньжуанов надевали на чисто выбритые головы молодых пленников выйную часть только что убитого верблюда. Парная верблюжья шкура — ее называли шири — прилипала к черепу наподобие современных плавательных шапочек. Шкура ссыхалась и страшными тисками сжимала голову. Волосы вращались в верблюжью шкуру, но чаще загибались и уходили концами снова в кожу головы. Тот, кто подвергался этой пытке, либо умирал, не выдержав боли, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего своего прошлого. «Лишенный понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ,— написано в романе.— Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен».

Но японским предпринимателям мало, чтобы их манкурты не ведали никаких страстей. Нынешние манкурты не пасут верблюдов, а работают со сложнейшей техникой. Нужно, следовательно, убить в современном манкурте побуждение к бунту, к неповиновению, которого японские предприниматели боятся так же сильно, как и жуаньжуаны, однако сохранить способность к активному высокопроизводительному труду, сберечь желание повышать его качество.

И предприниматели обратились к опыту американских нейрохирургов, которые посредством операции на предлобных и лобных долях головного мозга, именуемой лоботомией, уже произвели, как утверждает печать в Соединенных Штатах, по меньшей мере 50 тысяч существ в человеческом облике, с качествами, заданными нейрохирургами. Прибегая не к шири и не к скальпелю, а к идеологическим орудиям и инструментарию, японские предприниматели стремятся превратить в энергичных, деятельных, но послушных и безропотных манкуртов миллионы японцев. С пения гимнов, декламации заповедей и прочей обрядности и начинается лоботомическая операция по замене классового сознания сознанием общинным.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«Когда японский земледелец проделал на своем поле все, до чего можно только задуматься, он начинает пропалывать ячмень стебелек за стебелеком, пользуясь большим и указательным пальцем. Это правда. Я видел своими глазами крестьянина за таким занятием».

Если через три четверти столетия после Киплинга, кому принадлежат эти строки, моему взгляду представилось почти то же самое, значит, речь идет не о случайном наблюдении, а о закономерности.

На необъятных просторах евразийского материка природа баловала людей. Истощив участок земли, они перебирались на соседний и обрабатывали его, пока он плодоносил. «Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку назло... — удивительно метко написал Борис Пильняк. — Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнями, и только одна седьмая отдана природой человеку для того, чтобы он сажил рис». Поэтому испокон веку японцы-земледельцы вынуждены были довольствоваться той землей, какая им досталась, и постоянно заботиться об увеличении ее урожайности, чтобы выжить. Тут поневоле станешь пропальвать пальцами каждый стебелек.

Убежденность в святости ювелирной отделки каждого рисового росточка усиливала религия. «Земледелие — это не что иное, как дело Будды, — доказывали церковники. — В рисовом зернышке укрывается богиня милосердия Каннон», — внушали они крестьянам.

Однако «нечеловечески человеческий», по выражению Пильняка, труд требовался от японцев не только при уходе за стебельками риса. К японским климатическим условиям больше всего подходит поливное рисоразведение. Для него нужна оросительная система: каналы с искусственной подачей влаги, очень часто с низких участков на более высокие, плотины со створами для спуска воды, водохранилища. Создание оросительной системы и теперь-то дело непростое. И потому 800 оросительных прудов с разветвленной сетью каналов, вырытых, судя по свидетельству древних хроник, в III—IV веках в стране Ямато, центральной части нынешней Японии, правомерно, мне думается, приравнять к египетским пирамидам. Как и сооружение пирамид, прокладка оросительных систем требовала труда многих людей. Земледельческие общины могли строить и поддерживать в рабочем состоянии оросительные системы лишь усилиями всех входивших в общины семей.

Японская природа не только жестока, но и коварна. В среднем четырежды в день она наносит японцам неожиданные удары — нет, не из-за угла, как чуть было не написал, а из-под земли, поскольку речь идет о землетрясениях. Во время землетрясения, например, 1748 года погибли 40 тысяч японцев. В 1896 году бедствие стоило жизни 27 тысячам человек, оно смело с лица земли 106 тысяч домов. В 1923 году Токио чуть не постигла участь Помпеи: стихия оставила после себя 100 тысяч убитых и 558 тысяч пепелищ на месте домов. Подземные толчки оканчиваются трагедией один раз в шесть лет. Тайфуны, цунами, наводнения столь же безжалостны к японцам, как и землетрясения. Они приводят в негодность поля на многих тысячах гектаров. Обращают в болота сотни километров оросительных систем.

Гибель от голода грозила крестьянину и в благополучный год. Когда в средневековой Японии в крестьянских хижинах появлялись на полу соломенные циновки — а это случалось только после самых щедрых урожаев, — феодалы приходили в негодование от «пристрастия, как они говорили, мужиков к роскоши, граничащей с распутством», и еще немилосердной обирали крестьян, которые и без того отдавали феодалам в качестве налогов до 80 процентов собираемого риса.

Приводить в порядок поля, заново прокладывать орошение, восстанавливать рухнувшие или сгоревшие дома, увеличивать урожайность, чтобы она поспевала за ростом населения, одному не под силу. За дело брались всем миром, то есть общиной. В сознании японцев не мог появиться образ скатерти-самобранки. Чтобы выжить, японцы должны были иступленно трудиться, причем непременно в составе группы, общины. Одиночку ожидала неизбежная гибель.

Сказка, которую жервой в жизни слышит японец, — о черепахе и зайце. Заяц, быстрый бегун, проиграл соревнование черепахе, потому что заснул по дороге. Черепаха победила благодаря настойчивости и труду. «Труд — основа основ!» — этому с самой ранней поры учила столетия назад и учит сейчас японская мать ребенка, так как желает ему достатка, а себе безбедной старости. «Труд — основа основ!» — внушала деревенская община своим членам, ибо не было иной базы для общинного благополучия. «Труд — основа основ!» — подхватывают современные предприниматели общинный лозунг, потому что в наш век извлекать прибыль, используя чужой труд, гораздо лучше с помощью убеждения, нежели насилия.

«Доброе утро!» — говорим мы и этим выражением, произносимым автоматиче-

ски, желаем друг другу добра, счастья, которые должно принести наступившее утро. С таким же автоматизмом японцы произносят: «Охаё годзаимас», то есть «мы оба встали рано и собираемся заняться трудом». Согласно общинному сознанию утро принесит счастье в виде возможности трудиться. «Спасибо, что почтили своим присутствием...» — говорим мы, обращаясь к аудитории. «Оисогасий токоро...» («Спасибо, что, несмотря на занятость, вы почтили своим присутствием...») — благодарят аудиторию японцы. Общинное сознание не может допустить, что кто-то предаётся праздности.

К общине, где господствует такое вот сознание, и испытывают пылкую привязанность нынешние японские предприниматели. Потому и возрождают общинный дух на заводах, фабриках, в конторах и учреждениях. Предприниматели рьят капитализм в перекоренные на современный манер общинные одежды, пошитые столетия назад в специфических японских географических, исторических и социально-экономических условиях. Цель маскарада — создать впечатление, что в эпоху научно-технической революции община с ее примитивным коллективизмом способна преодолеть противоречия между трудом и капиталом и обеспечить прибыль отдельному человеку благодаря улучшению положения группы.

Вернусь к высказываниям председателя судостроительной фирмы «Мицуи дзосэн» Исаму Ямаситы.

— Нам повезло, — сказал он, имея в виду представителей монополистического капитала. — Общинные отношения господствовали в Японии вплоть до тысяча девятьсот сорок пятого года, и за сравнительно короткий период растерянности, последовавшей после окончания войны, общинный дух не успел выветриться.

Оставим на совести Ямаситы социально-экономическую характеристику императорской Японии, но в одном он не ошибается: чтобы держать в повиновении народ, японская военщина любовно культивировала у него общинное сознание. На это были направлены старания школы, церкви, государства — всего общества. Времени разрушить общинный дух было действительно очень мало. «Сила привычки миллионов... самая страшная сила», — писал Владимир Ильич Ленин. Эту силу и эксплуатируют японские предприниматели к своей выгоде.

...КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

«Близкий сосед лучше далекого родственника». Это выяснилось с возникновением земледельческих общин. Большей частью располагались они в долинах между гор. Заросшие лесом, труднопроходимые горные кручи, море, разделяющее Японские острова, оказывались границами, пересечь которые было не так-то просто. Вот и получалось, что сосед, с кем крестьянин бок о бок работал в поле, сообща соорудил канал для полива, вместе строил и чинил свой дом, становился важнее и ближе находившегося за горой или за морем, в иной общине, родственника, кого, случалось, и видел-то крестьянин за всю жизнь не более одного-двух раз и кто в любом случае попросту не в состоянии был прийти крестьянину на помощь, даже если и очень хотел.

Постоянному воспроизводству общинного духа способствовал не один лишь коллективный характер работ в общине. Обычай селиться скученно, крыша к крыше, разгораживать дом не постоянными плотными стенами, а раздвижными, легко снимаемыми бумажными сёдзи — все это тоже формировало характер японцев. Человек с детства идентифицировал себя с группой — семьей, соседями, локальной общиной — и до конца дней своих не представлял себе жизни вне их пределов.

В Нью-Йорке постоянно проживают 30 тысяч японцев. Опрос, проведенный среди них в 1981 году, выявил поразительную для всех, кроме самих японцев, картину. Треть из тридцатитысячного японского населения города ни разу не брала в руки американских газет. 40 процентов японцев и почти половина японок никогда не знались с американцами, не заводили с ними дружбы. Нью-йоркские японцы удовлетворялись местным изданием токийской газеты «Йомиури», местными радиопрограммами на японском языке, японскими передачами по городскому кабельному телевидению и общением в рамках своей группы.

Вернемся, однако, в Японию.

В июле и декабре японцы, будто повинясь тому же рефлексу, какой влечет птиц с юга в родные места, покидают города и отправляются туда, где родились и где когда-то была община, в которой они выросли.

Исход из городов приобретает массовый характер, и на железной дороге вво-

дятся дополнительные поезда, а на воздушных трассах — дополнительные рейсы. После свидания с родиной японцы возвращаются нагруженные изделиями местных умельцев, домашними маринадами и копченостями. И от взгляда на деревянную куклу, выточенную соседом, живущим бок о бок с родительским домом, смакуя сливу, замаринованную по рецепту, передающемуся в родной деревне из поколения в поколение, теплеет на сердце у японца.

Сейчас деревня — уже не прежняя мелкая локальная общность. Крестьян, живущих исключительно земледелием, почти не осталось, если не считать населения очень небольшого числа префектур, удаленных от промышленных центров. Отхожий промысел сделался для многих крестьянских семей равнозначным занятию сельским хозяйством и, следовательно, для деревенских общинников потерялась единая цель. Побочные доходы, подчас превосходящие поступления от сельского хозяйства, поставили семьи отходников наравне, а то и выше чисто крестьянских семей. И поэтому слабеет в деревне общинный дух, но он все еще стоек. Воспроизводимый в городе стараниями предпринимателей, общинный дух экспортируется в деревню во время летнего и зимнего исхода горожан, гальванизирует там общинное сознание и сам получает в результате дополнительную крепость.

В парламентах многих государств, в частности английском, есть выходцы из зарубежных стран. Однако немыслимо, чтобы депутатом высшего законодательного органа Японии сделался человек иностранного происхождения. Да что там иностранного — натурализовавшемуся корейцу и тому недоступно парламентское место, даже если его предки очутились в Японии много поколений назад и он успел забыть и родной язык и родную культуру. В Японии 700 тысяч корейцев, проживающих постоянно и являющихся национальным меньшинством. И тем не менее ни одно правительственное учреждение не предоставит работу корейцу. Министерство просвещения отказывает корейцам в приеме на руководящие должности в школах.

Общинная замкнутость, вражда к чужакам столь сильны, что только путем длительного и напряженного судебного процесса корейский юноша добился зачисления в юридическое высшее учебное заведение, куда его никак не хотели принимать, хотя он успешно сдал вступительные экзамены. Такой же процесс потребовался другому корейцу для восстановления на работе, которой его лишила ведущая электронная фирма только потому, что он не японец.

Корейцам приходится скрывать свое происхождение. Если им это удается, то они, бывает, добиваются известности в спорте или искусстве. Как Исао Харимото, например. Первоклассный в прошлом игрок в бейсбол, он сделался непревзойденным мастером телевизионного спортивного репортажа. Но начиная и заканчивая трансляцию со стадиона, он никогда не представляется своим подлинным именем Чан Хун. В 1984 году японское министерство иностранных дел милостиво разрешило произносить имена корейцев по-корейски, а не по-японски, что имена эти искажало до неузнаваемости. Но такая узенькая щель, конечно же, не в состоянии подточить необыкновенную прочность общинного сознания в среде японцев, за которым укрываются они как за каменной стеной.

«Наше положение в Японии напоминает судьбу негров в США», — сказал Р. Макдэниел, вице-президент японского филиала американского химического концерна «Монсанто». Вероятно, сравнение американского дельца имеет право на существование, но с уточнением: иностранцев дискриминируют в Японии не из-за иного цвета кожи, а вследствие их принадлежности к иной общине. Общинная дискриминация распространяется в равной степени и на американца, и на европейца, и на азиата, если он не японец.

РУКА МОЕТ ТОЛЬКО СВОЮ РУКУ

В глухой сельский угол префектуры Аомори я попал, когда небо уже сделалось бездонно синим, солнце после зимнего перерыва — снова горячим, а снег был еще пушистым, глубоким и пронзительно белым. В средней полосе России к месту было бы прочесть: «Весна. Выставляется первая рама...» Здесь, на севере главного японского острова Хонсю, стихи следовало начинать с иной приметы деревенского быта: «Весна. Чинится первая крыша». Хотя нужно сказать, что далеко не каждую весну и крыши далеко не всех домов застилаются по весне новой соломой. Во-первых, дорого. Чтобы настелить заново крышу японского деревенского дома традиционной постройки, требуется несколько миллионов иен. Поэтому в японских деревнях крышу чинят раз в пятьдесят лет, да и то лишь ее половину. Черед другой половины наста-

нет еще через полвека. Во-вторых, дело это трудоемкое. И чинят крышу одного какого-нибудь дома всей деревней. Обычай для земледельческой общины столь прочный, что на такую работу возвращаются даже те мужчины, которые уходили в город на заработки. Сегодня они помогают перекрывать дом. Следующей весной хозяин дома поспешит помочь им. Так повелось в японской деревне с незапамятных времен.

Я следил за работой крестьян, прилепившихся, словно стая воробышков, к темно-желтому соломенному высокому боку крутой кровли. Я знал, что в этой деревне отродясь не видели иностранцев, телевизионных корреспондентов вдовабок. Но не слетела с крыши воробьиная стайка. Уверен, случись светопреставление — крестьяне все так же сосредоточенно и споро будут продолжать закреплять на кровле толстые связки рисовой содомы и даже не глянут вниз. Память услужливо подсказала аналогю: цех телевизорного завода концерна «Мацусита дэнки» и конвейер с восемнадцатью голубыми курточками вдоль него.

День сник, крестьяне спустились наконец с крыши, и в самой просторной комнате был накрыт ужин. Семья, которой принадлежал дом, и соседи-помощники расположились на циновках. Перед гостями на лаковых подносиках стояли пузатые керамические графинчики с подогретым сакэ — рисовой водкой — и рюмки-наперстки. Закуска, радовавшая глаз изысканной красотой, но вызывавшая большое сомнение с точки зрения сытности, была разложена по керамическим тарелочкам, тоже расставленным на подносиках. Филигранно нарезанные белые и густо-синие ломтики маринованной редьки и баклажанов и изящно выпнувшиеся жареные тушки маленьких рыбок очертаниями повторяли форму тарелочек. В глубоких пиалах снежно белел рис.

После закуски хозяйка внесла набэ — большой чугунный котелок — и поставила его в центре комнаты на тлевшие угли. Когда вода в котелке стала кипеть, каждый при помощи хаси — деревянных палочек для еды — принялся подхватывать с большого круглого блюда тонко нарезанные ломтики сырого мяса, окунать их на несколько секунд в кипящую воду, затем макать в острый соевый соус в блюдечке и отправлять в рот. Тофу — соевый сыр — и зелень бросали в набэ надолго. Это был гарнир к мясу.

Подобным образом — из одного на всю ужинающую компанию набэ — я ел и в Токио в ресторанах японской кухни, но только здесь, в глухой деревне, мне открылся внутренний смысл коллективной трапезы. Сидевшие вокруг набэ люди выглядели одной большой семьей. Каждый кормил себя сам, но делал это одновременно со всеми, пользуясь общим котлом. Только что крестьян объединял труд. Сейчас связал набэ. Месяц-полтора спустя расцветет сакура, и эти же крестьяне кружком рассядутся под вишнями и будут любоваться нежно-розовыми цветами, будто пушистым легким покрывалом укутывающими все до единой веточки вишневых деревьев. Крестьяне тоже ощущают общность, как и во время ужина вокруг набэ, но теперь через эстетическое сопереживание.

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету,—

говорится в знаменитом японском трехстишии.

В старом японском крестьянском доме, где, казалось, сами годы до блеска отполировали деревянные полы а некогда белые бумажные сёдзи сделались дельными, словно залоснились их тени ушедших поколений, я увидел живую иллюстрацию общинных отношений. Чувство, именуемое словом «ниндзэ», что означает жалость, заботу, любовь между родителями и детьми распространилось на соседские взаимосвязи. И в результате соседи стали испытывать гири, то есть потребность выполнить долг признательности друг перед другом.

Чувство гири возникает не только в деревенской соседской общине. Учащиеся школы, выпускники-одногодки университета, служащие фирмы, работники завода, цеха, бригады составляют общины, в которых тоже господствует гири. В производственных рамках гири превращается в экономическую категорию.

— Скажите пожалуйста, где у вас склад для хранения кормов? — спросил я крестьянина, о хозяйстве которого снимал телевизионный репортаж. Хозяйство представляло собой два длинных одноэтажных сарая. В них содержалось 50 тысяч кур-несушек. — Не вижу я и места, где вы держите снесенные курами яйца, — допытывался я у крестьянина.

— Зачем мне склад, если кормов — лишь суточный запас? — ответил крестьянин вопросом на вопрос.

— Чем же вы собираетесь кормить кур завтра? — не унимался я.

— Завтра корма привезет господин Хосода. Он специализируется на них, — сказал крестьянин.

— А если не привезет? — предположил я.

— То есть как не привезет? — переспросил крестьянин с интонацией, будто я усомнился в неизбежности восхода солнца.

— Ну вдруг умрет, — решил я смоделировать экстремальную ситуацию.

— Жена господина Хосоды привезет. — Крестьянин говорил со снисходительной уверенностью гроссмейстера, разбирающего для любителя шахматную партию.

— Жена будет хоронить мужа! — стоял на своем я.

— Сын господина Хосоды привезет. — Для крестьянина это было очевидней таблицы умножения.

— Сын уедет на похороны тоже!

— Сосед господина Хосоды привезет.

— У вас что же, подписан такой строгий контракт с господином Хосодой? — спросил я.

— Зачем нам контракт? — удивился крестьянин. — Господин Хосода, — разъяснил он, — пообещал мне привозить корма каждый день.

— Ладно, — сдался я, но вспомнил, что в хозяйстве нет помещения для хранения и готовой продукции — яиц, и поинтересовался причиной этого.

— Оптовая фирма забирает, — ответил крестьянин и, предвидя мои следующие вопросы, добавил: — Забирает каждый день и никогда не подводит. Забирает тоже без контракта.

Отношения, определяемые чувством гири, оказываются в Японии прочнее, чем писанные контракты. Во всяком случае, подобные отношения с успехом контракты заменяют. И в промышленности тоже. На автомобильном заводе фирмы «Ниссан», выпускающем 420 тысяч машин в год, комплектующих частей имеется всегда на два часа работы конвейера. Смежники доставляют эти части с точностью плюс-минус два часа, и на заводе не помнят, чтобы конвейер останавливался. Благодаря отсутствию складских помещений и рабочих, занятых в них, японские автомобилестроители экономят на себестоимости каждой машины в среднем 94 доллара.

Моя просьба разрешить телевизионные съемки на экспериментальном участке скоростной железнодорожной магистрали Синкансэн обошла почти десяток отделов и управлений Корпорации государственных железных дорог. Я понял это по многочисленным печатам на официальном бланке, на котором изложил просьбу. Это не были огромные круглые оттиски герба или аббревиатуры корпорации. Бланк усеивали маленькие — величиной с копеечную монету — кружки красного цвета с иероглифами внутри. «Ямада», «Ивасаки», «Отани»... — прочел я. Ханко — называются такие именные печатки.

— Если бы на вашей просьбе я написал рукой свои фамилию и имя, это значило бы, что согласен вашу просьбу удовлетворить лично я, — растолковал мне сотрудник отдела по связи с прессой Корпорации государственных железных дорог. — Когда же к просьбе приложена моя фамильная ханко, то тем самым я удостоверяю, что разрешить вам съемки — мнение корпорации.

Ханко подтверждает, таким образом, что владелец печатки — представитель определенной семьи, группы, общины. При равном количестве ханко и подписей, представленных на документе, печатки вдвое эффективней собственноручных виз. Огромный авторитет общины не идет ни в какое сравнение с престижем отдельного лица, сколь высокое положение оно ни занимало бы.

Отсюда же проистекает и японская традиция называть в отличие от большинства стран Запада сначала фамилию и только потом имя. То есть прежде сообщается, из какой семьи происходит японец, а затем говорится, кто именно этот член семьи.

Но несравненно больше, чем родительская семья, японца интересует фирма, какую представляет человек. Когда дипломат, бизнесмен или журналист приезжает за границу к месту своей работы и его жена идет знакомиться с соседями-японцами, то первый ее вопрос касается не местоположения школы и ближайших магазинов, а названия учреждения или фирмы, в которой работает муж соседки, и его должности. «Я жена господина Сато из министерства иностранных дел», — говорит, к примеру,

только что прибывшая дама. «Я жена господина Морикавы из фирмы „Тосиба“», — отвечает ей новая знакомая.

Деньги в Японии, разумеется, «говорят», но не в той степени авторитарно, как в США. В Японии важнее место, где зарабатываются деньги. Поэтому при знакомстве японец немедленно вручает визитную карточку — на ней написаны название его фирмы и должность. Японец ожидает получить визитную карточку в ответ. И если слышит: «Извините, визитной карточки у меня нет», то впадает в растерянность. от которой его трудно избавить даже полным изложением своей трудовой биографии. Выступая представителем общины, именуемой фирмой «Сони», банком «Сумитомо» или министерством, японцу нужно точно знать, с членом какой общины он входит в контакт, чтобы вести себя соответственно положению, занимаемому общинами относительно друг друга.

На парламентских выборах 1983 года опустить бюллетени в урны для голосования пришли в целом по стране 68 процентов избирателей. Однако на муниципальных выборах — в ассамблеи префектур, городов, деревень — активность избирателей несравненно выше. Более 90 процентов японцев, обладающих правом голоса, являются обычно на избирательные участки — ведь близкий сосед, баллотирующийся в местную ассамблею, лучше да и полезнее далекого «родственника», стремящегося попасть в общенациональный парламент.

75 процентов нации требовали, судя по опросам, изгнания бывшего премьер-министра Какуэя Танаки из мира политики. Танака изобличен во взяточничестве и судом низшей инстанции приговорен к тюремному заключению. Но он продолжает заседать в парламенте. И все потому, что избиратели его округа, составляющие 0,4 процента к общему числу японцев, которые приняли участие в последних по времени парламентских выборах, проголосовали за Танаку. Занимая посты министра, премьер-министра, Танака неустанно радел своей ниигатской общине, как правило, в ущерб развитию хозяйства других префектур. Теперь общинники, движимые чувством гирри, отдадут долг Танаке.

Дело Танаки часто именуют японским Уотергейтом. Танака за взятки помог американскому авиаконцерну «Локхид» проникнуть на японский рынок. Думаю, однако, что полной аналогии здесь нет. На первых же после американского Уотергейта президентских выборах республиканская администрация была изгнана из Белого дома. Но японский Уотергейт не привел к ликвидации в Японии правления либерально-демократической партии. Ричард Никсон в результате скандала погубил всякое политическое значение, а Танака, хотя и покинул ряды правящей партии, все равно остается фактическим главой крупнейшей партийной фракции — в нее входит около двух третей депутатов парламента, избранных от ЛДП. Танака по-прежнему влияет на назначение и смещение премьер-министров, воздействует на решение многих государственных вопросов. При одинаковой продажности буржуазных партий Японии и США японских высокопоставленных преступников охраняет от возмездия общинная солидарность, принявшая в случае с Танакой форму фракционной круговой поруки.

Будь Танака выходцем из Токийского университета, не исключено, что его судебного дела и в помине не было бы. А если бы оно и началось, то задолго до вызова в прокуратуру и в суд Танака точно знал бы, на какие вопросы ему предстоит отвечать. Чиновники прокуратуры и судьи — почти сплошь выпускники Токийского университета. А разве мыслимо оставить брата-общинника в беде?

Замкнутость, эта традиционная черта общины, сделала еще более клейким строительный раствор, цементирующий здание общинных нравов. Они породили поговорку: что одной руке не под силу двумя легко сделать. Но они же понуждают одну руку отмывать другую от любой, даже самой зловонной, грязи.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ НА ЭСКАЛАТОРЕ, ИДУЩЕМ ВВЕРХ

Земледельческая община обрела жизнеспособность при условии проявления всеми ее членами полного единомыслия. Единомыслия любой ценой, в том числе и за счет подавления индивидуальности, самобытности, за счет подчинения воли, желаний членов общины одному мнению. На бога надейся, а сам не плошай — мысль, чуждая японцу. Он придерживается взгляда: из одной шелковинки не сделаешь нити.

«Даже если вы делаете работу лучше других, не ведите себя как победитель, — дает молодым японцам совет Мицуюки Масацугу в книге «Общество современных самураев». — Что вам необходимо для продвижения — это не ревность коллег, не их

зависть или восхищение, а поддержка, понимание и симпатия членов группы, к какой вы принадлежите. Вы можете обладать,— продолжает многоопытный менеджер,— способностью быстро выполнять указания руководства, желанием помогать другим, умением принимать решения и сразу же действовать. Вы можете иметь уверенные и внушающие доверие манеры. Вас может одолевать стремление говорить откровенно и твердо по любым вопросам, встающим перед фирмой или организацией. Но не демонстрируйте группе всего этого. Слишком активная «продажа» себя окажется фатальной для вашей карьеры,— предостерегает Мицуюки Масацугу.— Вы подниметесь наверх, только двигаясь вместе со всеми. И только при поддержке всех членов группы сумеете занять лидирующее положение»,— подчеркивает менеджер.

Ежегодное собрание акционеров фирмы. Решается вопрос об избрании нового президента. Уходящий в отставку глава фирмы называет имя кандидата. Тот встает, низко, как умеют одни японцы, кланяется акционерам в зале, потом руководству фирмы в президиуме и подходит к микрофону. «Я чрезвычайно удивлен,— говорит кандидат в президенты,— что для выполнения столь ответственных обязанностей избрали именно меня. Я сумел достичь нынешнего очень высокого положения только потому, что следовал путем, проложенным моим предшественником, и потому, что всегда внимательно прислушивался к ценнейшим советам, которые давали мне вы.— Кандидат в президенты снова отвешивает поклон залу и продолжает: — Я сделаю все, что в моих силах, и постараюсь оправдать надежды фирмы, связанные с моим выдвижением. Я прошу вас,— опять следуют поклоны в сторону зала и президиума,— не оставлять меня без ваших наставлений и вашей поддержки и впредь».

Если кандидат в президенты не уверен, что сумеет справиться с новыми обязанностями, то почему его рекомендуют на высокий пост и зачем он соглашается с выдвижением? Вопрос, закономерный для любой страны, но не для Японии. Все присутствующие на собрании акционеры знают, что именно этот кандидат наиболее подходит для роли президента. Не сомневается и кандидат в своей способности руководить фирмой. Но скажи он, что принимает возлагаемую на него ответственность, так как обладает нужным опытом и квалификацией, акционеры проголосовали бы против. «Он не понимает духа фирмы и поступает вопреки ему»,— вынесли бы акционеры вердикт, покоящийся на традиционном японском общинном сознании.

У японцев есть поговорка: забивать гвозди. По поднявшейся над группой индивидуальности ударят, как бьют по шляпке гвоздя, вылезшего из доски. Удары тем сильнее и, следовательно, больнее, чем больше шляпка и заметнее гвоздь. И далеко не у всякого японца появляется желание, а главное мужество, сделаться торчащим гвоздем. Если же голова индивидуальности оказывается прочней шляпки гвоздя и упрямо лезет наружу, группа впадает в растерянность, ей неудобно рядом с индивидуальностью, она старается отделиться от нее, порвать с ней.

Выдающийся японский дирижер Сэйдзи Одава, кого приравнивают к Евгению Мравинскому и Герберту Караяну, не смог играть с японскими симфоническими оркестрами, несмотря на их высокий исполнительский уровень. Одава вынужден был выехать за границу и теперь приезжает в Японию только на гастроли.

Высокий технический уровень не только музыкантов, но и художников, поэтов, кинематографистов — плод того проявления общинного сознания, которое нашло выражение в поговорке «забивать гвозди». Мастера подражают признанному основателю какого-либо направления в искусстве или литературе. Они бесконечно повторяют, воспроизводят лучшие образцы творчества предшественника, доводя свою технику до совершенства. Но стоит кому-то выделиться из общей массы за счет глубины или оригинальности идеи, заключенной в произведении, как в ход пускаются молотки.

Роль молотка, который кинокритика попыталась применить против талантливейшего кинорежиссера Акиры Куросавы, выполнял ярлык, убийственный с точки зрения общинных нравов. «Он потворствует вкусам иностранцев»,— возмущенно писали о Куросаве японские газеты. Размозжить всемирное признание кинорежиссера не удалось, но вытеснить его из японской кинематографической общины получилось. С 1970 года Куросава не снял в Японии ни одного фильма. В 1975 году Советский Союз дал Куросаве возможность поставить фильм «Дерсу Узала». Следующую свою картину «Двойник» («Тень воина») Куросава снял благодаря финансовой поддержке американских кинорежиссеров Фрэнсиса Форда Копполы и Джорджа Лукаса. Последняя работа — «Смута» — не была бы создана Куросавой, если бы не содействие французских продюсеров. «Дерсу Узала» и «Двойник» мировая кинокритика назвала верши-

нами кинематографического искусства и придала тем самым общинному приговору об изгнании Куросавы окончательный, не подлежащий обжалованию характер.

Громоподобный хохот, раздающийся в барах, когда там собираются подгулявшие японцы и принимаются шутить друг с другом или с хостесс — девушками, которые выполняют роль одновременно официанток и партнерш по выпивке, — поначалу создает впечатление, что японцы знают в юморе толк и хорошо юмор чувствуют. Но прислушавшись к остротам, вдруг ловишь себя на мысли об аналогии между японским юмором и анекдотом о давних приятелях, которые уже по несколько раз рассказали все известные им смешные истории, затем перенумеровали их и теперь говорили «двадцать семь», «сорок три» и до упаду хохотали. Новая острота, удачно придуманный анекдот могут выделить японца из той крохотной общины, что образовалась в баре за столиком. И в результате острослов рискует лишиться компании если не в этот раз, то уж в следующий непременно.

Япония — страна, где люди живут и действуют, как все. Язык народа — это зеркало, отражающее жизненный опыт, традиции, национальный характер. «Сиавасэ» означает по-японски счастье. А образовано слово из видоизмененных глаголов «суру» (делать) и «авасэру» (согласовывать, приравнивать, приспособлять). Японец тогда счастлив, когда его поступки согласованы, приравнены или приспособлены к взглядам и оценкам окружающих. И получается, что члены одной общины как капли воды похожи друг на друга. Они внимательно следят, чтобы их схожесть не нарушалась, чтобы каждый был, как все, а все — как каждый.

Хозяйка приходит в магазин, намереваясь купить макрель — рыба эта в Японии дешевая, денег же в доме осталось немного. У прилавка хозяйка замечает соседку — ее муж служит в той же фирме, что и муж хозяйки, и занимает примерно одинаковое положение. В корзинке у соседки дорогой тунец. И хозяйка тоже покупает тунца. Приобретать продукты, что и все. Иметь кимоно, как у всех. Отдыхать, как все. Совершать свадебное путешествие, как все. Эту черту характера японцев уверенно используют коммивояжеры. Достаточно им сказать: «Ваши соседи уже купили это», как сделка сразу будет заключена. Коммивояжеры ссылаются также на сослуживцев, на одноклассников и, если представляется такая возможность, непременно на родственников. Японец всегда ориентируется на круг близких ему лиц и старается соответствовать стереотипам их поведения.

В США, Западной Европе богатей сооружает гигантский бассейн в усадьбе, увешивает комнаты полотнами всемирно известных художников, женится на вдове американского президента, чтобы выделиться среди людей своего круга. Японец не станет совершать подобные поступки, ибо добивается иной цели: утвердить себя в рамках группы. Утвердить как личность в ряду других индивидуальностей? Ничего подобного. Японец стремится встроить себя, выражаясь научно-техническим языком нынешней эпохи, в поточную линию из таких же, как он, ничем не выделяющихся людей, чтобы обрести возможность действовать согласно требованиям группы, общины. Многовековое заколачивание гвоздей получило завершение.

Тотальная шаблонизация имеет, однако, в Японии примечательную оборотную сторону. Около двухсот лет назад на нее обратил внимание русский мореплаватель Василий Головин. «Правда, у нас, в Европе, более наук и художеств, у нас есть люди, которые с неба звезды хватают, а у японцев нет! — написал Головин. — Но затем на одного такого звездочета мы имеем тысячу, которые, так сказать, трех перечест не умеют... Ежели же вообще взять народ, то японцы имеют лучшее понятие о вещах, нежели нижний класс людей в Европе». Вывод, вполне актуальный и теперь. Американский бизнесмен, долго изучавший положение в японской науке и промышленности, удивительно точно сказал: каждый из десяти американцев на голову выше каждого из десяти японцев, но десять японцев всегда на голову выше десяти американцев.

(Окончание следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАСИЛИЙ БОЙКО,
Герой Советского Союза



ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЙ ХИНГАН

ОТ РЕДАКЦИИ

9 мая нынешнего года наша страна отметила сорокалетие победы советского народа в Великой Отечественной войне. В сентябре исполняется сорок лет со дня знаменательного события: Советские Вооруженные Силы совместно с монгольской Народно-революционной армией, молниеносным ударом разгромив Квантунскую армию и связанные с ней группировки, вынудили милитаристскую Японию подписать акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война закончилась полным разгромом тех, кто ее развязал.

Советский Союз начал военные действия на Дальнем Востоке ровно через три месяца после разгрома фашистской Германии — в точном соответствии с Ялтинским соглашением. В отличие от США и Англии, неоднократно в течение войны дававших обещания открыть второй фронт в Европе и нарушавших их, СССР честно и добросовестно исполнил свой союзнический долг.

Политические и военные руководители США и Англии считали, что после разгрома фашистской Германии война на Дальнем Востоке продлится еще не менее полутора лет. Вступление СССР в войну против империалистической Японии значительно ускорило развязку. На заседании Высшего военного совета премьер-министр адмирал Сугзуки 9 августа 1945 года заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Авторы японской «Истории войны на Тихом океане» подтверждают: известие о вступлении Советского Союза в войну против Японии «явилося ошеломляющим ударом для руководителей японского правительства... Даже при появлении атомной бомбы государственная политика, определенная Высшим советом по руководству войной, не претерпела никаких изменений... Но вступление в войну Советского Союза развеяло все надежды на продолжение войны. Лишь теперь у императора... и руководящих деятелей правительства появилось твердое намерение прекратить войну». Решающую роль СССР на завершающем этапе второй мировой войны сорок лет назад отмечали и наши союзники. Бывший тогда командующим американскими военно-воздушными силами в Китае генерал К. Ченнолт, например, в интервью журналистам заявил: «Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной Армией по Японии, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония оказалась поставленной на колени».

Мы публикуем воспоминания одного из участников разгрома империалистической Японии в 1945 году — бывшего члена Военного совета 39-й армии генерал-лейтенанта В. Р. Бойко.

Войска 39-й армии отмечали день победы над фашистской Германией в Восточной Пруссии в районе Инстербурга (Черняховска).

Бои на западе отгремели. Главарей фашистского рейха ожидала суровая кара за преступления перед народами мира. Решительный разгром коварного врага наполнял всех нас — от рядового до генерала — чувством большой гордости. Но в нашей памяти были свежи и картины разрушений на нашей территории, те огромные потери, которыми мы заплатили за победу. Чувство душевной скорби было так же обнажено, как и чувство радости. Оттого и проявляли мы эту радость со слезами на глазах...

Армия находилась в резерве Ставки Верховного Главнокомандования и уже имела директиву Генерального штаба о предстоящей передислокации. Куда? Зачем? На вопросы солдат и офицеров, спрашивавших, какой обратный адрес писать на конвертах, отправляемых на родину, мы отвечали уклончиво: сообщите в следующих письмах. Сказать что-либо определенное не могли, потому что и сами ничего не знали. В директиве Генерального штаба от 7 мая 1945 года сообщалось только, что нам предстоит передислоцирование, что для перевозки войск армии запланировано 110 эшелонов, что первый эшелон из Инстербурга будет отправлен 12 мая.

Правда, по характеру обеспечения войск мы, конечно, догадывались, что путь предстоит нам неблизкий, что поезда пойдут из Восточной Пруссии куда-то далеко на восток.

График отправки эшелонов, утвержденный Генеральным штабом, был очень плотный. Погрузка эшелонов должна была проходить с точностью до минуты.

И вот 12 мая с первым эшелоном в неведомый путь мы проводили оперативную группу во главе с командующим артиллерией армии генерал-лейтенантом Ю. П. Бажановым. За ней отправили вторую, третью группы...

Грузились войска на семи железнодорожных станциях. Когда на колесах была уже большая часть войск армии, Генеральный штаб сообщил, что в район Инстербурга 20 мая прибудет эшелон, предназначенный для Военного совета и основных отделов управления армии. Командующему Ивану Ильичу Людникову и мне, первому члену Военного совета армии, приказано было прибыть в Москву самолетом.

Там-то и были перед нами раскрыты карты: в Генеральном штабе нам сообщили, что 39-я армия направляется в Монголию и будет иметь дело с Квантунской армией Японии. Никаких записей мы, естественно, не делали и лишних вопросов не задавали — в штабе знают, что сказать можно, а чего нельзя. На станцию назначения Чойбалсан (Баян-Тумэнь) мы обязаны были прибыть через двадцать двое суток и войти в состав Забайкальского военного округа.

До прибытия в Москву эшелона с Военным советом армии у нас оставалось еще два дня. За это время надо было устроить семьи и подготовиться к дальней дороге.

Незаметно пролетело время в майской праздничной Москве. Точно в назначенный срок наш эшелон покинул столицу и двинулся на восток.

В вагоне Военного совета было оживленно. Не часто за всю войну нам пришлось собираться вот так всем сразу вместе. По-прежнему много было разговоров о том, что ждет нас впереди. Предположения высказывались самые различные. Командарм Людников и я видели, что генералы и офицеры в обстановке ориентируются верно, но лишних вопросов они нам не задавали — все знали, что такое военная тайна, понимали, что всему свое время.

Большую часть пути я проводил за чтением книг. Для меня это был замечательный отдых. Из-за книг я забросил даже шахматы, которые всегда очень любил. На войне, правда, совсем не брал их в руки, хотя доску с шахматными фигурами возил с собой все четыре года. Понемногу начал играть только после того, как мы разгромили сильную вражескую группировку под Кенигсбергом, а это было уже в конце войны.

Устроившись у окна вагона, я подолгу любовался природой Зауралья, строгой и суровой. Осталась позади Обь, все больше и больше встречалось на нашем пути рек. С высоких точек на перевалах просматривались бескрайние просторы могучих лесов. В пути у нас были запланированы длительные, на несколько часов, остановки,

и я всегда старался использовать их для того, чтобы встретиться и поговорить с сибиряками. Однажды мы даже сняли с грузовой платформы машину и на часок выехали в лес. До чего ж приятными были эти минуты отдыха! Запомнились дни, когда проезжали чудо-озеро Байкал. Этому событию ждали все наши бойцы и командиры, истосковавшиеся по мирным пейзажам родины. По эшелону был передан приказ: ни одна бумажка не должна попасть в озеро... Два часа мы провели на берегу священного Байкала. Вода его была удивительно чистой и прозрачной. Глубина у самого берега шесть — восемь метров, Монетку, брошенную в озеро, я видел на дне до тех пор, пока ее не затягивал мелкий песок.

А потом снова на нашем пути замелькали города и села. До чего ж радостно было наблюдать за страной, ликующей после победы, начинающей мирное строительство! А нас впереди ждали сражения...

Империалистическая Япония в начале XX века стала на путь захватнических войн. Целью ее стало господство во всей Азии. На протяжении многих лет правящие круги Японии, подстрекаемые международным империализмом, проявляли крайнюю агрессивность к СССР. Япония намеревалась в случае поражения Советского Союза в войне с фашистской Германией захватить Дальний Восток и Восточную Сибирь. Именно для этой цели у восточных границ СССР она сосредоточила огромные силы армии и флота.

Как главный союзник фашистской Германии в годы войны Япония бесцеремонно, нагло и преступно вела себя у наших границ. Квантунская армия уже в 1941 году была приведена в полную боевую готовность, для того чтобы в любой момент выступить против Советского Союза. 2 июля 1941 года на секретном совещании руководящих военных и политических деятелей Японии было принято решение начать подготовку к войне против СССР. Летом 1941 года генеральный штаб Японии разработал план войны под кодовым названием «Кантокуэн» для нападения Квантунской армии на советский Дальний Восток.

К концу 1941 года Квантунская армия насчитывала свыше 700 тысяч человек, в ней было более 1000 танков, 1500 самолетов.

Японские милитаристы, демонстрируя свою откровенно враждебную политику по отношению к СССР, систематически устраивали провокации на советских границах и в нейтральных водах. Только в 1944 году было 144 случая нарушения ими нашей государственной границы и 39 случаев обстрела советской территории. С 1 декабря 1941 по 10 апреля 1945 года японские военные корабли около 200 раз останавливали (иногда применяя оружие) и досматривали советские торговые и рыболовные суда. Некоторые из них задерживались на длительный срок, а 18 судов было потоплено. Общие убытки советского судоходства за это время составили около 637 миллионов рублей.

Как далеко зашли японские правящие круги в подготовке войны против СССР, свидетельствует и тот факт, что в штабе Квантунской армии был создан специальный отдел по изучению вопросов, связанных с оккупационным режимом, и разработан план военного управления в советском Приморье, Хабаровском крае, Читинской области и Бурят-Монгольской АССР.

Квантунская армия в годы второй мировой войны и особенно до 1945 года чувствовала себя спокойно. Только поражение фашистской Германии заставило японских руководителей начать усиленную подготовку к решающим сражениям в метрополиси и Маньчжурии.

К лету 1945 года на территории Маньчжурии у границ Советского Союза и МНР японцы построили 17 укрепленных районов. Общая протяженность полосы укреплений, в которой насчитывалось более 4500 долговременных сооружений, составляла около 800 километров. Укрепленный район обычно занимал 50—100 километров по фронту и до 50 километров в глубину, оборудован был окопами, дотами, дзотами, огневыми позициями артиллерии, противотанковыми рвами. Вдоль всей границы СССР была подготовлена и оборона полевого типа. Укрепленные районы укомплектовывались войсками, прошедшими специальную подготовку.

Со всеми этими факторами мы должны были считаться при подготовке своих войск к наступлению. Мы тщательно изучили также боевой опыт противника, его технические средства, вооружение, тактику. Квантунская армия была сильным, опытным и коварным противником. Не случайно в годы Великой Отечественной войны

и в самое тяжелое для нашей страны время Ставка Верховного Главнокомандования СССР, учитывая реальную опасность агрессии со стороны империалистической Японии, в течение всей войны вынуждена была держать на Дальнем Востоке в разное время от 32 до 59 дивизий.

Одна неделя в пути, вторая. Казалось, мы попали в бесконечный поток железнодорожных эшелонов, следующих с запада на восток и с востока на запад. Но никаких вынужденных остановок, никаких ЧП, все железнодорожные службы работают четко и оперативно. Государственный Комитет Обороны СССР заранее, еще 13 апреля 1945 года, принял постановление «О мероприятиях по улучшению работы железных дорог Дальнего Востока (Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Амурской, Дальневосточной и Приморской)». Для этой цели был создан Особый округ железных дорог Дальнего Востока во главе с заместителем наркома путей сообщения В. А. Гарныком. Общее же руководство перегруппировкой войск шло через Ставку Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб. Уполномоченным Центрального управления военных сообщений ВОСО при Особом округе стал генерал А. В. Добряков.

Еще до прибытия в Читу мы знали, что многие эшелоны с нашими войсками уже разгрузились на станции назначения Чойбалсан в Монгольской Народной Республике. 15 июня эшелон Военного совета армии тоже прибыл в Чойбалсан.

Железнодорожная станция Чойбалсан работала с полным напряжением круглосуточно. Кроме войск нашей армии, на этой станции базировалось и управление 17-й армии, войска которой дислоцировались в Монголии. В годы Великой Отечественной войны мы получали от населения этой страны многочисленные подарки — нам дарили прежде всего то, в чем мы тогда особенно нуждались: коней, полушубки, рукавицы, теплые носки. Мы были благодарны монголам и хорошо помнили об этой братской помощи. Теперь монгольский народ нам снова оказывал помощь во всем, что было в его силах.

...Начали прибывать и эшелоны с пополнением для войск армии. Это было для нас радостное событие. Надо сказать, что войска 39-й армии, вышедшие из боев после штурма Кенигсберга и освобождения Земландского полуострова, там, на западе, пополнения не получали. Укомплектованность частей и соединений после этих напряженных боев составляла в лучшем случае 45—50 процентов, поэтому нашу армию должны были пополнить новобранцы. Всего для войск армии мы ждали около 40 тысяч человек, главным образом молодежи 1927 года рождения. Сказать по правде, многих это обстоятельство настораживало — ведь нам предстояло не нести боевое охранение, а вести тяжелые, кровопролитные бои. Готовы ли к ним вчерашние мальчишки?

Первое, чисто внешнее впечатление немного настораживало. Несмотря на то, что настроение у молодых солдат было хорошее и выглядели они довольно бодро, нельзя было не отметить: война, разруха и голод сказались на физическом развитии наших детей. Я решил внимательнее присмотреться к молодежи, ведь с ней нам предстояло решить серьезнейшую боевую задачу — преодолеть Большой Хинган и разгромить сильнейшую часть японской армии. Надо было убедиться в том, что к нам прибывает достойная замена.

Получив справку штаба о времени прибытия очередного эшелона, на следующий день в 6 часов утра я был на платформе станции Баин-Тумень. Свое знакомство с пополнением начал с последнего вагона. Вижу, что бойцы рады прибытию на станцию разгрузки. Чувствуют себя хорошо, настроение у них бодрое. Пока эшелон разгружали, успел побеседовать с бойцами пяти вагонов...

Прямо со станции отправился в штаб армии. В палатке-столовой Военного совета завтрак подходил к концу.

— Докладывай,— обращаясь ко мне, сказал Иван Ильич Людников,— почему опаздываешь и мы не знаем, где ты находишься.

Я доложил генералам и офицерам о своих впечатлениях: молодые воины настроены бодро, они правильно понимают свою роль и задачу, все прошли шестимесячную, а некоторые и восьмимесячную подготовку, вполне владеют стрелковым оружием, а некоторые способны выполнять обязанности артиллерийских расчетов. Почти у всех опыт работы в промышленности или в сельском хозяйстве. Война значительно сократила их отроческий период и, поставив к станку, к плугу и другим тяжелым мужским работам, закалила их.

Мы, конечно, понимали, что наши юные воины еще не знают всей сложности предстоящей войны. Но их готовность действовать решительно была залогом наших будущих успехов.

...В ближайшее время нам предстоял марш в район Тамцак-Булака. С 20 июня Военный совет армии организовал проверку готовности войск к этому ответственному делу. Воины должны были преодолеть в пешем строю в очень жаркое время, по безводной пустыне более трехсот километров.

Выжидательный район войск армии был определен в самом восточном выступе Монголии, непосредственно примыкающем к западным отрогам центральной части Большого Хингана. Марш должен был стать первым и очень важным экзаменом для войск армии в дальневосточной кампании.

Оперативный отдел трудился в эти дни особенно много. Офицеры отдела подполковник Свиньин и гвардии майор Клипель разработали типовые схемы походных колонн полка, батальона, дивизии и порядок размещения на привалах.

Переход на большое расстояние — дело само по себе сложное, а в безводной степи, в жару особенно тяжелое. Главная трудность связана с нехваткой воды: на всем протяжении от реки Керулен до реки Халхин-Гол нет ни одного ручья, а вода в большом озере Буир-Нур горько-соленая. На подготовку водных пунктов были поставлены 32-я инженерно-саперная бригада полковника И. Т. Пархомчука и специальные части полевого водоснабжения. Начальник инженерной службы армии полковник В. Ф. Тимошенко — молодой энергичный офицер — все время находился в районе организации водных пунктов.

Войска армии начали марш 22 июня... Через несколько дней район Тамцак-Булака встречал нас дыханием свежего ветра: недалеко отсюда были озера, река Халхин-Гол, тенистая центральная часть Большого Хингана, покрытая лесами.

2

К началу Маньчжурской наступательной операции на Дальнем Востоке были развернуты Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. Личный состав фронтов и флота насчитывал более 1 740 тысяч человек, 29 835 орудий и минометов, 5250 танков и САУ, 5171 боевой самолет, 93 корабля основных классов. Задача заключалась в том, чтобы разгромить самую крупную группировку сухопутных войск Японии — Квантунскую армию, освободить от японских оккупантов Маньчжурию, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова, ускорить капитуляцию Японии. Замысел операции носил весьма решительный характер: силами трех фронтов осуществить вторжение в Маньчжурию по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить главные силы Квантунской армии в центральных районах Маньчжурии, в дальнейшем развить наступление в направлении Ляодунского полуострова и Северной Кореи.

Для оперативного руководства и координации действий войск и флота Ставка Верховного Главнокомандования создала Главное командование на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский, членом Военного совета — генерал И. В. Шикин, начальником штаба — генерал С. П. Иванов.

Войскам Забайкальского фронта, в который входила и наша армия, ставилась задача: нанести главный удар в обход с юга Халун-Аршанского укрепленного района в общем направлении на Чанчунь, Мукден, преодолеть горный хребет Большой Хинган и на пятнадцатый день операции выйти на рубеж Дабаньшан, Лубэй; танковой армии выйти на этот рубеж не позднее пятого дня операции.

К 16 июля основные войска армии, завершив трудный и изнурительный марш, сосредоточились в выжидательном районе на восточном выступе Монголии. Начали прибывать артиллерийские и танковые соединения и части усиления. Среди них были: 5-й артиллерийский корпус прорыва под командованием генерала Л. Н. Алексеева, 17-я зенитная артиллерийская дивизия, 55-я истребительно-противотанковая бригада, 11-я и 24-я гвардейские бригады реактивных минометов М-31. 34-й, 46-й и 64-й гвардейские минометные полки. 61-я танковая дивизия, 44-я и 206-я танковые бригады. Такое мощное усиление свидетельствовало о том, что войскам армии отводится очень ответственная задача в предстоящей наступательной операции.

Командующим Забайкальским фронтом был назначен Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский. С группой генералов и офицеров своего штаба он провел ре-

когносцировку местности в полосе нашей армии и, заслушав доклад командующего о сосредоточении войск, поставил нам боевую задачу.

39-й армии предстояло нанести главный удар в общем направлении на Солунь с обходом с юга японского Халун-Аршанского укрепленного района. Ближайшая задача была выйти на рубеж реки Урленгуй-Гол. В дальнейшем развить наступление в юго-восточном направлении, отрезать пути отступления солуньской группировке войск противника и на пятнадцатый день операции овладеть железнодорожной станцией и городом Солунь. Для решения этой задачи мы сосредоточили в выжидательном районе три стрелковых корпуса, танковую дивизию и другие средства усиления, более 2500 орудий и минометов, 204 установки РС, более 455 танков и САУ, много другой боевой техники...

Начались напряженные дни подготовки к штурму.

Уже чувствовалось освежающее дыхание гор — ночи стали прохладнее. Но никуда нельзя было деться от дневного зноя. А кроме того, здесь, в Монголии, зона самого высокого в восточном полушарии атмосферного давления. Учеба в войсках проходила в основном ранним утром, вечером и ночью. Огромную работу в это время проводили политорганы, партийные и комсомольские организации. Политработники соединений и частей днем и ночью находились среди бойцов в подразделениях. Их всегда можно было видеть там, где требовалась помощь, где нужно было поднять дух и настроение солдат...

Июль завершали, несмотря на очень сильную жару, с огромным напряжением в учебе и партийно-политической работе. Все коммунисты уже знали нашу боевую задачу. Неизвестным оставалось только «Ч» — время начала наступления.

В начале августа во всех первичных организациях армии были проведены партийные собрания.

До наступления оставалось совсем немного времени. Все чаще наши взоры приковывали горные перевалы, за которыми нас ждал противник.

Тщательно изучали мы и предстоящий театр военных действий — территорию Маньчжурии. Площадь ее — 1,3 миллиона квадратных километров. Леса покрывают четверть территории. В центральной части и на юге много плодородных равнин и пастбищ для скота. На западе проходит горный хребет Большой Хинган, на севере и северо-востоке — Малый Хинган. Горами окаймлена Маньчжурия также с юга и юго-востока. Граница с СССР протянулась на 3430 километров по рекам Уссури, Амур, Аргунь и по суше. На западе на протяжении 750 километров проходит граница с Монгольской Народной Республикой. Население Маньчжурии в 1945 году составляло около 43 миллионов человек. Подавляющая часть его (90 процентов) — китайцы, жили там до 1 200 тысяч японцев, более миллиона корейцев, около 300 тысяч монголов и 175 тысяч русских.

В 1931 году японские империалисты без объявления войны нагло захватили всю Маньчжурию и превратили ее в японскую колонию с фиктивным прояпонским правительством, возглавляемым отпрыском императорской династии Пу-и. Через порты Кореи и порт Дальний непрерывным потоком вывозили японцы из Маньчжурии миллионы тонн железной руды, угля, проката, алюминия, меди... Экономика страны стала сырьевым придатком Японии и служила ее милитаристским целям. Здесь было налажено производство различного рода боеприпасов.

До 1931 года Маньчжурия имела 6 тысяч километров железнодорожных линий, за годы оккупации сеть дорог была увеличена японцами в 3 раза. К границам СССР ранее подходило только два конца железной дороги (КВЖД), а к началу второй мировой войны было построено еще 9 новых линий, одна из которых тянулась в сторону МНР. Японцы построили также более 20 тысяч километров шоссе и грунтовых дорог, идущих к границам нашей страны.

...8 августа после заседания Военного совета командующий, я и группа офицеров оперативного и разведывательного отделов штаба выехали на наблюдательный пункт армии, устроенный на горе Салхит. Я впервые с большой высоты увидел хребет Большой Хинган. Офицеры, уже не раз побывавшие на НП, показали, где проходит монголо-маньчжурская государственная граница, где в исходном положении находятся наши войска. Десятки тысяч воинов, огромное количество боевой техники были совершенно скрыты от человеческого глаза. Сколько я ни всматривался вдаль, не заметил никакого движения. Только орлы — искусные охотники за сусликами и тарбаганами — парили в небе.

Я стоял на вершине и думал о том, как много еще пота и крови прольется в этих горах, сколько человеческих жизней будет потеряно...

Солнце стало опускаться все ниже и ниже, кое-где за Салхитом начали появляться тени. В предгорьях и в горах зашумели птицы, застрекотали кузнечики, активнее закружились орлы.

В канун боя я не раз встречался с войнами. В это время они, как правило, необыкновенно сосредоточены, задумчивы, менее разговорчивы, реже улыбаются. Даже весельчаки и балагуры заметно притихают. Думают, много думают люди в обстановке неизвестности, глубоко переживая каждую минуту пока еще спокойной жизни.

3

В полночь 9 августа вперед пошла разведка. Через пять минут передовые отряды нашей армии пересекли монголо-маньчжурскую государственную границу и двинулись к Большому Хингану. Вместе с частями ушли команды регулировщиков — они будут обеспечивать движение войск в заданных направлениях.

На исходных рубежах сосредоточены многие тысячи солдат, большое количество танков и артиллерии. С волнением ждем, когда стрелки часов подойдут к заданному времени. И вот в 4 часа 30 минут двинулись вперед полки. Началось мощное наступление.

Еще темно, и над нами — огромный зонт чистого, необыкновенно звездного неба. Особенно отчетливо видна Большая Медведица...

Тактику немецко-фашистских войск за время войны мы изучили основательно. Перед наступлением почти всегда имели подробные данные об обороне противника, наша разведка умело раскрывала его карты, а командование почти всегда безошибочно определяло его возможные ответные действия. Квантунская армия была изучена нами хуже. Но было известно, что действия японских войск характеризуются фанатизмом, коварством. Мы знали, что безмолвные горы и ущелья Большого Хингана таят для наших войск много опасностей.

И вот донеслись первые выстрелы. Это открыли огонь танки и самоходки, действующие в составе наших передовых отрядов. Как выяснилось позже, в эти минуты бойцы 17-й и 19-й гвардейских стрелковых дивизий уничтожали отряды прикрытия 2-й кавалерийской дивизии войск Маньчжоу-Го...

С началом рассвета на НП армии начали поступать доклады. Наступление развивалось по плану. Теперь мы с нетерпением стали ждать полного рассвета. Постепенно начали бледнеть яркие звезды, огоньки автомашин и танков тускнели. Отчетливо стали видны очертания близлежащих вершин.

Солнце уже светило ярко, когда главные силы войск армии скрылись за первыми перевалами. В поле нашего зрения остались только небольшие замыкающие колонны и отдельные машины. В это время пришли в движение дивизионные тылы — верный признак того, что наступление развивается успешно.

Солнце поднимается все выше, ясно, что и сегодня жара будет такой же безжалостной, как и раньше. Солдаты спешат выжать как можно больше километров до того, как она станет невыносимой и потребует привала.

К 10 часам утра войска армии продвинулись на 25—30, а передовые отряды — и на 40 километров. И это при полном отсутствии дорог к Большому Хингану!

Наступило время и нам покинуть гору Салхит. Для связи с войсками временно здесь оставалась лишь группа офицеров во главе с генералом Б. М. Сафоновым.

НП армии перемещался вслед за ушедшей вперед армией. Связисты к этому времени уже тянули линию связи через Хинган. Это была нелегкая работа, она успешно осуществлялась под руководством генерала войск связи А. П. Сорокина. Кстати скажу, командующему и штабу армии было обеспечено надежное управление войсками на протяжении всей операции.

В западные отроги Большого Хингана я вступил на левом фланге, на участке, где наступал 5-й гвардейский стрелковый корпус. По состоянию дороги увидел, что продвижение вперед войскам дается нелегко: видны были объезды, места, где буксовали машины, следы работы саперов по выравниванию крутых подъемов. На дороге оставались машины, вышедшие из строя, танки, засевшие в низинах так глубоко, что нужна была помощь специальных тягачей. Через четыре километра попали в заболо-

ченную лощину, через которую войска переходили только по двум подготовленным саперами переправам...

Наступление тем временем развивалось. Соединения 5-го гвардейского и 113-го стрелкового корпусов, преодолевая бездорожье, к исходу дня вместо запланированных 30 километров продвинулись вперед на 50, передовые отряды — на 75 километров. Части 61-й танковой дивизии, действовавшей в первом эшелоне войск армии, ушли на 100 километров. Противник не сопротивляясь бросал окопы и огневые позиции и откатывался прочь.

На хайларском направлении соединения 94-го стрелкового корпуса также наступали успешно. И здесь противник пока не сопротивлялся.

По докладом, поступавшим из корпусов и дивизий, боевой дух войск в ходе наступления был очень высоким. Но в условиях жары, доходившей до 32—34 градусов, некоторые солдаты получили солнечные удары, в течение дня в каждой дивизии вышла из строя по 30—40 человек. Это потребовало внести коррективы в распорядок дня наступающих на солунском направлении. Прежде всего надо было дать личному составу больше времени для привалов — в часы самого тяжелого солнцепека. Жару плохо переносили и лошади, перегревались моторы автотранспорта. Решено было, что темп наступления в среднем в дальнейшем будет 40—45 километров в сутки.

Да и дороги были очень трудными. На западных отрогах Большого Хингана в лощинах и на пологих склонах поверх гальки лежал чернозем. Много было заболоченных участков, заросших густыми высокими травами. Чем дальше продвигались мы на восток, тем выше становились перевалы, более крутыми делались подъемы и спуски. Словом, суровая природа очень осложняла нам выполнение боевой задачи и требовала от личного состава армии огромного напряжения сил.

Поздним вечером Военный совет подводил итог дня. Генерал Сафонов доложил обстановку, затем мы коротко обменялись мнениями. Все сошлись на том, что наши соединения боевую задачу выполнили успешно. Но надо было, подчеркивалось на Военном совете, усилить все виды разведки: 10 и 11 августа противник скорее всего перейдет к активным действиям. Начальник разведотдела армии полковник М. А. Волочин получил дополнительные задачи по усилению разведки на направлениях Халун-Аршанского укрепленного района и города Солунь. Начальнику медицинского отдела полковнику Н. П. Волкову было приказано принять дополнительные меры по предотвращению солнечных ударов.

Следующий день я провел в медсанбатах. Вечером на НП генерал Сафонов и полковник Волков уже ждали меня с проектом приказа. В нем определялись меры по предупреждению солнечных ударов. Мне было что добавить в приказ, так как сегодняшний день, проведенный среди больных, подсказал многое. Впрочем принятые меры имели большое значение для армии — 11 и 12 августа наши потери из-за перегрева солдат на солнце резко сократились.

11 августа мы вплотную подошли к главным перевалам Большого Хингана. Наша авиация заметила передвижение войск противника в районе Халун-Аршанского укрепленного района и города Солунь. Японская авиация нанесла бомбовые удары по частям 61-й танковой дивизии. В 11 часов на НП командиры корпусов доложили о готовности войск к штурму главного хребта.

К концу 11 августа передовые отряды во многих местах вышли на перевалы, надежно закрепились на них и стали готовить проходы для войск. Предстояло проложить пути не только для пеших воинов, но и для транспорта, тяжелого вооружения. Надо было подтянуть все части, тылы, надежно прикрыть войска на флангах, организовать разведку.

Большой Хинган я преодолевал в составе 279-го гвардейского стрелкового полка. Вначале на перевал взошли разведчики и одна стрелковая рота, тут же прикрывшие продвижение всего полка. Затем вперед были выдвинуты зенитные средства полка и дивизии, они надежно прикрыли полк с воздуха. Ночью хорошо поработали саперы — вместе со стрелковыми подразделениями они построили серпантины, по которым могли подниматься все виды транспорта.

Выдвижение полка шло в порядке ротных и взводных колонн. Темп марша был очень высоким. Кое-где на боковых крутых склонах бойцы страховали друг друга, оказывали помощь тем, кому было трудно. Но вот конному и автомобильному транспорту требовалась особая помощь. Специально созданные в полку команды из крепких солдат самодельными лямками подхватывали повозки, автомашины прямо на ходу и

тащили их вверх. Команды бойцов работали сноровисто — техника и обозы шли на перевал тоже без задержек.

Я пристроился к одной из колонн и вместе с ней взшел на перевал. Метрах в двадцати от дороги увидел будто специально насыпанную гряду. С нее хорошо просматривались ближние подступы к перевалу с обеих сторон. Мне были видны действия нашей штурмовой авиации: самолеты, построившись в круг, наносили удары по сосредоточившемуся для контратаки противнику.

В двух километрах от нас шла через горы 139-я армейская пушечная бригада. Я вместе с группой офицеров отправился туда. Начальник штаба доложил: бригада выполняет задачу в полном соответствии с планом; один пушечный дивизион уже за перевалом и занял огневые позиции; дивизион 152-миллиметровых пушек-гаубиц уже завершает переход, а второй дивизион 122-миллиметровых пушек находится в исходном положении; проложенная дорога функционирует нормально, но последние тридцать — пятьдесят метров большинство тракторов все же одолеть не могут; личный состав оказывает им помощь.

Артиллеристы работали без рубах, но в головных уборах. Загоревшие, физически крепкие, закаленные, они трудились так, что любо было посмотреть на них.

К тому времени, когда первый дивизион пушек-гаубиц преодолел перевал, была готова и дорога, проложенная рядом армейской инженерно-саперной бригадой. Для проверки мы пропустили по ней второй дивизион 122-миллиметровых пушек. Они прошли по этой дороге без посторонней помощи и без остановок. Я был рад за наших великих тружеников саперов и немедленно передал на НП в штаб тыла армии, что по этой дороге можно направлять любой армейский транспорт.

Да, многодневный бросок через суровый Большой Хинган, где до этого никогда еще не проходила ни одна машина, потребовал огромных усилий.

...С НП доложили, что части 5-го гвардейского стрелкового корпуса, 124-й стрелковой дивизии и 206-й танковой бригады на широком фронте уже завязали бои за Халун-Аршанский укрепленный район...

Войска, преодолев Хинганский хребет, отразив контратаки на левом фланге армии, развернули стремительное наступление на солунском и хайларском направлениях.

А что же противник?

Квантунская армия располагала очень большими силами и средствами. Она насчитывала до 1 500 тысяч человек, свыше 1100 танков, 5360 орудий и 1800 самолетов.

Театр военных действий был очень удобным для вражеской обороны. Но японское командование не смогло воспользоваться всем этим.

В полосе наступления войск нашей армии были сосредоточены 4 японских пехотных дивизии, 2 кавалерийских и 4 танковых дивизии, несколько отдельных кавалерийских полков и гарнизон Халун-Аршанского укрепленного района.

Ранним утром 12 августа наша разведка доложила о выдвигании значительных сил противника из Халун-Аршанского укрепленного района и со стороны Солуня к левому флангу 5-го гвардейского стрелкового корпуса. Последовал приказ командующего армией: при поддержке артиллерии и авиации 5-му гвардейскому стрелковому корпусу с юга, а 124-й стрелковой дивизии и 206-й танковой бригаде с запада нанести удар по противнику и овладеть Халун-Аршанским укрепленным районом. Мощные огневые удары, дружная атака танков, пехоты не дали японцам возможности развернуться, наши войска в самый короткий срок разгромили самую сильную на этом направлении японскую группировку. Противник понес серьезные потери и в беспорядке начал отходить в северном направлении, в лесистые дебри Большого Хингана. Наши гвардейцы на плечах противника ворвались в Халун-Аршанский укрепленный район. Завязался напряженный бой. Большие потери понесли атакующие дивизии, но бойцы не дрогнули, сражались смело, отважно. 13 августа уничтожение противника в этом районе было полностью завершено.

Такой быстрый и решительный разгром крупной группировки значительно ослабил и деморализовал противника, но складывать оружие он еще не собирался.

Погода в районе Большого Хингана вскоре резко изменилась. Пошли дожди, они ослабили жару, но увеличили опасность при движении в горах.

На подступах к Солуню и Ванъмяо на нас все чаще стали нападать японские смертники и разъезды войск Маньчжоу-Го. Передовые отряды дивизий, усиленные артиллерией и танками, сравнительно легко уничтожали их. Войска Маньчжоу-Го на-

чали искать возможности сдаться в плен. Японцы же, наоборот, продолжали устраивать засады и диверсии. Действовали они при этом коварно. Вспомню один характерный пример.

Младший сержант П. Д. Казаков из 52-го гвардейского стрелкового полка находился с напарником в головном дозоре, когда наткнулся на засаду, прикрывавшую орудия противника. Японцы первыми открыли огонь и ранили напарника Казакова. Сержант укрыл молодого гвардейца в кювете и оттуда дал ракету — сигнал «встретил противника». Поняв смысл этого сигнала, японцы начали отходить. Казаков сделал перевязку своему товарищу и последовал за батареей противника. За кукурузным полем он увидел два орудия и несколько «убитых» японцев. Едва сержант подошел к ним, как один из «мертвых» поднялся и бросился на него с ножом. Казаков был готов к этому и очередью из автомата свалил его. Ожили и другие «мертвецы». В этом неравном бою сержант гранатами и огнем своего автомата уничтожил шестерых «покойников», но и сам был ранен.

Чтобы передать атмосферу боев в те дни, приведу отрывок из донесения командира взвода 91-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии младшего лейтенанта В. Шалаева. Вот что он писал о своих бойцах:

«Наш взвод к началу маньчжурского похода состоял из бойцов, не имевших боевого опыта. Еще до начала действий мы совершали длительные учебные марши, тренировались на выносливость, приобретали необходимую закалку. Но трудности перехода хребтов Большого Хингана превзошли все наши ожидания... В один из дней, когда уже шли бои, наш взвод перекрывал самураям путь к отходу, не давал им выйти из окружения. В полночь японцы перешли в атаку. Бойцы взвода не дрогнули. Рядовой Дроздюк вел огонь из пулемета. Его напарник Гордыч едва успевал заряжать диски. Командир отделения Мохов, бойцы взвода метко били из автоматов. На рассвете на нас полезли смертники. С ножами в руках они бросились к нашим окопам и падали у бруствера, срезанные выстрелами в упор... На гвардейца Власова пошли пятеро смертников. Четверых он убил. Пятый уже занес было нож над бойцом, но Гордыч успел расстрелять японца.

В течение трехдневных боев во взводе ранен только один человек, убитых нет».

Японская авиация много раз пыталась нанести удары по нашим наступавшим войскам. Дважды ей удавалось это — под бомбежку попали передовые отряды 61-й танковой дивизии. Но летчики Забайкальского фронта мощными ударами вскоре вывели из строя японские аэродромы и уничтожили на земле главные силы авиации противника.

Армия вплотную подошла к городу Солунь. Все кирпичные здания в нем противник подготовил к обороне. Попытка передовых частей прорвать оборону с ходу успеха не имела. Тогда пришлось провести мощную артиллерийскую и авиационную подготовку. После этого 61-я танковая дивизия, 17-я и 19-я гвардейские стрелковые дивизии, помогая друг другу, смело пошли в атаку. Вначале противник еще оказывал сопротивление. Были случаи, когда японцы, обвязав себя минами, бросались под наши танки и самоходные орудия, две наши САУ у городского моста были подорваны. Но вскоре началась массовая сдача в плен противника.

В бою за город нами было уничтожено свыше 3 тысяч солдат и офицеров противника.

Солунь — город провинции Синань, расположен в центре Большого Хингана, находится на главном пути в Маньчжурию. Население его — в основном китайцы, немногим больше трех тысяч человек — встречало наши войска исключительно сердечно, горячо благодарило за долгожданное освобождение.

Непродолжительный, но напряженный бой был и за город Ванъмяо. На подступах к нему противник предпринял ряд мер, чтобы задержать продвижение наших войск. Особенно активизировали свою деятельность диверсанты и смертники. Они взрывали мосты на шоссе и железных дорогах, со взрывчаткой бросались под танки и даже под автомашины, устраивали засады... В те дни немало было вот таких, например, жертв. Командующий артиллерией 17-й гвардейской стрелковой дивизии П. Ф. Васильев с первых часов наступления находился в передовых отрядах. Под Ванъмяо он прибыл на самоходной артустановке, вышел из нее и стал рассматривать в бинокль подступы к городу. В это время из кукурузы выскочили два смертника и ножами смертельно ранили офицера. Экипаж самоходки уничтожил не только их, но и группу диверсантов, поддерживавших смертников, но мы лишились хорошего коман-

дира. Днем позже был тяжело ранен диверсантами, засевшими в дорожной водосточной трубе, старший врач одного из полков капитан Лютых...

Наши части, соединения, особенно тылы сильно растянулись, и борьбе с диверсантами мы придавали особое значение. Были взяты в плен многочисленные отряды противника, находившиеся в засадах, и уничтожены многие смертники.

К исходу 13 августа части 61-й танковой дивизии вышли к Ванъмяо, с ходу овладели станцией и северной окраиной города. Продвигаться дальше они не могли — у танков и автомашин кончилось горючее. Кстати скажу, обеспечение техники топливом в тех боях вообще было делом очень трудным. Но вскоре пришло обрадовавшее нас известие: на захваченном в районе Ванъмяо небольшом аэродроме обнаружены запасы горючего. В первую очередь им заправили машины танковой дивизии.

Задержало наши войска в районе Ванъмяо не только горючее. На реке Таоэрхэ, очень трудной для переправы, японцы взорвали мосты и железнодорожное полотно. Теперь все это надо было восстанавливать заново. К тому же здесь противник сосредоточил значительные силы и мы, прежде чем форсировать Таоэрхэ, должны были подтянуть свои находившиеся во втором эшелоне части и соединения.

14 августа наши войска форсировали реку на широком фронте и после короткого, но мощного удара по обороне противника овладели городом. Действовали наши воины решительно. Приведу лишь один пример из политдонесений тех дней. Утром 14 августа батарея самоходных установок 508-го отдельного самоходного дивизиона 5-го гвардейского стрелкового корпуса, заправив свои машины, приготовилась выдвинуться в новый район. В это время была замечена большая артиллерийская колонна противника. Командир батареи лейтенант Бутуров выдвинул самоходки вперед — на встречу японцам. Предложили им сдаться в плен, но противник не принял этого предложения. Тогда наши бойцы открыли огонь прямой наводкой, и японская колонна быстро была уничтожена. На поле боя осталось 22 орудия, более 20 тягачей и около 150 убитых вражеских артиллеристов. Оставшиеся в живых в панике разбежались.

Войска Маньчжоу-Го еще 13 августа начали сдаваться в плен целыми подразделениями и даже частями. Например, в трех километрах севернее Ванъмяо оружие сложил отдельный кавалерийский полк во главе с командиром; частям 94-го стрелкового корпуса, действовавшим на хайларском направлении, сдались в плен сразу более тысячи человек, среди них были два генерала и два полковника. 14 августа в штаб 113-го стрелкового корпуса прибыла автомашина с офицерами войск Маньчжоу-Го. Они доложили, что японские офицеры ими уничтожены и 2-я Хинганская кавдивизия в составе более двух тысяч китайцев и монголов сдается в плен.

Вечером на НП армии прибыли и командир 113-го стрелкового корпуса генерал Н. Н. Олешев и начальник политотдела полковник А. И. Рыбанин. Они доставили командующего и начальника штаба 10-го военного округа войск Маньчжоу-Го, сдавшихся в плен. Пленные доложили, что отдали соответствующий приказ, и округ как военная единица войск Маньчжоу-Го свое существование прекратил; они сложили с себя прежние обязанности и готовы действовать так, как им будет приказано советским командованием. Мы распорядились: управление округа пока не расформировывать, оружие сдать, оставив в войсках лишь такое его количество, чтобы хватило на несение охранной службы.

...Войска нашей армии продвинулись в глубь Маньчжурии уже на 250 километров. Появилась возможность развить еще более стремительное наступление и во взаимодействии с войсками других армий и фронтов полностью завершить разгром Квантунской армии.

14 августа кабинет министров Японии документально оформил решение о капитуляции. Об этом стало известно командованию Квантунской армии, но приказа о прекращении сопротивления оно пока не отдавало.

Помню, 15 августа в штаб 192-й стрелковой дивизии из только что сдавшейся нам в плен части прибыли два японских офицера медицинской службы. Они просили у нас разрешения переправить семьи японских офицеров в Мукден. Мы не возражали. Тогда они стали умолять нас не поручать это дело китайцам, потому что «тогда нашим семьям всем будет конец»...

Были ли основания у японцев так бояться китайского народа? Думаю, были. Колониальное правление японцев было грубым, жестоким, унижительным для китайцев, **окупуяты причинили** местному населению много бед и зла. Японские медки были

очень удивлены, когда мы разрешили им самим сопровождать гражданское японское население до Мукдена.

Войска армии в это время в соответствии с дополнительными указаниями штаба фронта развили наступление в общем направлении на Таоань, Таонань, Мукден — в глубокий тыл Квантунской армии. Наступление развивалось стремительно и успешно. Несмотря на то, что дороги из-за дождей ухудшились, наши войска к 18 августа передовыми отрядами овладели городом Таоань и главными силами вышли на Маньчжурскую равнину.

18 августа нам стало известно, что утром в этот день командующий Квантунской армией генерал Ямада обратился по радио к Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому с заявлением о готовности принять все условия капитуляции. Тогда же мы получили телеграмму начальника штаба Забайкальского фронта генерала М. В. Захарова, в которой подтверждалось это. Несколько позже в тот же день пришел приказ Ставки Верховного Главнокомандования, в котором говорилось, что на тех участках, где японские войска складывают оружие и сдаются в плен, боевые действия прекратить. Принять меры к организованному приему военнопленных японцев, обращение с военнопленными повсеместно должно быть хорошим. Оказать содействие в организации в городах и в больших населенных пунктах китайских органов самоуправления, замене японских флагов китайскими и в поддержании порядка в городах и на железнодорожных станциях.

В кратчайший срок этот приказ надо было довести до сведения всего личного состава армии. Еще вчера, используя всю силу нашего могучего оружия, мы громили ненавистного врага, а сегодня надо было вести себя с ним совсем иначе. Трудно быстро перестроить психологию солдата, сдержать его гнев и ненависть к противнику, из-за которого только что гибли боевые друзья. Такие минуты — серьезное испытание солдата на человечность и высокий моральный дух.

Наши воины с честью выдержали этот экзамен. Об этом мы судили и по докладам японского командования, которое подчеркивало выдержку и гуманность советских солдат.

Для разоружения японских войск Военный совет создал специальные группы. Например, для разоружения 39-й пехотной дивизии и танковой бригады в Сыпингае и Мукдене была направлена группа во главе с командующим артиллерией армии генералом Ю. П. Бажановым. Юрий Павлович о результатах этой операции позже докладывал Военному совету, при этом подчеркнул, что японцы все условия капитуляции выполнили безоговорочно и точно, никаких недоразумений не возникло.

Армия взяла в плен около 70 тысяч человек, в том числе 14 генералов и около 2 тысяч офицеров. Оружия, которое было в их распоряжении, а также то, что находилось на складах полуострова Гуаньдун, могло бы хватить — по японским штатам и табелям — на вооружение стотысячной армии.

Китайский народ торжественно и радостно встречал наши войска. Помню, в городах Таоань и Таонань местное население в день освобождения вышло на улицы с советскими флагами, на руках у многих были повязки с надписью «Да здравствует СССР!». Уже 20 августа здесь были организованы советско-китайские общества содействия Красной Армии. Китайцы помогли нам всем чем могли: ремонтировали дороги, мосты, вызывались охранять их. Они выходили к дорогам, по которым шли войска, с овощами и фруктами, поили солдат вкусной колодезной водой. По всему чувствовалось, что делают они все это от души, искренне.

Радостные встречи с местным населением, их горячие слова благодарности воинам Красной Армии сопровождали нас на всем длинном пути до самого Порт-Артура...

Наступило время в спокойной обстановке подвести некоторые итоги.

Несмотря на необыкновенно большую сложность театра военных действий, войска армии с 9 по 16 августа успешно преодолели Большой Хинган. В жару, в горах, при полном бездорожье армия выдержала исключительно высокий темп наступления. Японское командование было убеждено, что под угрозой у них находятся лишь участки, граничащие с Восточной и Северо-Восточной Маньчжурией, со стороны же Монголии могут действовать только легкие и небольшие советские части. Такой же точки зрения придерживались и их союзники. Бывший командующий 10-м военным округом войск Маньчжоу-Го признавался: он считал, что со стороны Монголии вообще нет

возможности наступать крупными силами. По его мнению, на этом направлении могли действовать только отдельные отряды и части конницы. «О вашем наступлении»,— говорил он,— я узнал, когда ваша авиация начала бомбить узлы железных и шоссейных дорог в районе сосредоточения наших войск. А когда русские преодолели Хинган, я вышел навстречу наступающим и сдался в плен. Так же поступили еще два генерала и тысяча солдат-всадников нашей армии».

Личный состав армии, решая боевые задачи, проявил высокий уровень политической зрелости, воинской выучки, физической закалки, доблести, отваги и неоспоримое превосходство в этом над противником. Хочу особо подчеркнуть роль в этой операции офицеров полков, батальонов, дивизионов, рот и батарей. Не зря подготовке этой категории офицерского состава Военный совет армии всегда придавал большое значение. Наши офицеры показали бесспорное превосходство над противником в организации боя, управлении частями и подразделениями, во время наступления в нестандартной боевой обстановке они проявляли незаурядную гибкость мышления, смелость и решительность.

Важным обстоятельством нашего успешного наступления было и то, что мы имели превосходство не только в тактике и оперативном искусстве, но и в технике, вооружении. Многие образцы японских танков, самолетов, артиллерии значительно уступали нашим.

Главным итогом дальневосточной кампании была капитуляция сухопутных сил Японии.

Чем объяснялся молниеносный развал такой огромной силы, как Квантунская армия? Япония, как известно, отвергла ультиматум США, Англии и Китая о капитуляции, она считала, что у этих стран не было сил, способных разгромить Квантунскую армию. Сила эта оказалась у Дальневосточной группировки войск Красной Армии. «Вступление СССР в войну,— писала китайская «Жиньминь жибао» 27 июля 1945 года,— лишило Японию последней базы сопротивления, вынудило ее пойти на капитуляцию. В течение 20 дней боевых действий Советская Армия освободила весь Северо-Восточный Китай, взяв в плен свыше 594 тысяч солдат и офицеров противника и уничтожив свыше 80 тысяч. Вступление Советской Армии в Северо-Восточный Китай сразу перевело войну сопротивления Японии, которую вел Китай, в этап генерального контрнаступления на всех фронтах!»

В соответствии с советско-китайским договором о дружбе от 14 августа 1945 года [этот документ определял основы дружеских, добрососедских отношений народов СССР и Китая] 39-й армии было доверено представлять Вооруженные Силы нашей родины в Порт-Артуре, в отношении которого было заключено специальное Соглашение. Договор помог китайскому народу отстоять свою национальную независимость не только от империалистической Японии. «Еще большая угроза для независимости Китая надвигалась со стороны США. Советско-китайский договор и Соглашение преградили путь для американской экспансии в один из наиболее жизненно важных для Китая районов — Маньчжурию — и затруднили осуществление империалистической политики США в отношении Китая в целом»,— говорится в «Истории второй мировой войны».

2 сентября — уже в Порт-Артуре — мы с волнением слушали выступление И. В. Сталина, в котором говорилось: Япония, разбитая наголову на морях и на суше, признала себя побежденной и сложила оружие, наступил долгожданный конец второй мировой войны.

Радость наша была безмерной...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ОБРАТИТЬ В ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПОТОМКОВ...*

РАМЕНСКИЕ И ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ

Имеющиеся документы свидетельствуют о прямых связях семьи Раменских с участниками декабристского движения.

В самом селе Мологино в первой четверти XIX века расквартировывались части Оренбургского уланского полка, с офицерами которого дружили учителя Раменские. После восстания 14 декабря многие Раменские вызывались на допросы в Старицу и Тверь. <...>

У Раменских, работавших в Бернове, учились Александр и Никита Муравьевы, с семьей Муравьевых была постоянная связь. Через Раменских проходили иногда письма от сосланных декабристов Муравьевых, поэтому не случайно Матвей Иванович Муравьев-Апостол, вернувшись из Сибири, в знак благодарности подарил своим учителям книгу «Постоялый двор», посланную им в Сибирь Пушкиным. <...> С Муравьевыми-Апостолами, жившими в Малороссии, дружили многие Раменские, жившие в Полтаве, Одессе, Кишиневе, Измаиле. Об этом имеются также воспоминания. С другой семьей декабристов, Каховскими, Раменские были связаны еще в XVIII веке, они, как рассказывается в воспоминаниях Петра Раменского, находились в родственных отношениях (один из Раменских был женат на Каховской). <...>

Письмо Матвея Муравьева-Апостола Раменским (Тверь, 1862 год):

«Милостивый государь мой Федор Алексеевич!

Я уже давно собираюсь написать Вам это письмо, вернее с того момента, как перешагнул свой Рубикон и вновь оказался среди соотечественников, в сердце России. Я обосновался в Твери, городе, в котором указующий перст Закона повелел мне провести мои последние дни.

Прежде всего я должен принести сыновью благодарность от имени всей нашей семьи семье Вашей, разделившей с нами столь печальную участь (Муравьевых и Муравьевых-Апостолов), и за то горячее участие, которое она проявила в столь для нас тяжелый час испытания. Все тридцать лет нашего сибирского бытия мы ощущали теплоту ваших сердец, внимание и проявление высокой гражданственности по отношению к членам нашей семьи. <...>

Глубокоуважаемый Федор Алексеевич, я очень благодарен Вам за Ваше приглашение в Мологино, но, по правде сказать, очень боюсь, что этот вояж мне будет не под силу, а повидать Вас и Пахома Федоровича мне просто необходимо.

Дело в том, что я имею поручение от своих родных и друзей передать Вам памятный подарок. Он заключается в четырех томах книги «Постоялый двор», это роман, который был прислан нам в Сибирь из библиотеки А. С. Пушкина нашей матерью. Эти книги имеют интересную историю. В середине 30-х годов этот роман вышел как записки покойного Горянова, а автор был неизвестен. Вскоре, однако, среди нас стало известно, что автором сей книги является енисейский губернатор Александр Петрович Степанов, которого мы все хорошо знали и очень уважали за его добрые отношения к нам. Будучи добрым человеком, Степанов сделал очень многое для облегчения наших судеб, даже в ущерб себе. Вот почему мы писали в Петербург и другие места и просили выслать этот роман. После долгих поисков, как потом оказалось, этот роман был

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

Публикация, послесловие и примечания МИХАИЛА МАКОВЕЕВА.

найден в библиотеке Александра Сергеевича Пушкина, который с превеликим удовольствием передал его через Полторацкого¹ нашей семье, и мы получили все четыре тома. Эти книги я сохранил, и в числе немногих, привезенных из Сибири, они находятся у меня в Твери. Эти книги уважаемого А. П. Степанова, подаренные А. С. Пушкиным и прошедшие с нами каторгу и ссылку, мы решили преподнести Вашей семье в знак памяти о первом учителе наших братьев, Алексее Алексеевиче, и в знак высокого уважения к Вашей семье. Эти книги будут украшением Вашей библиотеки, будут напоминать о Вашем друге А. С. Пушкине и авторе-гражданине Степанове и о нас, отверженных.

В ближайшем письме мы с Вами условимся о нашей встрече, где я буду иметь удовольствие вручить Вашей семье этот скромный дар от семьи государственных преступников Муравьевых и Муравьевых-Апостолов. <...>

Ну вот, я наконец и осилил письмо к Вам и надеюсь, что в ближайшее время мы увидимся. Варвара Александровна писала мне, что в будущем году у Вас предстоит юбилей, от всей души поздравляю Вас с этим знаменательным событием.

Уважающий Вас М. И. Муравьев-Апостол.

А. С. ПУШКИН И РАМЕНСКИЕ

Дружба с Пушкиным началась с 1822 года, когда Карамзин, бывая в тверских краях, познакомил Пушкина с Алексеем Алексеевичем Раменским, который долгое время был учителем у Вульфов, Полторацких, Олениных. Позднее Пушкин подружился с его младшим братом Александром Раменским, который оставил ценные воспоминания о Пушкине, Гоголе, Лажечникове, декабристах.

Подтверждением этой дружбы сельских учителей Раменских с великим поэтом служат книги, подаренные Пушкиным Раменским. Так, в 1829 году во время пребывания Пушкина в Грузинах и Бернове тот подарил Алексею Алексеевичу книгу Вальтера Скотта «Айвенго» с автографами, стихотворением, отрывком из десятой главы «Онегина» и рисунками повешенных декабристов <...>.

Из воспоминаний современников мы узнаем, что после смерти Карамзина, с которым Алексей Алексеевич работал по розыску исторических материалов, он, зная хорошо историю этих мест, предания и легенды, стал спутником Пушкина по окрестностям Старицкого уезда. Он многое передавал Пушкину, и в частности предание о погубленной дочери берновского мельника, послужившее сюжетом для поэмы «Русалка». В доме Раменских хранилась рукопись одного из первых вариантов «Русалки». Это была небольшая тетрадь в 15—20 листов со множеством рисунков Пушкина, видов мельницы, мельника, девушек, дуба, реки Тьмы и т. д. Пушкин передал эту рукопись Раменскому в 1832 году, когда работал над ней, видимо желая познакомить Раменского с сюжетом будущего произведения, который Пушкин узнал от Раменского. Эта тетрадь оставалась в доме Раменских и пропала в 1918 году в Питере вместе с другими рукописями <...>. Книга «Русалка» первого издания с автографом Анненкова была взята братом Н. П. Раменского, А. П. Раменским, а после его смерти была подарена пионерскому дому в Симбирске, как об этом писал друг брата Пастухов.

В 1833 году 22 августа А. С. Пушкин посетил Мологино, где учителем школы уже был его старый знакомый Алексей Алексеевич. <...> Здесь он провел несколько часов. Об этом в 1837 году подробно записал в книге Раменских «Хроника» Александр Алексеевич. <...>

«Августа 22 дня 1833 года, во вторник утром пожаловал в село Мологино проездом из имени П. И. Вульфа великий писатель Александр Сергеевич Пушкин.

Пробыв в Мологине несколько часов и передав брату моему, учителю Алексею Алексеевичу Раменскому, письмо вдовы великого русского историографа Николая Михайловича Карамзина и в дар ему первый том трудов покойного «История государства Российского», Александр Сергеевич отбыл из села по Старицкому тракту на Погорелое Городище. И был сей день великим праздником семьи нашей».

Посещение Пушкиным Мологино было связано еще с некоторыми причинами. Дело в том, что Пушкин знал от Карамзина о наличии в архивах Раменских материалов, которые могли интересовать его.

¹ Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884) — известный библиофил и библиограф, литератор.

Во-первых, старинная рукопись Максима Раменского, книгописца и толмача (переводчика), служившего в Посольском приказе у дьяка Украинцева, знавшего языки и ездившего в Турцию. В этом подробном воспоминании, переведенном на современный русский язык Алексеем Пахомовичем Раменским, было много исторических данных. Интересуясь своей родословной, Пушкин, видимо, искал подтверждения привоза в Россию своего предка арапа Ганнибала. Между прочим, этим вопросом интересовался и сын Пушкина А. А. Пушкин в своих письмах в 1899 году.

Во-вторых, видимо продолжая поиски материалов для своей родословной, А. С. Пушкин, зная об архивных выписках, оставшихся от Карамзина, расспрашивал и рассматривал выписки, интересуясь своим предком воеводой Гаврилой Пушкиным.

В Мологине имеются письма двоюродной сестры А. С. Пушкина, фамилия которой Шемиот, из Вятки Алексею Раменскому, где она запрашивает о знакомых декабристах и нет ли опасностей для ее брата. Шемиот, видимо, боялась писать в Петербург и компрометировать своего мужа, прокурора в Вятке. Как предполагает Николай Пахомович, переписку через Раменских могли подсказать некто Шаполинский, бывший профессор Нежинского лицея, у которого учились Раменские, высланный в Вятку, а также двоюродная сестра Новикова Раменская-Алябьева, жившая в Вятке, которая в память о брате прислала книгу Караганова «Письмовник» 1769 года с автографом Новикова. Эти письма Пушкин внимательно прочитал. <...>

Трудно сказать, какими соображениями руководствовались соратники Пугачева, приславшие из далекого Оренбурга свою грамоту, обращенную к крепостным, в далекое Мологино Алексею Даниловичу Раменскому. В Ржевском музее есть запись воспоминаний старика, доставившего грамоту Раменским, о Пугачеве и ржевском купце Долгополове, записанная в конце XVIII века. <...>

Как пишет Александр Алексеевич, сидя на балконе у Раменских, Пушкин много говорил о Пугачеве, делал выписки из грамоты и, послушав совета Раменского, изменил свой маршрут поездки: вместо Старицы поехал в Погорелое Городище, чтобы поговорить с родственниками умершего старика, привозившего грамоту Раменскому. Одной из главных причин дружбы Пушкина с Раменскими является тот факт, что Алексей Алексеевич Раменский, работая в Бернове в начале XIX века, был учителем молодых декабристов Никиты и Александра Муравьевых, а также Анны Керн. Об этом свидетельствуют многочисленные письма Варвары Александровны Бакуниной, которая являлась родной теткой будущих декабристов Муравьевых, Раменским. В память о своем приезде в Мологино по просьбе братьев Раменских Пушкин посадил около старой дороги, недалеко от речки Итомли, где был дом Раменских, маленькую березку. К 90-м годам XIX века она превратилась в старую дулистую березу, которую запечатлел И. И. Левитан на картине «Осенний лес» в 1893 году (подаренной Раменским). Интересна история этой березы. К концу 90-х годов береза пришла в ветхость <...>. Был приглашен ботаник профессор Рачинский, в школе которого работали родственники Раменских. Профессор Рачинский приехал и сделал подсадку, в результате этого в начале XX века появилась дочь пушкинской березы, которая жива до сих пор.

Письмо А. С. Пушкина из Петербурга в Мологино А. А. Раменскому (июль 1833 года):

«Милостивый государь Алексей Алексеевич, после нашей последней встречи у Полторацких в Грузинах прошло уже несколько лет, и я не имел удовольствия видеть Вас, но каждый раз с сердечной благодарностью принимаю Ваши содействия в делах Ш... В продолжение последних лет я почти ничего не писал, а занимался историческими изысканиями. Даже знакомые Вам материалы берновской трагедии остаются незаконченными. Не смея брать на себя звание историографа после незабвенного Карамзина, я все же хотел бы исполнить давно задуманное мною желание написать историю Петра Великого. Кроме того, имею ближайшей целью также написать роман о Пуг... бунте.

Некоторые обстоятельства заставляют меня поехать нынче в Нижегородскую губернию, и, пользуясь этим случаем, собираюсь побывать в Казани, Симбирске и Оренбурге, где осмотреть губернские архивы, на что имею высочайшее дозволение. Сии обстоятельства, милостивый государь, заставляют меня осмелиться обратиться к Вам с просьбой поделиться со мною Вашими историческими материалами, кои имеют прямое отношение к моим делам.

Ваша замечательные семейные архивы, которые я имел удовольствие видеть во время моего кратковременного заезда в Мологино, позволяют надеяться, что я смогу обогатить свои изыскания. В отношении Пуг... бунта меня интересует история грамоты

Пугачева, записки о сподвижнике его ржевском купце Долгополове и Ваши воспоминания о встречах с участником бунта, кажется из Погорелого Городища. Жив ли он?

Для истории Петра я хотел бы перечитать письма из переписки Петра с Алексеем и записки Вашего предка о сооружении Вышневолодских каналов и общений с Петром.

Продолжая интересоваться своей родословной, я надеюсь, что Вы мне разрешите порыться «в сундуке Карамзина», где Вы храните выписки летописей, коими пользовался покойный Н. М.².

Я надеюсь найти в записях Вашего предка, служившего в Посольском приказе, сведения о приезде в Россию моего предка — «арапчонка Ганнибала» и о своем воинственном предке Гавриле Пушкине, воеводе в Зубцове.

Я надеюсь, как и прежде, Вы не откажете в полном содействии в моих поисках и доставите подлинное удовольствие своими беседами и советами.

Если не произойдет особых причин, то я мыслю побывать у Вас в середине августа сего года.

Хотя мой попутчик Соболевский настаивает ехать прямо в Нижний, но почетное поручение Екатерины Андреевны Карамзиной вручить Вам первые два тома нового издания Истории, видимо, приведет меня прежде всего в Ваши тверские края. На днях по поручению Карамзиной я посетил книгопродавца Смирдина, с коим условился, что остальные тома Истории он будет Вам высылать.

Надеюсь, скоро увидимся и тогда обо всем поговорим.

Мои поклоны всему Вашему семейству.

Сердечно уважающий Вас А. Пушкин.

УЧИТЕЛЯ РАМЕНСКИЕ В XIX ВЕКЕ

В 1817 году умер первый мологи́нский учитель Алексей Данилович Раменский, приехавший из Москвы в 1763 году по совету своего друга Александра Радищева <...>. Прослужив на ниве народного просвещения пятьдесят четыре года, друг Новикова, Карамзина, Радищева, Болотова, основавший многочисленную династию учителей Раменских в Тверском крае, он оставил после себя хорошую память у простого крепостного народа. <...>

В своем завещании наследникам Алексей Раменский писал в 1813 году: «Пускай навеки помнят дети мои и внуки наказ друга и учителя семьи нашей и великого правдолюбца Александра Радищева. 1813 г. Село Мологино. Алексей Раменский».

Три его сына, Алексей, Александр и Федор, пронесли с честью эстафету, принятую от отца. Алексей и Александр, получившие образование в педагогическом училище Измайлова, а также в Петербургском училище учителей и обогащенные опытом отца-педагога, работали в семьях прогрессивных помещиков домашними учителями или в школах, которые стали возникать в имениях, в церковноприходских, сиротских и других школах, неся грамоту народу.

Алексей и Александр Раменские близко знали замечательных людей своей эпохи Карамзина, Пушкина, были учителями будущих декабристов, дружили со многими писателями и деятелями культуры. Алексей Алексиевич оставил после себя ценнейшие исторические материалы, собранные им в архивах Тверской губернии, часть которых была использована Карамзиным, а оставшиеся в Мологине материалы и сейчас не потеряли своего исторического значения. Пушкин и Карамзин в своих книгах, которые они дарили ему, подчеркивали заслуги этого человека.

Александр Алексиевич оставил после себя ценнейшие воспоминания о Пушкине, Гоголе, Лажечникове, художниках, архитекторах первой половины XIX века.

Федор Алексиевич Раменский, много лет служивший учителем во Ржеве и уезде, в частности у Игнатьевых, известен своим гражданским подвигом — организацией панихиды по убитому Пушкину, которая состоялась в Мологине 10 февраля 1837 года в присутствии представителей прогрессивной интеллигенции <...>.

Новое поколение мологи́нских учителей середины XIX века Пахом и Пафнутий Раменские, а также двоюродный брат их Александр Ваинов, первый учитель земской школы в Мологине, оставили после себя след в деле создания земской школы светского образования <...>.

² Речь идет о Николае Михайловиче Карамзине.

Как известно, мологинские крестьяне активно участвовали в войне 1812 года. Отряд мологинских партизан входил под командование генерала А. Сеславина. В этом отряде сражался Владимир Раменский, прошедший всю войну и закончивший ее в Париже <...>.

«В году этом, 1861, 19 февраля был издан высочайший манифест о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» («Хроника»). А в ближайшее воскресенье, не дожидаясь официального объявления манифеста, Пахом сделал следующее. Он после службы зачитал крестьянам манифест об их освобождении и призвал принять меры к тому, чтобы ближайшие к селу и лучшие земли были заняты мологинцами и огорожены. Объявление манифеста без разрешения властей вызвало большой скандал и неприятности Пахому Раменскому, возникли беспорядки, были вызваны стражники из Старицы.

Старицкий исправник Зилов <...> арестовал Пахома Раменского и посадил его на два месяца в острог. Только вмешательство ряда прогрессивных людей Старицкого уезда, где его все хорошо знали, помогло освободить Пахома Раменского из тюрьмы.

В «Хронике» записано: «А за кражу высочайшего манифеста у графа Панина и объявление оного крепостным без ведома властей и вмешательство в дела гражданские, что сие привело к беспорядку и самочинному захвату земель, Пахомий Раменский посажен по распоряжению старицкого исправника в острог на 2 месяца».

А через год, в марте 1862 года, Пахом Раменский был найден около речки Себрянки на снегу тяжело избитым, в разодранном полушубке. После долгого лечения Пахом Раменский обычно отвечал, что ему «на медведя не повезло». Но люди знали, что помещичьи приказчики до полусмерти избили Пахома Раменского за его вмешательство в дела манифеста, в результате чего мологинцы получили лучшие земли около самого села.

С тех пор Пахом Раменский стал болеть, а через некоторое время дважды вызывался в Тверь на допрос по вопросу, не он ли является автором заметок о тяжелом положении учителей в России в герценовской «Полярной звезде».

Еще одно великое дело сделал Пахом Раменский: вместе с Пафнутием Раменским из Старицы они ездили в Москву и оттуда привезли весь архив и бумаги Радищева, которые Пахом Раменский зашил в церковные книги и спрятал в мологинской церкви, где они хранились пятьдесят лет.

В 60—70-х годах прошлого столетия уже много семей учителей Раменских расселилось по России. Так, в Москве преподавал в гимназии Александр Раменский, в Воронеже был профессором Алексей Раменский, в Бахмуте — Григорий Раменский, в Новгороде — Федор Раменский <...>, в Петербурге — Василий Раменский, там же в академии был профессором красноречия Иван Раменский, в Гомеле, Витебске, Череповце, Полтаве, Изюме, не считая Болгарии, служили многие учителя Раменские. Они поддерживали связи с видными деятелями культуры России. Были знакомы, в частности, с писателем Писемским, который, приезжая в Петербург, всегда останавливался в семье Раменских. Сохранились его письма. <...>

Алексей Федорович Раменский, профессор Воронежской семинарии, был близко знаком с Иваном Саввичем Никитиным³. Раменские знали историка Погодина М. П.

В Мологине хранится большая переписка с профессором Рачинским, бывавшим здесь. Сюда не раз приезжала украинская писательница Марко Вовчок, работавшая в журнале «Отечественные записки», сохранилось несколько ее писем, имеются воспоминания о приезде с нею художника В. Д. Поленова, учителя Новоторжской семинарии Флерова, Е. М. Бакуниной из Торжка и Ю. П. Вревской из Старицы. <...>.

В середине XIX века целый ряд учителей Раменских активно участвует в демократической печати, прогрессивных журналах того времени. Так, Алексей Раменский сотрудничает в журнале «Сын отечества» и «Литературной газете», А. П. Раменский — в журналах «Русская мысль» и «Русская школа», Александр Раменский — в «Русском архиве», Н. Раменский — в «Ниве» и «Русском богатстве». <...>

Закончившаяся Крымская война показала гнилость царского строя и необыкновенный героизм русского народа <...>. Письма участника этой войны одесского врача

³ Н и к и т и н Иван Саввич (1824—1861) — известный русский поэт.

Иосифа Раменского, лично знавшего хирурга Пирогова, раскрывают обстановку в Крыму, о чем Раменские сделали соответствующую запись в своей <...> «Хронике»:

«Слава защитникам славного и священного города Севастополя, свершившим подвиги самоотвержения, проливавшим кровь за родину. Слава слабым женщинам, презиравшим опасности, как наша героиня Е. М. Бакунина, верная помощница Н. И. Пирогова, слава доблестным врачам, оспаривавшим у смерти обреченные ей жертвы. История воздаст должное героям, а мы, современники их, сохраним о них память». (Севастопольские письма хранятся в Мологине.)

Говоря об учителе из Одессы Георгии Раменском, необходимо сказать о дружбе его, как и всей семьи Раменских, с угнетенными болгарами. Георгий Раменский, как и Александр Раменский, принимал всяческое участие в освобождении болгар от турецкого ига. Они знали близко Христо Ботева и Благоева, которые жили у Раменских в Одессе, а Александр Раменский участвовал в боях и погиб под Плевной. Он посмертно награжден медалью, которая хранится в Мологине.

Интересно, что землячка Раменских из Старицкого уезда Ю. П. Вревская, организатор санитарной службы в болгарской армии, на глазах которой погиб Александр Раменский, прислала его памятные вещи и горсть земли с его могилы. В этой войне также участвовала <...> друг семьи Раменских Е. М. Бакунина, ее письма сохранились в Мологине.

Наступил период освобождения крестьян, которого давно ждали прогрессивные люди России. Пахом Раменский, учитель церковноприходской школы, имевший большую семью, был активным деятелем на селе. Этот физически сильный человек, заколовший 41 медведя рогатиной, рыбовод, книголюб, музыкант, пользовался громадным авторитетом у населения, находил время составлять брошюры, куда переписывал стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, и раздавал их среди народа.

К Пахому Раменскому, как правило, обращался народ с вопросами, просьбами написать ходатайство, сходить в уезд и хлопотать за снятие недоимок. Пахом Раменский, как вспоминают современники, ученики, был человеком удивительно доброй души, отзывчивым, всегда хлопотавшим за обиженных и угнетенных. <...>

«Глубокоуважаемый Пахом Федорович.

Извините меня, пожалуйста, за беспокойство, которое я доставляю Вам своими письмами. Дело в том, что я в своем письме в Херсон, к Анне Александровне, писала, что мы все встретимся у Вас в Мологине, когда она с Кравчинским будет возвращаться в Петербург. Но у меня обстоятельства изменились, и я приехать в Мологину, видимо, не смогу. Во избежание задержки ее в пути предупредите ее, если я не приеду в Мологину до Нового года, то я буду ее и Сергея ждать у Кутузовых под Волочком.

О себе пишу несколько строк — продолжаю служить в Единонове, в школе, помощницей учителя. Как будет дальше — не знаю. Со здоровьем сносно. Хочется увидеть друзей, а то я совсем здесь одичала.

Передайте всем Вашим привет, спасибо за Ваше письмо.

Уваж. Вас Софья Перовская.

Хранится у Раменских и письмо Сергея Степняка-Кравчинского из Лондона Николаю Пахомовичу Раменскому в Мологину <...>.

Большой интерес представляют воспоминания Александра Алексиевича Раменского, сменившего брата Алексея в Бернове и Мологине. В своих воспоминаниях он подробно рассказывает о Пушкине, Гоголе и Алексее Николаевиче Вульфе. В частности, там пишет о своих поездках с Пушкиным, Гоголем и Вульфom в литературный салон местной помещицы в имение Сверчково, к некоей Черкашениновой, где впервые Пушкин прочитал повесть «Дубровский», а Гоголь — отрывки из второй части «Мертвых душ».

После смерти Пушкина, о которой Раменские узнали через несколько дней от приехавших из Петербурга Паниных, они взяли на себя инициативу отслужить в Мологине тайную панихиду «по боярину Александру», как записано в «Хронике». С помощью Вульфов, Полторацких, Панафидиных такая панихида, на которую собралось около 30 человек, состоялась при закрытых дверях в мологинской церкви, за что Раменские впоследствии имели много неприятностей, а Федор Раменский снят с должности.

В «Хронике» об этом записано так: «С великим душевным прискорбием узнали мы о последовавшей в Петербурге 29 сего января 1837 года в пятницу кончине великого поэта земли русской Александра Сергеевича Пушкина. Потеря невозградимая и невозвратимая. С благоговением и любовью сохраним память о нем. 10 февраля была совер

шена зауспокойная литургия по боярину Александру в церкви села Мологина, на коей присутствовали некоторые известные лица, друзья и искренние почитатели этого великого человека. Мир праху твоему, златоуст земля российской». <...>

Как рассказывает запись в «Хронике» за 1863 год, Раменские взяли на себя обязательство собрать в Старицком уезде материалы, рукописи и все вещи, связанные с многократным посещением Пушкиным Старицкого уезда Тверской губернии.

«Лопасня, 3 марта 1879 г. Милостивый государь Пахом Федорович, Ваше любезное письмо ко мне было получено моей семьей в то время, когда я участвовал в Балканской кампании и был далеко от России, и только недавно, прибыв на Родину и захватив в Лопасню, имел удовольствие прочесть Ваше душевное письмо и ответить Вам на него.

Должен Вам сказать, глубокоуважаемый Пахом Федорович, что письмо Ваше трогало меня до слез, да и всю семью нашу.

Этот патристический шаг Вашей многочисленной семьи, поставившей перед собою цель собрать памятные вещи и реликвии, связанные с именем моего отца, в Старицком уезде Тверской губернии и сим самым положить начало созданию народного музея Пушкина, вызывает в нашей семье чувство глубочайшей благодарности и признательности.

Наша семья не только приветствует это историческое начинание, идущее от сердца простых русских людей, пожелавших увековечить память своего поэта, но и всячески будет содействовать исполнению этого святого дела.

Искреннюю радость доставило нашей семье Ваше сообщение о приобретении Вами драгоценных реликвий моего отца — его первой детской сорочки, сшитой няней Ульяной Яковлевой, и чашечки французского фарфора, некогда украшавшей Лувр, а затем приобретенной Василием Львовичем у известного антиквара в Париже и подаренной своему племяннику Саше Пушкину.

Меня особенно радует то, что это проявление внимания к памяти моего отца исходит от Вашей семьи, о которой я много слышал. Ваше хождение пешком в Святые горы, к могиле моего отца, чтобы поклониться праху его, не может не вызвать чувства сыновней благодарности к Вам, — примите от нас низкий земной поклон.

Отвечая на Вашу просьбу и желая содействовать Вашим делам в создании народного музея, наша семья передает Вам в дар памятную перочистку отца. Это одна из любимых вещей его, ею он пользовался дома и брал ее с собою в дорогу.

Эта перочистка художественной работы XVIII века подарена моему отцу в 1829—30 годах его московским другом Павлом Войновичем Нащекиным, моим крестным отцом. Видимо, эта перочистка осталась в Старицком уезде в одну из последних поездок отца туда.

Эта перочистка имеет особую историю. Приобретена она была П. В. Нащекиным у некоей Алябьевой, доведившейся двоюродной сестрой Николаю Ивановичу Новикову, и ранее принадлежала самому Н. И. Новикову.

Этим самым я хочу подчеркнуть ту историческую преемственность этого скромного внешне предмета, имеющего большой исторический смысл.

Эта перочистка будет Вам доставлена одним моим другом, который едет в Ваши края. Когда Вы будете осматривать эту перочистку, обратите, пожалуйста, внимание на обилие застывших чернил в этой перочистке, это слились воедино чернила, которыми писал великий Новиков, с чернилами моего отца в едином порыве их просветительской и поэтической деятельности на благо нашего Отечества, и это чрезвычайно символично.

Я непременно напишу о Вашем добром начинании моему брату Григорию Александровичу в Михайловское и уверен, что он примет горячее участие в Вашем деле.

Глубокоуважаемый Пахом Федорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании. Я имел честь командовать 13-м Нарвским гусарским полком, которому были приданы болгарские дружины и русские волонтеры, в числе которых был и Ваш брат. Я пишу об этом потому, что вряд ли Вы успели узнать об этом трагическом событии, тем более что мы понесли большие потери. Ваш брат погиб как герой при штурме селения Арметли, где и похоронен в братской могиле у самого селения. Незадолго до этого за храбрость и отвагу был высочайше награжден. Смерть его настигла 20 ноября 1878 г., на его могилу приезжала наша героиня, организовавшая отряды сестер милосердия в болгарской армии, Юлия Вревская, друг Вашего Александра и Ваша землячка, которую я знал по Петербургу и был приятно удивлен, что Ваш брат Александр и Юлия Вревская находи-

лись в гражданском браке. Вскоре и эта героическая женщина погибла на полях Болгарии. Примите от меня и нашей семьи искреннее соболезнование.

Пожелаю Вам успехов в Вашем благороднейшем начинании.

С глубоким уважением Александр Пушкин».

Письмо Полторацкого из Москвы в Мологину Александру Алексиевичу Раменскому от 1 июня 1845 года:

«<...> Любезный Александр Алексеевич, беспокою я Вас, батенька, вот по какому вопросу. Когда были мы у Чаадаева и разговорились о незабвенном Александре Сергеевиче, то вспомнили о том, как на вечеру у Алексея Николаевича Вульфа, в Бернове, вспоминали о том, как Александр Сергеевич передал Вашему покойному братцу Алексею Алексеевичу одну рукопись. Я как-то при встрече спросил тогда у него, что это была за рукопись.

Алексей Алексеевич мне тогда сказал, что однажды, во время своих прогулок с Пушкиным вокруг Бернова, он ему рассказал трагическую историю о гибели одной девушки, обманутой одним из дедов Вульфов, которая утопилась в омуте на реке Тьме! Они ходили с Пушкиным на этот омут, и тогда Пушкин сказал, что обязательно напишет об этой девушке Года через два Пушкин снова побывал в Бернове и вернулся к этой теме, сделал набросок трагедии, очень краткий, пересказав коротко рассказанную мною историю о ее гибели. Он не раз ходил к этому омуту, сделал на полях мною зарисовок старой мельницы, мельника, реки, старинных дубов, что были в Бернове, а когда уезжал в Петербург. Пушкин передал мне эту небольшую тетрадь и просил меня прочитать и сказать свои замечания. Это, наверно, был первый набросок его, потому что он потом у меня рукопись не спрашивал, хотя я слышал, что он продолжает писать на эту тему. Вот весь рассказ Алексея Алексеевича. Об этом я рассказал на вечеру у Чаадаева, и все литераторы заинтересовались этим делом и очень просили меня узнать у Вас: сохранилась ли в Вашем доме эта рукопись? Все считают, что это была первая рукопись знаменитой «Русалки», которая была издана уже после смерти поэта. Литераторам очень хотелось сравнить рукопись с напечатанной книгой, и они просили меня навестить у Вас справку. Скоро буду в Грузинах, и тогда поговорим. Привет Вам от Пашковых и Бессоновых. Желая Вам всего, всего доброго.

Уваж. Вас С. Д. Полторацкий».

Николай Пахомович Раменский показал нам железную коробку, в которой хранились некоторые реликвии Пушкина, и в том числе книга «Постоялый двор», подсвечник, перо, перочистка, бумага, полотенце, рубашка и другие вещи, сохранившиеся в семье Раменских.

Раменские сдержали свое слово, многое собрано для будущего музея, но, к большому огорчению, пропали рукописи Пушкина, в частности рукопись «Русалки». Большая часть их осталась в 1918 году в Петрограде, часть затерялась в Старице. Большую помощь в сборе материалов оказали сыновья поэта. В Мологине есть письма Александра и Григория Пушкиных.

Таковы краткие материалы о взаимоотношениях учителей Раменских и А. С. Пушкина. <...>

Из имеющейся в Мологине переписки друзей Раменских явствует, что А. С. Пушкин трижды побывал в Мологине. Первый раз заезжал с Карамзиным в 20-х годах, потом вместе с А. Н. Вульфом по дороге в Ржев, третий раз — в 1833 году. <...>

Письмо Ольги Сократовны Чернышевской из Нерчинска Пахому Раменскому в Мологину (Нерчинск, 1869 год):

«Милостивый государь Пахом Федорович.

Верная оказия в Ваши тверские края позволяет мне написать Вам несколько строк и поблагодарить Вас за оказанную помощь в наших делах. Н. Г. просил от себя также поблагодарить Вас и заверить в тех высоких чувствах, которые питает наша семья к Вам. Старая пословица недаром говорит, что друзья познаются в беде, это особенно ощущаешь здесь, в этой лютый глуши, где гибнут лучшие люди России.

Н. Г. после крепости, еще не окрепнув как видите, оказался на краю света. Чувствует, что горькая судьбина не оставляет нас, а неумолимо преследует, и что будет дальше, один бог знает.

У меня к Вам очень большая просьба. С этим письмом я посылаю письмо, которое я прошу Вас, только лично, передать в Клепинино в руки Марии Александровне. Это очень важно для нас, так как Н. Г., видимо, грозят новые неприятности и

предполагают куда-то его заслать дальше. Если Вы, по каким-либо причинам, не сможете это сделать лично, то можете передать через семью Боковых или Антипенко, а если и это не выйдет, то сожгите его, чтобы не попало в чужие руки. Ведь Вам тоже надо быть осторожным и не подвергать себя риску. Если у Вас в Мологине будет кто-нибудь из Сеченовых, то расскажите им все, что Вы знаете о нас, т. к. письма к ним почему-то давно не доходят.

Я и Н. Г. желаем Вам всего хорошего в Ваших добрых делах, о которых мы иногда узнаем.

PS. Не так давно мы познакомились с внучкой Вашего родственника, ранее ссыльного Никифора Раменского — Верой Луцкой, она родилась здесь и о родных своих в России знает по рассказам стариков. Она просила меня передать Вам и всем Вашим семьям свой искренний привет.

Еще раз примьте наши наилучшие пожелания Вам и Вашей семье.

Уваж. Вас Ольга Сократовна.

Нерчинск, дом Ячевского, О. С. Чернышевской».

«...»

С начала 70-х годов Пахом Раменский, часто болея, прекратил работу в школе и целиком посвятил себя общественной деятельности в земстве, собиранию библиотеки, мемуарным записям и общению с новым поколением, в котором мудрый старик видел, как он говорил, «будущее России». Этому способствовала его двоюродная сестра Анна Александровна Раменская, по мужу Вознесенская, связанная с народничеством.

Ее отец был учителем в семье Яковлева (Гердена), около Корчевы (имение Новоселье). Там она сошлась близко с Татьяной Пассек, сестрой Герцена, затем жила в имении Муסיна-Пушкина около Торжка, потом преподавала в школе профессора Рачинского, который открыл эту школу в Бельском уезде по совету Льва Толстого и по его же совету пригласил туда преподавать Александра Афанасьевича Раменского

Окончательное мировоззрение Анны Раменской сложилось, когда она служила в школе помещика Кущелева, отца героини Парижской коммуны Томановской. Уехав в Петербург, Анна Раменская вошла в кружок народолюбцев и по совету друзей решила уехать за границу для получения высшего образования. Заключив фиктивный брак с народолюбцем Вознесенским, который вскоре был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, проходил по делу «193» и умер от чахотки в крепости, Анна Вознесенская уехала в Швейцарию, где близко сошлась с Пассек, Дмитриевой-Томановской, Лавровым, ее земляком, Бакуниным и многими эмигрантами, революционерами, жившими там. В 1870 году зимой она совершила поездку с Пассек в Лондон, познакомилась с Герценом, Марксом, Лавровым и многими эмигрантами. Возвращаясь из Лондона, Вознесенская застряла в Париже из-за франко-прусской войны. Встретив Дмитриеву-Томановскую, стала активной участницей Парижской коммуны. После падения Коммуны с большими трудностями перебралась в Швейцарию, а затем в Россию, где была выслана из Петербурга в южные губернии. Судьба свела Вознесенскую с семьей военного врача Кравчинского в Херсонской губернии, а потом в Одессе с Желябовым и другими народниками.

Вознесенская Анна Александровна после возвращения из Парижа была «...» по ее ходатайству направлена в Херсон, где проживал ее родственник Раменский Аполлон Алексеевич, преподаватель математики в реальном училище, который был женат на двоюродной сестре военного доктора Кравчинского, и близко сошлась с Сергеем Кравчинским Желябовым Перовской, Кибальчицем, вследствие чего позднее была выслана в Тобольскую губернию.

Возвратившись на родину, Вознесенская была в Мологине вместе со Степняком-Кравчинским Желябовым, сюда же приезжала Софья Перовская, работавшая учительницей в Гверской губернии. Некоторое время они жили в Мологине, где Пахом Раменский душевно принял этих, как он называл их в своих воспоминаниях, «новых людей будущей России». Имея отношение к народникам в Петербурге, она близко познакомилась с Николаем Кибальчицем. Книги, которые он передал Анне Вознесенской перед арестом, до сих пор сохранились в Мологине. Это книга Гумбольдта «Космос» в трех томах. В них спрятана карта Петербурга с планом покушения на Александра II.

Запись в «Хронике», страница 184:

«Племянница Пахома Раменского — Анна Александровна Раменская (по суду Вознесенская), состоявшая под гласным надзором полиции, после поездки в Лондон и Париж и участия в уличных беспорядках в городе Париже в 1871 г., а также за связи с государственными преступниками высылается в селение Сороки Тобольской губернии». <...>

Снова возвратимся к Пахому Раменскому, этому замечательному человеку, сумевшему на склоне лет найти в себе силы понять новых героических людей «Народной воли». Оказывая им содействие и рискуя жизнью, он в 1873 году укрыл у себя замечательного борца за счастье народа Степняка-Кравчинского, который прожил у него зиму, спасаясь от царских ищек.

Большим счастьем было для старика, когда по просьбе Степняка-Кравчинского летом 1887 года в Мологино приехала автор знаменитой книги «Овод» Этель Лилиан Войнич, приезжавшая в Петербург.

Умер Пахом Раменский в 1892 году. Все, кто знал и сталкивался с ним, тяжело переживали потерю этого богатыря, самобытного человека, с душой человека нового типа.

Односельчане, всегда работавшие по камню, вырубили из старичьего мрамора памятник Пахому Раменскому, но поп Шахов долго не разрешал ставить его на могиле. Мы видели этот памятник — изображена кафедра с лежащей на ней книгой, заложеной лентой и гусиным пером. Надпись гласила: «Сейте разумное, доброе, вечное». <...>

НАСЛЕДНИКИ

Славное потомство воспитал и оставил Пахом Раменский. У него было 18 детей, но выросли только 6. Он любил говорить: «У меня было 18 детей и одни сапоги». Ему приходилось обязанности учителя совмещать с обязанностями заштатного пономаря в церкви, чтобы приносить домой для семьи куски хлеба, пирогов, которые приносили прихожане, и кормить семью. Все знали Пахома, любили, уважали его и рады были угостить чем бог послал, как тогда говорили.

В библиотеке Раменских до сих пор хранится тот злополучный «Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 года, полученный от Паниных, из-за которого пострадал Пахом Раменский. В 70—80-х годах Пахом Раменский, один из главных инициаторов собирания пушкинских реликвий в Старичьем уезде, совершил пешком путешествие в Святые горы, где похоронен А. С. Пушкин, чтобы поклониться праху великого поэта. Оттуда Пахом Раменский принес для будущего музея Пушкина медную гривну, пожалованную нищими Святогорского монастыря «на помин души поэта» в день его похорон. Эту гривну передал Пахому Раменскому настоятель монастыря как свидетельство глубокого уважения простых бедных людей к Пушкину. <...>

Старший сын Пахома Раменского Алексей Пахомович Раменский, кандидат наук, окончивший Петербургскую академию, служа (1873) в Симбирске, стал близким другом Ильи Николаевича Ульянова, учителем его детей, а также другом чувашского просветителя Ивана Яковлева. Будучи затем руководителем народного образования в Оренбургской губернии и уральской области, многое сделал для развития просвещения и культуры среди национальных меньшинств в то далекое время. Около тридцати лет Алексей Пахомович пробыл на посту директора народных училищ Пермской губернии, снискав авторитет среди угнетенных национальностей (татар, башкир, чувашей, пермяков и др.). Он ввел обучение на их родном языке, привлекал к учебе девочек из числа наименьшинств, обучал их ремеслам. Есть 29 научных трудов по вопросам народного образования и педагогики, которые оставил после себя А. П. Раменский, и мы видели их в Мологине. Начиная с 90-х годов XIX века он активно выступал в газетах и журналах о всеобщем бесплатном трудовом образовании. Как педагог, страстный продолжатель идей Ушинского, он совершенствовал систему народного образования, вводя трудовое обучение. А. П. Раменский был близким другом художников Левитана, Верещагина, академика Шахматова, Тимирязева, изобретателя радио Попова. <...>

Из имеющейся переписки А. П. Раменского с учеными России — Тимирязевым,

Поповым, Шахматовым и другими — особый интерес представляет копия письма А. П. Раменского К. А. Тимирязеву <...>:
«Пермь, 20 августа 1897 г.

Милостивый государь Климентий Аркадьевич!

Спешу поблагодарить Вас за столь любезное и прекрасное выражение Ваших высоких чувств ко мне и моему скромному труду. Г-н Павлович был столь любезен, что завернул к нам в Пермь, чтобы передать Вашу книгу и письмо. Я особенно благодарен Вам за Ваши любезные советы и материалы по ботанике, курс которой мы введем на открываемых педагогических курсах.

Ваша книга доставила нам истинное наслаждение, и мы читаем ее в домашнем кругу. Как жаль, что гипотезы г-на Дарвина не нашли у нас широкого и критического освещения, и даже наша передовая интеллигенция мало знает о них. В наших краях, да и вообще в провинции, знают об этом только понаслышке. Интересно, что ваш местный архиерей, человек весьма умный и порядочный, прочитав Вашу книгу, заметил: «Воистину живое слово!» — попросив, однако, не выпускать этой книги за пределы домашней библиотеки. Вот Вам наши причины, которые сковывают мысль и воздвигают препоны на пути к знанию и прогрессу. В наших уральских дебрях это ощущается особенно.

Труды наши по осуществлению всеобщего начального обучения продвигаются чрезвычайно медленно, и вряд ли нам удастся осуществить это святое дело. После моих статей в «Русской мысли» наметилось некоторое оживление, но потом все пошло по-старому. Все упирается в косность и равнодушие. Но самое обидное, что в этом великом и истинно народном деле представители земства занимают безразличное отношение. Легче выпросить сто целковых на открытие школы у какой-нибудь старой барыньки, чем получить субсидию у земства, хотя сие и предусмотрено законоположениями.

Недавно вернулся из Петербурга и Нижнего, видел нашего Попова. Оказывается, не только мы, попрошайки из медвежьих уголков, околачиваем пороги департаментов, чтобы добыть нашему мужику хоть незначительную часть тех знаний, которыми другие пользуются с избытком, но и представители высшей науки оказываются в не лучшем положении. Он мне рассказывал, что на разработку его идеи сулящей прогресс и славу России, ведомство дало несколько сот целковых, хотя другие державы проявляют к этому больший интерес, чем у нас на родине.

В начале будущего года собираюсь побывать в столице по делам учительской семинарии. Заехав в Москву, сочту за счастье лично засвидетельствовать Вам, уважаемый Климентий Аркадьевич, мое самое высокое к Вам уважение Книгу мою, по выходе ее из типографии, незамедлительно перешлю Вам.

Примите мои искренние пожелания благополучия Вам и Вашей семье.

С глубоким уважением Ал. Раменский»⁴.

А. П. Раменский был также прогрессивным деятелем культуры, оказывал материальную помощь сосланным революционерам, больным учителям, организовал в 1892 году сбор хлеба для голодающего Поволжья, в японскую войну за свой счет содержал в Перми госпиталь для солдат, а в 1908 году организовал <...> детский приют для 50 человек на свои средства.

Постоянно сочувствуя революционным идеям, оказывая материальную помощь, он построил на родине, в Мологине, шестиклассное училище, и там же на его средства была организована тайная типография, где печаталась большевистская литература, и в частности газета «Искра».

В 1916 году в связи с отставкой он, заезжая в Мологино, оставил здесь по традиции свои воспоминания, кончавшиеся 1915 годом, и свою переписку с видными деятелями России.

Выйдя в отставку в мае 1917 года, А. П. Раменский уехал в Симбирск, где когда-то начинал свою деятельность. Там он стал заниматься историей учителей Раменских, для чего всю жизнь собирал исторические материалы и даже ездил в Болгариию.

В Симбирске А. П. Раменский работал в архиве, собирая, как он писал в одном из писем брату в Мологю, материалы об Илье Николаевиче Ульянове.

⁴ Это письмо в Акте стояло в конце предыдущей главы. Мы посчитали более целесообразным перенести его сюда.

В октябрьские дни А. П. Раменский был на стороне революции. <...> Когда в Симбирске появились колчаковцы, генерал Александров <...> предложил А. П. Раменскому пост в правительстве Колчака, которому были нужны представители из простого народа. Этот генерал даже пытался силой увести Раменского в Томск, и А. П. Раменский спасся только тем, что лег в больницу, где врачом был его шурин, и под чужой фамилией отлежался там, пока не прогнали Колчака.

Вскоре Красная Армия освободила Симбирск, а с нею вернулся единственный сын А. П. Раменского Анатолий, занимавший пост начальника санитарной службы 1-й армии Восточного фронта Красной Армии. Старик очень хотелось поехать на родину, и такая возможность представилась. В это время на родине, в Ржеве, появился дальний родственник Раменских из Перми, бывший прапорщик, перешедший на сторону Красной Армии и ставший командиром 184-й Кавказской дивизии, военком Ржева Василий Васильевич Грацинский. Он и посоветовал А. П. Раменскому приехать на родину. В 1919 году А. П. Раменский выехал со Смольковым из Симбирска в Тверь и Ржев. <...>

В конце 1919 года случилось несчастье — погиб единственный сын А. П. Раменского Анатолий. <...> А. П. Раменский тяжело заболел, его разбил паралич. В 1928 году его не стало. <...>

Второй сын Пахома Раменского — Николай Пахомович Раменский, мологинский учитель-демократ, прослуживший в школе около пятидесяти лет. Он перенял от своего отца связи с миром революционеров-народников. Николай Пахомович знал Кравчицкого, Софью Перовскую, Кибальчица, Желябова, Синегуба, свою двоюродную сестру — участницу Парижской коммуны Анну Вознесенскую, Дмитриеву-Томановскую. <...> Он быстро нашел общий язык с социал-демократами, молодыми представителями большевистской партии С приездом Дмитрия, Анны, Марии Ульяновых, а также Фрунзе и Баумана в Мологино устанавливается связь с Ржевским и Тверским комитетами РСДРП. Скоро превратили Мологино в один из опорных пунктов молодых большевиков Тверской губернии <...>.

Реакция набирала силы. Слежка, тяжелые переживания из-за изъятия у Раменских рукописей Радищева, провокации против членов этой семьи, запрещение им работать в Тверской губернии, а потом и в европейской России заставляли уезжать молодых Раменских на Урал и в Сибирь. Предводитель дворянства Старицкого уезда немец Бухмейер, когда-то бывший попечитель школы в Мологине, окружил семью учителей Раменских доносами, шпионажем, провокациями. Сестру Николая Пахомовича, Федорову, выслали со всей семьей в Вятку без предъявления обвинений, а затем куда-то в Сибирь, и о судьбе этой семьи больше не было никаких сведений.

В 1909 году <...> в волостном правлении Мологина был казнен волостной старшина Золотов. Когда мы спрашивали Николая Пахомовича об этом событии, он уклончиво отвечал: «Этот мерзавец получил то, что заслужил», не желая вдаваться в подробности. Бывшая сторожиха волостного правления так сказала: «В правлении были только Золотов и я. Когда я увидела, что идут люди с оружием, я напугалась и спряталась. Эти люди вошли к Золотову и стали зачитывать ему приговор о том, что он приговаривается к смертной казни за все его дела». <...> Старая женщина также не назвала ни одной фамилии тех, кто совершил правый суд от имени народа. Несколько лет шло следствие, прямых улик не было, подозревались многие. Полиция, жандармерия вызывали, грозили, сажали в кутузку, но найти виновных не смогли.

У властей старицкой управы оставалось подозрение, что это дело рук разгромленной организации, которая существовала в доме Раменских, но прямых улик найти было нельзя. В 1913 году Николай Пахомович был вызван к директору народных училищ в Тверь, где ему было объявлено, что золотая медаль за сорокалетие работы ему вручаться не будет и что ему предлагается подать заявление об отставке.

Так наконец устранили Н. П. Раменского. Но когда пришла революция, Николай Пахомович снова приступил к работе, но уже не в школе — он от всех переживаний потерял слух, — а стал у себя дома заниматься со взрослыми, выполняя указания советской власти о ликвидации неграмотности. <...>

В 1933 году за революционные заслуги и заслуги на ниве народного просвещения Н. П. Раменский стал получать персональную пенсию. Сейчас он живет в Мологине, а мы, работая в его библиотеке, архиве, часто отрываем его от дела — от пасеки, пчел, сада, рыбной ловли. Мы с большим удовольствием сидим с ним,

патриархом семьи Раменских, в саду или на балконе, где когда-то сидели Пушкин, Радищев, или под березой, посаженной Пушкиным, и он рассказывает нам о встречах в этом доме с замечательными людьми прошлого. <...>

Коллекция и рукописи А. С. Пушкина были взяты в 1898 году в Петербург Николаем Раменским в связи с подготовкой к столетнему юбилею поэта.

В 1920 году тетка Николая Пахомовича Екатерина Михайловна Преображенская вернула в Мологино пушкинскую коллекцию. Нам ее показал Николай Пахомович. К сожалению, многих вещей не хватает, а рукописи Пушкина все пропали в Петрограде. Интересно одно письмо, которое проливает свет на причину пропажи пушкинских рукописей, мы его приводим целиком. <...> На бланке Комиссариата народного просвещения написано:

«Петроград 1918 г.

Уважаемая Екатерина Михайловна!

Литературно-издательский отдел Комиссариата Народного просвещения в связи с подготовкой к печати заново переработанных изданий сочинений русских классиков и во избежание цензурных искажений, допущенных Цензурным Комитетом Империи, обращается к Вам с просьбой предоставить временно, сроком на шесть месяцев, в распоряжение нашего отдела имеющиеся в семье учителей Раменских рукописи А. С. Пушкина. Указанные рукописи необходимы для сверки текстов и устранения цензурных искажений. Сохранность и возврат рукописей в установленный срок нашим отделом гарантируется⁵.

По поручению Правительственного Комитета лит.-изд. отдела НКП

П. И. Лебедев-Полянский».

У Пахома Раменского было 4 дочери.

Мария Пахомовна, служившая с мужем в селе Денежном, была выслана после 1905 года с семьей в Вятку, а потом в Сибирь...

Анна Пахомовна Разумихина с мужем служили в Ржеве. Интересна ее судьба. Окончив только сельскую школу, она, переехав в Ржев, решила обучать бедных детей и сирот грамоте у себя на дому. Она в своем домике устроила начальную школу. Учебники покупала на свои деньги. Во время перемены она готовила детишкам чай с черными сухарями. В школе всегда было 25—30 ребят с ближайших улиц и слободок. Иногда шила им рубашонки из ситца. И самое главное, Анна Пахомовна проработала в своей школе тридцать три года бесплатно. Никто ей не платил жалованья, ни с кого она не брала плату за учебу. <...> Она воспитала двух сыновей, которые продолжали работу предков в ржевской гимназии.

Александра Пахомовна жила в Старице, прожила более девяноста лет. Из них шестьдесят пять лет отдала педагогическому поприщу. Она воспитала двух дочерей, Нину и Аполлинару, которые и сейчас работают в школах города Старицы. <...> Внуки Александры Пахомовны, Женя и Миша, уже работают педагогами в Калининe.

Евдокия Пахомовна рано ставшая учительницей, к сожалению, проработала недолго <...> Чухотка унесла ее в расцвете лет. <...>

На смену детям Пахома Раменского пришло поколение детей и внуков Николая Пахомовича <...>. Виталий Раменский, учитель в Мологине, — один из представителей седьмого поколения мологинских учителей. <...>⁶.

«Москва, 1 февраля 1932 г.

Глубокоуважаемый Николай Пахомович!

Я была чрезвычайно рада получить это неожиданное письмо от Вас. Ведь сколько лет прошло, сколько событий и судеб прошло за эти годы. Я рада, что Вы, как пишете, относительно здоровы для Вашего возраста и, как и прежде, не стоите в стороне от дел общественных и заботы о людях.

Ко мне заходил Ваш внук студент МГУ. Антонин Раменский — продолжатель Вашего славного учительского рода и подробно рассказал мне о Вашем житье-бытье. Был он у меня на Гверской, в редакции «Правды», а теперь Партия поручила мне работу по жалобам трудящихся, так что Ваше письмо в той части, которая касается

⁵ К сожалению, это условие выполнено не было.

⁶ Далее в Акте приводятся несколько писем Раменским от С. Паниной, К. Домбровского, родственников с Украины, от С. и А. Ермоловых, М. И. Ульяновой и А. Вознесенской. Публикуем только последние наиболее интересные два письма.

пенсионного дела сторожихи мологинской школы, проработавшей с Вами 50 лет, я направляю в Тверь и думаю, что удастся помочь ей, хотя возможности, как Вы сами знаете, пока у нас весьма и весьма ограничены. Такие вопросы сейчас уже по моей новой работе — разбирать письма трудящихся и помогать им по возможности.

Еще по Вашему письму я как-то интуитивно почувствовала, что Вы, как и все Раменские, которых я знала и знаю, из-за врожденной, повторяю, скромности умалчиваете о себе <...>. Мы договорились с Бубновым о том, что напишем письмо Тверской организации РКП(б) о необходимости установления Вам персональной пенсии, Вы это вполне заслужили.

Кроме того, Николай Пахомович, т. Бубнов просил передать Вам, что по линии Наркомата просвещения он предложит соответствующим органам Наркомпроса обследовать, изучить и обобщить громадный педагогический опыт Вашей семьи, накопленный многими поколениями Ваших предков да и потомков в годы революции и строительства советского строя.

Поэтому я прошу Вас оказать всяческое содействие товарищам, которым будет поручено изучение Ваших архивов, библиотеки и других материалов и документов.

И еще одно — прошу отбросить излишнюю, свойственную старой интеллигенции и ненужную сейчас скромность в вопросах быта и материального положения. В пределах наших скромных возможностей Вам всегда помогут.

Пишите мне, привет от наших. Будьте здоровы,
Ваша Мария Ульянова».

«Татьяно, декабрь 1922 г.

Дорогой Николай Пахомович!

Вот прошел год, как я Вам переслала свои воспоминания. Здоровье мое становится плохим, и о поездке в Мологино я уже не мечтаю. Поэтому передайте мой родственный привет всем Вашим. <...>

Я часто мысленно возвращаюсь к написанным мною воспоминаниям, и мне все кажется, что я многое пропустила, забыла, старая. Может быть, мое письмо в какой-то степени дополнит те воспоминания... <...>

Ну прежде всего о рукописях Беранже. Я лично знала и встречала Беранже. Ту пачку его песен, которые я вам прислала, я получила от одного из руководителей Коммуны, а именно от Мильера, о котором расскажу в своем письме позднее.

Я знала и переписывалась с несколькими коммунарами, жившими в России. Вы меня спрашивали о том, как я попала в Херсон. Поскольку меня не судили, а выслали, то я могла выбрать и место высылки. Я решила поехать на юг России, где в Херсоне жил мой троюродный брат Аполлон Раменский, преподаватель реального училища, кстати, женатый на двоюродной сестре Кравчинского, который был в Херсоне военным врачом. Вот откуда и пошла моя связь с «Народной волей».

Теперь о декабристах. Я всю жизнь интересуюсь этим вопросом, тем более что в наших семьях о связях с декабристами почти не говорили, а на самом деле эти связи существовали задолго до восстания. У меня хранится несколько писем, которые мне передал мой дед, из переписки с Муравьевыми-Апостолами, жавшими на Украине, кажется в Каменке, и с Каховскими, потомками, кажется, таврического губернатора, у которого служил один из Раменских, женатый на одной из его племянниц. После моей смерти все, что я храню всю жизнь, моя подруга перешлет Вам в Мологино, и Вы сами разберетесь в этом деле. Юрий Раменский, живший в Петербурге, поддерживал родственные связи с одним Каховским, служившим, по-моему, в гвардии...

Отец мой часто встречался с Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом в Твери, когда тот вернулся из Сибири. Матвей Иванович кое-что знал о судьбе сестры и сына Никифора Раменского. <...>

Из воспоминаний деда я знала, что Никифор был восстановлен в правах, ему была назначена пенсия, но домой в Бахмут он не вернулся, хотя у него было там 6 человек детей, но изуродованный палачом, он не хотел возвращаться на родину и при содействии Радищева уехал в Германию, где написал книгу о царских зверствах в России, о рудниках, где заживо гниют люди, и о Радищеве, за переписку книгу которого он пострадал. <...>

У Никифора было 6 детей, семья голодала, жена, смелая и энергичная болгарка, отказалась подписать заявление на высочайшее имя о помиловании мужа и перенесла много страданий, а сестра его <...> через некоторое время уехала вместе со старшим сыном Никифора к нему в Нерчинск <...>.

Елена Раменская и сын Никифора Виктор Раменский прибыли в 1802 г. в Нерчинск, когда Никифор уже уехал из Нерчинска. Они остались жить в Нерчинске <...>.

Николай Пахомович, <...> наша семья может гордиться нашим потомком, в котором течет кровь Раменских. Алексей Николаевич Луцкий был видным борцом за установление советской власти на Дальнем Востоке. Этот замечательный человек в 1920 г. вместе с Сергеем Лазо был сожжен в паровозной топке японскими интервентами. Такова история наших потомков. Мир праху их и вечная слава их делам. <...>

Привет Евдокии Федоровне. Будьте здоровы.

Ваша А. Вознесенская».

ПОКОЛЕНИЯ XX ВЕКА

У Алексея Пахомовича Раменского был один сын Анатолий, студент медицинского факультета Московского университета. Он дрался на баррикадах Красной Пресни в 1905 году. У Горбатого моста казачий вахмистр рубанул шашкой по голове Анатолия Раменского. Но он выжил, окончил университет со званием врача-хирурга.

В 1909 году отец и сын Раменские навестили в Ясной Поляне Льва Николаевича Толстого, говорили о народном образовании. Толстой говорил о расширении объема знаний и свободе личности учеников в выборе тех или иных знаний. Толстой подарил свою фотографию с автографом. <...> По окончании университета Анатолий Раменский отказался служить врачом-хирургом и, имея блестящие драматические способности, поступил в знаменитый театр Комиссаржевской, где и прослужил до начала империалистической войны. Во время войны служил главным врачом 231-го пехотного полка. После революции он вступает в Красную Армию, и вскоре Дмитрий Ильич Ульянов, который знал Анатолия Раменского с детства, рекомендует его Фрунзе. В 1919 году Анатолий Раменский — начальник санитарной службы 1-й армии Восточного фронта. Участвовал в освобождении родного Симбирска от колчаковцев, а в конце 1919 года во время операции в госпитале заразился и умер.

В начале XX века в Петербурге служило несколько Раменских: Раменская Анна Герасимовна — учительница Бестужевских курсов; Раменская Мария Яковлевна, Раменская Ольга Яковлевна — учительницы гимназии в Петербурге; Раменский Александр Федорович — учитель, ранее служил в Воронеже, а затем в кадетском училище в Петербурге.

Особый интерес представляет переписка Раменской Лидии Семеновны, учившейся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, большого друга писателя Леонида Андреева. Сохранилось 7 писем писателя за 1908—1916 годы, адресованных Раменской. В одном из писем Леонид Андреев рассказывает, как создавался «Рассказ о семи повешенных».

У Николая Пахомовича Раменского было 6 детей — 2 сына и 4 дочери. Старший сын, Аркадий, участник революционных событий в Перми, исключенный без права поступления в учебные заведения, был выслан в Сибирь, заболел там чахоткой. С 1910 года работал под Волочком, а теперь работает с женой в школах Бологого. <...> Еще в Перми, живя у своего дяди А. П. Раменского в 1904 году он вступил в партию, был связан с большевиками пушечного завода Мотовилиха, где являлся хранителем склада оружия рабочей дружины. Оружие было спрятано под полом в раздевальне семинарии, где учился Аркадий Раменский. Там же в семинарии хранилась и марксистская библиотека пермских большевиков. В библиотеке своего дяди А. П. Раменского Аркадий хранил партийные документы Пермской организации и Кунгурской организации, которую возглавлял его зять Смольков. <...>

После 1910 года Аркадий Раменский имел дружеские связи с Горьким, Леонидом Андреевым, Шумахером, Арлыбашевым, Аркадием Аверченко. Он дружил с художниками Нестеровым, Кустодиевым, Бродским, а также с другими жившими на летней даче Академии художеств около ст. Академическая, где Аркадий служил учителем. В 1914 году он организовал в доме Кутузовых встречи Максима Горького с сельской интеллигенцией. В 1903 году, находясь в Мологине и помогая организовыв-

вать тайную типографию, получал от Дмитрия Ульянова Программу и Устав РСДРП для перепечатки и, сделав копию, зарыл эти материалы под домом в Мологине...

Его сын Антонин Раменский, педагог, комсомолец, изуродованный кулаками в период коллективизации, сейчас студент Московского государственного университета. Сегодня у деда и внука счастливый день, найдена книга, которую искали двадцать пять лет, после обыска полиции в 1905 году, когда прятали книги Радищева. Дед Николай Пахомович и внук Антонин Раменский внимательно рассматривают автограф на книге Радищева. Два года потратил Антонин Раменский на поиски этой книги, и она нашлась.

Мы беседуем с Антонином Раменским. <...> Он помогает нам в работе. Ему, старшему и любимому внуку, Николай Пахомович Раменский оставляет все громадное наследство семьи за четыре века — архивы, библиотеку, реликвии семьи, и мы уверены, что все эти ценности передаются в верные руки, они будут сохранены и приумножены. Антонин Раменский <...> решил посвятить себя изучению жизни друзей своих предков — Новикова, Радищева, Пушкина, декабристов, народников...

Второй сын Николая Пахомовича, Сергей Раменский, учитель в Бернове, воевал, был отравлен немцами газом. Осталось одно легкое. Организовывал коммуну в Бернове. Сейчас с женой продолжают работать учителями в селе Бернове, где Раменские со времен Карамзина и Пушкина учат детей. На фронте служил в бронебатальоне, имел Георгия. <...>

Сын Сергея Раменского Виталий окончил Ржевский педтехникум и уже второй год работает учителем в мологинской школе. <...>

Дочь Н. П. Раменского Людмила Николаевна Раменская работает в школе в Павловском Посаде, у нее сын и дочь. Сын Игорь собирается поступать в пединститут. Это будущие педагоги.

Дочь Ольга Николаевна Раменская — самая молодая, вместе с мужем работает в школе Новоторжского района. Растет у них сын Юрий, который мечтает о педагогической профессии.

Антонина Николаевна Раменская вместе с мужем служат учителями в Луковниковском районе, а их дочь Людмила заканчивает старички педагогические курсы. Через год в этой семье Раменских на одного педагога будет больше. Сама Антонина Николаевна, окончив ржевскую гимназию в 1916 году, не могла тогда получить работу в европейской России, и ей пришлось, как и сестре Нине, поехать на Урал, в Кудымкар. Стала работать в коми-пермяцкой школе, за сто верст от железной дороги. Потом война, революция, пришли колчаковцы. Они знают на Урале фамилию Раменских. Ищут ее старшую сестру Нину Николаевну Раменскую и ее мужа, известного революционера Смолькова, но последним удается скрыться в уральской тайге, а Антонина попадает в руки карателей. Пытки, истязания, от нее требуют выдачи сестры и Смолькова, Антонина молчит, ее приговаривают к расстрелу. Запирают на ночь в сарай, а на утро была назначена казнь. Но нашлись патриоты, пожалевшие девушку-учительницу. Темной ночью верные люди подрыли проход в сарай, вывели Антонину и переправили к сестре в тайгу.

Старшая дочь Николая Пахомовича Нина Николаевна и ее муж Николай Яковлевич Смольков рано встали на революционный путь. Они вели пропаганду в Мологине, Орехово-Зуеве, Москве, Владимире, Костроме, Кунгуре. Пять раз сидел в тюрьме Смольков, в последний раз ему сломали грудную клетку, и он стал болеть туберкулезом. Четыре раза он высылался, но всегда с ним вместе ехала жена Нина Николаевна, верный друг, товарищ и боец. После гражданской войны они в родном Ржеве — преподаватели в школе имени Пушкина. Нина Николаевна — депутат городского Совета Ржева начиная с первого созыва.

Сейчас Смольков инвалид, больной туберкулезом, живет в Мологине. Нина Николаевна работает в мологинской школе. Николай Яковлевич Смольков занимается делами архива Раменских и являясь членом комиссии, оказывает нам большую помощь в изучении материалов о семье Раменских <...>.

В Мологине в 1930 году организовался колхоз «Светлый путь», а в 1936 году открылась школа-десятилетка <...>

Мы проследили исторический путь только одной семьи учителей Раменских <...> Но от этой семьи которая начала заниматься педагогической деятельностью в Москве еще в 1479 году, образовалось много других семей Раменских <...>. Раменские есть в Ленинграде, Новгороде, Череповце, Минске, Витебске, Гомеле, Пер-

ми, Пятигорске, Средней Азии. Множество семей трудится в городах и селах Украины. Раменские есть в Болгарии, Румынии, Сербии, Черногории. Многие носят уже другие фамилии, но все они от одного корня — учителей Раменских.

По словам Н. П. Раменского, от семьи Раменских уже образовалось 38 фамилий родственных семей. <!...>

В заключение комиссия считает нужным подчеркнуть, что в одном Акте невозможно описать все материалы, имеющиеся в архиве Раменских, раскрыть со всей полнотой многогранную педагогическую и общественную деятельность этой семьи. <!...>

Председатель комиссии: Бойков;

члены комиссии: Михайлова, Дружиловский, Гаврилов, Воскресенский, Смольков, Золотовский.

Село Мологино, 1 сентября 1938 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Публикуемый документ, несомненно, привлечет внимание специалистов — в первую очередь историков, литературоведов и педагогов. По мере его изучения что-то в Акте будет принято сразу как бесспорно достоверное, что-то останется на время загадкой...

Надо полагать, первый экземпляр документа был отпечатан на лучшей бумаге и вычитан с машинки не одной парой внимательных глаз — он предназначался для Москвы, для Наркомпроса. Нам же достался такой, в котором не была исправлена ни одна погрешность. Судя по более четкой, чем весь остальной текст, машинописной строке «Экземпляр для учителей Раменских», написана она была в последнюю очередь и, вероятно, на самом последнем экземпляре. На вычитку его скорее всего ни у кого тогда не хватило времени. И дошел он до нас не только не сверенным с рукописью, но отчасти и с перепутанными при брошюровке страницами, которые затем были пронумерованы карандашом.

Возможно, что часть очевидных неточностей появилась в документе по оплошности работавших над составлением Акта или при их благонамеренном желании что-то в нем уточнить. Последнее произошло, например, при переписке в Акт воспоминаний А. А. Вознесенской о ее встрече с А. И. Герценом зимой 1870/71 года и в некоторых других случаях.

Необходимо, по-моему, указать и на еще одну неточность, теперь уже в письме А. Т. Болотова. Вот оно: «Наш друг Шварц (профессор Московского университета и духовный отец русского масонства. — М. М.) скончался в 1784 году, Петров находится в Германии». В этом письме упоминается Петров Александр Андреевич — талантливый и образованнейший литератор, редактор библиотеки «Детское чтение» в издательстве Н. И. Новикова, ближайший друг и наставник молодого Н. М. Карамзина в годы его службы в той же редакции. Письмо Болотова написано в 1798 году, и в нем говорится о Петрове как здравствующем человеке, только живущем в Германии. А во всех известных нам работах, касавшихся жизни и деятельности Петрова, утверждается как непреложный факт то, что он умер в Петербурге в 1793 году, то есть на пять лет раньше. Какая дата из двух верна?

Многие страницы документа требуют специального исследования, дополнительных комментариев. Например, в тех разделах Акта, где упоминаются два особо дорогих для нас имени — А. С. Пушкина и А. Н. Радищева.

Известно, что полный перечень мологинской коллекции пушкинских рукописей не сохранился. Общее их число указано в одной из записных книжек: «В Мологине было 136 листов поэтических, прозаических и эпистолярных рукописей Пушкина. Из 28 листов состояла тетрадь черногого наброска «Берновской трагедии» («Русалки»), оставленная автором Ал. Ал. Раменскому. Примерно сто рукописей взял в 1898 году в Петроград, накануне пушкинского юбилея, Николай Раменский. И тогда же, и тоже будто бы для организации в Старице выставки, взял 32 листа пушкинских рукописей у Николая Пахомовича предводитель старичского дворянства и попечитель мологинской школы Бухмейер». О последнем известно, что был он предводителем старичских черносотенцев, во время революции сбежал в Германию и, надо полагать, туда же мог увезти и 32 листа пушкинских рукописей. Где они сейчас? Может быть, их следы удастся когда-нибудь отыскать...

Неизвестно, сколько листов из той коллекции сохранилось у Николая Раменского, а после его смерти у Екатерины Михайловны Преображенской, сколько из них

она передала литературно-издательскому отделу Наркомпроса. Только о тетради «Берновской трагедии» можно утверждать точно: она этому отделу была передана.

Что содержали пропавшие рукописи? В воспоминаниях Анны Вознесенской, которая некоторое время жила в Петербурге у своего дяди писателя Н. Раменского, сказано: «Как сейчас помню старинную шагреновую папку с медными замками, в которой хранились пушкинские рукописи, а их было более ста листов... Я помню среди них почти целую главу «Онегина», «Анчар», много посвящений, отрывок из «Дубровского» и многое другое».

А в воспоминаниях Н. Я. Смолькова мы читаем: «Среди коллекции вещей Пушкина большую ценность представляют: рубашка, полотенце, чашечка, перочистка, ложечка, игр. кости, Будда и многое другое. Издатель Суворин предлагал за эту коллекцию 25 тыс. руб.». В отличие от рукописей Пушкина большинство его вещей из коллекции Раменских уцелело, в 70-х годах они были подарены Антоном Аркадьевичем Раменским московскому и ленинградскому музеям А. С. Пушкина.

Теперь об оригинале радищевского «Путешествия в Сибирь», его списках и фотокопиях. Самое последнее, и, по-видимому, наиболее достоверное, свидетельство о том, что у Раменских рукописный архив Радищева был, заключает в себе письмо графини С. В. Паниной Николаю Пахомовичу в августе 1917 года. Но куда делся этот архив после Октябрьской революции? В прочитанных мной воспоминаниях большинство их авторов считают, что его увезла за границу сама Панина. Вряд ли это так. Отобранный в конце 1905 года у Раменских в Мологине архив Радищева летом семнадцатого года находился не в кабинете графини Паниной — товарища министра признания в правительстве Керенского, — а в сейфах Особого фонда архива министерства внутренних дел. И надо полагать, что люди, непосредственно отвечавшие за этот Фонд, хорошо знали ему цену, а когда наступил последний час для всех «временных», они, конечно, могли сообразить, что лучше всего прихватить с собой из Особого фонда...

Что-то пыталась узнать о рукописном наследии Радищева за рубежом И. Г. Эренбург. К сожалению, встретиться с жившей во Франции С. В. Паниной ему не удалось. Когда прошел слух о том, что некто из очень богатых в прошлом русских эмигрантов, сменивший православную веру на католическую, в ознаменование этого подарил Ватикану какие-то сверхценные исторические документы, писатель предпринял безуспешную попытку посетить библиотеку Ватикана и ознакомиться в ней с русскими бумагами...

А списки этого произведения? Первый из них сделал Алексей Пахомович Раменский во время своих наездов из Перми к брату в Мологино, где до момента изъятия жандармами находился архив Радищева. Переписанное он увез домой, и 80 листов хранились им в Перми. Вскоре после Февральской революции, уйдя в отставку, А. П. Раменский с женой переехал жить в Симбирск. Здесь во время революции и гражданской войны содержимое двух привезенных из Перми сундуков с книгами и бумагами пропало...

Из Акта мы знаем, что по просьбе Раменских их родственник, первый руководитель Ржевской организации РСДРП Евгений Михайлович Комаров, сделал фотоснимки «Путешествия в Сибирь» (перед революцией 1905 года Комаров работал у ржевского фотографа ретушером). Сколько фотокопий было тогда отпечатано, мы не знаем. Когда в Мологине был конфискован весь радищевский архив и Раменские через некоторое время попытались у владельца ржевского фотоателье узнать, не осталось ли у него что-нибудь от «Путешествия...», тот ответил, что все фотокопии взял Евгений Комаров, а негативы он сам уничтожил. Евгений Комаров в это время находился на нелегальном положении в Москве.

Существовало несколько фотокопий радищевской книги. Об одной из них сообщил И. А. Нечаев в письме из Варшавы Н. П. Раменскому в Мологино 2 марта 1906 года: «Если Вы сумеете в Ржеве сделать еще один экземпляр всех наших фотокарточек, то черкните мне». Слово «еще» свидетельствует о том, что у Нечаева в Варшаве до отправления этого письма уже имелся как минимум один экземпляр «фотокарточек». Была ли ему выслана дополнительная фотокопия рукописи Радищева и куда делась та, которой он уже располагал, мы тоже не знаем.

Иван Алексеевич Нечаев — дальний родственник Раменских, близкий им по духу человек. В Польше он был акцизным чиновником. Во время первой мировой войны перед вступлением немцев в Варшаву Нечаев вывез оттуда русскую казну. Надо по-

лагать, он нашел место в своих сейфах и одному или нескольким комплектам интесующих нас фотодокументов, если, конечно, они еще были у него. После революции, в 20-х годах, И. А. Нечаев жил в Пензе. А. П. Раменский писал ему из Симбирска, но ответа по неизвестным причинам не получил. Возможно, Пенза — один из городов, где могут находиться фотокопии «Путешествия в Сибирь».

История еще одной из известных нам фотокопий произведения А. Н. Радищева оборвалась весной 1967 года в доме А. Н. Раменского в деревне Лялино Вышневолоцкого района. За несколько дней до вступления немцев в Ржев приехал в Мологино родной брат покойного Николая Смолькова Василий Яковлевич. Приехал затем, чтобы передать Аркадию Николаевичу Раменскому небольшой пакетик, аккуратно и плотно завернутый в голубую клеенку... На случай прихода оккупантов было решено спрятать книги, немного продуктов и кое-какую одежду. Были загружены два мешка, в мешок с книгами Смольков и сунул свой сверток, так и не успев в суматохе сказать, что в нем.

А была в нем фотокопия «Путешествия в Сибирь», о чем стало известно значительно позже. Попала она к Смолькову так. До 1906 года копия принадлежала Евгению Комарову, тому самому, кто сделал снимки с оригинала Радищева. Когда Комарова арестовали в Москве и судили во Ржеве, он сумел сообщить своей матери Марии Николаевне Комаровой, где хранится его Радищев. Сам Евгений Михайлович оказался вскоре на Лене, в конце 1911 года организовал там боевую дружину из политкаторжан Иркутской губернии, а позже во главе ее пустился в поход через тайгу к Ленским золотым приискам на помощь рабочим, только что пережившим печально знаменитый Ленский расстрел. Е. М. Комаров в том походе героически погиб. А его мать перед смертью передала фотокопию «Путешествия...» Василию Яковлевичу Смолькову...

Мешки зарыли на огороде. Смольков тут же уехал обратно в Ржев и через несколько дней погиб под бомбежкой.

В оккупации Раменские жили ползими. Ютились на своем подворье в старой землянке. Фашистов выбили из Мологина под новый, 1942 год. После них от усадьбы Раменских не осталось ни бревнышка, ни живого деревца. Стояли только три березы да сосна... Морозы были в самой силе, Раменские перебрались в деревню Итомя, к родственнице учительнице Людмиле Васильевне Виноградовой.

С наступлением весны Аркадий Николаевич вернулся в Мологино, чтобы откопать свои мешки. На месте, где были зарыты продукты, зияла пустая яма, а мешок с книгами и бумагами уцелел.

Аркадий Николаевич со своей драгоценной ношей благополучно вернулся в деревню Лялино, куда к этому времени он с семьей перебрался жить. О том, что фотокопия у него была, подтверждает и калининский журналист Борис Николаевич Булатов, который пользовался особым доверием в 60-е годы у Раменских. Будучи подростком, он у Аркадия Николаевича учился, а с его сыном Антонином дружил. Булатову посчастливилось первым увидеть у Аркадия Николаевича фотокопию радищевского «Путешествия в Сибирь». Об этом он писал 20 марта 1967 года своему другу: «Он (Аркадий Николаевич.— М. М.) мне показывал старинные документы, чудом спасенные им в Мологине. Их немного, но они очень важные, особенно фотокопии рукописи Радищева и его знаменитое (совсем наоборот, абсолютно тогда неизвестное общественности.— М. М.) предсмертное письмо Алексею Раменскому».

В январе 1967 года у Аркадия Николаевича открылся застарелый процесс в легких и он лег в больницу. Тем временем без ведома хозяина в доме начали ремонт, во время которого мологинский мешок исчез.

...Не один раз прочитал я этот трудной судьбы документ. Более пятисот лет Раменские сеяли среди людей разумное, доброе, вечное! Огромный педагогический опыт этой удивительной семьи осветил благодатными знаниями тысячи людей в России, на Украине, в Белоруссии, в ряде зарубежных стран. Высокие нравственные традиции рода были унаследованы десятками единокровных учительских семей; в силу естественной неизбежности они отвечали от своего могучего древа, но всегда испытывали его духовное влияние.

Об этом рассказал нам Акт той давней наркомпросовской комиссии...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЗВЕРЕВ



ДВОРЕЦ НА ОСТРИЕ ИГЛЫ

Динамика романа в мировой литературе

Периодически вспыхивая, затухая и опять разгораясь жарким пламенем, споры о романе стали обязательной приметой литературной жизни последних десятилетий. Не только у нас. Пожалуй, всюду.

Как правило, полемика эта становилась столкновением четко обозначенных и подчас непримиримых позиций. Высказывались без оговорок, с определенностью. Плетение литературных реминисценций или новаторство «Железного театра» Огара Чиладзе, нетворческое умствование или емкая метафорическая модель в романе «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, никчемная формальная игра или необходимая сегодня сложность в «Объяли меня воды души моей» Кэндзабуро Оэ? Вот лишь некоторые вопросы недавних дискуссий. Разумеется, не Фриш и не Чиладзе сами по себе вызывали жесткие противоборства, а обозначенные непривычным их произведениями пути и судьбы большой прозы.

Пробуксовывает ли она, или идет трудный, но плодотворный процесс перестройки представлений о том, что есть роман, что он реально может и перед чем пока останавливается, не находя ответов? Сохранится ли роман, или на смену ему придет какой-то новый вид повествования, лишь в силу привычки именуемый по старинке, когда на сотнях страниц иной раз не найти, кажется, ни сюжета, ни характеров, ни психологических нюансов, ни лирических описаний, ни логической взаимосвязи событий? Что, собственно, происходит у нас на глазах — убийство романа как такового или демонтаж обветшавших принципов, чтобы на их место предложить другие, более соответствующие времени? Возможно, наконец, это новая попытка влить свежую кровь в сосуды классической традиции, как

уже не раз случалось за долгие века литературной истории.

Примерно таков круг мотивов, постоянно возникающих в дискуссиях о романе. Но хотя мотивы устойчивы, не появляется ощущение избитости и ненужности подобных обсуждений. Отчего? Позаботился об этом сам роман. Он как бы нарочно поддразнивает пессимистов, предоставляя обильную пищу для дебатов о прихотливости и непредсказуемости жанра всякий раз, когда особенно усиливаются ламентации — искренние или лицемерные — по случаю его мнимого угасания. При этом споры о романе неизменно выходят за рамки чистого литературоведения и критики.

Марио Варгас Льюса, один из корифеев новой латиноамериканской прозы, сказал афористически точно: «Роман — это свидетельство состояния культуры». Можно добавить: наиболее объективное и достоверное свидетельство.

Об этом мы не часто вспоминаем, вглядываясь в «узоры ковра», которые десятилетие за десятилетием сплетает роман, никогда не повторяя рисунка. Бесконечная эта изменчивость зачаровывает. Тогда еще сложнее становится опознать закономерность в причудливых, крайне специфических построениях той или иной действительно необычной книги. И тем более актуальным делается исследовательский поиск, направленный на то, чтобы в пестрой картине современного романа обнаружить некие силовые линии, своего рода магнитное поле, создаваемое культурой, обществом, эпохой.

Почти двести лет назад, размышляя о всемирной литературе, Гёте предполагал читателя, способного ориентироваться на всем ее грандиозном пространстве. Тогда это была скорее мечта, чем реальность, в наши

дни — естественное для литературы положение вещей. Тем более что читателю (да и критику) в последнее время предоставляются все более широкие возможности сравнивать и сопоставлять романы, оперируя разнообразным и систематически пополняющимся материалом. Речь, в частности, идет о начатой лет пятнадцать назад издательством «Прогресс» (а теперь продолжаемой «Радугой») серии «Мастера современной прозы».

Серия эта примечательна во многих отношениях и в том числе высокой филологической культурой. Тут все хорошо продумано: и отбор произведений, и композиция томов, и представительство литератур разных народов. Особо надо сказать о переводчиках этих книг. Среди них — наши лучшие мастера старшего поколения (Е. Калашникова, С. Апт, Н. Жаркова и другие) и те, кто вступил на трудную переводческую стезю сравнительно недавно, однако по праву заслужил признание читателей. Конечно, есть в серии и такие работы, которые не назовешь переводческими удачами. Но в целом она стала своего рода эталоном в области прозаического перевода.

К настоящему времени эта серия насчитывает около шестидесяти объемистых томов. Книги с трилистником на корешке давно замечены в читательской среде и по достоинству оценены. Но осмысляются они, как правило, разрозненно. А весь выигрыш тут именно в полноте, в панорамности. Ведь, собственно, это обширная антология мирового романа, а всякая антология тем и привлекательна, что позволяет окинуть взглядом всю картину, охватить все явление.

В самом деле, случай редчайший — при всех оговорках перед нами собранная на одной книжной полке библиотека примечательных образцов современного романа, широчайшее поле, через которое протянулись, друг от друга отвлекаясь, перекрещиваясь, сталкиваясь, конфликтуя, самые разнохарактерные, разнородные, разнонаправленные линии творческих усилий. Какие факторы всем этим внешне хаотическим движением управляют, какие силы тут доминируют, какое состояние культуры обретает здесь свое выражение?

Об этом мы и попробуем поразмышлять.

«В некотором смысле мои современники по происхождению своему принадлежат девятнадцатому столетию, так как до 1945 года век двадцатый не наступал, — пишет Джон Фаулз, автор переведенной у нас «Башни из черного дерева» и один из наиболее

заметных сегодняшних английских прозаиков. — Оттого мы и претерпеваем столько мук, оттого и ощущаем себя на повороте, самом длинном и самом крутом повороте культуры за всю историю человечества».

Фаулз вскоре отметит свое шестидесятилетие, и «мои современники» — поколение, чья ранняя юность пришлось на годы второй мировой войны. Не приходится разъяснять, что война была для этого поколения тем историческим рубежом, который по сей день ощутим как важнейший для всей последующей жизни, не исключая и художественную жизнь. Высказанная Фаулзом мысль в основе своей понятна и была бы бесспорной, если бы не та категоричность, с какой она сформулирована. Эта категоричность настораживает. В ней чувствуется невольное или осознанное стремление как бы отменить все, что было создано культурой нашего века до великих потрясений, увенчанных победным и трагическим 1945 годом с его встречей на Эльбе, с его Хиросимой. В ней пробивается ощущение распавшейся традиции, оборванной преемственности, неожиданно возникшей пустоты, когда современному художнику словно уже и не на что опереться в своих попытках увидеть необщий облик нашей эпохи и вся история культуры вроде бы начинается с чистого листа.

В своем творчестве Фаулз достаточно далек от подобного экстремизма, его писательская ориентация выдает открытую приверженность классической школе реализма, в Англии и поныне удерживающей наиболее прочные позиции. Фаулз лишь повторяет чрезвычайно распространенную мысль. И даже на ней не задерживается. По-видимому, для него, как и для многих на Западе, дискутировать тут просто не о чем: крутой поворот, обозначенный 1945 годом, слишком явен.

Поворот, несомненно, произошел, но еще вопрос, так ли уж он был резок. Во всяком случае, пришлось бы потратить немало усилий в попытках доказать то, что, по мнению Фаулза, разумеется само собой, — идею разрыва художественных систем прошлого и нынешнего столетий, идею их противостояния, обозначившегося, конечно, не с календарной точностью, не на заре нового века, а много позднее и под давлением исторических обстоятельств, важнейшим из которых была вторая мировая война.

Такие усилия и прилагаются, причем не только критикой. Вклад писателей, если в данном случае можно говорить о вкладе, значительно весомей. И в особенности французских писателей, провозвестников и твор-

цов «нового романа», где-то с середины 50-х годов заявившего о себе столь самоуверенно, что до последнего времени без оглядки на сформулированные им принципы казалось невозможным толковать о судьбах жанра.

Теперь «новый роман» отшумел, однако побуждения, вдохновлявшие его приверженцев, не исчезли, если подразумевать не частности, а предлагавшуюся «новыми романистами» творческую ориентацию, как раз и предопределенную ощущением образовавшейся лакуны, выпавшего звена в цепи литературной преемственности. У нас издан том, представивший лидеров этого направления — Мишеля Бютора, Алена Роб-Грийе, Клода Симона, Натали Саррот (Бютор и Саррот, впрочем, переводились и раньше). Явилась возможность судить о подлинных плодах обещанной коренной перестройки романного мышления. Судить — поневоле — без особого энтузиазма, ибо эти плоды, и в свое время выглядевшие сомнительными, ныне уж вовсе мало кого соблазняют: засилье ремесла, но минимум искусства, гипертрофия формальных новаций, крайне замысловатые постройки на шатких фундаментах двух-трех идей, позанимствованных, точнее, механически перенесенных из теории относительности и современной психологии.

Критические перепалки вокруг «нового романа» вызывались, вне всякого сомнения, не его скромными творческими свершениями, но самой логикой, направлявшей такого рода искания. Понять эту логику несложно, благо «новые романисты» обосновывали собственные установки и с трибуны различных коллоквиумов, и со страниц теоретических изданий. В их выступлениях сразу же запестрело словечко «музей». Традиционная проза отождествлялась с кунсткамерой, где центральный зал по праву принадлежит Бальзаку и роману, сохранившему верность заветам «Человеческой комедии». Вскоре добавились и другие экспонаты — Толстой, даже Пруст. Утверждалось, что все это мертвая литература. Ее создавали люди, которым больше подошло бы занятие судебных следователей, до того внимательно следили они за всяким поступком и ощущением своих персонажей, за каждой мелочью их быта: как выглядел на герое полосатый жилет, понравился ли героине поданный на завтрак кофе. Зачем им, писателям, это было нужно? Затем что в любом предмете или происшествии они отыскивали некий скрытый смысл, помогающий еще полнее воссоздать характер, понимаемый как явление, подчиненное общим законо-

мерностям действительности. Знание таких закономерностей у них предшествовало акту творчества, а поэтому они считали себя вправе манипулировать персонажами, согласно своим замыслам вылепливая их облик, их судьбу.

Здесь они достигли вершин, но для романа это была пиррова победа. Возобладал принцип типизации, хотя жизнь бесконечно более многообразна и непредугадываема, чем самая подробная опись человеческих типов и типичных ситуаций. Возобладало иллюзорное авторское всеведение, хотя ни об одном человеке нельзя знать все, ибо он и сам всего о себе не знает, в различных жизненных положениях обнаруживая свойства, о каких и не подозревал. Возобладала идея выдуманной истории, которая рассказывается в романе, хотя никакой вымысел не в состоянии соперничать с подлинными событиями, этими документами времени, открытыми для свободного, никем не направляемого осмысления. А время такое, что просто рука не поднимается написать: «Маркиза вышла из дома в четыре» — и отдаться изобретению всевозможных фабульных интриг, подробностей обихода, характеристических штрихов, примет воссоздаваемой реальности, словом, аксессуаров старого, бальзаковского романа. Отвергнув такой роман, что называется, с порога, Натали Саррот задавала вопрос риторический, но знаменательный: «Какой вымысел сравнится с историями о концентрационных лагерях или о Сталинградской битве?»

Итак, опять война осознана как рубеж, с которого в литературе, строго говоря, только и начинается XX век. Манифест Саррот, появившийся в 1956 году, назывался «Эра подозрения», иод подозреньем оказывался весь накопленный романом опыт, ибо он перестал отвечать «современной психологической реальности». Она, эта реальность, подорвала почву под самим понятием персонажа с его «обязательными пропорциями и размерами», с его душевными качествами, «принадлежащими лишь лично ему». Никаких типов, в реальности они давно заменены неким «анонимным «я», расплывчатым, неуловимым, неопределенным и невидимым существом, которое есть все и ничто», а на страницах романа их заменит «отражение самого автора». Ему уже незачем заботиться о прежней целостности повествования, ему достаточно лишь честно фиксировать как бы остановленные мгновения психического процесса (на языке Саррот подобные моментальные снимки именуются тропизмами). И понятно, что историй, когда-то признававшихся фундаментом романа, при-

думывать ни в коем случае не нужно. «Сокровенный пласт внутреннего монолога», «огромные, почти еще не разведанные области бессознательного» — вот она, материя романа, если романист действительно хочет запечатлеть окружающий его сегодняшний мир.

Романы самой Саррот, начиная еще с «Портрета неизвестного» (1948), засвидетельствовали, что у этого сегодняшнего мира есть вполне явные социальные очертания беспредельно обобщать можно было в декларациях, а на практике приходилось следить помимо бессознательного еще и за менявшейся действительностью, где процессы стандартизации личности со временем принимали все более уродливую форму. Те, кто не в меру серьезно и буквально истолковал программные положения теории «нового романа», в творческом отношении оказались совершенно бесплодными Саррот, знакомая нам по двум книгам — «Золотые плоды» и «Вы слышите их?», — такой участи избежала.

Однако проблемы, о которых шла речь в ее «Эре подозрения», тем самым не были сняты с повестки дня. Это проблемы, сопряженные с сегодняшним пониманием детерминированности характера, сочетания в нем черт родовых и сугубо необщих. Иначе говоря, имеющие прямое отношение к одной из важнейших категорий реалистического искусства — к типическому.

По-своему удивительно, что Натали Саррот суждено было спровоцировать повсюду теперь обнаружившийся особый интерес к таким вопросам. Для нее самой они не должны бы представлять большой важности. «Новый роман» почитал типичность достоянием выставки литературных анахронизмов. А в последних книгах Саррот, «новому роману» уже не принадлежащих, предстали крайности другого рода. Сначала категорически не допускалось и мысли о социальном обобщении, поскольку мир личности признавался и самоценным и невестижимым при всех усилиях в него проникнуть. А тут вдруг личность оказалась совсем не главным. Даже вовсе не существенным. Потребовалось осмыслить общественные тенденции, не просто воплощающиеся в данной человеческой особи, но подчиняющие ее своей власти. И герой стал нужен не как индивидуальность, а только как представитель, как некий господин, выполняющий известную социальную функцию и целиком к ней сводимый, исчезающий в ней без следа, словно монетка в колбе, заполненной насыщенным раствором

Кстати, это один из очень распространенных способов типизации. Предложен он был

давно, еще Брехтом, доказывавшим, что в современном романе герой должен действовать в строго ограниченном пространстве: поступки его предсказуемы, мышление стандартно, реакции однотипны — ведь такова действительность. По логике Брехта выходило, что пушкинское «Татьяна-то моя вон какую штуку удрала» не для романов нашего века, где персонаж заведомо лишен свободы индивидуального развития, ибо его не обладает и его жизненный прототип. Этот персонаж вынужденно иллюстративен и иным быть не может.

Все это писалось с полемическими целями, писалось еще до войны и выражало круг понятий самого Брехта в гораздо большей степени, чем подводило итог реальных исканий годашней прозы. Но через двадцать лет мысли, высказанные в тех давних статьях, были подхвачены, логически продолжены и абсолютизированы.

Герои, ни в чем не переступающие рамок представляемого ими социального типа, стали знаменем времени. Одних они привлекали, других смущала свойственная им всем и как бы заданная система хорошо известных компонентов, позволявшая сразу же опознать явление, этими героями символизированное. Самый тип иной раз бывал подмечен и тонко и безошибочно, и это оправдывало условность его воплощения на грани гротеска. А все-таки... Живого человека не свести ведь ни к какой функции, столько в нем всего соединяется и переплетается. И не упрощенным ли окажется тот общественный феномен, суть которого как раз и стараются раскрыть, жертвуя всем второстепенным ради полной ясности определяющих черт? Не сводится ли все в подобных случаях к бездушной модели и схеме?

Помнится, и у нас довольно активно об этом дискутировали, когда явился на подмостках Чешков, знаменитый «человек со стороны», стремительно породивший когорту отпрысков, до совершенной неразличимости схожих и с пращуром и друг с другом. Поначалу судили чешковских за их максимализм и негибкость, восторгалась их деловитостью и волей, однако судить надо было авторов, избравших такой тип изображения, и либо его принимать, либо отвергать, но уж по сути, а не из-за частных просчетов. Предмет для дискуссии, впрочем, быстро иссяк, и не оттого, что исчез открывшийся в чешковских тип, а потому, что не привился такой метод его воссоздания. Не привился у нас. На Западе все было по-другому.

Там социологический этюд, лишь притворяющийся беллетристкой, получил на-

столько интенсивное развитие, что неизбежной стала реакция раздражения прогив него, даже его полного отрицания, особенно в последние годы. Такая проза отвечала умонастроению 60-х годов с их резкой идейной поляризацией, с их молодежными бунтами и яростной антибуржуазностью, в каких бы экзотических формах она порою ни выражалась. Но время меняется, и роман меняется вместе со временем. А иногда, собственно, не меняется, просто вспоминает о своих же полузабытых возможностях, начиная дорожить тем, что поспешили передать в ведение архивистов.

Похоже, сегодня именно такой период. Еще не раскрыв журнал с очередным обзором перспектив романа, можно без большого риска предположить, что слово «традиция» будет на этих страницах встречаться чаще всех других. И какая традиция? Реалистическая, конечно, причем понятая в самом буквальном, во всяком случае, самом недискуссионном значении. Минимум дистанции между жизненной и художественной реальностью, живые, узнаваемые характеры, ситуации типичные в том смысле, что они заурядны в действительности, — вот чего теперь нередко добивается от романистов критика, а роман удовлетворяет подобные ожидания. Подчас задумаешь: может, не так уж не прав, скажем, американский прозаик Джон Барт, заметивший, что наступили времена «ужасающе добродетельной, ужасающе скучной прозы»?

Барт — один из упрямых, неуступчивых модернистов, становящихся в наши дни такой же редкостью, как бизоны в прерии. Собственные его книги, тем более последние, сами дают обильную пищу для разговоров о кризисе, вержеживаемом не только им, но всей модернистской прозой, которую он представляет. Однако сейчас разговор о другом. Барт отстаивает потребность литературы в изобретательстве и право художника быть смелым в изобретении. А ему отвечают примерно следующее: довольно, мы устали от всех этих новомодных новаций. И без того уже литература стоит перед серьезной опасностью потерять человека за мифологическими реминисценциями и структуралистскими схемами, за всем этим умствованием, убивающим живую плоть искусства.

«Под разными ярлыками — экзистенциализм, семиотика, Альтюссер, Деррида — культурфилософы и власти умов долгие годы внушали нам, что человеческие беды и заботы — это лишь рябь на воде, а внимание к тем ли, к другим сторонам индивидуальной жизни — не более как сенти-

ментальность, какой любит предаваться благоденствующий средний обыватель. Теперь за это приходится платить... эмоциональным истощением, безразличием, которое овладело писателями, усвоившими уроки гроссмейстеров отстраненности от изображаемого мира». Так пишет другой американец, весьма влиятельный критик Бенджамин Демотт. Имена метафизика Деррида и марксиста Альтюссера (правда, оба близки к структурализму) помянуты им рядом и важны для автора не сами по себе, но только как знаки тенденции, заключающейся в том, что философские построения поработили прозу, превратив роман в иллюстрацию тезисов, тогда как ему надлежало бы служить картиной действительности. Демотт не одинок, напротив, это голос из хора.

Однако, не прельщаясь слаженностью такого хора, все же попытаемся понять, что на деле могли бы принести роману новомодные призывы отказаться от умничанья, отдавшись житейски достоверному изображению «человеческих бед и забот». Расширится ли от этого художественно им освоенная территория? Появятся ли новые коллизии, новые герои? И вправду ли холод безразличия сменится теплом причастности к судьбам рядовых людей, затерянных среди толпы на улицах обезличенных городов?

Все это, по меньшей мере, сомнительно. Отвлечшись от реального положения вещей в литературе последнего времени, легко принять за благо эти поиски правдивости и простоты или хотя бы объяснить, отчего они так настойчивы: ведь дегуманизация искусства, о которой с тревогой пишут Демотт и еще очень многие толкователи современной западной прозы, — явление невымышленное. Однако ничего нового в самих этих попытках нет. Всегда существовали писатели, кичившиеся своей верностью традиции, словно она сравнима не со стремительно движущимися водами реки, а с вечными льдами на вершинах. Теперь таких писателей просто стало больше. Но принципиально от этого едва ли что изменилось. Потому что прозаики, внявшие совету обратиться к реальной повседневности, избегая лукавого мудрствования, своего слова не сказали. Лишь провели две-три борозды на поле, давно уже распаханном предшественниками. На том поле, где усердно трудятся умелые секретари общества, каким себя считал Бальзак и каким, к примеру, всю жизнь был Сноу, или Джойс Кэри, или исполняющий и сегодня все те же «секретарские» функции Эрве Базен.

Все это писатели ясно определившиеся

творческого склада. Имя Бальзака для них святыня. Но как он воспринят? Вот именно как секретарь, и, пожалуй, слово это толкуется излишне ограничительно: протоколист, непредвзятый и чрезвычайно добросовестный свидетель времени, раскрывающий и современникам и потомкам его страсти и противоречия, его, если вспомнить авторское предисловие к «Человеческой комедии», разрушительные бури. А главное — раскрывающий социальный двигатель всех событий. Этой цели должны быть подчинены все усилия художника.

Справедливо ли такое прочтение Бальзака? Конечно. Но оно недостаточно. Макс Фриш, допустим, читает его совсем иначе. Для него это писатель, стоящий где-то между Гомером и Кафкой. Великий эпик, но такой, для которого «в качестве последнего шанса эпоса... стоит фантастика». И Фриш доказывает свою мысль остроумно, даже с блеском, хотя она, что и говорить, не лишена парадоксальности. Его не обманывает бальзаковская «форма самой жизни». За подробнейшими описаниями обстановки какого-нибудь буржуазного гнезда или светского салона, за портретами персонажей, выписанными столь тщательно и достоверно, что эти герои, кажется, вот-вот сойдут со страницы и заговорят с нами как живые собеседники, он обнаруживает ситуации, на житейский счет ирреальные, чувствует действие сил, о каких и не догадываются все эти растиньки, горио, гранде. Причем Фриш подразумевает не «Шагреневую кожу», не «Поиски абсолюта», где фантастика непосредственно распоряжается течением событий. Нет, он подразумевает как раз книги, обеспечившие Бальзаку репутацию величайшего мастера жизнеподобного повествования.

Фриш, нечего и пояснять, очень субъективен, он произвольно обособляет только грань бальзаковского метода, представляя эту грань его сущностью. И все же странички из фришевского «Дневника» поучительны. Они говорят не о шаблонном, почти бездумном и механическом восприятии Бальзака, а о творческом освоении его прозы. По крайней мере, о попытке освоить ее творчески. Да и не на пустом месте возникает подобная интерпретация. Затвержено повторяя, что Бальзак дорожил незатрудненной опознаваемостью изображаемых им людей и конфликтов, мы как-то позабыли другие его уроки. А ведь не кто иной, как Бальзак, дал, быть может, самую широкую и вместе с тем самую точную формулу сущности романа. Он, правда, говорит не о романе, а вообще об искусстве и говорит не

сам, но устами одного из своих персонажей — литератора Бисиу, описанного в «Банкирском доме Нусингена». Однако в собственных эстетических взглядах Бальзак неизменно шел от романа, а одарять важными ему мыслями своих же героев было для него обычным делом.

Так вот, для Бальзака «суть искусства в том, чтобы выстроить дворец на острие иглы». Применительно к «Банкирскому дому Нусингена» эту метафору можно расшифровать однозначно: «игла» — непосредственное фабульное действие, история происхождения и обогащения главного героя, «дворец» — замысловатое переплетение обстоятельств, сопутствовавших карьере протагониста. Но если не ограничиваться конкретным произведением, где как бы между делом высказано сокровенное убеждение Бальзака, тот же образ приобретет куда более широкий смысл. Об этом хорошо сказано в недавней книге Д. Затонского, посвященной реалистам XIX века: «Бальзаковская форма здесь сознательно, полемически обнажена. И цель обнажения — показать, доказать, что в произведении искусства, с одной стороны, все должно стремиться к центру, к единству, даже к своеобразной простоте, а с другой — быть обстоятельнейшим образом обосновано, и, следовательно, сложности, громоздкости расплывающейся композиции не только никак не избежать, но и бояться не надо».

Реалисты нашего столетия сумели справиться с подобной задачей, обходясь без громоздкости да и без излишней обстоятельности. Оказалось, что внутренний план «дворца» может быть бесконечно прихотливым включая множество тайных переходов, галерей, лесенок, оказалось, что «форма самой жизни» способна органически существовать и с фантастикой, и с мифологией, и с условностью времени, и с монтажом нескольких параллельно развивающихся сюжетных линий, которые внешне ничем не связаны, — и что все это не притушает «острия иглы», не препятствует центростремительности конфликта. Оказалось, что содержательный объем можно создавать без расплывающейся композиции, а эпичность достижима не только традиционными средствами многоэпического цикла вроде «Чужих и братьев» Сноу или базеновской «Семьи Резо».

Впрочем, много ли проку новтोरять азбучную истину, что после Бальзака роман ушел далеко вперед. Существеннее как раз другое: в каком-то смысле Бальзак так и остался романистом на все времена, поскольку в «Человеческой комедии» таились воз-

мощности, которыми впоследствии проза воспользовалась широко, хотя и не обязательно вспоминала, кто их первым почувствовал, кто заронил эти зерна, в дальнейшем давшие всходы по всему необозримому полю мирового романа.

Оттого и не вызывают доверия ставшие общим местом высказывания в том духе, что есть литература до 1945 года и есть — после. Справедливы они лишь тогда, когда предполагают непрерывно происходящие (и, разумеется, резко стимулируемые событиями такой значимости, как война) изменения в самом реализме, которые сообщают одному типу реалистической прозы привкус архаичности, другим — приметку новизны и свойство соответствия времени. Однако никакого разрыва в цепи на поверку не возникает. И если внимательно перечитать хотя бы только «Человеческую комедию», даже не потревожив тени Толстого, или Достоевского, или Стендаля и еще многих, кого называют предтечами литературы XX века, мы в этом убедимся с непреложностью.

«Дело д'Артеза» — так озаглавлен самый значительный роман западногерманского прозаика Ганса Эриха Носсака, опубликованный в 1968 году. д'Артез? Но ведь это из «Утраченных иллюзий». Он стоял во главе содружества ученых и поэтов, Даниэль д'Артез, молодой писатель, по своим монархическим взглядам сильно напоминающий самого Бальзака.

У Носсака подлинное имя героя не д'Артез, а Наземан. Ганс Наземан. Он принадлежит к более чем благополучному буржуазному семейству, которое ненавидит совершенно искренне. Выдающийся мимический актер, он избрал для сцены псевдоним д'Артез, потому что с юности был пленен образом, созданным в «Утраченных иллюзиях». И еще потому, что тем самым как бы окончательно отмежевался от владельцев концерна «Наней», изготовлявшего ткань, которая идет на одежду для гитлеровской армии и для узников фашистских тюрем. Злою волей случая эти господа из «Наней» приходятся Наземану прямыми родственниками. Такова фабульная мотивировка.

Ей можно довериться, даже не придав особого значения тому, что в романе Носсака есть и свой Луи Ламбер (в действительности Людвиг Лембке), который служит в какой-то библиотеке и избегает всех разговоров о своем прошлом модного в третьем рейхе исторического романиста. С д'Артезом этот Ламбер знаком давно, еще по школе; детьми оба они и взяли для себя вымышленные имена, потому что ощущали

себя интеллектуалами, чужеродными окружающей бюргерской среде, но духовно близкими тем, кто составлял бальзаковское содружество. Ламберу обязательства, накладываемые такой ролью, оказались не вполне по силам, он запятнан двусмысленностью своего положения при гитлеризме, хотя старался избегать любого общения с тогдашними властями. д'Артез доиграл роль до конца, угодив в концлагерь за пантомиму настолько смелого содержания, что его самого ничуть не удивило, когда прямо из театра он был доставлен в кабинет следователя-гестаповца.

Обо всем этом мы узнаем далеко не сразу и не от автора, а от персонажа-рассказчика, именующего себя протоколистом. Он действительно служил протоколистом в полиции, куда уже через много лет после войны знаменитый актер, выживший в концлагере, был приглашен обер-режиссером Глачке, по запросу французских коллег расследующим обстоятельства, которые могли бы иметь отношение к загадочному убийству в Париже человека, носившего фамилию (или псевдоним) д'Артез. Но затем наш референдарий из полиции уволился. Его захватила чуть ему приоткрывшаяся история немецкого д'Артеза, он решил воссоздать ее самостоятельно, благо и Ламбер и дочь артиста Эдит выразили готовность оказать в этом деле всяческое содействие. И роман построен как хроника такого воссоздания. Герой, чье имя фигурирует в заглавии, непосредственно на сцене событий почти не появляется, но все события обязательно имеют прямое касательство к его судьбе, его характеру, его позиции — бальзаковский принцип «острия иглы» выдержан безукоризненно. Ну, а «дворец» — это само повествование, точно бы у нас на глазах конструирующее себя из магнитофонных записей бесед господина Глачке с подозрительным субъектом, выбравшим себе для сцены французское имя, из документов полицейского ведомства, долгие годы следившего за д'Артезом, из газетных откликов на его спектакли, а главным образом из разговоров Протоколиста с Ламбером и с Эдит Наземан.

У Бальзака «дворец», разумеется, строился по-другому. Автор уверенной рукой вычерчивал линии рассказа, не стремясь создать иллюзии, будто сам он не имеет никакого отношения к сочиняемому произведению. Целью его было обнажить решительно все причинно-следственные связи, объясняющие и характеры и поступки. Черты типа преобладали в персонажах над индивидуальными чертами, и, скажем, сам факт

принадлежности героя к буржуазной среде не мог не определять его образ мыслей, его систему ценностей.

Цепочка эпизодов, образующих роман, у Бальзака совсем необязательно выстраивается в линейной последовательности, однако она всегда обладает вполне очевидной целенаправленностью: от частного — к общему, от случайного — к типичному. В книгах Носсака и вообще в современном романе подобная целенаправленность и столь строгий детерминизм покажутся искусственными. Весьма сложно обнаружить в судьбе д'Артеза какую-то единую линию жизни, и недаром Протоколист, распыляющий этот клубок, то и дело поражается замысловатым, нелогичным узорам, составившим орнамент интересующей его человеческой биографии. Автору же как будто вполне достаточно орнамента, он просто-таки избегает показывать собственного героя непосредственно, предоставляя ему возможность проявить в конкретных ситуациях свою личностную сущность. Не роман, а какой-то сию минуту составляемый сборник воспоминаний и свидетельств о живом лице, которое, однако, никак не пытается облегчить составителю его труд. И резонно спросить: не исчерпывается ли сходство книг Носсака и Бальзака тождественностью имен основных действующих лиц?

Нет, не исчерпывается. Сходство лежит гораздо глубже, оно заключено в самом понимании зависимости частного бытия от социальной и духовной атмосферы времени. Укажем на один из законов, установленных для литературы Бальзаком: «Я придаю... событиям личной жизни, их причинам и побудительным началам столько же значения, сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов». Вот что, собственно, означало уподобление искусства дворцу на острие иглы — способность художника, его обязанность в индивидуальном опыте, постигнутом и запечатленном со всеми изгибами, парадоксами, противоречиями, составляющими личность, проследить действие механизмов социального бытия, сложных, как хитроумный лабиринт. Бальзак обобщал уроки своей же «Человеческой комедии». Но никто после Бальзака не отменил сформулированного им принципа.

Другой вопрос, как многообразно этот принцип осуществлялся. Это многообразие неисчерпаемо. И оно преумножается от одной литературной эпохи к другой. «Дело д'Артеза» — лишь один из бесчисленных примеров этого, но пример важный, и не оттого лишь, что перед нами произведение

крупного мастера. Носсак написал книгу, достаточно традиционную для западногерманской литературы, книгу об этическом выборе, которого требовала от всех без исключения немецкая действительность в годы нацизма. Книгу о том, как этот выбор и десятилетия спустя, в существенно изменившихся общественных обстоятельствах, по-прежнему диктует логику человеческого поведения, формируя судьбу. Мы знаем немало таких книг, можно напомнить о Белле и его «Групповом портрете с дамой», о Грассе и его «Местной анестезии», о Ленце и его «Уроке немецкого». Тема из тех, которые до конца, наверное, никогда не пройти, и не приходится бояться повторов — литература это доказала.

Но, в сущности, объединяя книги, которые этой теме посвящены, надо сознавать, что такое сближение довольно условно. Они разные, потому что до родственности близкие коллизии в них поворачиваются противоположными своими гранями, а сильная творческая индивидуальность каждого из авторов придает резко выраженную самобытность художественному миру, выстраиваемому из того же самого материала. Скажем, Ленц не скрывает своих творческих установок, которые кому-то покажутся устаревшими: «Я признаю, что мне нужны истории, чтобы понять мир». Носсаку, чье «Дело д'Артеза» естественно соседствует на полке с «Уроком немецкого» (даже герои и той и другой книги — люди искусства, преследуемые нацистами), истории, в общем-то, не нужны. Вся фабульная история, которую можно извлечь из романа Носсака, состоит в том, что Ламбер неожиданно умирает, а протоколита, оставившего свою малопочтенную службу, мы видим на пути в Африку, где он будет сотрудником комиссии содействия развивающимся странам. Маловато для романа со столь значительным конфликтом и хронологическим объемом? Но так только кажется. В осознанно скудном событийном обрамлении развертывается внутренний сюжет, который при иной архитектонике способен был бы воплотиться в эпическое полотно, допустим, в семейную хронику Наземанов, биографиями различных представителей клана иллюстрирующую важные процессы общественной жизни. Свою архитектонику Носсак понятно, выбирает в согласии с творческой задачей, а о том, какая это задача, лучше всего скажет признание Ламбера, записанное протоколитом: «Из нас, не будь даже нацистов и войны, ничего другого бы не вышло», — среди прочего, Ламбер «терпеть не мог, когда люди перекладывали на историю ответственность за свою судьбу».

Роман Носсака — это полемика с детерминистскими верованиями, зачастую оказывающимися удобным и легким оправданием, и особенно в обстоятельствах, которые воспроизводит «Дело д'Артеза». Бальзаковским принципам, вообще поэтике классического реализма подобное непочтение к детерминизму как будто противостоит вызывающе, однако не будем спешить с выводами. В самом деле, Ленц, у которого выписана на холсте любая подробность, а сам холст натянут на очень большую рамку социальной летописи, вызовет и более непосредственные, и более прочные ассоциации с прозой XIX столетия. А все же отметим, что ведь не кто иной, как Бальзак, требовал от художника умения «измерять всю силу связей, узлов, скреплений, которые тайно срачивают один факт с другим». И вот этим-то как раз больше всего занят в своей книге Носсак. Ему важно не просто показать, сколь разнородными были жизненные пути двух школьных друзей, когда-то плененных образами «Утраченных иллюзий». Прежде всего ему важно проследить узлы и связи, которые и созидают личность. Обнаружить «тайные сращения» вроде бы не близких фактов, которые тем не менее обладают бесспорной причастностью к «делу» — идет ли речь о д'Артезе или о Ламбере. Носсак хочет восстановить течение изображаемой жизни со всеми ее неизбежными странностями, со всеми, как выразился Ламбер, мелочами, которые особенно существенны, ибо «в них-то и заключена истина».

Она драгоценна, эта объективность. Она дает возможность не декларациями, не авторскими назиданиями, но всем художественным построением передать столь важную Носсаку мысль, что никакие обстоятельства не могут и не должны извинять конформизм, внутреннее раздвоение, измену себе.

д'Артез остался бы заурадным, средним немцем, если бы не одно его свойство, которое окружающие называют экстерриториальностью. Чаще всего подразумевается его актерский дар, талант мимического перевоплощения, но на самом деле тут совсем иное. д'Артез экстерриториален в том смысле, что он чужак среди родичей да и в любой компании, исключая общество дочери и еще Ламбера. А чужак он оттого, что в нем ярко выражена незаурядная личность. И тем, что он действительно личность, герой этот привлекает Носсака более всего. Впрочем, только ли Носсака притягивают такие герои? По-своему экстерриториален и карлик Оскар в грассовском

«Жестяном барабане». И Лени, та самая дама с бёллевского «Группового портрета...». И еще многие центральные персонажи романов нашего времени.

Откуда это повышенное внимание к герою, обладающему столь резко выраженным «лицом необщим выраженьем»? Почему привычными сделались персонажи, которые либо сами сознают свою, по обыденным меркам, странность, либо вызывают недоумение у всех, кто от таких мерок не отступает? Скажем, отчего сегодня главным действующим лицом так часто оказывается клоун — тот же д'Артез, или Ганс Шнир в романе Бёлля «Глазами клоуна», или многочисленные арлекины Феллини? Случайное совпадение? Пожалуй, лучше поискать закономерность.

Она, правда, уже замечена. И даже объяснена. Обычные объяснения сводятся примерно к следующему: своеобразный персонаж, личность экстерриториальная и для окружающих нелепая, понадобился искусству, поскольку он олицетворяет отклонение от буржуазной нормы, а значит, и несет в себе нечто человеческое, нечто живое. Во многих случаях так оно и есть. Однако не во всех. Потому что совсем не обязательно, чтобы с героем подобного типа был сопряжен писательский идеал, даже просто представление о каких-то нефальшивых жизненных ценностях. Бывает и наоборот: герой странен, он явно выпадает из ряда, но его несводимость к стереотипам заключает в себе начала разрушительные, жестокие, злые, пусть личность и не сознает этого сама. Феллини не зря разделяет своих клоунов на белых и черных. Да и не один Феллини.

К тому же объяснениями от противного странно оперировать, когда сходный персонаж встречается нам в собственной нашей литературе. А ведь он там встречается, и часто. Шукшинские чудики были открытием, теперь у них очень много литературных сородичей. А героев Гранина — хотя бы Любичева, к примеру, — чудиками не назовешь, но и здесь тот же самый художественный ход: странность, несоответствие принятому, особый строй души. Поскольку подобный ход давно перестал удивлять, истолкования необходимы.

Может быть, писателя увлекает сама неординарность изображаемой личности, может быть, он дорожит исключительностью ситуаций, особой атмосферой, которую такая личность вокруг себя создает? Отчасти, конечно, так, но лишь отчасти. Ведь различные чудики, во множестве проходящие перед сегодняшним читателем, обнаруживают

не столько чью-то личную оригинальность, сколько знаменательное жизненное явление. В поведении человека, идущего, как выразился бы Даль, против обыка людей, такое явление предстает с особой отчетливостью, сфокусированно. Они очень своеобразны, эти герои, и все равно они несут в себе нечто типическое. Только типическое уже менее всего уравнивается с типовым. Наоборот, оно глубоко, всесторонне индивидуализировано. Это одна из характерных черт прозы последних десятилетий.

Причины здесь многочисленны, укажем ту, что представляется самой значительной. Уже Бальзак знал, что никакое живое существо не может оказаться готовым воплощением типа: в каждом воплощается только отдельный момент существования, но не существование в целом. Свои усилия художника Бальзак сосредоточил на том, чтобы опознать родовые признаки за всеми этими отдельными моментами, выделить в герое то, что его связывает с социальной категорией, к которой он принадлежит, с поколением, чьей частицей он является, с историей, в нем отразившейся. Это норма для искусства классического реализма. Во многом и для реализма нашего времени, вплоть до новейшей стадии.

Теперь же стало выясняться, что усилия, подобные бальзаковским, едва ли обязательны. Действительность подвергается более или менее отчетливой стандартизации, родовое, типическое, если под этим понимать определяющие свойства большой группы людей, всплывает на поверхность. Они зафиксированы и проанализированы на языке научной социологии, они тиражированы и опошлены на языке массовой культуры, они становятся достоянием газетного очерка телевизионного сериала, неприятельной журнальной юмористики. Но при этом страшно много теряется. Что именно? Как раз существование в целом, оказывающееся схематизированным и упрощенным, когда оно загнано в категории плоско понятой типичности, подчинено системе обязательных примет и легко предсказуемых особенностей, какими должен обладать человек, поскольку он замышлен представителем определенного социума, о котором все важное якобы давно уже известно.

Так удивительно ли, что любые (и порой отнюдь не самые привлекательные) отклонения от этой типичности все больше интересуют серьезную прозу? Ведь тут не одно лишь стремление уйти с проторенной тропы, тут еще и понимание, что готовыми категориями, на сколь бы прочный фундамент знания они ни опирались, явление нередко

скорей затемняется, чем получает истолкование. И что личность этими категориями целиком никогда не охватить. И что нешаблонность героя не только не препятствует установлению его связи с социумом, а, напротив, способна сказать о социуме нечто новое и важное.

Этому есть реальные художественные доказательства. Скажем, роман английской писательницы Мюриэл Спарк «Мисс Джин Броди в расцвете лет». Принято трактовать эту книгу как произведение сатирическое, обличающее британскую мелкобуржуазную среду. В 30-е годы, когда происходят главные события романа, добропорядочный обыватель и в Англии, как повсюду на Западе, изведал искушение фашизма с его обещаниями «порядка» и «надежности». Мисс Броди, школьная учительница из Эдинбурга, приходит в восторг, наблюдая стройные колонны штурмовиков на римских и берлинских улицах.

У себя в классе она пытается насадить дух кастовости, приличествующий будущим сливкам общества, которым надо смолodu привыкать к дисциплине, к запрограммированности не то что поступков, но и переживаний, к чувству собственного превосходства над каждым, для кого закрыты двери клана, к раз и навсегда определенной иерархии ценностей вполне недвусмысленного реакционного толка. Одна из учениц предаст мисс Броди, она будет уволена за слишком откровенные симпатии чернорубашечникам. Предательство совершит Сэнди, любимая ее воспитанница, та, которая в разговоре с директрисой и назовет своего педагога прирожденной фашисткой. Впоследствии Сэнди станет католической монахиней. И когда ее будут спрашивать, что больше всего повлияло на подобный выбор, она ответит: нет, не политика, не личная жизнь, а «некая мисс Броди в расцвете лет».

Сатира? В немалой мере. Но не такая, как другие произведения Спарк, известные нашим читателям, — как напечатанные в том же томе «Memento mori» и «Умышленная задержка», как повесть «На публику». Спарк любит гротеск, не страшщийся фарса, любит сатирическую маску, полностью закрывающую лицо изображаемого человека. Ничего этого нет в «Мисс Джин Броди...». Роман построен по-своему не менее замысловато, чем носсаковское повествование о д'Артезе. Действие развивается в двойной хронологической перспективе, события предстанут в воспоминаниях их участниц. Мисс Броди вырастает перед читателем из совокупности всех этих неизбежно

пристрастных свидетельств, которыми автор как будто отказывается управлять, не вычлняя то, что ладило бы с авторским представлением о характере, и не отбрасывая то, что ему не отвечает.

Подобный отказ продуман и принципиален. Спарк не желает упрощений. Она не хочет повторения десятки раз описанного типа прирожденных фашистов. Потому что не верит, что фашисты и впрямь бывают прирожденными. Да и не убеждена, что «фашистка» — вообще наиболее точное слово, чтобы кратко и верно описать мисс Броди. Героиня тем ее и интересует, что она не может уложиться ни в одну схематизированную квалификацию. Здесь всего важнее объективно свойственная Джин Броди совмещенность качеств и разнородных и необычных, ярко ее выделяющих на стандартном фоне других педагогов эдинбургского учебного заведения. Это не типаж. Это личность.

Критики спорили о том, сарказм или сочувствие окрашивают отношение писательницы к своему персонажу, но этот спор беспредметен: существенна не дозировка оттенков, а правда характера. Резко специфичного характера, вместе с тем накрепко влеченного в социальную историю, тогда, в 30-е годы, впрямую формировавшую каждую человеческую судьбу.

Мисс Броди попросту не заметила, как роль, с самого начала играемая ею самозабвенно, превратилась в ее духовную сущность. Поначалу был эпатаж, стремление идти до конца в конфликте с анемичными приверженцами рутины — и в преподавании и в жизни. Потом зерно набухло, прорастая ядовитыми побегами нацистского насилия над разумом. А произошло это закономерно, потому что никому не дано безнаказанно заигрывать с фашизмом. Такие роли с неизбежностью мстят своим исполнителям.

Читая книги Носсака или Спарк, как не вспомнить смешных пророчеств об отмирании характера, ненужности социального фона и вообще об устарелости реализма, окостеневшего в старомодных способах жизнеподобия. Скорее уж окостенели те экспериментальные методы построения художественного пространства, которые лет двадцать назад выглядели перспективными. Это породило подозрительность по отношению к экспериментам вообще. Проверенные решения казались надежнее. В каком-то смысле они, разумеется, и впрямь надежнее, только вряд ли литература выигрывает от усиленных закреплений пройденного.

Носсак, как мы видели, вовсе не так уж традиционен и в «Деле д'Артеза», наоборот, эта книга заставила говорить даже о новой «д'Артезовской форме» — романе без главного героя. А если прочитать другие книги Носсака, хотя бы «Спираль», помеченную еще 1956 годом? Это менее всего роман, каким его мыслили не то что во времена Бальзака, но, скажем, и во времена Анатolia Франса или Голсуорси, на рубеже веков. Пять прозаических фрагментов, составивших книгу, соединены лишь очень условной ассоциативной связью, заглавие становится метафорой композиционной структуры. А читатель, двигаясь витками спирали, раз за разом возвращается к излюбленным авторским мыслям о гнетущей усредненности, анонимности, стертости современного бытия, о тотальном засилье духа бюргерства и бесконечно разнообразных, хотя и всегда безуспешных попытках обособиться от него, примеряя и осваивая одну маску за другой.

Существует множество способов воздвигнуть «дворец на острие иглы». Принцип подчеркнутой условности, своего рода игра, к которой прибег в «Спирали» Носсак, ничуть не менее эффективны для этого, чем традиционное построение пространственно-временной перспективы, в которой развернуто самодвижение характеров. У Носсака «Спираль» осталась опытом, не нашедшим продолжения. Но, например, такой выдающийся современный прозаик, каким был аргентинец Хулио Кортасар, вообще не мыслил творчество без законов игры, без этой независимости от любого прагматизма, включая и «наш прагматический и отборочный способ мышления» (Ж. Кортасар), насаждающий в литературе рационалистическую выверенность, или, как он выражался, аристотелеву трезвость. Для Кортасара искусство было самой серьезной игрой, под которой он понимал особую систему ценностей, дающую «возможность полного самораскрытия всем, кто этим занимается». Идея игры означала идею наиболее адекватного выражения человеческой сущности, а значит — и преодоления механической связанности стереотипами поведения, этики, духовности, утратившими свой гуманный и созидательный смысл. И Кортасар ничуть не скрывал своей приверженности игровому началу. Она заявлена самими заглавиями его книг: «Игра в классики», «Конец игры», «62. Модель для сборки».

Писатель дорожил внешней нелогичностью, непринужденностью смены ракурсов и планов, импровизацией, естественностью рассказа, где нет строгой выверенности по-

вествовательного рисунка, однако обязательно присутствует доминирующий мотив. Обычно он так или иначе сопряжен с пространством — замкнутым, как в «Выигрышах», где события происходят на корабле в океане, или разомкнутым, как в романе «62. Модель для сборки» с его лейтмотивом трамваев, соединяющих и точки на городской карте, и людские судьбы. А подчас и символическим пространством, как в рассказах, варьирующих образ метро, которое выглядит и подземным лабиринтом, где возможно бесконечное количество пересадок, меняющих маршрут человеческой жизни, и предвещием преисподней.

Кортасар умер классиком, но в свое время ему досталось от критиков, отягощенных заботами о наглядной пользе, которую обязана приносить литература. Утверждали, что игра у Кортасара самоценна, а его фантазия далека от действительности. Это нелепо, уже хотя бы по той причине, что неподдельная своеобычность прозы Кортасара явилась не порождением воскресшего сюрреализма, а тонким и глубоким аналогом реальности сегодняшних городов-спрутов, без которой просто не представить себе подобное художественное явление. Политическую «ангажированность», которой за Кортасаром не отрицал никто из оппонентов, знавших о выступлениях писателя в поддержку кубинской, а потом никарагуанской революции, наивно воспринимать как механический довесок к его творчеству, будто бы оставшемуся феноменом чистого интеллекта. Кортасар заслужил право сказать о себе, что любое его произведение представляет собой проекцию истории и принадлежит «особой почве, имя которой — нация, народ, смысл его существования». Весь вопрос в том, насколько сложна такая проекция, через какие необычные светофильтры она пропущена — не для формальной оригинальности, конечно, а для необходимой эстетической точности.

Среди этих светофильтров одним из наиболее действенных был у Кортасара миф. Метро как современный Аид — лишь легче всего опознаваемая мифологическая параллель в прозе Кортасара, другие лежат на глубине, заявляя о себе едва заметными сигналами. «Выигрыши», наверное, можно прочитать и как роман, где с помощью традиционного приема путешествия, на время объединившего людей из разных общественных слоев и несхожих культурных сфер, создан всеобъемлющий портрет общества. Экскурсия счастливых, выигравших эту поездку по лотерее, в таком случае окажется только фабульным приемом,

позволяющим дать срез действительности в ее разноликих проявлениях, обычно фиксируемых методом монтажа. Подобная поэтика возникла в литературе 30-х годов — у Дос Пассоса, у Дёблина, писателей-урбанистов, стремившихся охватить реальный мир всесторонне, пусть дело подчас не шло дальше моментального снимка. «В романе,— писал Дёблин, чья книга «Берлин, Александерплац» была законченным образчиком такой прозы,— надо наслаивать, стелкать, перекачивать, толкать».

Но у Кортасара совсем не так: ни толчков, ни наслоений.* Динамика, свойственная урбанистическому роману, отсутствует полностью, действие тормозится главами, не имеющими никакого отношения к событиям на пароходе и густо насыщенными размышлением автора о собственных героях и о проблемах философского толка. Главное же — реальность у Кортасара как бы раздваивается. И если на поверхности возникают коллизии, которые своей напряженностью могли бы украсить приключенческую книжку или роман тайн, то в глубинах повествования разворачиваются иные, неочевидные конфликты, и указанием на них служит образ запертой двери, наглухо отделяющей от пассажиров кормовую часть судна, а еще больше — образ Минотавра, маячащий в сознании одного из персонажей.

Этот человекобык, живший на Крите, требовал ежегодных приношений в виде семи юношей и семи девушек, посылаемых к нему в лабиринт на съедение. Тесею была суждена та же участь, но он убил Минотавра и по нити, врученной ему Ариадной, нашел выход из подземелья. В «Выигрышах» роль Тесея отдана одному из пассажиров, типичному западному интеллектуалу, тяготящемуся своей профессией дантиста, а еще больше — собственным «страхом перед страхом... пустотой, скрывающей пустоту», характерными свойствами аргентинского мироощущения, как его себе представляет Кортасар. Его Тесей найдет в лабиринте свой конец, и эта смерть омрачает сравнительно благополучную развязку действия.

Но для чего потребовался в романе сам мифологический параллелизм? Если толковать переосмысленные Кортасаром мотивы античного мифа как символы, поддающиеся конкретной расшифровке, споры об их значении будут нескончаемыми и едва ли смогут привести к согласию. От обычного олицетворения миф тем и отличается, что его содержание гораздо более универсально. Достаточно включить эту сигнальную

систему, и обычная туристская поездка приобретет характер странствия в поисках сущности жизни, появятся, по Кортасару, «образы общности мира», а перипетии взаимоотношений случайно встретившихся людей, утратив бытовую свою мелочность, начнут восприниматься как «прыжки в абсолютное»...

Этими-то вот «прыжками в абсолютное» и привлекает миф сегодняшнюю прозу, все настойчивее — такое уж время — старающуюся проникнуть туда, где простирается область извечных, неисчерпаемых проблем этики и культуры, индивидуальности и социума, истории и человеческого пребывания на земле. Прежде миф часто воспринимался как средство упорядочения хаотического и по видимости абсурдного потока впечатлений, которые оставляет в сознании будничная реальность. Так, например, интерпретировал функции мифа в статье, посвященной Джойсовскому «Улиссу», Т. С. Элиот. Теперь к мифу перестали относиться как к приему из сферы поэтики. «Выигрыши» Кортасара — одна из книг, ясно продемонстрировавших, что мифологический второй план способен обнажить узловые противоречия и действительности и сознания, придав не просто формальную выстроенность, а содержательную емкость той картине духовного тупика, всеобщей разделенности и кризиса ценностей, которая хорошо знакома по многим другим произведениям литературы буржуазных стран. Подчеркнем: лишь одна из таких книг.

Их очень много, особенно в последние десятилетия. Уже слышны сетования на «терроризм мифа». Абсолютизировать и довести до клишированного стереотипа даже неподдельное художественное открытие больших трудов, разумеется, не представляет, однако само открытие этим не дискредитируется. Роман-миф из числа подобных открытий. Отношение к нему может быть разным, но, во всяком случае, оно требует серьезности.

Наш отечественный опыт не дает причин сокрушаться по поводу засилья мифа, но искания в области мифопоэтики проявились вполне явственно: скажем, в прозе Г. Матевосяна, в романах Ч. Айтматова, у М. Зарина в «Фальшивом Фаусте», у некоторых грузинских писателей... Впору говорить о тенденции. Возникновение ее закономерно, потому что невозможно представить советскую литературу наглухо отгороженной от мирового искусства, ничего в него не добавляющей и ничего не усваивающей. Дело тут не во влияниях, хотя, например, отзвуки «Ста лет одиночества» в романе «И

дольше века длится день» или повести Матевосяна «Ташкент», конечно, улавливаются, что ничуть не принижает ни Матевосяна, ни Айтматова. Это совершенно естественный творческий контакт, без которого художественная жизнь вообще невозможна.

Но главное здесь не сами переключки, а та общность побудительных стимулов творчества, которая ими только подчеркивается. Общественный и духовный климат конца XX столетия не может не располагать к известному рода подведению итогов — и века и всей истории человечества. Это, в свою очередь, укрупняет саму проблематику искусства, благоприятствует обращению к наиболее сложным и ответственным категориям философско-этического смысла. А чтобы с ними справиться, необходим новый повествовательный язык. Миф с его обязательным прикосновением к сфере абсолютного оказывается здесь, быть может, средством оптимально эффективным.

Тем более что возможности, которые он предоставляет, поистине широки, это мы знаем по многим примерам. Существует миф, как будто рождающийся непосредственно в повествовании и не ищущий соответствий классическим сюжетам из всемирной мифологической сокровищницы. У Гарсиа Маркеса творимый художником миф о затерянном селенье Макондо вобрал в себя громадную историческую эпоху, какой ее видело и воспринимало народное сознание со всеми присущими ему элементами магии, фантазии, мистификации подлинного содержания событий. Этот эксперимент увенчался настолько ярким результатом, что как-то отодвинул на второй план иные способы создания мифологической художественной реальности. Но вовсе их не отменил.

Речь идет о литературе, где миф не изобретается, а заимствуется с целью переосмысления. Характер такого переосмысления может быть самым разнообразным. Напомним хотя бы о том, как привычны стали великие сюжеты мифологии в современной литературе, как сложно преломляются связанные с ними вечные мотивы, скажем, у Носсака, когда он создает свою Кассандру, или у Ануя, выводящего на сцену Антигону, или у О'Нила, автора трилогии об Электре, или у Фолкнера, интерпретирующего историю Авессалома.

Но дело, разумеется, не столько в популярности мифологических параллелей, сколько в принципе их творческого использования. В конце концов само обращение к образам мифа для искусства отнюдь не

новость, пройдясь по залам Эрмитажа, в этом удостоверится всякий. Но в старой живописи или, например, в литературе классицизма да и романтизма миф оставался по преимуществу условностью, чем-то наподобие декоративной рамки, предписываемой господствовавшим тогда пониманием эстетической нормы. В XX веке подобная декоративность эстетически невозможна. Миф начинает осознаться как органическая художественная структура. Он не обрамляет произведение, но становится его плотью. Машинистка, перепечатавшая «Иосифа и его братьев», сказала автору, что теперь она знает, как все это было на самом деле. и для Томаса Манна простодушный комплимент оказался ценнее, чем положительные отклики специалистов, — он ведь и хотел «точно описать... придвинуть поближе нечто очень далекое и смутное». Хотя самоцелью это для него не являлось. Он знал, что главное в другом, и говорил о «гуманизации мифа». Фашизм создал собственную мифологию, внедряющуюся в сознание поданных рейха, и требовалось возратить мифу гуманистическое содержание, которым он обладает изначально. Ибо для Томаса Манна миф был прежде всего воплощением «типичного, вечно человеческого, вечно повторяющегося, вневременного». И он предрасполагал «чувствовать и мыслить как частичка человечества», вливаясь в сообщество людей и во имя «демократии Грядущего» преодолевая абсолютизацию обособленности личного начала.

Уроки «Иосифа...» поучительны чрезвычайно. В частности, и собственно творческие его уроки. Один из них в том, что художник свободен в своем обращении с мифом. Манн, которого современники почитали традиционалистом, восславил «смелость вопреки скованности». Его не смущало, что под его пером миф, сохраняя важнейшие образы-символы, оказывался существенно скорректирован, перетолкован, переименован. Языком мифа выражались понятия, обладающие первостепенной важностью для нашего времени. Такой путь труден, но он и перспективен, как не многие другие. Это доказано «Иосифом...». Это доказано рядом творческих удач, значение которых принципиально.

В повести шведского писателя Пера Лагерквиста «Варавва» воссоздан евангельский миф о преступнике, ожидавшем казни вместе с Иисусом, но помилованном, как того требовал пасхальный обычай, хотя его вина была доказана, тогда как синедрион, вынесший смертный приговор Христу, не смог убедить в его обоснованности даже

Понтия Пилата. Источники, на которые мог опираться Лагерквист, скудны, и созданная им на редкость пластичная, богатая неожиданными оттенками картина Голгофы, а также последующей жизни отпущенника вплоть до его жалкого конца — в каком-то смысле образцовый пример искусства поэтической реконструкции мифа. особого мастерства, позволяющего сделать нечто очень далекое опознаваемым и реальным. О Варавве в противопоставление Христу писал и до Лагерквиста. тут есть традиция, особенно прочно привившаяся на скандинавской почве, но все это были иносказания с неизбежно присущими жанру чертами — сухостью красок, схематичностью героеолицетворений. Лагерквист написал притчу, в которой, однако, создан живой образ мира. Русскому читателю непременно вспомнится и другая книга — «Мастер и Маргарита».

Смысл повести Лагерквиста истолковывался по-разному. Еще свежи были воспоминания о недавней войне, и чем полнее открывалась правда о фашизме, тем настойчивее преследовали шведских интеллигентов угрозыния совести за нейтралитет их страны, фактически оказавшийся способностью рейху. В таком контексте «Варавва» почти неизбежно прочитывался как произведение о современности, использующее евангельский сюжет для прямого обличения: некто взирает, как вместо него казнят другого, и не испытывает хотя бы стыда. Но Лагерквист не только не любил, он просто не признавал символических фигур в искусстве. Герой, по его убеждению, должен быть «сложен по-человечески, а не аллегорически». И Варавва полностью отвечает этому кредо. Его никак не воспринять лишь одушевленной тенденцией.

Тут справедливо говорить только об определенной теме, причем очень широкой. Тема эта — безучастность, позиция постороннего, порожденная неспособностью во что бы то ни было уверовать, чем бы то ни было по-настоящему дорожить. Для тех, кто за основным персонажем хотел распознать шведскую обслательскую политику военного времени, автор, словно предчувствуя возможности подобной трактовки, с первых же страниц создал серьезные трудности. Они сопряжены с фигурой Вараввы. Слишком он непрост и неоднозначен, этот разбойник, лишь по счастливому стечению обстоятельств избежавший распятия. В отличие от толпы, не признав в казненном мессии, Варавва сумел ощутить, с кем его свела капризная фортуна.

«Варавва» входит в цикл повестей Ла-

герквиста на библейские темы, нашим читателям знакомы «Сивилла» и «Мариамна», ждет своей очереди «Смерть Агасфера». Менее всего можно их понять, исходя из интерпретации в категориях религиозного сознания. Сам Лагерквист развеял все сомнения на сей счет, заявив, что, по его убеждению, религия «не порождает никаких ценностей в человеческой душе, а лишь выражает уже существующие ценности». Важнейшей из таких ценностей для Лагерквиста была вера в жизнь, которую нельзя ни предавать, ни фальсифицировать. Но тем-то и заняты — кто невольно, а кто намеренно — его персонажи: и Варавва, и Агасфер, и царь Ирод из «Мариамны», отступники и в буквальном и в метафорическом смысле, потому что все они курят фимиам собственному эгоизму и всем им ведома только собственная радость или боль, наглухо отгораживающая их от мира, где обитают другие.

Миф, быть может, и притягивал шведского писателя столь властно оттого, что не просто давал возможность, но исходно требовал постижения личности той «частичкой человечества», о которой точно сказано у Томаса Манна. Лагерквист коснулся многих тревожных явлений, давно уже приковавших к себе внимание литературы Запада, вновь и вновь исследующей феномен разъедающего скепсиса, который так легко может привести к параличу нравственного чувства, и фанатичное поклонение фетишам, обернувшееся трагедией для Сивиллы, и душевное омертвление, воплотившееся в Агасфере, и жажду безмерной, бесконтрольной власти, словно раковая опухоль, изнутри сжигающую Ирода. Если подразумевать лишь тематический спектр, творчество Лагерквиста несложно было бы объяснить, проводя параллели с другими художниками, разведавшими эту прискорбно актуальную проблематику задолго до него.

Но, за исключением Манна и, возможно, Гессе, он ни на кого не похож, и это следствие не только крупного дарования, которое всегда самобытно, не только скандинавских литературных традиций при всей их особенности. Еще до войны Лагерквист написал повесть «Карлик», принесшую ему мировую славу, — сильную, жестокую повесть о том, как обожествление идеи бессмыслицы бытия порождает этический нигилизм, а вслед за ним и почитание зла. Это была притча в подлинном значении понятия. От нее протягивались многочисленные нити к другим произведениям 30-х годов, навеянным предчувствием угрозы для

человечества, если подобный нигилизм, как уже случилось в тогдашней Германии, сделается массовым.

Достаточно сравнить «Карлика» с библейскими повестями Лагерквиста, создававшимися двадцатилетие спустя, и сразу же станет заметно, что это явления разных рядов. Причем второй ряд, обозначенный «Вараввой» и «Сивиллой», творчески значительнее. Во всяком случае, здесь Лагерквист настоящему и осуществился как мастер. А произошло это главным образом благодаря поэтике мифа, поднявшего знакомые коллизии на высоту обобщения вечно человеческого и при этом ни в малой мере не приглушившего сегодняшнего их содержания.

Лагерквист остается писателем по-своему уникальным даже на очень богатом фоне его предшественников и продолжателей. Может быть, потому что в прозе Лагерквиста нет ни холодного объективизма, ни иллюстративности — двух нежеланных спутников, так часто напоминающих о своем присутствии, когда писатель тяготеет к притчевому изображению и вводит в повествование элементы мифологии.

Лагерквиста не интересовали просто элементы, ему нужен миф во всей своей полноте. Но в его руках миф, служа той философской задаче, которая сохраняет значение определяющего фактора композиции, ничего не отнимал у поэзии, у искусства. Характеры не становились символами, это были крупные и выписанные с необычайной художественной точностью характеры, запечатлевшие целый мир развития личности и духовной борьбы, в ней происходящей. Они могли, как писал Лагерквист в своем манифесте «Освобожденный человек», «низвергаться в бездну вечной гибели и воспарять к высочайшим вершинам чистоты», они таили в себе глубочайшие противоречия, которыми движется и этика, и культура, и сама жизнь. А миф, как он осмыслен у Лагерквиста, доносил и вечность коллизий, развертывающихся в человеческом сознании, и их неповторимость в каждой судьбе.

Это и есть современная мифологическая проза, если не размывать само понятие, пуская его в оборот всякий раз, как обозначится у писателя какая-то переключка с мотивами древних преданий или просто обратит на себя внимание условность создаваемых им ситуаций.

Условные формы многочисленны и сложны. Мифологический роман занимает среди них очень приметное место, однако он далеко не исчерпывает целого. Интеллектуальная насыщенность, прикосновение к аб-

солютному достижимы и другими путями, в частности, и таким традиционным, как притча, где аллегорический смысл не только не скрывается, а подчеркивается характером художественной организации. Впрочем, традиционность эта иллюзорна. На самом деле притчи нашего времени не схожи ни с вольтеровским «Задигом», ни с мелвилловским «Моби Диком».

И заключено это различие не в одной лишь радикальным образом переменившейся проблематике. Не менее отчетливо выступает оно, когда мы задумываемся о том, какого рода условность предлагает нам сочинитель притч. Прежде ему обязательно нужна была дистанция, отделяющая мир повествования от мира обыденной жизни. Иносказание было первой заботой автора. Действие строилось как спор идей, вычленившихся из своего будничного бытования, всегда их осложняющего множеством примесей. Разумное и ложное, добро и зло сходились в прямом противоборстве, и результатом этого сражения служил притчевый роман.

Сейчас его уже не представишь себе только как аллгорию. Дистанция между условным и допустимым сократилась, зеркало притчи вплотную придвинулось к той действительной жизни, которая в нем отражена. Хотя специфика отражения, конечно, осталась.

У Кобо Абэ ситуации на первый взгляд совершенно фантастичны. Безликий токийский служащий, которого среди тысяч и тысяч таких же, как он, выделяет лишь страсть к коллекционированию насекомых, оказывается пленником глубокой песчаной ямы, откуда невозможно выбраться, и подчиняется странной этой судьбе («Женщина в песках»). Маска, изготовленная пострадавшим во время эксперимента ученым-химиком, чтобы скрыть полученные шрамы, совершенно стирает границу между плотью и муляжом, истиной и поделкой («Чужое лицо»). Сотрудник важной фирмы исчезает бесследно и беспричинно, заставляя и нанятого его семьей полицейского детектива и читателя гадать, мистификация это или выбор участи бездомного, но свободного человека («Сожженная карта»)... Рассказ у японского писателя, как правило, ведется сразу в нескольких планах: интригующая, почти детективная фабула искусно тормозится внутренними монологами персонажей, разного рода псеводокументальными вставками — донесениями агента, дневниковыми записями героя, цитатами из газет и т. п. Весь этот сложный инструментарий приводится в действие с целью придать колли-

зиям обобщенность едва ли не предельную. Критика, реагируя на подобные усилия, оценивает Кобо Абэ как своего рода «нереалистического реалиста», воссоздающего скорее некое среднее состояние человека в буржуазном социуме, чем человека как такового.

Действительно так? Об этом стоит еще очень и очень подумать. Индивидуальности в художественной системе Кобо Абэ, что и говорить, стерты, главные персонажи видны слабо, а подчас, как в «Сожженной карте», вообще остаются за рамками того, что рассказывается. — знакомая нам «д'артезовская» структура. Притчи об одиночестве, притчи об отчужденности. Но фантастика, художественного допущения в них не больше, чем требует притчевый жанр по самой своей природе. Слишком ощутимо привязана такая фантастика к будням сегодняшнего мира, о котором герой Кобо Абэ, зная лишь один его социальный облик, конечно, не скажет, что это театр, предпочтя иные метафоры — колоссальная тюрьма, замкнутое пространство, где перерезаны тропинки, ведущие от толпы одиноких к человеческому сообществу, склад, где и живая жизнь оприходована, разнесена по полочкам и превратилась в предмет среди множества по трафарету сделанных вещей.

Это восприятие, как ни дико подумать, выглядит естественным, потому что процесс дегуманизации, описанный в произведениях Кобо Абэ, на страницах его книг показывается с исключительной отчетливостью. И все-таки эти книги не о процессе, не о социальном явлении, взятом в его голой сути. Они о человеке, который буквально каждым нервным окончанием чувствует действие отчуждающих и обезличивающих сил, восставая против их всевластия — обреченно, слепо и тем не менее бескомпромиссно. Такой бунт, хотя бы осознанное, добровольное выпадение из антигуманной усредненности, для притч Кобо Абэ столь же важный мотив, как и фрагментарность бытия, его насильственный автоматизм, его распавшиеся сцепления, которые повествователь «Сожженной карты» уподобит обрывкам бумаги, пляшущим на ветру.

Художественные ходы, создающие притчевое повествование, особенно действенны, когда за частностями жизненного опыта надо обнаружить его социальные механизмы, сделав их очевидными. Так, как это сделано Кобо Абэ в романе «Человек-ящик» Его герой, о прошлом которого мы можем только догадываться, сооружает из гофрированного картона коробку с прорезью для

глаз и в таком виде выходит на улицу. Для чего? Отчасти — чтобы соответствовать собственному назначению притчевого персонажа. Притча позволяет зримо, вещно передать мысль японского романиста: изображаемый мир, как эпидемией, поражен разрывом связей между людьми. Герой обособился от других. Он обрел способность наблюдать других с дистанции. Куплена она вроде бы дорогой ценой: «Надев ящик, я превратился в псевдосебя, не являющегося мной самим». Но это иллюзия, потому что и без коробки герой самим собой не был. И окружали его те, кто тоже оставался «псевдо». Просто понял он это, лишь когда стал смотреть на мир через прорезь.

Сплетаясь в тугий узел, различные темы книги Абэ создают контрапунктное построение, которое вообще становится в последние десятилетия примечательной особенностью современного романа.

У Кобо Абэ оно подчинено особой цели, его ведь не назвать художником полифоническим, иными словами, стремящимся передать «многоголосие» действительно, как это удавалось, допустим, Фолкнеру. Абэ идет в глубь единичного сознания, частного случая, аномалии, если судить по житейскому счету. Только эта аномалия на поверку предстает до гротескности острым выражением характерного, даже доминирующего. Контрапунктная композиция глубоко содержательна, потому что ею-то и охвачен во всей целостности интересующий писателя тип сознания, за которым встает точно постигнутая и выраженная система социальных отношений. Но в том и дело, что Кобо Абэ не довольствуется описанием типа. Его проза — пример очень своеобразного, но при всем том подаивно органического соединения литературной социологии и психологического романа, неизменно отталкивающегося от мысли об уникальности каждого человеческого опыта. Герой Кобо Абэ иной раз покажется не более чем единицей статистики, настолько в нем сгущена, конкретизирована общественная тенденция, запечатленная в ажурной по конструкции притче. Но через эту конструкцию настойчиво, с художественной неотвратимостью пробиваются побеги живой жизни, которая и для такого героя единственна и индивидуальна, как для любого из нас. Как знать, может, и вправду коробка знаменовала для ее носителя «не тупик, в который я в конце концов забрал, а широко распахнутую дверь в иной мир» — несуетный и нешаблонный мир самонаблюдения,

самооценки, трезвого и честного самоанализа, без чего немислимо возрождение человека. И если так, то ящик, исходно олицетворявший насильственное отчуждение, и навязываемое и принимаемое как норма вещей в буржуазном обществе, окажется коренным образом переосмыслен в своем метафорическом значении. Парадоксально? Нет, достоверно, потому что такими парадоксами и насыщено реальное бытие.

Ну, а теперь вернемся к тому, с чего начинался наш разговор, и еще раз задумаемся, что такое сегодняшней роман — картина регресса или картина созидательной работы? Кому-то может показаться некорректным само противопоставление, ибо всего проще заключить, что есть и то и другое. Да, есть. Только это не ответ. Это уход от проблемы, чью актуальность подчеркивать не приходится.

«У повествования нет никаких границ, все возможно», — заметил как-то Пер Лагерквист. И тут же сделал важное уточнение: «Но чтобы это было сделано реалистически, было обращено к реальности».

Речь идет только о литературе, которая в этом — самом обобщенном, а вместе с тем и самом верном — значении слова делается реалистически. Очень часто она сделана сложно. Это многих раздражает. Не те, понятно, времена, что лет тридцать назад, но и в наши дни не такая уж редкость услышать или прочитать про какие-то «модерные приемчики», которые, дескать, подменили собой настоящее дело литературы, состоящее в том, чтобы пристально, глубоко всматриваться в доподлинную жизнь, человеческую природу и нравственность. Как будто в искусстве достаточно всего лишь объявить о наличии доподлинной жизни и нравственного пафоса, обойдясь без перевода всех этих вещей на художественный язык, который, как известно, и представляет собой совокупность приемов.

В том, что сегодня эта совокупность выглядит не так, как выглядела еще позавчера, странно подозревать некий отказ от дела. Отказом-то как раз будет твердокаменная приверженность прежней совокупности, уже не способной справиться с реальностью, какой она открывается сознанию сегодняшнего человека и какой оказывается этим сознанием воспринята. Суть тут вовсе не в обновлении ради обновления и не в разрывах с традицией, суть в том, чтобы обновление было содержательным, а традиция живой.

ИГОРЬ МОТЯШОВ



НА ШКОЛЬНУЮ ТЕМУ

С первых лет создает наша литература свою педагогическую поэму. Ее не тускнеющие от времени страницы — это «Республика Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Песчаная учительница» А. Платонова, повести А. С. Макаренко, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева, «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» Р. Фраермана, книги А. Гайдара и Л. Кассиля, Г. Медынского. А. Мусатова, Н. Носова. В. Тендрякова Ф. Вигдоровой, В. Осеевой. А. Кузнецовой, А. Алексина, стихи и пьесы С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, «Два капитана» В. Каверина и многие другие произведения.

Мерилом полноты и правды в изображении действительности выступают представители самого юного и самого значимого для завтрашней жизни общества поколения.

За всем этим зримо или незримо встает школа. И мысль читателя невольно обращается к тому, что было для него самого незабываемого и дорогого в школе минувшей, что вовсе даже неплохо сохранить или вернуть из вчерашнего и что предстоит решать школе нынешней.

Ибо школа — совершенно особая уникальная часть общественного организма. В ней как бы заключены в зародыше все элементы еще не сформировавшейся структуры завтрашнего общества: рабочий класс и колхозное крестьянство, наука и армия здравоохранение и сфера обслуживания искусство и, наконец, образование, то есть та же школа, но уже качественно иная — школа будущего. Все это в «свернутом» или частично начинающем раскрываться виде содержится в школе, как колос в зерне.

Ясно понимая это, наша литература, без сомнения, сыграла большую роль в психологической подготовке общественного мнения к нынешней реформе общеобразовательной и профессиональной школы, в обосновании ее необходимости.

Чем успешнее справляется школа со стоящей перед ней задачей, тем быстрее будет идти все наше общество к своей высокой цели. Тем результативнее будет и духовное и материальное обеспечение человеческого бытия. Именно в этом первостепенное значение, какое придается проводимой ныне школьной реформе. Она обусловлена качественными сдвигами в экономике и культуре развитого социалистического общества, ростом народного самосознания, дальнейшим развитием социалистической демократии, усложнившимися задачами идеологической борьбы.

Уже в названии романа «За бегущим днем» одного из самых чутких и вдумчивых исследователей «школьной вселенной», В. Тендрякова было определено своеобразие концепции, выдвигаемой литературой. Но ведь скажут: школа даже в учебниках приветствует стабильность. Ей импонирует постоянство и единообразие методов преподавания и воспитания, потому что тогда всем, от министра до завуча, проще руководить громоздким делом образования.

Ситуация, чреватая конфликтами и взрывами, которые никогда не позволяли деловой тишине учебных занятий превратиться в застойную, мертвую тишину! Реформа в ряду прочих задач призвана сделать школу более мобильной, откликающейся на запросы времени. В конечном счете ее сверхзадача — выработать такой механизм,

который мог бы самонастраиваться на волну общественных потребностей и тем самым облегчить решение извечной проблемы — поспевания школы за «бегущим днем».

Можно сказать, что реформа вскрыла и обострила все объективные противоречия и субъективные конфликты в сложном, нелегком деле подготовки смены, потребовала определенной переориентации общественного сознания по отношению ко всем аспектам воспитания — к школе, семье, учителю, детям. Здесь мы и ждем нового слова литературы.

Где еще так же, как в произведениях на школьную тему, наглядна общественно-воспитательная функция литературы? Литература — заинтересованный и вдохновенный провозвестник нового и лучшего, генератор передовых педагогических идей. Она поднимает уровень педагогического сознания не одних учителей, а и общества в целом.

Публицистически страстно врывается в гущу сегодняшних раздумий о школе роман-исследование Юрия Азарова «Соленга». Герой-рассказчик Попов вспоминает, как после окончания университета начал работать учителем литературы в далеком северном поселке. Свое тогдашнее поведение и чувства он поверяет последующим опытом. Это позволяет нам увидеть не только разительные перемены, происшедшие в школьной жизни, но и убедиться, что многие вещи меняются не столь быстро, как нам хотелось бы. Новые школьные здания с усовершенствованными учебными кабинетами, мастерскими, спортзалом и бассейном построить много легче, чем изменить психологию людей, занятых обучением и воспитанием.

Двадцатидвухлетний учитель Попов — человек любознательный, инициативный, творческий, любящий и понимающий детей, хорошо знающий свое дело, как раз такой, какой необходим школе. Но именно он там и не приживается. И отработав в Соленге год, вынужден уехать. Нужный школе человек оказался как бы не нужен ей. Исследованию этой парадоксальной (но не такой уж исключительной даже и в наши дни) ситуации и посвящен роман Ю. Азарова.

Страницы, где списывается, как школьники убирают лен, изготавливают тысячи торфоперегнойных горшочков для овощной рассады, ремонтируют спортзал, скорее публицистичны, нежели художественны. Но они волнуют, потому что драматич-

ны, включены в основной конфликт. Радостный азарт, вдохновение, с какими работают ребята и их молодой учитель, сталкиваются с непониманием и даже завистливой недоброжелательностью к «выскочке» его некоторых старших коллег. «Я просто делаю то, что интересно детям», — объясняет Попов свою инициативу инспектору Софье Николаевне. «Наверное, этого недостаточно», — возражает она. «Если это интерес к труду, к учению, к искусству — разве этого мало?» — недоумевает учитель.

Реформа уделяет исключительное внимание трудовому воспитанию. Ставится задача вооружить каждого выпускника общеобразовательной школы общественно необходимой профессией. Для этого в различных отраслях народного хозяйства выделяется или создается несколько миллионов рабочих мест, оснащенных современным оборудованием, — цель совершенно немислямая, фантастическая для сегодняшних промышленно развитых капиталистических стран, пораженных массовой безработицей.

Не случайно, однако, в законе о реформе школы и во многих партийных документах подчеркивается, что трудовое обучение школьников не самоцель, а средство, один из путей формирования гармоничной коллективистской личности, для которой добросовестный труд на общую пользу — важнейшее содержание и смысл жизни, ее нравственное оправдание, необходимое условие счастья.

Давно замечено, что трудолюбие нельзя воспитать, принуждая ребенка, заставляя делать то, смысл чего он не понимает и результаты чего его не радуют. Вот и герой книжки Ю. Азарова резонно полагает, что в школе вообще не должно быть места скуке. Он связывает труд, обучение, воспитание с тем, что безусловно интересно каждому ребенку, — с игрой. «Детский труд без игры, без радости и удовольствия — самая настоящая чепуха!» — категорически заявляет он.

Но многие из коллег Попова считают его попытки затеей ненужной, а то и вредной. «Труд — дело серьезное, и смешивать его с игрой непедагогично», — говорит преподаватель по труду Сердельников. «Нельзя соединять игру с учением. Несоединимые это вещи», — поддерживает Сердельникова директор школы Парфенов.

Между тем воспитательное значение игры давно и хорошо известно. «Не надо стыдиться играть», — писал Я. Корчак. — Детских игр нет... Важно не то, во что играть, а как и что при этом думать и чувствовать».

Органическим слиянием производительного детского труда с увлекательной игрой является найденная А. С. Макаренко форма завода-коммуны имени Дзержинского, о которой он сам обстоятельно рассказал в повести «Флаги на башнях». Рожденное и направленное могучей игровой фантазией А. Гайдара тимуровское движение пережило десятилетия и перешагнуло за рубежи нашей страны. Примеры такого рода отнюдь не единичны.

Уже в наши дни вышла адресованная не столько учителям, сколько самим ребятам книга С. Соловейчика о том, как можно познавать мир играя, — «Ученье с увлечением». Доказали свою феноменальную эффективность игровые методики В. Ф. Шаталова, М. Щетинина и многих других ищущих педагогов. В. А. Сухомлинский утверждает, что само приобретение знаний и любая созидательная деятельность могут быть для человека источником радости, высочайшего наслаждения.

Но спор с теми, кто свою лень или педагогическую несостоятельность упорно прикрывает рассуждениями о том, что «корень учения горек», отнюдь не закончен. И читая роман Ю. Азарова, невольно думаешь: за то и переводят Попова по просьбе учителей соленинградской школы на более высокую, но подальше от детей должность, что, достигнув всего за один учебный год разительного успеха в сплочении ребятче-го коллектива и в успеваемости, он поставил тем самым под сомнение не только работу некоторых старших коллег, а как бы всю десятилетиями слагавшуюся, вошедшую в плоть и кровь школьного организма методику.

Тревожит, что в последние годы тема детского труда в книгах как бы отслаивается от темы нравственного становления личности. В сегодняшней детской литературе по-настоящему увлекательных и вместе с тем глубоких книг, в центре которых трудовая деятельность школьников, буквально единицы. До сих пор в грустном одиночестве возвышается над ними написанная еще на рубеже 60—70-х годов трилогия о Кроше А. Рыбакова. Новые книги, часто сосредоточивая внимание на проблемах нравственного становления и выбора, либо вовсе не затрагивают трудовое участие детей в делах взрослых либо касаются его как бы между прочим, попутно.

Если сельских ребят мы еще видим в страдную пору на колхозных полях («Лето на колесах» В. Разумневича), а учащийся городского ПТУ — у заводского станка вли

у пульты управления тепловозом («Подрастжи» М. Коршунова), то городские школьники в иных книжках просто не знают, чем бы занять себя помимо уроков. Отсюда искусственные сюжеты о разоблачении жуликов, о схватках с хулиганами, о туристских походах, во время которых происходят самые невероятные приключения, и прочие штампы расхожей беллетристики.

Но именно теперь, когда производительный труд всех без исключения школьников из формальной дани ложно понятой политехнизации становится реальной и существенной частью учебно-воспитательного процесса, перед литературой открываются поистине целинные пласты еще не изученных, еще только возникающих коллизий, проблем, характеров. И нелепым анахронизмом выглядят на фоне живой и сложной действительности те, по счастью, не так уж часто встречающиеся книги, в которых преобладает облегченный, адаптированный взгляд на жизнь, как и книги скучные (их, увы, гораздо больше), напоминающие слегка беллетризованное продолжение учебника. Пусть в этих книгах и содержится полезная информация экономического, политического, экологического и иного характера, только ведь, как замечал еще А. Толстой, никакими силами вы не заставите читателя познавать мир через скуку.

Определяющее искусство детской литературы — искусство говорить с ребенком о серьезном, великом и даже о трагическом захватывающе интересно — это великое искусство которым так сильна была наша детская книга 20—30-х годов, связанная с именами Гайдара и Пантелеева, Фраермана и Кассиля, Маршак и Чуковского, а позже Барто и Михалкова. Оно, к сожалению, постепенно утрачивается новыми поколениями детских писателей. Вспомним статью «Стиль детской литературы» А. С. Макаренко, в которой говорилось: в детской книге должно быть много смеха, озорства, проказливости, ибо все это прекрасные возрастные черты, отражающие оптимизм мироощущения и мажорность характера растущего человека...

Но попробуйте, однако, не то что купить просто получить в библиотеке веселые книги Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов», «Недопесок» (в последней, кстати, весьма остро и поучительно представлена тема школы) — тиражи этих книг явно не рассчитаны на широкую детскую аудиторию. (И жаль, что в интересной книге Н.

Павловой «Четверо в путь» рядом с критическими очерками о творчестве заслуженно популярных у юных читателей С. Иванова, С. Романовского, Т. Поликарповой и Л. Матвеевой нет пятого очерка о самом, пожалуй, ярком представителе этого писательского поколения — Юрии Ковале.)

Или судьба пермского писателя Льва Давыдычева. Две его давние повести — «Много трудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семеновна, второклассника и второгодника» и «Лелипина из третьего подъезда», имевшие феноменальный успех у юных читателей, — в свое время выходили в Москве. Теперь они давно библиографическая редкость. Автор же за последние годы выпустил несколько не менее удачных книг — эксцентрических и смешных по форме, актуальных и значительных по содержанию. Но центральные издательства не замечают их.

Одна из книг роман «Руки вверх! или Враг № 1», написанный в форме гротескной пародии на детектив, — крайне редкий в нашей детской литературе пример эффективного решения политической темы. В болгарском издательстве детской книги «Отечество» этот роман вышел уже несколькими изданиями и, по данным издательства, принадлежит к числу наиболее читаемых книг. Его выпустило детское издательство Польши «Наша ксенгарния». Он переведен в Эстонии и других союзных республиках. И только в Москве редакторы разводят руками, печальясь, что негде взять хорошую детскую контрпропагандистскую книжку...

Есть у Л. Давыдычева и повесть «Дядя Коля, поп Попов жить не может без футбола», остроумно, озорно, на современном уровне ведущая атеистическое воспитание молодого читателя; есть лирико-иронический роман «Эта милая Людмила», граждански активная героиня которого, непреклонно твердая в убеждениях и вместе с тем обладающая нежным, исполненным пониманием и участия сердцем, является открытием нового характера в нашей сегодняшней детской литературе.

И этого открытия критика не заметила. Больше того, ухитрилась упрекнуть автора за карикатурность отрицательных персонажей (в сущности, за то, что автор уверен в своем читателе и не боится писать смешно).

Коль речь зашла о том, что юному читателю трудно купить, трудно получить в библиотеке, назову еще повести А. Алексина «Говорит седьмой этаж», «Саша и Шура», «Похождения Севы Котлова», «Очень

страшная история», повесть В. Медведева «Баранкин! Будь человеком», не говоря уж о книгах Ю. Ковалея, Э. Успенского, Р. Погодина, Л. Давыдычева — тех, что не нуждаются ни в дополнительной пропаганде, ни в том, чтобы их давали в нагрузку к заморской фантастике и приключениям.

Если уходит из школьной жизни, подчас даже изгоняется под разными благовидными предложениями то, что выражает самую природу детства и отрочества с их безотчетной жизнерадостностью, неукротимой жаждой романтики, новизны и самоутверждения, с органической потребностью в творчестве и празднике. — в образовавшийся вакуум немедленно вылезает серая, вязкая скука, унылая казарменная заорганизованность мероприятий, подменяющих и вытесняющих живую, подлинную жизнь.

Справедливо, что любые попытки подмены истинных человеческих отношений их формализованным суррогатом не остаются безнаказанными, попадая в поле критического зрения литературы. В остроумной, насыщенной меткими наблюдениями над поведением и характерами младших подростков повести Ирины Христолюбовой «Загадочная личность» рассказывается, как девятиклассники взяли шефство над пионерами-пятиклассниками. Как постепенно форма этого доброго дела отделилась от содержания, от сути, от реальности, словно гоголевский Нос от майора Ковалева, и стала жить сама по себе в важном вицтундире «общественного поручения».

Детская литература обычно смотрит на учебный процесс, на жизнь глазами своего юного героя. Он непосредственно вовлечен во все, что происходит с ним самим и его сверстниками в школе, на улице и дома, но крайне редко (и то если его вызывают туда для очередной нахлобучки) заглядывает в учительскую или директорский кабинет. Откуда ему быть в курсе взрослых школьно-педагогических проблем? И тем не менее реалистически показанные отношения ребят могут, как видно из «Загадочной личности» И. Христолюбовой, оказывается, многое сказать об отношениях учителей, о том, как ведется в школе учебно-воспитательная работа...

В повести В. Железникова «Чучело» (как и в поставленном по книге одноименном фильме Р. Быкова) единственным, по сути, связующим звеном между учениками шестого класса, в котором происходят описанные события, и школьным учительским коллективом является классная руководительница Маргарита Ивановна. Внешне события таковы: класс, воспользовавшись опоздани-

ем учительницы, сбежал с последнего урока в кино, директор школы узнал о случившемся и объявил классной руководительнице выговор, а та, в свою очередь, наказала ребят лишением каникулярной поездки в Москву.

Формально воспитательный процесс идет своим чередом. Требовательность руководства школы к учителям и учителей к учащимся доказана тем, что ни один проступок, зафиксированный в классном журнале, не остается безнаказанным. Но вся повесть В. Железникова о том, что подобная реакция совершенно бесплодна в воспитательном смысле, если реальная жизнь ребят не смыкается с реальной жизнью их воспитателей по существу.

В повести школа живет сама по себе, озабоченная лишь тем, как отражается успеваемость детей в их дневниках и классных журналах. А подростки живут сами по себе, сознавая, с одной стороны, что их подлинная жизнь со всеми ее сложностями, заботами и бедами учителей не интересует и что, с другой стороны, от них требуется по возможности неукоснительно соблюдать внешние показатели благополучия: исправно учить уроки, дружно являться на собрания и воскресники и не выяснять на глазах у педагогов свои внутренние отношения.

Потому-то и проходит мимо сознания Маргариты Ивановны совершающаяся в классе драма, стена привычного отчуждения разделяет ее собственную жизнь и жизнь класса на два параллельных, нигде не сливающихся потока. Для невнимательного, рассеянного, если не сказать равнодушного, взгляда учительницы, озабоченной своим предстоящим замужеством и иньими личными переживаниями, все ее шестиклассники почти на одно лицо: трудноуправляемые, легковозбудимые, подверженные минутным порывам и оттого зачастую непонятные подростки.

На деле же и признанный лидер класса Миронова по прозвищу Железная Кнопка, и отличник, гордость школы Дима Сомов, и силач Лохматый, и Толик Рыжий, и таскающий на живодерню бродячих собак Валька, и красавица Шмакова, и слабый увалень Попов, и худенький очкарик Васильев, не говоря уж о главной героине Лене Бессольцевой, прозванной Чучелом за внешнюю нескладность и странность поведения, — резко очерченные, почти сложившиеся личности, каждый со своим, принимающим форму мировоззрения отношением к окружающим людям и общечеловеческим ценностям.

Не похожие друг на друга, несущие каждый индивидуальную печать своей семьи, они инстинктивно тянутся к такому общению, которое дало бы им чувство причастности к общей жизни, помогло преодолеть ощущение одиночества и неприкаянности. В них, как и во всяких нормальных детях, сильна жажда коллективности. Собственно, острая повесть «Чучело» в конечном счете об этом, о том, что коллектив — живой организм и, подобно всему живому, должен развиваться... Ребятам в повести только кажется, будто они коллектив, сплоченный и сильный, когда они расплаются желанием поквитаться с «предателем» и обрушивают гнев на без вины виноватую Лену Бессольцеву. В действительности они толпа, буруеваемая недобрыми страстями. Они еще не знают, что коллективность рождается не пути к цели истинной и человеческой. Что она выявляет в каждом его лучшее, потому что коллектив — это когда все думают о каждом и каждый обо всех. Толпу же собирает временный корыстный интерес одиночек, соединяет цель ложная, не гуманная, низкая. Например, желание выместить свою обиду на том, по чьей вине, как тебе кажется, нарушились твои личные планы.

Автор показывает, у края какой бездны стоят эти, в общем-то, милые и неглупые мальчики и девочки, которых еще не поздно удержать, отвести в сторону, открыть им глаза на себя самих.

Повесть В. Железникова, как и фильм Р. Быкова, делает это с большой эмоциональной силой. Они — как восклицательный знак опасности, вовремя замеченный педагогической общественностью. По рекомендации Министерства просвещения СССР фильм «Чучело» просмотрели вместе со своими классными наставниками миллионы подростков. Многие из них прочли и книгу. А затем обсуждали в школе, писали сочинения.

Примером активного вмешательства литературы в жизнь стала и повесть А. Алексина «Сигнальщики и Горнисты». Уже в год ее появления пионерско-комсомольское движение «сигнальщиков и горнистов» широко распространилось по всей стране. Ребята восстанавливают полную летопись славных дел и героических подвигов бывших учителей и учеников своих школ — участников Великой Отечественной войны, ведут большую следопытскую работу по месту жительства...

Особый общественный интерес представляют сегодня произведения о школе, действии которых, как в повестях «Ночь пос-

ле выпуска» В. Тендрякова, «Осень» М. Прилежаевой, «Земной поклон» А. Кузнецовой, «Благие намерения» А. Лиханова или «Школьный спектакль» В. Каверина, прямо переносятся в учительскую, в кабинет заведующего отделом народного образования, когда школьные дела увидены глазами самих учителей, старшеклассников и их родителей, людьми, чуткими ко всему, что происходит в школьных стенах. Это книги, публицистически и теоретически осмысливающие некоторые острые и кардинальные проблемы образования и воспитания.

Одна из этих проблем — преодоление пережитков так называемой авторитарности...

Вспомним республику Шкид, описанную в известной повести Г. Бельх и Л. Пантелеева, во главе с ее «президентом» Викниксором (а на деле известным педагогом В. Н. Сорокой-Росинским) — вот пример антиавторитарной школы, основанной на благоприобретенном авторитете воспитателей, а еще больше на ребячем самоуправлении.

Жизнь, однако, показала, что подобная «тотальная» демократизация была явно преждевременной. Не случайно А. С. Макаренко характеризовал опыт В. Н. Сороки-Росинского как педагогическую неудачу. Общество для него еще не было подготовлено. Педагогическая система Макаренко, наиболее полно отвечающая начальному этапу социалистического строительства, предусматривала диалектическое взаимодействие авторитарных и демократических методов — с упором на заслуженный, а не богом данный авторитет педагога, на взаимное уважение учителя и ученика.

Кажется, ничто не мешает нынешним учителям творчески воплощать в работе живую суть педагогики А. С. Макаренко и развивающих ее применительно к изменившимся условиям идей В. А. Сухомлинского и других педагогов-новаторов. Но и сейчас в каждой книге то там, то тут дают себя знать отзвуки этой авторитарности. Это и формализм в обучении, в оценке работы учащихся и учителей, процентомерия, принижение инициативы, самодеятельности, ответственности, фетишизация официально рекомендованных методик преподавания...

Живучесть всего этого, много раз осужденного, как видно из повестей тех, кто глубоко и правдиво отражает школьную действительность, объясняется такими объективными противоречиями, которые невозможно отменить в одночасье никаким приказом по Министерству просвещения, их

надо преодолевать шаг за шагом, упорно и кропотливо, изо дня в день поднимая идейно-нравственный и профессиональный уровень учительской массы, поднимая авторитет учительского звания.

Наша литература немало сделала и продолжает делать в этом направлении. Со страниц лучших книг на школьную тему во весь рост встает перед читателем фигура Учителя с большой буквы — умного, благородного, мужественного в делах чести, преданного детям, широкообразованного, самостоятельно мыслящего и творчески работающего. И эти же самые качества показывают, какой вред делу образования и воспитания наносят так называемые предметники средней руки из тех, что, по меткому выражению президента Академии педагогических наук СССР М. И. Кондакова, «выполняют роль сторожей и надзирателей при детях, а не воспитателей».

Мирно сосуществовать в едином учебно-воспитательном процессе те и другие так же не могут, как не могут слиться лед и пламень. Невозможно примирить историка Аристархова из повести Р. Фраермана «Дикая собака динго...» (чи «плечи, поднятые чрезмерно высоко... равнодушные очки... руки, занимавшие так много пространства, что, казалось, никому больше не оставалось места на свете», намертво отделяют его от учеников) и учительницу литературы из той же повести Александру Ивановну, которая такими «странными» (для аристарховых) доводами объясняет свой отказ вести урок с возвышения учительской кафедры: «Если четыре крашенные доски могут возвысить человека над другими, то этот мир ничего не стоит».

В повести Фраермана, написанной в 1939 году, когда авторитарность особенно давала себя знать, эта случайная на первый взгляд деталь имела поистине символическое значение. Александра Ивановна в прямом и переносном смысле настолько близка ученикам, что, как сказано в книге, «между ними и ею уже не было никаких преград, кроме собственных недостатков каждого».

Вся суть — в индивидуальном подходе, без которого воспитание вырождается в муштру, нередко приводящую к плачевным результатам даже при использовании самых передовых методик. Гармоничную личность нельзя вырастить иначе как только в теснейшем духовном общении с ребенком. Общени, которое само становится для воспитуемого образцом, а затем и потребностью в отношениях с другими людьми.

Мы знаем учителей, которым какие-либо «прокладки» между ними и воспитанниками попросту не нужны, так как у них нет причин прятать от детей свое подлинное лицо, казаться лучше, чем они есть в действительности. Это Бахметьев в «Честном комсомольском» и Грозный в «Земном поклоне» А. Кузнецовой, Екатерина Ильинична в «Спичальщиках и Горнистах» А. Алексина, Ольга Денисовна и Анна Георгиевна из «Осени» М. Прилежаевой, Надежда Георгиевна из «Благих намерений» А. Лиханова или Лидия Михайловна из «Уроков французского» В. Распутина...

Конечно, наобразовскому начальству «сторожами и надзирателями при детях» руководить удобнее, нежели Учителем, который сам личность и готов полностью отвечать за свои действия. Первые ни на шаг не отступят от писаного правила или циркуляра. А от вторых одна мороза. Но план урока не так напишут. То увлекут ребят делом, какого не сыщешь в учебных планах. Или, подобно Ольге Денисовне у Прилежаевой, разрешат старшеклассникам спорить с учебником литературы и будут еще ставить пятерки за самостоятельность мысли. И как же трудно, почти невозможно бывает порой учителю доказать свою неформальную правоту, потому что доказательства от него требуют сугубо формальных!

Что, например, может сказать в свое оправдание юная учительница французского языка Лидия Михайловна в повести В. Распутина, когда директор школы, застав ее за увлеченной игрой в пристенок на деньги с пятиклассником, квалифицирует ее поступок как преступление, растление и совращение? Что у нее не было иного способа заставить именно этого гордого и постоянно голодающего мальчишку принять ее помощь и попутно приохотить его к занятиям нелюбимым предметом?

В наши дни все прочнее укореняется мысль, что любую работу надо оценивать по конечному результату. Но где он, конечный результат, у учителя? Выпускник? Нет. Вся судьба человека, какой она сложится и через десять, и через двадцать, и через пятьдесят лет после школы!

Кто мог, скажем, в предвоенные годы с уверенностью утверждать, что прозвища, данные Екатериной Ильиничной, помогут ее ученикам вырасти такими, какими она их видела в своих мечтах, и что правоту старой учительницы подтвердит война, из окопов которой лучшие ее питомцы уже не вернутся?

И герой-рассказчик из «Уроков француз-

ского», лишь сделавшись вполне зрелым, умудренным жизнью человеком, поймет, что краткое общение с Лидией Михайловной навсегда научило его вере в добро и что, может быть, учительница эта, сама в ту пору почти еще девочка, спасла ему жизнь...

Сергей Иванов в предисловии к документально-очерковой повести «Июнь, июль, август» пишет о главном ее герое Олеге Семеновиче, начальнике пионерского лагеря: «Много лет назад в мечтах своих он придумал «Маяк», придумал лагерь, из которого никому не хочется уезжать... в котором ты должен чувствовать себя свободным среди свободных, и смелым среди смелых, и честным среди честных, в котором многое разрешается человеку. И не разрешается только одно: вести себя низко! Такой вот он задумал лагерь, на словах простой, на деле очень трудный!»

Мечта одаренного педагога стала явью. В повести лишний раз доказывается простая, но столь упорно отрицаемая скептиками истина: настоящий энтузиаст, если идеи его реальны и действительно прогрессивны, всегда сумеет увлечь за собою других людей, которые и помогут его идеям осуществиться.

О подмосковном лагере «Маяк» писалось в центральной прессе. Подростки, что пробывали в нем хотя бы одну смену, мечтают непременно вернуться сюда еще раз. Между тем из всех возможных благ и преимуществ, которые могли бы оказаться привлекательными для ребят, «Маяк» обладает единственным: духовно-нравственной атмосферой, которую пока еще встретишь далеко не в каждом лагере и не в каждой школе. Это атмосфера полного взаимного доверия, когда все — от младшего пионера до вожатого отряда и начальника лагеря — знают, что ни у кого из них слова не расходятся с делом, а если и обнаружится однажды подобный разрыв, то это увидят все, и даже невозможно представить, чтобы кто-то мог добровольно обречь себя на такой позор.

Олег Семенович — реальная личность. И даже назван в книге своим настоящим именем. Но такова уж природа литературы — обобщать. Хотя все происходящее в книге имеет характер не совсем обычного эксперимента, читателя не покидает ощущение, что иначе не может и быть. Что перед ним обычный типический лагерь, руководимый обычнейшими типическими педагогами и вожатыми.

Когда читаешь о том, что является, по сути, нормой, сознание отказывается

воспринимать это как исключение. Нормативность «Маяка» совсем не в том, будто нам хочется, чтобы все другие пионерские лагеря повторяли во всем «Маяк». Как раз наоборот! Пусть в каждом будут свои обычаи и традиции, свои приемы и формы пионерской работы. Пусть вместо маяковского кружка «Умелые руки», руководимого инженером Зотовым, и «собственного» писателя Синцова в других лагерях будут иные кружки и иные «чудаки» — энтузиасты, с радостью отдающие ребятам свой талант, умение, досуг.

Одно из проявлений нормативного демократизма «Маяка» — категорический отказ сглаживать конфликты и не раздувать больших или малых ЧП, дабы, разбирая и улаживая их келейно, в узком кругу лагерного начальства, не вынести сор из избы и сохранить честь мундира. В «Маяке» считают, что «чем больше происшествий, тем лучше: есть на чем расти».

Как не вспомнить здесь еще раз иные «каникулярные» книжки, юные персонажи которых, не будучи обременены учебными и трудовыми обязанностями, маются от безделья, пока автор не втянет их в разоблачение шайки жуликов, поимку шпиона или в иное не менее захватывающее приключение...

«Июнь, июль, август» С. Иванова, «Лето на колесах» В. Разумиевича, повести В. Крапивина — это все книги, далекие от легковесной «каникулярности». Мерилом их достоинства является внутреннее соответствие изображенного автором задаче воспитания патриота и гражданина — всесторонне и гармонично развитой личности, в которой разбужен стимул к интеллектуальному, нравственному самосовершенствованию.

Пишущий о школе и школьниках непременно оказывается в роли педагога, отчего критерием оценки произведения становится также и авторская способность встать на уровень современных достижений педагогической мысли и учебно-воспитательной практики.

И как, например, было не возникнуть этому качеству в творчестве В. Крапивина, который на протяжении всего писательского пути (без малого четверть века) не перестает быть педагогом, возглавляя организованный им сводный подростковый отряд «Каравелла». Этот отряд-клуб с многообразно разветвленными формами ребячьей самостоятельности, с постоянно меняющимся контингентом участников служит для пи-

сателя одновременно и средством миропознания, тесной связи с жизнью, с прототипами героев своих книг, и творческим полигоном, где испытываются и отбатываются на практике свои и «чужие» педагогические идеи, лежащие в основу его произведений, и где доверается их воспитательная действенность.

Бойцом крапивинской «Каравеллы» была в свои школьные годы Наталия Соломко, сама затем работавшая педагогом, окончившая Литературный институт имени Горького и представившая на VIII Всесоюзное совещание молодых писателей книгу рассказов и повестей «Если бы я был учителем...». От Крапивина Н. Соломко унаследовала романтическую традицию и борцовский характер. Но у нее свой голос и своя позиция в отображении школьной темы.

Интересно работает в литературе львовский учитель Г. Левинзон — автор весьма современных и по содержанию и по стилистике школьных повестей «На три сантиметра взрослее» и «Прощание с Дебервилем, или Необъяснимые поступки». С Н. Соломко его объединяет сочетание острой, проблемной актуальности с юмором, жизнеутверждающей тональностью повествования и подкупающей доверительностью интонации, говорящей о внутренней близости автора к своему юному читателю. Это последнее качество можно рассматривать как общий показатель растущей демократизации литературы о школе.

В повести А. Кузнецовой «Честное комсомольское», в «Осени» М. Прилежаевой старшеклассники встают на защиту любимых учителей — на защиту справедливости, как велит им комсомольский долг, — открыто и мужественно выражают свою позицию, свою оценку случившегося. Помня об этих примерах, мы вправе были бы ожидать большей гражданской активности в защите своего права работать в солентинской школе от азаровского героя-учителя, а его учеников предпочли бы видеть более активными в решении судьбы педагога, сумевшего стать для них властителем дум...

Школа будущего рождается сегодня. Велика и незаменима роль литературы в выработке, в определении общего для всех стратегического ориентира в воспитании. Конечно, и в школе будущего, реальность которой писатели приближают своими книгами, сохранятся проблемы и конфликты. Но природа и проявление их а стало быть, и способы разрешения будут уже иными.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Кардин. Неисчерпаемо, невосполнимо.— **Г. Громан.** В русле большой традиции.

Литература и искусство

НЕИСЧЕРПАЕМО, НЕВОСПОЛНИМО

Владимир Тендряков. День, вытеснивший жизнь. «Дружба народов», 1985, № 1.
Константин Симонов. Софья Леонидовна. Повесть. «Дружба народов», 1985, № 2.

Когда сегодняшний день становится вчерашним, меняются его краски, иначе звучат доносящиеся сквозь гул десятилетий слова, по-другому воспринимаются многие факторы. Дни войны, уже отступившей в историю, сейчас высвечиваются по-новому.

В 1944 году Илья Эренбург на вопрос американца, что думают русские о будущем, ответил: «Нам некогда — мы воюем». И впрямь, солдату, броском приближающемуся к вражескому доту, некогда углубляться в раздумья. То, что на армейском языке именуется ближайшей задачей, задачей дня, требовало от фронтовиков нечеловеческого напряжения, предельной сосредоточенности.

Литература, особенно в первые послевоенные годы, готовно следовала за такой именно фронтовой жизнью: поле боя, марш, бесхитростный земляночный быт, деловые вояндирские совещания... Не только в том, разумеется, причина короткого века многих тогда написанных и восторженно оцененных критикой книг. Принимая их за конечную, исчерпывающую правду войны, критика спешила закрыть тему, отечески призывала, например, молодых поэтов, донашивавших шинели, перестроиться соответственно с перестройкой экономики, корила, что «не могли оторваться от окопных представлений... словно продолжали окопную жизнь, в то время как...».

Литература не могла не жить окопной жизнью, оставшейся неизбежно реальной, следовательно, не спешившей обнажить свои глубины. К ним-то и предстояло прибавиться, уходя от описательства, от недавнего «нам некогда — мы воюем». Да,

И. Эренбург сказал тогда правду. Но солдат, бросавшийся под пулеметные очереди, думал, надеялся обмануть смерть и верил в долгие достойные годы, щедро оплаченные кровью. В это верили народы...

Книга о войне удерживается на плаву обычно в том случае, когда в ней, не тесня и не упрощая войну, присутствует грядущее, в которое верил боец, когда автор озабочен и проблемами, о которых не всегда успевал подумать солдат, но уже сталкивался с ними, соприкасался. «Меня интересует не сама война, но нравственный мир человека, возможности его духа», — признается Василь Быков.

Вчерашние лейтенанты, начавшие писать лет через десять после отгремевших залпов, проявили такой интерес раньше, осознаннее, чем старшее писательское поколение.

Константин Симонов не отступал от фронтовой темы, сохранял верность ей до последнего дня. Владимир Тендряков незадолго до смерти обратился к своему солдатскому прошлому. Повесть К. Симонова «Софья Леонидовна» и рассказ В. Тендрякова «День, вытеснивший жизнь» опубликованы посмертно. Их авторы, подобно многим ветеранам Отечественной войны, покинули жизнь в пору зрелости и унесли с собой уникальный опыт.

Литература о войне будет создаваться и после нас. Верится, она достигнет большего совершенства. Но то, что принесено людьми с войны, никто другой никогда уже не принесет...

Если исключить войну, то в судьбах К. Симонова и В. Тендрякова, как и в природе их дарований, мало общего. Но войну

не исключишь. В ней К. Симонов обрел себя. В Тендряков — это подтверждено посмертно опубликованным «Днем, вытеснившим жизнь» — жил с чувством неистребимости фронтового прошлого. В отличие от сверстников В. Тендряков не спешил рассказать о фронте, хотя знал его лучше многих (более двух лет солдатом, сержантом; в самой гуще, в Сталинграде, под Харьковом). Его писательская биография не похожа не только на симоновскую, но и на биографии большинства однокашников послевоенного Литинститута — создателей «лейтенантской» прозы. Он одержимо устремлялся «за бегущим днем» (название одного из его романов).

Но и К. Симонов, родившийся восемью годами раньше В. Тендрякова, тоже составлял некое исключение среди писателей-сверстников, продолжая работать над военной темой и в ту пору, когда новое поколение прозаиков принесло свое знание войны.

Читая роман «Живые и мертвые», примыкающие к нему повести «Пантелеев» и «Левашов», мы обычно чувствуем несочиненность того, что рассказано автором, — близость факта, запечатленного в слове и реально пережитого.

Повесть «Софья Леонидовна» составляла первоначально одну из сюжетных линий романа «Живые и мертвые» и, как писал Л. Лазарев, автор обстоятельного послесловия к публикации, вынута из романа в самый последний момент по соображениям локализации сферы действия, сгущения сюжета вокруг Синцова.

Рассказано здесь о подполье, то есть о том, к чему К. Симонов в жизни непосредственно не был причастен. Он угадывал сложности, подводные рифы, ожидающие его, чувствовал и драматизм положения некоторых подпольщиц. Скажем, Тоня, вступившей в любовную связь с немецким офицером, что, как сказано в повести, было «на самый крайний случай» предусмотрено в работе осведомительницы.

Однако не Тоня, попавшая в мучительный переплет, не радистка Маша приковывают к себе внимание писателя. Повесть прежде всего о Софье Леонидовне, о внутренней несовместимости обыкновенного порядочного человека и обыкновенного фашизма. Эта несовместимость становится реальной силой в ожесточенной борьбе.

Какая-то часть читателей, привыкших к литературным стереотипам, утвердившимся вскоре после войны, может ждать от Софьи Леонидовны антипатриотического поведения:

из бывших, дворянка, семья пострадала от советской власти.

Прилипко, в гораздо меньшей степени бывший, не колеблясь принимает сторону немцев, его племянник Шурик торопливо делает карьеру полицая. Полное соответствие Прилипко и Шурика анкетному стереотипу (был ущемлен, а с приходом немцев предал) не слишком обогащает наше понимание психологии предательства. Придет время, В. Быков и А. Адамович займутся художественным исследованием зловещего явления — измены, и все окажется куда как не просто.

К. Симонов скорее намечает проблему, нежели углубляется в нее. Жертвует одним ради выигрыша в другом. Но выигрыша не ценой эффектного поворота — вопреки. Софья Леонидовна движима органической порядочностью, душевной чистоплотностью — качествами, которые К. Симонов связывает с истинной интеллигентностью.

Интеллигентность Софьи Леонидовны еще и в брезгливости, в отвращении к хамству, вульгарности, нуворишскому размаху, который охотно выдает себя за широту души. Потому ей отвратителен Шурик, его пошлая и ничтожная жизнь.

Война. До щепетильности ли тут? Достаточно факта: Шурик — полицай. Софье Леонидовне недостаточно. Она втолковывает Маше, что фашизм — не монопольное достояние немцев, Шурик тоже настоящий фашист и взошел он на соответствующих «нравственных» дрожжах.

Мы увидим, кстати, что и В. Тендряков не считает душевную вульгарность и фашизм явлениями разноплановыми. Не всякая, естественно, вульгарность ведет к фашизму, но в родстве они подчас состоят. Понадобилось время, чтобы писатели, обдумывая нравственную подоплеку военного единоборства, заметили и эту его сторону.

В ряде произведений о войне, написанных по горячим следам событий, интеллигент, особенно старой закваски, выглядел не слишком презентабельно. Хорошо, когда всего лишь неумеха, недотепа, а то, глядишь, и трусоват. Бытовала даже формула о перепуганных интеллигентах. Автор настораживала сама независимость мышления и высказываний.

Сергей Волков из повести «Еще заметен след» в те годы вряд ли был возможен как персонаж положительный, и упорство, с каким Д. Гранин отстаивает репутацию своего героя, не лишено прямой, правда несколько запоздалой, полемичности.

К. Симонов менее склонен к полемике,

но отнюдь не уступчив. Он акцентирует умственную и духовную самостоятельность Софьи Леонидовны, ее непохожесть на остальных. Непохожесть не порок и необязательно признак дурного индивидуализма.

«На революцию и на все происшедшее после нее в стране у Софьи Леонидовны были тоже свои собственные и вполне определенные взгляды... Поначалу довольно далекая от тех взглядов, которые устанавливались и торжествовали в стране, она постепенно пришла к согласию с ними и даже к увлечению ими со своего, особого бока».

Такие несколько обзорно переданные воззрения нам известны по романам и повестям о старых специалистах, с большими или меньшими колебаниями принявшими послеоктябрьскую действительность.

К. Симонова не столько занимают воззрения Софьи Леонидовны, сколько ее натура — неизменная и независимая при любых обстоятельствах, при крутой их перемене. Логично предположить, что если бы писатель вернулся к повести, намереваясь довести ее до кондции, он прежде всего постарался бы ответить на вопросы, не отпускаявшие его и после завершения романа «Живые и мертвые». Зимой 1960 года К. Симонов писал из Ташкента знакомому американскому литератору:

«Меня волнует вопрос: ради чего это было, что мы защищали с таким ожесточением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к литературе, но имеющих самое прямое отношение к ответу на этот вопрос...»

Иначе говоря, ответ на вопрос «ради чего?» он искал в послевоенной жизни, сегодняшнем бытии ветеранов.

Там же искал ответы и Владимир Тендряков, писавший о нынешних днях, «забыв» о собственной фронтовой юности. Но, заканчивая шестой десяток, вернулся к ней, ничего ровным счетом не запамätовав, сопрягая былое с новым своим опытом — человеческим и художническим. Он неотступно работал над военным циклом, будто догадываясь, что дни его сочтены.

Ни о чем таком, конечно, В. Тендряков не догадывался. Человек трезвого мышления, он отвергал предчувствия и не думал, что рассказу «День, вытеснивший жизнь» суждено увидеть свет, когда его самого уже не станет. Нам, надеюсь, еще предстоит прочесть рассказы незавершенного цикла...

Три десятилетия В. Тендряков жил с подспудной памятью о войне. Но было бы заблуждением отнести его рассказ к мемуарам.

Слов нет, сержант Тенков многое взял у писателя Тендрякова, и Тендряков немалым обязан Тенкову. Отношения здесь тонкие; полагаю, писатель потратил немало усилий на их выяснение. Ему надо понять, во имя чего, почему, насколько изменяется необстрелянный человек, приближаясь к Линии Фронта. Слова «Линия Фронта» В. Тендряков пишет с прописных букв. У него этот термин означает не просто передовую, а рубеж жизни. Жизни и смерти.

С жизнью покамест все ясно. В начале марша боец Сашка Глухарев ловок, самоуверен; нескладен, комичен вчерашний студент Чуликов; хозяйствен и молчалив мужичок-кулачок Ефим Михеев; неизменно пронырлив Нинкин.

А со смертью неясно. Даже со смертью врага. Несмотря на полную определенность и правомерность призыва: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»

У сержанта Тенкова, уже потерявшего на войне отца, есть все основания для лютой ненависти к гитлеровцам. Ему бы ликовать, заметив лежавший в лебедь труп соломенно-рыжего парня в зеленом мундирчике. Однако в нем поднимается брезгливость... Остальные бойцы тоже почему-то не радуются, им не по себе: «Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп». В. Тендряков оспаривает этот звучный афоризм. Его герои, едва вступив в жизнь, столкнулись со смертью. Их представление о гибели вмещалось в песенную строку: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». К смерти они готовы еще меньше, чем к только что сделанному печальному открытию: танки «КВ», сотрясавшие брусчатку на парадах, горят, как спички.

Они увидели смерть, увидели рыжего немца в траве, услышали шелест снарядов над головой — и что-то переменялось. Переменялась повадка Сашки Глухарева: сдал голос. Зато Чуликов, смущенно сносивший грубоватые Сашкины шуточки, зашагал увереннее. Почувствовав близкое дуновение смерти, люди предстали в ином качестве, самоопределились. Молодые бойцы вступают в зону испытаний. Одно из них — неизвестность. Она станет постоянной спутницей этих ребят, идущих в сторону Линии. В голове Тенкова проносится: «...бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или не моей?..»

В первый фронтовой день острее всего ощущалась неизвестность. Может, оттого он и не тускнеет в памяти, хотя за первым днем обычно следовали испытания потяжелее, гибель друзей, госпитальные муки. В Тендряков сам испил чашу до дна, демобилизовался с искалеченной рукой. Но, обратившись к окопной юности, он воссоздавал далекий день, соотнося его с более поздними днями, когда уточнялись, закреплялись строжайшие нормы фронтовой этики. Теперь нам ясно: вот откуда его ощущение неразрывности той военной поры и наставшей мирной жизни, вот откуда его нетерпимость и максимализм. В Тендряков имел право вести отчет с «дня, вытеснившего жизнь». Тогда зарождалось то, что утвердилось потом. Зарождалось почти у всех одинаково, утверждалось по-разному.

Тендряков созрел как художник к середине 50-х годов. И утвердился в своих основных творческих принципах. Его неожиданный фронтовой рассказ закономерно продолжает все созданное им прежде.

Спустя сорок с лишним лет В. Тендряков снова шагал к Линии Фронта, где каждый отмечает в себе случайное и наносное. В том для писателя смысл «дня, вытеснившего жизнь», проявившего подлинную сущность человека.

Постоянное стремление В. Тендрякова к контрастам, доходившее, бывало, и до лобовых противопоставлений, резко заявляет о себе и здесь. Все в рассказе контрастно, начиная от времени, которое делится на солнечное предвоенное и наступившее грозное. И день сержанта Тенкова, его товарищей по взводу — череда альтернатив. Больших и малых, бросающихся в глаза и еле уловимых.

В. Тендряков, как и прежде, устремлен к тому неотвратимому моменту, когда на очереди шаг, обнажающий нутро человека. И бой для него — генеральная проверка нравственной сути бойца.

Вообще-то у каждого своя война. По-разному ощущался фронт и по мере удаления от передовой, в зависимости от длительности пребывания в зоне смерти. Для солдата стрелковой роты командный пункт полка — глубокий тыл. Офицер связи из штаба дивизии прибывает на КП полка как на передовую. Шансов схлопотать пулю или осколок и у офицера связи предостаточно. Но его фронтовое мироощущение в чем-то отлично от мироощущения такого же лейтенанта, поднимающего в атаку свой взвод. Девушка-снайпер видит немца иначе, чем девушка-переводчик. Танковый экипаж, запертый в раскаленной стальной

коробке с узкой смотровой щелью, воспринимает бой не так, как расчет «сорокапятики», поставленной на прямую наводку. Связист, в одиночку тянущий провод, тоже воспринимает войну на свой лад. А разведчики, идущие в ночь за Линию? Или подпольщик, чья гибель окутана глухой тайной, которая иной раз не поддается отгадке? Угоди Тоня из «Софьи Леонидовны» в руки гестаповцев, кто потом узнает о ней правду?

Смерть, скажут, всюду смерть. Но связист, ползущий, чтобы устранить обрыв кабеля, встретит ее с глазу на глаз. Никто не расскажет о его гибели. Не зря говорил: на миру и смерть красна.

Странный каприз памяти: в первые послевоенные годы редко вспоминался фронт. Потом фронтовые картины, лица однополчан оживали все неотвратимее.

Рассказ «День, вытеснивший жизнь» можно, казалось бы, рассматривать и вне армейской биографии В. Тендрякова. Только как факт биографии писательской. Но не отделяются друг от друга та биография и эта. В. Тендряков, допрашивая сержанта Тенкова, допрашивает и собственное прошлое. Он заново всматривается в лица товарищей по оружию. Воинские достоинства, выказанные в первые часы подхода к Линии, не потеряли своей ценности и сегодня, когда Линия отступила в историю.

Однако слабости и пороки не стали достоянием прошлого. Нравственное размежевание проходит и сейчас по тем же линиям, что и в те времена. Правда, раньше позволительно было всего только не жаловаться Зычко за солдафонские придирки. Сейчас, на передовой, опасна его философия: «О себе гребтуй... Шо був добреньким, забудь!» Как забыть? Проще пареной репы: все время береги себя, выскивай любую щель, выгадывай минуту, чтобы быть подальше от Линии.

Мудрость Зычко — обоснование подлости: кто-то вместо тебя должен идти в огонь. Это не только фронтовое, но и извечное: если не ты, то кто же?..

Примет Тенков мудрость Зычко, заночует с подводой в лесу — останется жив, а тяжело раненный Феоктистов умрет.

Недостаточно проявить смелость, выполняя приказ. Куда больше смелости требуется для самостоятельного решения. Тенков не заночует в лесу. Подвода заберет Феоктистова, Зычко напросится в сопровождения — все-таки в тыл — и погибнет от шальной пули. Все вроде бы рассчитал, а войну не перехитрил. «Смелого пуля боится, смелого штык не берет» — это в ма-

жорных стихах. Утверждение комиссара Корнева, героя раннего симоновского рассказа «Третий адъютант», будто храбрых убивает реже, чем трусов, похоже на благое пожелание. Впоследствии К. Симонов старался опровергнуть подобные афоризмы. По-моему, их перечеркивают короткие слова похоронки: «Пал смертью храбрых...»

Бесшабашный Нинкин убит раньше расчетливого Зычко. Никакого противопоставления в том нет. Рока тоже нет. Есть беспощадная неизбежность. Нужна великая отвага, чтобы одолеть, повернуть вспять гитлеровские дивизии. Нужно здоровое понимание совершающегося. Оно помогает сделать то, что потом назовут чудом.

Чем дальше, тем выше ставит наша литература думающего бойца, офицера, генерала. Физическая смелость зависит от смелости душевной, умственной.

Сержант Тенков этого еще не сознает (писатель Тендряков сознает отлично), но с удивлением замечает, как день — лишь один день войны — породил его с ребятами из взвода, сблизил с Чуликовым.

На марше Тенков поднял немецкую листовку. Она оскорбила его своей тупостью («Спешите спасти свою жизнь!»), вульгарной примитивностью, циничным черносотенством. Заманивая в плен, гитлеровцы давали понять, каким они видят советского бойца, русского человека. Ставка делалась на звериные начала, измененные инстинкты. Стиль листовок будет меняться. Но неизменно отношение фашизма к нам как к недочеловекам, подлежащим уничтожению. Уцелевшие обрекались на темноту, одичание; тут-то среди всего прочего согдится и сомнительный афоризм, отвергнутый сержантом Тенковым: труп врага хорошо пахнет.

Брезгливое презрение Тенкова к гитлеровцам сходно с брезгливостью, какую вызывал у Софьи Леонидовны Шурик Прилишко. Фашизм самим фактом своего присутствия на земле оскорбителен для каждого, кто верит в совесть, разум, прогресс и сражается за них.

Потомственный интеллигент Симонов и крестьянский внук, интеллигент в первом поколении Тендряков непредугадываемо совпали. Интеллигентность для них — прежде всего внутренняя культура, она не всегда зависит от количества прочитанных книг и образовательного ценза родителей, но всегда непримиримо враждебна фашизму. Отечественная война для обоих писателей — война глубоко антифашистская; их герои — антифашисты по убеждению, душевному складу. И это создает атмосферу нравственной бескомпромиссности, царящую в двух столь разных произведениях. Здесь беспощадно обличается гитлеризм. Мещанин до мозга костей, Гитлер знал, на каких струнах надо играть, чтобы вызвать массовый психоз, развратить души. Не знал только, что струны быстро лопнут...

Повесть и рассказ — это, наверно, так немного рядом с полками, уставленными книгами о войне. Но сколько говорят они все о той же неизбежно длящейся войне.

Мы в чем-то по-новому увидели Симонова и открыли нового Тендрякова, получив печальную возможность строить предположения, как бы Симонов дорабатывал «Софью Леонидовну», что бы еще написал Тендряков, какие горизонты открывались перед ними. Остро почувствовали невозможность утраты. Увидели истоки мужества, необходимого на войне и за письменным столом.

«Человеческое мужество, очевидно, всегда предполагает привкус горечи, потому что мужественному человеку всегда не удастся довершить всего того, что он хотел. Все, что они хотели, совершали в жизни совсем другие люди, но они ведь хотели не того или хотели очень малого». Это в письме Симонова из больницы. Продолжение одного нашего разговора... Приведенные строки характеризуют самого Симонова. Не в меньшей степени и Тендрякова. Людей, успевших на своем веку многое совершить, изведать, но умерших ранее срока, оставив на столе белеющую страницу.

В. КАРДИН



В РУСЛЕ БОЛЬШОЙ ТРАДИЦИИ

Н. Заболоцкий. Собрание сочинений в трех томах. М. «Художественная литература». Т. 1. 1983, 655 стр. Т. 2. 1984, 463 стр. Т. 3. 1984, 415 стр.

И. М. Ростовцева. Николай Заболоцкий. Опыт художественного познания. М. «Современник». 1984. 304 стр.

При жизни Николая Заболоцкого его имя было известно немногим. Судьба распорядилась так, что в зрелые годы Заболоцкий уделял несравненно больше времени переводам, чем оригинальному творчеству. Поразительное впечатление произвел в свое время небольшой томик в сиреновой обложке: «Н. Заболоцкий. Стихотворения»

(1957) — самое полное прижизненное издание лирики поэта. Многие впервые слышали это имя. Год спустя, в октябре 1958 года, Николай Заболоцкий умер. В ту пору еще никто не мог предвидеть, какая по-смертная слава ожидает поэта. Подобно тому как чудом всплывает затонувший подводный материк, поэзия Заболоцкого как бы росла на наших глазах. Обнаружилось множество стихотворений Заболоцкого, забытых или вообще неизвестных ранее. Критика заговорила о Заболоцком в полный голос, наконец-то оценив по достоинству и глубокоую содержательность и необычность его поэзии, и его взыскательное мастерство, и поистине беспощадную требовательность к себе. «Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны переключаться друг с другом, словно влюбленные в лесу...» — так определил сам Заболоцкий тот идеал поэзии, к которому неустанно стремился.

Перед нами новые наглядные свидетельства неугасающего интереса к наследию Заболоцкого: недавно завершено обширное собрание его сочинений и писем и новое исследование о нем критика Инны Ростовцевой. За четверть века неустанных разысканий объем известного нам поэтического наследия Заболоцкого увеличился на целую треть.

Собрание сочинений Заболоцкого впервые дает нам полное и яркое представление о его подвижническом и многогранном труде. Наряду с его лирикой — философской, любовной, гражданской — мы находим здесь и автобиографические свидетельства (не входившие в прежнее двухтомное издание его сочинений), и его забытые критические статьи, и превосходные образцы его мемуарной прозы. В очерке «Ранние годы» настолько колоритно воссоздана атмосфера дореволюционного русского захолустья, так пластично, с добрым юмором запечатлены друзья детства и гимназические учителя, что невольно вспоминаются иные страницы Лескова. Видное место отведено переводам поэта. Здесь и знаменитое переложение «Слова о полку Игореве», и жемчужины немецкой и австрийской лирической, философской и балладной поэзии (Гёте, Шиллер, Рюккерт), и переводы лучших образцов грузинского эпоса и лирики от Руставели до наших дней, особенно увлекавших поэта. (Остается, правда, пожалеть о том, что в разделе переводов не нашлось места для стихотворений М. Бажана из цикла «Мицкевич в Одессе». Заболоцкий дружил с Ба-

жаном и перевел эти стихи с подлинным вдохновением.) Наконец, исключительный интерес представляет обширный раздел писем Заболоцкого, из которых многие до этого были либо рассеяны по разным периодическим изданиям, либо совсем не печатались. В этих шестидесяти письмах запечатлена жизнь поэта с 1921 по 1958 год, начиная от голодных студенческих лет, которые сам поэт шуточно называл картофельным периодом своей жизни... В эпистолярном наследии поэта затронуты и серьезные духовные проблемы; в письмах К. Э. Циолковскому он обсуждал сложные философские вопросы, постоянно советовался с Д. С. Лихачевым, совершенствуя свой перевод «Слова».

Но, конечно, главное достоинство нового издания в том, что оно дает нам возможность целиком проследить весь поэтический путь Заболоцкого. Впервые напечатаны все известные нам его стихотворения и поэмы, тщательно выверены тексты.

Теперь мы еще нагляднее убеждаемся в том, что творчество этого поэта неотделимо от всей истории советской литературы. И бурная, дерзкая молодость нашей литературы, и ее суровая зрелость по-своему отозвались в его поэзии.

Сейчас, когда впервые обозримо все поэтическое наследие Заболоцкого, ясно, насколько существенным в облике поэта было его тяготение к реалистической правде. Мы можем заново оценить знаменитое стихотворение «Ходоки» (1954) — о крестьянах, рассказавших Ленину о своих нуждах. Писали о нем немало, но несколько обезличенно. Между тем как ярко, с какой живописной силой, позволяющей вспомнить Сурикова или Репина, выписаны здесь и «зипуны домашнего покроя», и «тревожные огни» в глазах крестьян, и их пыльные дорожные котомки, и «черствые ржаные кренделя», которые мужики «стыдливо» протягивают Ленину. Нужно было хорошо знать крестьянскую жизнь, вырасти в глухой и нищей дооктябрьской деревне, как рос сам Заболоцкий, чтобы найти такие простые и убедительные подробности. Со свойственной Заболоцкому целомудренной сдержанностью изображен и сам «радушный хозяин» Смольного — «человек в потертом пиджаке», «до смерти измаянный работой»; лишь один раз (в последней строфе) названо имя Ленина. В этой непритязательности таится большая суровая сила.

Заболоцкий прошел путь от торжественной оды к своеобразной стихотворной новелле, где за будничными подробностями скрывается глубокий смысл и значение.

Пристальный интерес поэта к неподслащенной, крутой житейской прозе, к неприкрашенному изображению жизни с годами все более возрастал. Об этом свидетельствуют такие (напечатанные посмертно и доныне еще мало оцененные) стихи последних лет, как «Стирка белья» и особенно «Железная старуха». Вспомним, с какой резкой прямоотой изображен в «Железной старухе» «черный, страшный и косматый» деревенский кузнец — инвалид войны. Критика, подчас весьма категорично, связывает эти «бытовые» стихи Заболоцкого с некрасовской традицией. Не решая этого сложного вопроса однозначно, мы полагаем, что здесь необходимо проявлять большую осторожность. Внимание к будничной стороне жизни, к ее прозе, было свойственно Заболоцкому еще в пору «Столбцов». Кроме того, лишь недавно появилась (в сборнике «Встреча с книгой» — М. 1984) богатая фактами статья Никиты Заболоцкого, где подчеркивается, что поэт очень избирательно, «пристрастно» оценивал русскую классику, и в частности «сдержанно относился к Некрасову». Решение этого вопроса — дело будущего, но, видимо, сам Заболоцкий не ориентировался сознательно на поэтику Некрасова.

Элегии Заболоцкого тоже меняются со временем, все более наполняясь конкретным, зачастую драматичным жизненным содержанием. Три послевоенные элегии («Слепой», «В этой роще березовой» — 1946, «Противостояние Марса» — 1956) принадлежат, на наш взгляд, к высшим достижениям не только лирики Заболоцкого, но и всей послевоенной советской поэзии. В этих элегиях поэт подчас прибегает к фантастической, даже гротескной символике. С тревогой и неутраченной болью пишет об угрозе новых разрушительных войн:

За великими реками
Встанет солнце, и в утренней мгле
С опаленными веками
Припаду я, убитый, к земле
(«В этой роще березовой»)

Столь же реальной и страшной представляется поэту и угроза человеку со стороны бездушной машинной цивилизации, бесчеловечной тирании, воплощенной в символическом образе «кровяного Марса»

Перечитав заново эти стихи Заболоцкого, мы, вероятно, должны будем внести поправки в утверждение литературоведа Н. Степанова, считавшего, что Заболоцкий до конца жизни оставался прежде всего «певцом природы». И все же очарование природы Заболоцкому, выросшему в вятской глуши, было

близко и дорого с детства. Заболоцкий не просто изображал природу: он стремился понять ее, увлекался трудами Циолковского, Вернадского. Стихи 30-х годов, где природа изображена как «учительница, девственница, мать», содержат своеобразную натурфилософскую концепцию. Это роднит их с поэзией Тютчева и Фета.

Вновь перечитывая стихи Заболоцкого, видишь: поэт настолько занимает «великое чудо земли», что о себе он пишет редко и неохотно. Тем более неожиданным подарком был созданный им на закате жизни поразительный лирический цикл «Последняя любовь». Здесь звучат слова обжигающей силы — высший накал страсти сочетается с «неизбежным предчувствием горя», разлуки... Душа поэта выразилась в этом цикле открыто и смело. Главные циклы являются скрытой цитатой из Тютчева («О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность!»). Эти знаменитые строки могли бы стать и эпиграфом к циклу, настолько точно они соответствуют его драматической теме.

В серьезных статьях и исследованиях В. Альфонсова, А. Туркова, А. Македонова наследие Заболоцкого по праву получило высокую оценку. В последние годы интерес к поэту все заметней возрастает. О живом интересе к наследию поэта свидетельствует новая книга критика Инны Ростовцевой «Николай Заболоцкий» — последнее по времени большое исследование о поэте.

Инна Ростовцева — критик, ее сила — в живом восприятии художественного слова. У нее нет и в помине того легкомысленного отношения к фактам, которым подчас щеголяют критики, слишком уверенные в своей интуиции. В книге собран обширный свод материалов о поэте. Здесь и большие выдержки из его еще не изданных писем, и воспоминания бывших «обернутов», и другие мемуарные свидетельства, и множество критических отзывов начиная с 20-х годов и кончая последними десятилетиями. Впрочем, щедро приводимый в книге фактический и мемуарный материал оказывается лишь рабочим инструментом, подчиненным главной цели. И. Ростовцева рассматривает зрелое творчество Заболоцкого как единую художественную систему и стремится понять ее принципы.

Главную особенность поэзии Заболоцкого критик видит в необычайной масштабности его взгляда на мир, в широте горизонтов. Действительно, в поэзии Заболоцкого человек очень часто оказывается как бы перед всем громадным миром природы.

Секрет долговечности поэзии Заболоцкого автор книги справедливо видит в том,

что она одухотворена мыслью о нераздельности красоты и добра. Особое место уделено в книге творческим связям поэта с русской классикой. И. Ростовцева убедительно доказывает, что Заболоцкий не только постоянно учился у Тютчева и Баратынского, но в лучших своих стихотворениях проявил себя как их достойный наследник. И. Ростовцева впервые отметила некоторые интонационные и стилистические переключки у Заболоцкого с его любимыми поэтами-классиками. Так, например, тютчевский спокойно-величавый зачин «Есть в осени первоначальной...» прямо отозвался в том же спокойном интонационном ключе поздних стихов Заболоцкого («В очарованье русского пейзажа есть подлинная радость...»). У Заболоцкого человек постоянно «выясняет свои отношения» с миром природы, свое место в ней. Вспомним скорбное раздумье Тютчева:

Природа знать не знает о былом.
Ей чужды наши призрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезой природы.

И. Ростовцева справедливо замечает, что подобные трагические антиномии не были чужды и Заболоцкому. Так, герой его ранней поэмы «Лодейников» подавлен громадным и непонятным ему миром природы. Но Заболоцкий (и это тоже отмечено в книге) находил реальный выход из подобных противоречий. В этом ему помогала сама новая действительность, «стремительный шум созиданья». Человек, как писал поэт, не только «детище природы, но мысль ее, но зыбкий ум ее». И если он ставит перед собой высокие цели, то может достичь их именно в союзе с природой. Эта мысль поэта и сегодня очень своевременна.

Иногда И. Ростовцева слишком, на мой взгляд, увлекается сопоставлениями с поэзией прошлого. Кроме того, сосредоточив внимание на философской и моральной проблематике произведений Заболоцкого, она подчас воспринимает его поэзию в слишком созерцательных, «эфирных» тонах. Поэтому вряд ли случайно, что ни грозная символика поздних элегий («Противостояние Марса»), ни обнаженная правдивость поздних «бытовых новелл» Заболоцкого не привлекли внимания критика. В итоге драматизм поэзии Заболоцкого оказался в книге несколько приглашенным.

Как критик, любящий искусство, И. Ростовцева пишет живо, эмоционально, и в этом существенное достоинство книги. Но иногда автор в эмоциональном порыве как

бы отождествляет свою концепцию поэзии со взглядами самого Заболоцкого. Например, если верить И. Ростовцевой, Заболоцкий негативно относился к поэзии Мандельштама. Еще в 20-е годы Заболоцкий будто бы отталкивается от «тонких узоров стилизации, декоративности», свойственных Мандельштаму и Ахматовой. Прежде всего следует учитывать, что в 20-е годы поэзия Мандельштама и Ахматовой избавлялась от эстетизма и обретала новый язык и краски, достойные суровой эпохи. Кроме того, хорошо известны прямые отзывы Заболоцкого в письмах другу юности М. И. Касьянову (ноябрь 1921 года): «Здесь Мандельштам пишет замечательные стихи... Чувствую непреодолимое влечение к поэзии О. Мандельштама...»

И. Ростовцева не всегда проводит четкую грань между самоцельным экспериментированием в искусстве и художественным экспериментом вообще. В этом случае пример Заболоцкого, его отказ от «жесточких соблазнов» эксперимента как бы признается единственно верным и обязательным для всех. Но как быть, например, с Маяковским или Брехтом, отдававшими немалую дань художественному эксперименту?

Оценивая интересную и свежую по мысли и чувству книгу И. Ростовцевой, мы остановились на ряде ее спорных суждений именно потому, что И. Ростовцева — критик мыслящий, эрудированный, умеющий по своему подойти к произведению искусства. Главная ее задача — раскрыть самобытность философской лирики Заболоцкого, линию преемственности, связывающую ее с русской классикой, — решена вполне убедительно, и будущие исследователи поэта не пройдут мимо многих ее наблюдений и выводов. И. Ростовцева несомненно права, утверждая, что интерес к поэзии Заболоцкого не временное веяние, что созданные им художественные ценности останутся в нашей поэзии надолго.

Строфы Заболоцкого глубоко вошли в нашу жизнь, навсегда запали в нашу память. В одном из своих предсмертных стихотворений («У гробницы Данте») Заболоцкий, обращаясь к примеру великого флорентийца, прославил дух неугаемого творческого беспокойства:

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!..

На этой высокой ноте безвременно оборвалась жизнь поэта. Но без его стихов сегодня невозможно представить себе советскую поэзию.

Г. ГРОМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



МУЗЫ ВЕЛИ В БОИ. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. М. АПН. 1985. 343 стр.

Немало страниц в этой художественно-документальной летописи, составленной С. Красильщиком, принадлежит людям, для которых не было прямой обязанностью ходить в атаку, хотя и они наравне с фронтовиками вправе сказать о себе словами поэта Владимира Харитонова: «Этот день мы приближали как могли». Это артисты, поэты, композиторы, писатели, художники, журналисты...

Недаром в недрах Главного имперского управления безопасности СС появились секретные розыскные листы с грифом «СССР. Список № 1». Они были разосланы всем частям СС с указанием о немедленном розыске и аресте включенных в эти списки «особо опасных» лиц. Так, глава этого ведомства Гейдрих требовал ареста писателя Алексея Толстого (№ 93), музыканта Эмиля Гилельса (№ 113), академика Комарова (№ 309), писателя Ильи Эренбурга (№ 21), кинорежиссера Сергея Эйзенштейна (№ 46), драматурга Александра Корнейчука (№ 337), пишет Лев Безыменский.

Суровое военное время приблизило искусство к человеческому сердцу, помогало все растущей силе сопротивления.

В дни блокады для ленинградцев такую силу обрели стихи молодой Ольги Берггольц. «Трагедия личная слилась с общенародной, сознание полной слитности своей судьбы с судьбой всех ленинградцев родило в этой душе неистовую страсть сопротивления и создало из талантливой девочки большого поэта Ольгу Берггольц, которую узнала и полюбила страна», — рассказывает в своем очерке Вера Кетлинская.

Это единение судеб, стремление помочь делу победы было естественным стремлением людей искусства, ставших в общий строй. О себе в военную пору Ольга Берггольц напишет:

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не героизмовала, а жила.

В экстраординарных ситуациях обрела высочайшую пробу художественная правда. На самодельной сценической площадке в каких-нибудь десятках метров от передовой бойцы, только что вышедшие из кровопролитнейшего сражения, с замранием сердца слушали концерты артистов, стихи поэтов, искренне веря в могущество художественного слова. Разве можно было обмануть эту святую веру!

И Иосиф Уткин (один из многих!) отказывался уехать с передовой перед самой атакой, он не мог поступить иначе, ведь он только что выступал со стихами-призывом перед солдатами! И поэт идет в ата-

кую цепь с пистолетом в руке. Уже потом, после тяжелейшего ранения и госпитализации, он добавит к своим стихам несколько нерифмованных, но пронесенных поэтической гражданственности строк: «Я категорически отмечаю разговор насчет невозможности, по соображениям физического порядка, моего пребывания на фронте. Я хочу. Я могу».

Особые страницы в летописи войны принадлежат фотокорреспондентам, донесшим до нас ее зрительный образ, остановившим мгновение солдатского подвига.

«Венцом всего, что сделал Виктор Темин за годы войны с немецко-фашистскими захватчиками, был снимок Знамени Победы над рейхстагом», — пишет Давид Ортенберг. Там, на снимке, над поверженным рейхстагом, над всей поверженной фашистской Германией реет красное знамя — символ, вобравший в себя 1418 дней и ночей нечеловеческих усилий, нещадного напряжения всех физических и душевных сил и радости свершения великого ратного подвига, к которому по праву причастны и рядовые служители муз.

А. Аванесов.



ЛЮДМИЛА КОПЫЛОВА. Счастливая полоса. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 120 стр. .

Будет жаль, если эта книга пройдет незамеченной или прозвучит для немногих, оценивших свежее дарование Людмилы Копыловой еще по сборнику «Зарождение дождя» (М. «Советский писатель». 1978), полюбивших ее легкие, до детскости наивные и прозрачные строки. Например, вот эти:

Шелест такой, будто кто-то идет.
Глянень в окно —
только дождик идет
наискосок по гусиной траве,
кружка с водою — на голове:
капли стекают за воротник.
А на ладони — как ветка — родник.

Или еще лучше вот эти:

От крыши до крыши
и выше
качнись, световая волна,—
от кроны до кроны
зеленой,
где птица с птенцами видна
и пух, точно с окского дна,
всплывает все выше и выше,—

как будто большая страна
на малое перышко дышит.

Что здесь трогает? Простодушие? Быть может. Безыскусность? Конечно же. И все-таки, говоря о своеобразии лирического пафоса всей книги в целом, я вразрядку выделю бы слово целомудрие. Сугубо, осознанно женская по кругу конфликтов и жизненных ориентиров, женственная по эмоциональному тону, поэзия Люд-

милы Копыловой словно бы напоминает, сколь много прелести таят в себе, как встарь, «беспомощная нежность» и деликатная неуступчивость, кроткая грация движений и сдержанное благородство сердечных порывов — те, словом, качества женской натуры, которые неразлучны с целомудрием и которые так дефицитны нынче и в жизни и в стихе.

Причем, и это очень важно, лирическая героиня «Счастливой полосы» отнюдь не из спорщиц и не из проповедниц. Сторонясь как родства, так и распри с «сильными», эмансипированными, деловитыми современниками, стремящимися во всем перехватить у мужчин лидерство, она никому и ничего не доказывает. Она просто живет — так, как именно ей написано на роду. И в той естественной соподчиненности, с какою в стихи входят мысли о семье и тревога за судьбы мира, хлопоты любви и заботы профессионального переводчика (на протяжении многих лет Л. Копылова связана с Латвией, латышской поэзией, и ее перевод героического эпоса «Лачплесис» заслуживает, бесспорно, особого разговора), видны опять же нравственный такт и художественная мера.

Тяготея к жанру лирического фрагмента, стихи Людмилы Копыловой обычно лишены сюжетной центрированности или живописной картинности. Ближайшая аналогия здесь — рисунок цветной тушью, где все держится на верно угаданной перспективе, колористическом единстве и скупости отобранных деталей, каждой из которых «поручено» передать прежде всего настроение, переменяющую атмосферу лирического переживания. В этой скромности и сжатости есть новизна, и я не исключаю поэтому, что читателю русской поэзии, настроенному по преимуществу на волну эмоциональной раскрепощенности и страстной исповедальности, стихи Людмилы Копыловой могут показаться поначалу непривычно аскетическими или чересчур уж негромкими.

Что тут делать? Только одно — читать и перечитывать книгу, поскольку чистота и свежесть, деликатность и искренность во все времена заслуживают и признанного внимания и чуткого отклика.

Сергей Чупринин.



Н. М. КАРАМЗИН. Сочинения в двух томах. Т. 1. Автобиография. Письма русского путешественника. Повести. 671 стр. Т. 2. Критика. Публицистика. Главы из «Истории государства Российского». 455 стр. Л. «Художественная литература». 1984.

Вопреки известному утверждению Москва была «сентиментальным городом», во времена Карамзина она очень даже верила слезам. В конце XVIII века читатели «Бедной Лизы» приходили к пруду у Сионова монастыря в котором якобы утопилась героиня карамзинской повести, чтобы погрузиться об участи обманутой девушки.

Карамзин стал первым русским писателем, сумевшим своей прозой вызвать у людей такой неподдельно искренний отклик. Пушкин несколько затмял для потом-

ков значение Карамзина. Между тем со временем все отчетливее выявляются масштабы созидательной работы, свершенной этим человеком в отечественной культуре. По разносторонности интересов Карамзин сродни гуманистам Ренессанса. Рецензируемое издание включило в себя основные труды Карамзина — литератора, историка, критика, публициста.

О «Письмах русского путешественника» Чернышевский отзывался как о начале новой русской литературы. Новизна ее связана с демократичностью, умением коснуться сокровенного в человеческой душе, стать по-настоящему нужной тем, кто стремился понять себя и окружающий мир. Крупный шаг в этом направлении сделали сентименталисты. В ярчайшем своем проявлении русский сентиментализм — это Карамзин «Писем...», «Бедной Лизы», «Натальи, боярской дочери» (последняя повесть, к сожалению, не вошла в двухтомник). Об этом литературном направлении принято говорить в плане исторической поэтики, как о явлении далекого прошлого, имеющем лишь косвенное отношение к словесности сегодняшнего дня. Однако творческое усвоение накопленного сентименталистами опыта, без сомнения, оказалось бы полезным для многих современных писателей, чьим произведением подчас недостает той самой чувствительности (конечно, не эпигонски понятой), без которой человеческий характер лишается психологического своеобразия. Гибкость, точность, неувядающая современность художественной прозы Карамзина еще раз заставляют задуматься о проблемах стиля, о том, как избежать в литературном языке крайности пуризма и вседозволенности, что опять-таки является далеко не решенным в наше время вопросом.

Карамзин публикует статьи, посвященные проблемам писательского мастерства, высказывая в них оригинальные, сохраняющие актуальность и поныне мысли. Все это звучало необычайно свежо, новаторски дерзко, нешаблонно.

Свыше двадцати лет Карамзин работал над «Историей государства Российского». Как писатель и историк он един, между его художественной и научной деятельностью нет противоречия. Гражданская честность присуща «Истории...» в такой же мере, как другим сочинениям Карамзина, а сам летописный материал в изложении писателя приобретает неповторимый колорит, близкую к художественной образность и драматизм. «Карамзин» есть первый наш историк и последний летописец — пушкинская фраза определяет суть научного подвижничества Карамзина, исследователя родной старины.

В прекрасном изданном новом собрании сочинений Н. М. Карамзин предстает перед нами гармонической личностью, соединяющей в себе страстность художника и пронизательность мыслителя. Интерес к творчеству писателя неизменно растет. Загадочная метаморфоза происходит с творениями великих людей: чем дальше они уходят в прошлое, тем современнее становятся.

М. Вольпе.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О коммунистической нравственности. Изд. 3-е, дополненное 286 стр. Цена 70 к.

Л. Волкогонов. Феномен героизма. О героях и героическом. («Личность. Мораль. Воспитание») 263 стр. Цена 40 к.

А. Ливанов. Стремнина. («Повести о делах и людях партии») 127 стр. Цена 20 к.

Б. Хотимский. Непримириность. Повесть об Иосифе Варежнике. («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Никитин. Точка зрения. Документальная повесть. 414 стр. Цена 2 р. 30 к.

Б. Никольский. Формула памяти. Роман. повести. 599 стр. Цена 2 р. 50 к.

Л. Ошанин. Пока я дышать умею. Новая книга стихов. 1982—1984. 175 стр. Цена 55 к.

В. Санги. Месяц рунного хода. Романы, повести, рассказы, сказки. 510 стр. Цена 2 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Личутин. Повести о любви. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.

Позня. 1985. Альманах. Выпуск 41. 174 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Шамякин. Петроград — Брест. Исторический роман. 464 стр. Цена 2 р.

Январское наступление. Польские писатели о событиях второй мировой войны 1939—1945 гг. Перевод с польского. 400 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ИСКУССТВО»

Искусство в боевом строю. Воспоминания. Дневники. Очерки. 399 стр. Цена 3 р.

Н. Лявщина. Джакомо Манцу. 223 стр. Цена 3 р. 10 к.

В. Острогорский. Осторожно: «Немецкая волна». Истоки и история западногерманского иновещания. 254 стр. Цена 1 р. 10 к.

Д. Шломберг. Эллинизированный Восток. Греческое искусство и его наследия

в несредиземноморской Азии. Перевод с французского 206 стр. Цена 2 р. 70 к.

ВОЕНИЗДАТ

Г. Бакланов. Цавки — девятнадцатилетние. Повесть. 197 стр. Цена 60 к.

Н. Доризо. День нынешний и день вчерашний. Стихи, поэмы, песни. 288 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Котенев. На сопках Маньчжурии. Роман. повесть. 463 стр. Цена 2 р. 10 к.

И. Савельев. Одна любовь. Стихотворения и поэмы. 168 стр. Цена 90 к.

«РАДУГА»

Э. Куровский. Птицы летят на запад. Повесть. Перевод с польского 414 стр. Цена 2 р. 60 к.

Современная канадская повесть. Перевод с английского. 655 стр. Цена 3 р. 90 к.

Средний возраст. Современная китайская повесть. Перевод с китайского. 477 стр. Цена 3 р. 20 к.

Ф. Тоннабо. Избранные рассказы. Перевод с персидского 343 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Бомарше. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Комедии. Перевод с французского. 208 стр. Цена 55 к.

Ю. Дмитриев. Соседи по планете. Домашние животные. 287 стр. Цена 2 р. 30 к.

О подвигах, о доблести, о славе... Рассказы, очерки 318 стр. Цена 95 к.

Л. Тарасов. Музыка в семье муз. Очерки. 159 стр. Цена 90 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Дамдинов. Тропа Гесэра. Стихотворения, поэмы. Перевод с бурятского. 79 стр. Цена 35 к.

В. Дементьев. Фрески. 495 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Клименко. Соль земли. Очерки. 112 стр. Цена 10 к.

А. Твардовский. Василий Теркин. Книга про бойца. 198 стр. Цена 3 р. 30 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашк (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции. 103806 ГСП Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 18.06.85 г. Подписано к печати 05.08.85 г. А 10446.

Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п л (23,8 усл.-печ. л.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 428.000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Зак. 2250.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798 Москва К-6, Пушкинская пл. 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

*До конца текущего и в 1986 году
редакция журнала «Новый мир»
предполагает опубликовать:*

романы, повести, рассказы Ч. Айтматова, В. Астафьева, Д. Гранина, В. Быкова, В. Богомолова, В. Субботина, С. Кондрашова, А. Рекемчука, Ю. Нагибина, Г. Семенова, В. Рослякова, В. Орлова, В. Маканина, Р. Киреева, Ю. Эдлisa, И. Штемлера, А. Ткаченко, С. Капутикян, Г. Пряхина, а также роман американского писателя Д. Апдайка «Кролик разбогател»;

стихи В. Бокова, К. Ваншенкина, Л. Васильевой, А. Вергелиса, Е. Винокурова, А. Вознесенского, Ю. Воронова, Р. Гамзатова, А. Дементьева, Е. Долматовского, Н. Доризо, М. Дудина, Е. Евтушенко, Е. Исаева, М. Карима, Я. Козловского, М. Лисянского, А. Межирова, С. Михалкова, Д. Мулдагалиева, Н. Наджми, Б. Олейника, А. Преловского, Р. Рождественского, В. Савельева, С. Смирнова, В. Сорокина, О. Сулейменова;

очерки, статьи Ю. Черниченко, А. Иващенко, А. Злобина, Г. Лисичкина, В. Овчинникова, В. Цветова, А. Левикова, воспоминания Л. Фейхтвангера, письма академика П. Капицы;

литературно-критические статьи, обзоры И. Дедкова, А. Бочарова, М. Храпченко, Л. Аннинского, В. Днепрова, П. Николаева, С. Чупринина, А. Марченко, О. Чайковской.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.